

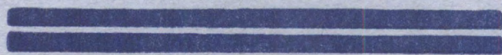
|| 3 ||

Н О В Ы Й М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

|| 1974 ||

3



1974

ИНФОРМАЦИЯ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания I

№ 3

Март, 1974 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

	Стр.
ГЕНРИХ БОРОВИК — Куба в дни визита. Заметки специального корреспондента	3
—————	
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС — Индийский аметист, стихи. Перевел с литовского Поэль Карп	11
АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ — Гори, гори ясно, повесть	17
ИРИНА СНЕГОВА — Огненный круг, стихи	101
Н. Н. МИХАЙЛОВ — Черствые именины. Окончание	104
ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ — Угощаю рябиной, стихи	157

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВАСИЛИЙ КОЖУШКОВ — Мы — лица заинтересованные	160
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ — Стать человеком (Воспитание элементарной моральной культуры. Афоризмы). Послесловие Т. Самсоновой	171
--	-----

ИСКУССТВО

Н. МОЛЕВА — И снова Медный всадник...	195
---------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АННА ЗЕГЕРС — Позиции социализма обеспечивают самый широкий кругозор. Перевела с немецкого С. Фридлянд	209
В. КАМЯНОВ — Доверие к сложности. Заметки о молодой прозе минувшего года	213
АЛ. МИХАЙЛОВ — Вооруженность критика. Poleмические заметки	233

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СС С Р»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	245
И. Соловьева, В. Шитова. Свои люди — сочтемся.— У. Гуральник. О Достоевском — новое.— А. Марченко. Под сводами мастерской.	
<i>Политика и наука</i>	258
Владимир Шубкин. Читая Робера Мерля.— Ю. Завадский. В Доме актера.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	276
КОРОТКО О КНИГАХ — Борис Дубровин. — Товарищ Москва. Литературные портреты современников. ♦ Елена Скульская. — Мати Унт. О возможности жизни в космосе. Роман и повести. ♦ Н. Стрижевская. — Марк Шехтер. Лирика. Сатира. Избранные стихи. ♦ В. Бавина. — Б. Брайнина. Память и время. ♦ Борис Яранцев. — Евгения Таратута. С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель. ♦ А. Майкапар. — Сергей Прокофьев. Автобиография. ♦ Лев Разгон. — Юрий Дмитриев. Человек и животные. ♦ С. Николаева. — Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников. ♦ Д. М. Молдавский. — Ю. Алянский. Театральные легенды	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕНРИХ БОРОВИК

★

КУБА В ДНИ ВИЗИТА

Заметки специального корреспондента

Все стоят перед глазами те удивительные семь дней, не растворяются в других впечатлениях, не уходят из сознания и души. И никогда, видимо, не уйдут. Стали частью и твоей биографии и твоей жизни. Крестьянин в соломенной, будто недоплетенной шляпе, поднимающий плакат со словами «Бьенвенидо, компаньеро Брежнев!» («Добро пожаловать, товарищ Брежнев!»); рабочий в рубашке с закатанными рукавами, тянущий сильную свою руку, чтобы пожать руку советскому гостю; ребята — школьники в синих брюках и голубых рубашках, кричащие хором по-русски немудреный стишок, который сочинили сами: «Брежнев! Брежнев — товарищ всегда! Куба приветствует тебя!»; красно-сине-белые буруны от взвившихся над головами людей флажков — советских и кубинских; миллион людей на площади Революции под белым изваянием Хосе Марти и огромным портретом Владимира Ильича Ленина, поющих «Интернационал»...

События исторического визита трудно делить на главные и второстепенные — в каждом участвовал народ, каждое было проявлением братства, солидарности, дружбы.

Я попробую рассказать здесь лишь об одном дне визита, когда, как мне кажется, особенно явственно ощутилась связь времен и событий, отдаленных друг от друга десятками лет и тысячами километров. В этот день Леонид Ильич Брежнев посетил кубинский восток, провинцию Орьенте, город Сантьяго.

У Сантьяго есть девиз, который написан на плакате перед въездом в город: «Сантьяго: вчера — мятежный, сегодня — гостеприимный, всегда — героический».

Здесь, в Сантьяго, в провинции Орьенте, начиналась биография кубинской революции и кубинских революционеров.

На рассвете 26 июля 1953 года небольшой — в 135 человек — отряд кубинских патриотов во главе с двадцатипятилетним Фиделем Кастро атаковал в Сантьяго военную крепость диктатора Батисты — Монкаду. Участники нападения решили неожиданно завладеть крепостью и оттуда объявить о начале борьбы всего кубинского народа против тирании. План был составлен тщательно, но у молодых повстанцев не хватило опыта. Их атака закончилась неудачно. Многие участники нападения были убиты, другие, в том числе Фидель, который чудом остался жив, были брошены в тюрьму на острове Пинос.

Во время суда над революционерами Фидель произнес свою знаменитую фразу: «История меня оправдает».

Годы тюрьмы, эмиграции... В Мексике Фидель и его друзья собрали отряд патриотов из 82 человек и на небольшой шхуне «Гранма» в декабрьский день 1956 года отправились в поход к кубинским берегам, чтобы высадиться там и снова начать борьбу за освобождение

родины от «своих» и чужих угнетателей. Маленькое суденышко, не рассчитанное на такое количество пассажиров, да еще с оружием и боеприпасами, чуть не погибло на своем полуторатысячемильном пути. Шхуна сбилась с курса, и 82 человека высадились в самом неудобном месте на побережье провинции Орьенте, там, где у берега начинается почти непроходимое болото.

82 человека прошли через болото, вышли на сушу, но тут их ждала засада.

Из 82 в отряде осталось 12.

И на 12 бойцов — 7 винтовок.

Но эти 12 во главе с Фиделем не сдались. Они ушли в горы Сьерра-Маэстра, чтобы там снова начать формирование революционного отряда, превратить его в революционную армию и оттуда возглавить революционную борьбу по всей Кубе.

Они знали — и с семью винтовками можно начинать революцию, если ее поддерживает народ.

Так начиналась революционная биография Сантьяго и Орьенте, так начиналась биография кубинской революции.

Вот почему при внешней несхожести южного Сантьяго и северного Ленинграда их сердца бьются в унисон. Вот почему они города-побратимы. И тот и другой — колыбель социалистической революции: Ленинград — первой в мире, Сантьяго — первой в Америке...

С аэродрома Леонид Ильич вместе с Фиделем Кастро отправились в школу, которая теперь располагается в здании той самой знаменитой военной крепости Монкада.

Очень быстро идет время.

Подростки, которые сидят за партами в этой школе, никогда не видели военной крепости Монкада, они знают лишь школу имени 26 июля.

Они никогда не жили при капитализме.

Никогда не жили при капитализме пятнадцатилетние ребята, родившиеся всего в девяноста милях от Майами, от берега США! Ребята, родившиеся на Кубе, где пятнадцать лет назад нельзя было без риска оказаться в полиции, даже произнести слово *к о м м у н и з м!*..

Короткие часы поездки в Сантьяго не позволяли осмотреть все, что хотели бы показать советскому гостю жители. Но осмотр усадьбы Сибоней, где Фидель и его друзья летом 1953 года готовились к штурму Монкады, и самой крепости входил в план.

Усадьба находится приблизительно в двадцати километрах от Сантьяго, и жители города решили так: пусть знакомство с сегодняшней жизнью Сантьяго продолжается в пути. Они устроили народный фестиваль вдоль дороги от Сантьяго к усадьбе Сибоней. И пока шли автомашины с гостями, по обе стороны дороги возникали народные сцены, из которых, как мозаика, складывалась картина полнокровной жизни социалистической Орьенте: труд, революционные традиции, образование, искусство, спорт...

Эти народные сцены сегодняшней Кубы возникали рядом с памятниками, на которых написаны имена тех, кто сложил голову в трагические предракетные часы 26 июля 1953 года. И воплощенная в строгом белом камне революционная память народа накрепко связывала прошлое с настоящим, помогая проследить путь от той трагической битвы к нынешнему солнечному дню Кубы.

В скромном доме усадьбы Сибоней товарищ Фидель говорил Леониду Ильичу о последней ночи перед штурмом Монкады.

Фидель явно волновался. Он то рассказывал о не очень уж давних событиях сам, то замолкал, рассматривая фотографии товарищей,

сражавшихся вместе с ним, и тогда пояснения давали работники музея. Но через минуту Фидель снова возвращался к рассказу.

А потом Леонид Ильич и Фидель вышли из дома и присели отдохнуть на каменную ограду того самого колодца, где люди Фиделя прятали в свое время оружие.

Кто-то из кубинских журналистов попросил товарища Брежнева сказать, какое впечатление у него осталось от посещения мест, связанных с историей революции.

И Леонид Ильич ответил:

— Сегодня я особенно почувствовал теплоту человеческих сердец. Мне и всем товарищам удалось посмотреть исторические места, где родилась социалистическая Куба. Я очень близко принял к сердцу все увиденное. Хотел бы также отметить: все, что мне удалось здесь увидеть, увиденно вместе с Фиделем — непосредственным организатором этой борьбы за счастье кубинского народа. Я никогда не забуду этого дня. Передайте жителям вашего города добрые чувства от советского народа, от Коммунистической партии. Мы желаем им счастья, здоровья, успехов на века!

Фидель сказал, что очень хотел бы побывать в одном из тех мест, где сражался Леонид Ильич, прошедший всю войну от первого до последнего дня по ее дорогам, что хотелось бы ему поехать, например, в Новороссийск.

— Ну что ж, я с удовольствием поеду с вами, — ответил Леонид Ильич, — и покажу те места.

— Там остались следы войны? — спросил Фидель.

— Война там все уничтожила, — ответил Леонид Ильич. — А потом все было построено заново. Но там есть памятники героям. И в городе и на местах боев, на Малой земле, в Долине смерти.

— Почему то место назвали Долиной смерти?

— Потому что каждый квадратный метр там простреливали немцы. Они делали так: выбирали полгектара и били по нему полдня. Потом выбирали другие полгектара — и снова били. Хотели выбить нас из траншей. Наши орудия стояли далеко. А передний край был всего в двухстах — трехстах метрах от гитлеровцев. Когда прилетала наша авиация, а авиация тогда у нас была еще слабая, бойцы на переднем крае под огнем снимали нижние рубашки и клали перед траншеями, чтобы летчикам было видно, где свои. Мы все были в земле. И у нас и у немцев все было в земле. Только земля спасала... Вот почему и назвали то место Долиной смерти. — Леонид Ильич рассказывал спокойно, негромко. — Нам никак нельзя было оставлять тот участок. Иначе он пошел бы по тому побережью и мог дойти до Турции. И он это тоже понимал и потому все время штурмовал тот участок... Больше полугода мы сидели там без картошки, без хлеба.

— Что же вы ели? — спросил Фидель.

— Консервы и орехи, — ответил Леонид Ильич. — Да, орехи. Кавказ присылал. Когда пошел лист винограда, стали варить щи из виноградного листа. Потом, позже, стали доставлять нам настоящую пищу. И привезли ишачков. До этого мы все носили на плечах. Одни люди были. Транспорта — никакого. А он все штурмовал. Ставил мотоциклы на гусеницы, пригонял альпийские отряды — штурмовал, штурмовал, штурмовал. Но ничего у него не получилось. Мы крепко зарылись в землю... Так долго сидели в траншеях без движения, что, когда пошли в окончательное наступление, даже молодые ребята не могли пробежать и ста метров. Не тренировались в траншеях, дни и ночи только стреляли. Так называемая сидячая болезнь.

— Как же вы пошли? — спросил Фидель.

— Так и пошли, — сказал Леонид Ильич, — вначале с трудом, а по-

том ничего, разошлись.— И добавил с улыбкой: — И Дошли до Берлина.— Леонид Ильич поднялся с колодезной ограды, заканчивая разговор: — Таких боев было много. Были непревзойденные по героизму эпопеи — оборона Ленинграда, битва под Москвой, на Курской дуге, Сталинградская битва, окружение гитлеровцев у Корсунь-Шевченковского и другие сражения, все они имели громадное значение для победы...

Я слушал рассказ об эпизодах нашей тяжелой и долгой войны с фашизмом, и в каждой детали, связанной с этим рассказом, прослеживалась прочная связь человека, ведшего рассказ, с судьбой своего народа. И манера рассказа — спокойная, неторопливая, настоящая солдатская. И знание душой и телом того тяжелого военного ежедневного быта, тех невероятных трудностей. И простые, человеческие слова, которыми о тех трудностях рассказывалось, и даже слово о н — о враге. Именно так говорили о фашисте солдаты во время нашей войны с ним.

И то, что беседовали о боевых днях два коммуниста, руководитель первой в мире страны социализма и руководитель первой социалистической страны в Америке, коммунисты разных поколений, разных стран, разных полушарий,— все это было исполнено символического значения.

Здесь будто бы вдруг сошлись история нашей страны и история маленькой Кубы. Сошлись, как сходятся солнечные лучи под увеличительным стеклом,— в этом солнечном дне в Сантьяго-де-Куба, в этой спокойной и неторопливой беседе у колодца.

И сами собой протягивались невидимые нити от этого рассказа о нашей войне к сегодняшней Кубе, от нашей победы над фашизмом в сорок пятом к революционной победе Кубы полутора десятилетиями позже.

Перед уходом с усадьбы Сибоней Леонид Ильич оставил в книге для почетных гостей запись, в которой есть такие слова: «Здесь, в этом скромном доме, где готовилось революционное выступление против тиранического режима Батисты, ясно ощущаешь, какая могучая неодолимая сила заложена в идеях свободы, справедливости, социализма».

И когда после этого товарищ Брежнев подарил музею небольшую скульптуру Владимира Ильича Ленина, этот подарок снова связал времена и события.

Представьте себе 1925 год. Советский Союз еще только-только оживает после гражданской войны. Буржуазный мир наперебой предсказывает ему гибель — через год, через два, от силы через пять. Во многих тысячах километров от Советского государства — Куба. Но там, в той дали, рядом с Соединенными Штатами, власти уже тогда очень боятся идей коммунизма. И когда в одну из кубинских гаваней входит корабль под советским флагом «Вацлав Воровский», его практически окружают колючей проволокой. На него никого не пускают, и с него не разрешают сойти на берег никому.

Но туда тайно на лодке и вплавь добирается кубинец по имени Хулио Антонио Мелья. Его принимают советские моряки. И на берег он возвращается с красным полотнищем — советским флагом, переполненный впечатлениями о встрече с первыми советскими людьми, которых он видел в своей жизни. И в одной из прогрессивных газет он рассказывает об этих впечатлениях в очерке под названием «Два часа под красным знаменем».

И сейчас, когда снова и снова вспоминаешь об этом эпизоде, еще и еще раз поражаешься удивительной силе идеи социализма, пробивших путь к сердцу этого человека и многих его друзей, которые стали

первыми членами Коммунистической партии Кубы, борцами за счастье своего народа. Эти идеи пробились через туманы и бури Атлантики, через полицейские заслоны и политические карантинны, через миллионы газетных слов, хуливших Советскую Россию.

А еще раньше, на год раньше, в рабочем городке Регла, узнав о смерти Владимира Ильича Ленина, рабочие решили посадить на холме — на виду у всего города — оливковое дерево в память о вожде пролетарской революции, а холму дать имя Ленина.

На траурном митинге оливковое дерево было посажено. Его дважды вырывали и пытались уничтожить те, кто боялся, что дерево, посаженное в честь основателя социалистического государства, может пустить корни здесь, на Кубе. Но дважды на этом месте появлялось новое ленинское дерево. И сейчас оно — большое, тенистое, зеленое, и корни его свободно вырастают в кубинскую землю. И под сенью его ныне — детский сад, носящий имя Владимира Ильича.

И снова поражаешься — какая же сила заключена в идеях социализма, если уже тогда, в Двадцать четвертом году, враги боялись даже слова Л е н и н.

После окончания визита Леонида Ильича Брежнева вместе с корреспондентом АПН Юрием Головятенко я обратился к товарищу Фиделю Кастро с просьбой принять нас для беседы.

Товарищ Фидель принял нас, но интервью носило несколько необычный характер. В течение трех часов мы ездили с ним в «газике» по Гаване, заезжали в пригороды, встречались со студентами политехнического института, потом ходили по парку Гаванского университета, где когда-то учился Фидель, разговаривали со студентами.

Фидель много говорил о значении визита, о том, что отношения между СССР и Кубой — это пример бескорыстной братской дружбы и солидарности двух социалистических государств.

Во время одной из остановок «газика» к нам подошла молодая женщина-чилийка, она в нескольких словах рассказала, как ей удалось вырваться из фашистских застенков и как она благодарна тому вниманию и заботе, которыми окружена на Кубе.

Фидель долго молчал после этого рассказа, сидя на переднем сиденье своего «газика», теребил бороду. Потом сказал:

— Когда я был в Чили, я встречался со многими коммунистами, с простыми людьми — рабочими и крестьянами. Это замечательный народ. Чудесный! Настоящие патриоты своей родины. Преданы делу социализма. Сейчас этот народ страдает от тюрем и пыток. Среди заключенных и товарищ Корвалан, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили. Его держат в концлагере на одном из островов неподалеку от Антарктиды, в очень тяжелых условиях, вместе со многими другими руководителями Народного единства... — Фидель говорил это, будто обращался к самому себе, будто хотел повторить для себя то, что уже знал. А повторив, обратился к нам: — И я хочу сказать, что та кампания солидарности, которая поднялась в поддержку борьбы чилийского народа, за спасение жизни Луиса Корвалана и других узников фашистской хунты, поистине великое дело. Ни одно политическое событие последнего времени не вызвало такой огромной волны осуждения, как фашистский переворот в Чили. Надо и дальше требовать освобождения всех политических заключенных, надо требовать сохранения жизни Луису Корвалану, требовать ему свободы. Я совершенно уверен, что рано или поздно чилийцы нанесут поражение фашизму. Совершенно уверен!..

И слушая эти слова Фиделя, я вспоминал о том оливковом дереве Ленина, которое дважды вырывали с корнем, а оно растет и растет. И сколько бы ни вырывали его враги, всегда находятся руки, готовые

это дерево взрастить снова. Погибли многие прекрасные люди в Чили. Но жизнь их не кончилась. Их биография продолжается биографией братьев по борьбе.

Биография кубинской революции начиналась здесь, в Сантьяго, в усадьбе Сибоней, у стен военной крепости Монкада, а позже продолжалась походом шхуны «Гранма» через Мексиканский залив, продолжалась на горных тропах Сьерра-Маэстры.

Но биография кубинской революции начиналась и в Петрограде, у стен Зимнего; характер бойцов Сьерра-Маэстры закалял еще Павел Корчагин; действовавший в фашистском тылу подпольный обком уже был частью будущей биографии кубинских подпольщиков, а жизнь кубинского рабочего, ставшего директором национализированного после победы революции банка в Гаване, вобрала в себя юность нашего Максима.

После победы в январе 1959 года кубинской революции пришлось вести еще много тяжелых битв, чтобы прийти к сегодняшней Кубе. Нужно было бороться с неграмотностью и диверсантами, разгромить интервентов на Плайя Хирон и выстоять экономическую блокаду.

Трудный путь пришлось пройти кубинской революции, чтобы сегодня гордо и независимо реял над страной кубинский флаг.

Кубинцы называют его флагом «одиноким звездой».

Но никогда не была одинока революционная Куба в своей борьбе. Рядом всегда стоял могучий Советский Союз, рядом стояли силы социализма.

«Когда были внезапно прекращены поставки топлива, это должно было стать тяжелым ударом для революции. Именно тогда Советский Союз, удаленный от нас на тысячи миль, пришел на помощь нашему народу и, преодолев немалые трудности, поставил нам нефть, которую мы не могли бы получить из других источников в мире, находившихся в то время под господством американских монополий,— говорил товарищ Фидель Кастро в своей речи на митинге в Гаване.— Вторым мощным ударом по экономике страны было закрытие для кубинского сахара рынка Соединенных Штатов, складывавшегося на протяжении более ста лет для главной и единственной продукции, которую испанские колонизаторы и американские империалисты производили на Кубе. Эта жестокая, несправедливая и наглая акция, ставившая целью сломить наш народ голодом, побудила Советский Союз сделать новый незабываемый жест, а именно: принять решение о покупке того сахара, для которого закрылся американский рынок... В ответ на каждый акт экономической агрессии со стороны империализма следовали проявления солидарности со стороны братского советского народа: на запрещение поставок продовольствия, сырья, машин и, наконец, на тотальную экономическую блокаду советские люди немедленно отвечали поставками продовольствия, сырья, машин и другой экономической помощью Кубе. Так, проявляя твердую решимость, Коммунистическая партия Ленина, государство и народ, закаленные в огне Великой Октябрьской революции, помогли выжить первой социалистической революции на этом континенте, несмотря на тяжелые удары, нанесенные империализмом по ее экономике».

На том же митинге в Гаване товарищ Брежнев говорил: «Мы, советские люди, всегда рассматривали солидарность с Кубой, всемерную ее поддержку как свой священный долг, долг коммунистов, граждан социалистической страны. И мы ценим, что вы отвечаете нам такой же братской дружбой, что здесь, на Кубе, знают и любят страну Ленина, родину Октября».

Нас связывают совершенно иные узы, чем те, которые привычны в мире капитала. Для Советского Союза Куба — не объект эксплуатации

и приложения капитала, не стратегическая база или так называемая сфера влияния. Наша дружба, наша близость — выражение социалистической природы наших стран, живое воплощение высоких принципов социалистического интернационализма.

Творцами советско-кубинской дружбы стали сегодня миллионы людей. Это рабочие, техники, инженеры советских предприятий, которые изготавливают для Кубы станки, машины, комбайны, другую продукцию. И это труженики сафры, знающие, что часть произведенного ими сахара поступит советским людям. Это и советские специалисты, работающие на Кубе, и кубинские юноши и девушки, которые приезжают учиться в нашу страну. Это советские и кубинские ученые, деятели литературы и искусства, все, кто участвует в интенсивном обмене ценностями культуры между нашими народами. Да и для каждого советского человека и, как мы уверены, для каждого кубинца дело советско-кубинской дружбы стало близким и дорогим...

Размах, которого достигли советско-кубинские связи, позволяет сказать, что между СССР и Кубой над бескрайними океанскими просторами перекинут теперь прочный, широкий, надежный мост. Движение по нему осуществляется бесперебойно и ритмично. Это, товарищи, мост мира, дружбы и братства!»

Все, кто был свидетелем визита, а благодаря телевидению таких свидетелей — десятки миллионов, сразу почувствовали ту общность, которая установилась между Леонидом Ильичом Брежневым и кубинским народом в первые же минуты после того, как он ступил на землю Кубы.

И в этом, конечно, большую роль сыграли человеческие черты Леонида Ильича Брежнева. Кубинский народ и раньше знал советского лидера, питал к нему чувства уважения, высоко оценивал его деятельность на благо мира и социализма, его усилия по проведению в жизнь политики Коммунистической партии и правительства Советского Союза. Но впервые во время визита кубинцы увидели его близко, рядом с собой. И полюбили его за простоту и обаяние, приветливость и искренность, скромность и человеческую теплоту.

Об этом говорил нам Фидель Кастро, об этом говорили многие кубинцы, с которыми приходилось беседовать во время визита и после него.

Когда происходят действительно исторические события, в которых принимают участие народные массы, значение имеет все, в том числе и те детали, которые на первый взгляд кажутся второстепенными. Их невозможно предусмотреть потому, что они являются выражением характера человека.

— Мне очень понравилось, — делился с нами своими впечатлениями учащийся технологического института, — как Брежнев вышел на трибуну (митинга на площади Революции в Гаване). Он вначале стоял в центре, как полагается, а потом решил пойти к одному краю трибуны и к другому, чтобы приветствовать нас всех. И я сразу понял, как уважительно он относится к людям, к самым простым людям, которые вышли на встречу с ним.

— Тут, наверное, дело не во мнениях, — говорил студент Гаванского университета. — По-моему, все мнения уже высказаны. Особенно в воскресенье, когда товарища Брежнева провожали. Я считаю, что эта демонстрация была самой важной. Все вышли провожать Брежнева. Вся Гавана. А ведь это было воскресенье. Так провожают друга, члена семьи, который уезжает.

...Закончился визит, волнующий визит. Его значение выходит далеко за берега Кубы и за рамки семи дней, которые он продолжался.

Переговоры, проходившие между Леонидом Ильичом Брежневым

и Фиделем Кастро, завершились подписанием важнейшего документа — Советско-кубинской декларации. В ней обобщен пятнадцатилетний опыт подлинно интернационалистского сотрудничества между первой в мире страной социализма и первым социалистическим государством Латинской Америки, намечена широкая программа дальнейшего планомерного развития политических, экономических и культурных связей между СССР и Кубой, обмена опытом социалистического, коммунистического строительства, координации действий в борьбе за укрепление сплоченности социалистического содружества и мирового коммунистического движения на основе принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма.

В этой декларации с новой силой подчеркнуты благородные цели согласованной внешней политики стран социалистического содружества, направленные на углубление разрядки международной напряженности и обеспечения всеобщего справедливого мира.

Визит Л. И. Брежнева вылился в мощную волнующую демонстрацию советско-кубинской дружбы. Это был настоящий праздник солидарности двух братских народов, идущих одним историческим путем и делающих одно общее дело, выражение непоколебимой верности трудящихся Кубы идеалам социализма. В горячем приеме, оказанном кубинским народом посланцам Советского Союза, советские люди видят замечательное проявление любви и уважения к партии Ленина, к советскому народу. Коммунисты, трудящиеся СССР отвечают революционной Кубе, ее руководителям такими же чувствами солидарности и братства.

Так оценивают итоги визита Леонида Ильича Брежнева Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Министров СССР.

Вместе с ними весь советский народ полностью одобряет деятельность товарища Брежнева во время этого визита и оценивает его как крупное событие, знаменующее новый этап в развитии братской дружбы и всестороннего сотрудничества между Коммунистической партией Советского Союза и Коммунистической партией Кубы, между СССР и Республикой Куба.

Гавана — Сантьяго-де-Куба — Гавана.



ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

★

ИНДИЙСКИЙ АМЕТИСТ

С литовского

Путешествуя по Индии, я возил с собой «Саговника» Рабинграната Тагора. Он был мне истинным пугеводителем. Вечерами я раскрывал эту экзотическую книгу, как оркестрант партитуру. И вместе с сеговласым маэстро я, разумеется, старался петь гимн вечности. Поэтому песни этого цикла начинаются запевками его заколдованной флейты и его текстами, продиктованными небом.

* * *

Жизнь — капля росы в чашечке лотоса.

Вся жизнь моя — росинка одинокая,
Что в белой чаше лотоса сверкает.
Пью всякий день из чаши понемногу я,
А капелька на дне не иссякает.

Когда ночное небо опрокинется,
Звездой в той чаше светит капля эта.
Она всегда светла, как именинница.
Но много ли еще осталось света?

Пью всякий день. И все-таки повсюду мне
Моих росистых миражей хватало.
Но что стряслось бы в день, когда в посудине
Той одинокой капли бы не стало?

* * *

Я забыл, что у меня нет крыльев.

Я отправился в самый, по-моему, дальний
Из путей для пернатых. За тридевять гор
И за тридевять рек. Да порой изначальной
Позабыл я, что крыльев вовек не простер,

Что их нет у меня, хоть и конь мне крылатый
Госулил их, и змей посулил их, и лось,

И деревья сулили мне крылья когда-то,—
 Лишь не птицы: летают и сами небось!
 На станке сновидений соткать их могли бы
 И за дело взялись, только кончился лен.
 Солнце билось в оконце, как в неводе рыбы,
 И в назначенный срок не был труд завершен.

Я готов был отправиться в дальние дали,
 Не имея положенных демону крыл,
 И пошел, и пошел, и луга убегали
 От меня, словно зайцы. Но раз я ступил

На сей путь, я иду. Пусть осыпанный пылью,
 Все же я совершил свой бескрылый прыжок!
 Что же правильной — ждать, что подарят мне крылья,
 Как Икару, иль выйти в дорогу как мог?

* * *

Куда ты так поздно спешишь с корзиной на
 плечах? Рынок уже закрыт.

Куда спешишь? И что лежит в твоей оранжевой
 Корзине? Не морская ли звезда?
 Ну что тебе прийти сюда пораньше бы!
 А так — захлопнулись ворота навсегда.

И рынок опустел, и покупатели
 Все разошлись. И вот в окно ко мне
 Летит звезда с небес — не справясь, кстати ли,—
 И настоящая звезда горит в окне.

Ты не поспела засветло. Потратила
 Лишь силы зря. (Тут звезды не в ходу.)
 Верни звезду ее бескрайней матери.
 (Здесь петуха чтут выше, чем звезду!)

Лишь краба, и к тому же с опозданием,
 Несешь ты мне. Но скажет звездный свет
 С чистой совестью и точным знанием:
 Такого человека больше нет.

* * *

Я гость, которого в конце дня никто не
 встретил.

Кто я такой? Садовник, в самом деле?
 Нет, я лишь гость, хоть саженцы садил.
 Но редкие плоды везде поспели,
 И обозреть весь мир не хватит сил.

Быть посему... И я себе убого
 Былой напев на флейте заведу.
 Я еду в гости. Не спешит дорога,
 И засыпаешь прямо на ходу.

Пока меня дурманят ароматы,
Манит сок манго и мотив дрозда,
Хохочут павианы, как пираты,
И попугай хихикает всегда.

Опять я медлю. Флейта вдруг упала,
И день сгорел, и веет холодок.
Никто меня не встретил у портала,
Дверь не открыл... Конец ведь недалек?

Ведь недалек? И надо мне немного:
Согреться, кинуть горстку добрых слов...
Уже я на звезду гляжу с порога.
Где вечный путь открыться мне готов.

МИНИАТЮРЫ

Река, впадая в море, теряет имя.

1

Река, и человек, и день, и все,
Во что-нибудь впадающее, разом
Теряют нечто. Поверни попробуй
Вспять реку. Побуди остановиться
День. Назови, как звали, человека.
И морю быть негоже безымянным:
Ведь у любой его волны
Есть автор, а у каждой капли
Есть источник.

2

Река моя тоже впадет однажды
В море, как в мусорный ящик
Лист календарный. Покамест, однако,
Течет моя речка и хочет держаться
Излучин своих, и своих водопадов,
И мелей своих, и хочет иметь
Название. Речка моя покамест
Вьется, бежит и ревет. Я уверен,
Ее невозможно спутать с другими,
Хотя они тоже очень красивы.

3

Речка, рождаясь из капли,
Капелькой станет опять,
И снова станет — не так ли? —
Подземным ключом, чтоб начать
Сызна току неуклонный,
Только бы ей вдруг горядь,
Схлынув с поляны зеленой,
В море капелькой стать.

* * *

Бог, учили древнеиндийские мудрецы, не засчитывает человеку дней, в которые тот улит рыбу.

Зима сковала озера. И так, из старого хлама
Достать сапоги и шубы опять пора настает.
Как Индию, нынче озеро искать мы будем упрямо,
Желая уженьем рыбы приветствовать новый год.

По вильнюсским переулкам идем пешком до вокзала,
Поклажей, словно верблюды, нагруженные сполна,
В каждом окошке елка башней дворца засверкала —
Бородатые дети играют в античные времена.

А нас уносят вагоны уже по снежной равнине
Туда, где правит от века Ель — королева ужей,
Где мрамору Тадж-Махала подобна сделалась ныне
Озера гладь ледяная с легким снежком на ней.

В аквариуме королевы, как будто бы артснарядом,
Проруби голубые прорвало меж снежных глыб,
И нам открывается доступ туда, где пасутся рядом
Синие льдистые звезды и тьмы экзотичных рыб.

Закинем удочки в прорубь и, обращаясь в точки
Пунктира, небрежно брошенного на эту озерную гладь,
Будем ерша дожидаться. Внутри ледяной оболочки,
На дне, мы клад заколдованный попробуем увидеть.

Подобно ершу, день первый в году грядущем и новом
На лунной блесне повиснет, блеском снежинок дразня.
Не будет засчитан вовсе он утренним рыболовам,
И мы счет новому году начнем со второго дня.

ИЗ ИНДИЙСКОГО ОРНАМЕНТА

* * *

Человек стремится к бессмертию, ибо смертен.

А жизнь проста. А жизнь мудра. Она — крестьянка.
Она, как водится, себе не хочет зла.
И, разумеется, отменная приманка
Ее толкает на преступные дела.

И видеть смертными затем ей нас угодно,
Что быть бессмертной собралась она сама,
А на душе у ней все чинно-благородно,
И до краев набиты жизни закрома.

А у тебя в душе прохлада ледяная,
Ты лишь безропотно выносишь этот гнет,
Мешки дырявые весь век ей наполняя,
Как нам положено, как издавна идет.

Но ты лукавишь — камень стал твоим портретом,
 На полотне твоя начертана судьба,
 Ты весь в своих стихах... И ведь при этом
 Тебя мороз не уничтожит, как хлеба.

Жизнь смущена: ее богатства множа,
 Ты стал сильнее сам, и превозмог
 Свой срок, и клочок бессмертья вырвал все же!
 Ужели мир, тобой воздвигнутый, убог?

* * *

Тело и душа — две птицы на одном дереве.
 Покуда одна клюет сладкий плод, другая голо-
 дает.

Хотел я дать моим обеим птицам
 Сладчайшие плоды. Но лишь одной
 Приятно плотью мыслей насладиться,
 Другая их обходит стороной.

Когда ж я этой предлагаю грушу,
 То первая выказывает злость,
 Как ежик, иглы выставив наружу,—
 И мне пронзает грудь земная ось.

Две птицы есть у нас. Приют обеим
 Всегда найдется, и по многу лет
 Обоих их мы холим и лелеем,
 Но общей пищи для обеих нет.

Едва лишь на вечернем небосводе
 Я различаю первую звезду,
 Я шлю глаза бродяжить на свободе
 И весточки от них печально жду.

Пустыми суждено им воротиться,
 И я не понимаю до сих пор,
 Как могут жить в одном гнезде две птицы,
 И с черным идолом все продолжаю спор...

* * *

Подобно птице, привязанной к гнезду, чело-
 век сам у себя в плену.

Не крылья ли спасут, вдруг сари раздирая
 Тех голубых небес, тех шелковых, куда
 Летишь искать себя? Ты вышел в путь без края?
 А прилетел под сень родимого гнезда?

Не крылья ли спасут, как книжные страницы,
 В гнезде слепившись вновь? Иль не они оплот,
 Когда с тобой ветра надумают сразиться,
 Верх над тобой возьмут и смерть твоя придет?

Не крылья ли спасут, друг к дружке приникая,
 Как льнет ладонь к другой? Ужель спасенье впредь

В них, коль гора тебе путь преградит такая,
Что не сумеешь ты вершину рассмотреть?

Не крылья ли спасут, живя в гнезде, как тело,
Единое с душой? Спасут они, притом
Что самая их плоть дотла бы вмиг сгорела,
Когда б тебя настиг неукротимый гром?

Не крылья ли спасут, тебя, с собой в разладе
И вновь в ладу с собой, пронесшие везде?
О, я, мой злейший враг, скажи мне, бога ради,
На что мне крылья дал, коль держишь вновь в гнезде?

К себе попавший в плен,
Дождешься ль перемен?..

* * *

Фонарь зажигают от другого фонаря.

Скажи, что ты держишь? Фонарь, отгоревший до срока?
Тогда подойди, попроси у соседа огня.
Ты горько ошибся, сочтя, что рассвет недалеко,—
Не так далеко до луны, как до белого дня.

Свет лунный, быть может, и брезжит. Но все ведь едино
В объятьях своих его держит ночная пора,
Как мачеха. Сам ты, несчастный, дрожишь, как осина,
И ветер вострит ледяной лезвие топора.

Смелей подойди. Фонарю твоему на чужбине
Огня даст другой, догорающий тоже фонарь.
Когда они танец факиров, заказанный ныне,
Отплясывать станут, нам будет уютно, как встарь.

Лишь помни всегда, что огонь в фонаре от другого
Зажжен фонаря, что из уст переходит в уста
Старинная сказка. И утро из мрака ночного,
Быть может, придет, если мы его ждем неспроста.

Перевел ПОЭЛЬ КАРП.



АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ

★

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО

Повесть

Среду, четверг и пятницу Парфен отгулял за ремонт станков в неурочное время. Он хоть и слесарь-наладчик, а попросили помочь — не отказал. Да выходные прихватил. Вышел на работу с понедельника, в ночную смену. Это еще, считай, день фабрика проработала без него — и вроде уже соскучился по ребятам. Прошел из конца в конец по цеху, покрутился на глазах у мастера Тихона и скользнул в курилку.

Парфен не курил, но сел на блескучую скамейку — так ее отшлифовали штанами. Сколько он работает на спичечной фабрике, столько она и стоит здесь. Прогнутая, с расшатанными ножками, а до чего приятно посидеть на ней, вообще в курилке, полной шевелящегося дыма. В дневную смену не рассидишься: то одно начальство придет, то другое. А в ночную сами себе начальники. Один сменный мастер — глава. Конечно, и он гоняет, даже когда станки работают как часы. Но все же, пока Тихон надумает заглянуть сюда, можно вдоволь поговорить, пошутить. Надоест еще позевывать за ночь-то. А случись что-нибудь со станком, станочница позовет.

В курилке уже сидели и Сенька Шадрин, и Аристарх Гребенников, и Глеб Кершанок, Жорка Матвеев, Филимон Меньшиков, Порфирий Плутархов — все слесари-наладчики, и Парфен заулыбался им, настраиваясь на шуточки, дружеский розыгрыш. Каждого из них он знал насквозь, мог не глядя вывернуть наизнанку, как собственную рубаху, надеть, скинуть и еще раз вывернуть.

Самые заводилы из этой гоп-компании — Сенька Шадрин и Аристарх Гребенников. Вот уж неразлучная пара. А сравнить их — такие разные. Сенька какой-то бестолковый, задиристый очень, Аристарх мудрее, уравновешеннее; у Сеньки голос тонкий, надтреснутый, у Аристарха — густой, граммофонный; Сенька, можно сказать, красавец, у Аристарха же «нос на семерых рос, а одному достался». Только по физической силе друг другу не уступят да на выдумки что тот, что другой горазд, разыграть любого — это для них раз плюнуть, лишь подморгни.

В этом, правда, и Глеб Кершанок не промах, говорун тот еще, дай пищу — не остановишь. И у Глеба «морда — во», по выражению Аристарха Гребенникова, «кирпича просит». На кулачища посмотреть — по пуду каждый. Можно сваи забивать. Парфен сначала подружился с ним. Глеб тогда купил себе мотоцикл. «ИЖ-Планету». Первым из фабричных ребят. У кого «Ковровец» был, у кого мотороллер; у Сеньки Шадрина, например, «ИЖ-56»; некоторые мопедами не брезговали за неимением лучшей техники, а Глеб всем на за-

висть «ИЖ-Планету» отхватил. Другой бы на его месте платочком пыль с такого мотоцикла стирал, никому близко подойти к нему не дал бы — оберегал, а он сам с ветерком гонял и Парфена на нем научил ездить.

Дружить бы им и дальше, да вот что-то стряслось с женой Глеба Евгенией. Как-то устроились на фабрику три цыганки к ней в цех. Захотелось им поработать на производстве. Перед этим директор получил из «Правды» жалобу — рекламацию. Какой-то проезжий написал, будто бы купил коробку спичек, исчиркал до единой спички, но ни одну из них так и не зажег. В серную головку добавили фосфора. Не прошло и смены, как в станке у одной из цыганок взорвалась кассета, опалив цыганке лицо и волосы.

С этого дня жена Глеба и стала «заговариваться». Она полгода ездила по больницам, покуда не выхлопотала пенсию. Парфен за родного брата, быть может, столько не переживал бы, сколько попереживал за Глеба. Потом убедился, что Евгения — стопроцентная симулянтка. Она родила Глебу еще одного сына, разжирела, из сухопарой сделалась как бочка. Глеб тоже толстел с каждым днем, довольный, завсегдатый курилки, зубоскал.

Остальные трое из гоп-компании — Жорка Матвеев, Филимон Меньшиков и Порфирий Плутархов — тихони. Из Жорки никогда слова не вытянешь, о чем ни спроси его — отмолчится, словно ему язык телята отъели. Филимон Меньшиков и рад бы что сказать, да больно заикается. Иной раз решится рот открыть, но пык-мык, рукой махнет, и на этом все, завязывай. Порфирий Плутархов поразговорчивее Жорки Матвеева, но и он не такой уж, чтоб наперед лезть.

Эти трое вообще как-то не тем, так другим обижены. У Жорки Матвеева на лице живого места нет от прыщей. Фурункулы изранили и его шею. Вечно она обмотана у него засаленным бинтом. У Порфирия Плутархова от рожденья правая нога короче левой. А Филимон Меньшиков во время войны испугался — что он, пацан еще был! — и теперь вот на всю жизнь, как уже сказано, заика.

Им первым всем троим и прозвища поприлепили. Жорке Матвееву за изуродованное прыщами лицо — Шилом Бритый, Порфирию Плутархову — Шлеп-нога. За хромоту. Филимону Меньшикову — Речистый. Не в обиду, разумеется, а так, ради шутки.

Позже дали прозвище и Глебу Кершанку. Узнали, что он пшенную кашу любит, тут же окрестили — Пшеник. Напросился на прозвище и сам Аристарх Гребенников. Это он выдумал прозвища всем давать, ну и ему — Долгоносик. Только Сеньке Шадрину да Парфену прозвища подобрать не смогли.

Словом, веселая гоп-компания. И одежда на каждом — залюбуешься. На Глебе Кершанке шаровары, как у запорожского казака. Евгения сама сшила ему из своих старых юбок. Лет десять Глеб Пшеник их носит, и сносу им нет. Сенька Шадрин за бутылку выменял у проезжего шофера комбинезон с накладными карманами — мечта! Тоже таскает его не скидая. Затаскал уже: один карман лопнул и другой на очереди. Порфирий Плутархов обувает хромую ногу в резиновую калошу. При ходьбе эта калоша шлепает по цементному полу, как прачка вальком по мокрому белью. Отсюда Порфирию и прозвище такое — Шлеп-нога. Чтобы калоша не спадала, он подвязывает ее бечевкой. А Филимон Меньшиков, кажется, родился в телогрейке. Будь зима или лето — на нем телогрейка. Он и в кино в ней ходит. Старую до того доносит, что латать ее некуда, только тогда покупает новую. И уж эту новую телогрейку бережет пуще бостонового костюма. А тут работа такая: как ни уберегается, то сам

о станок испачкается, то кто-нибудь грязной одеждой прикоснется— пропала краса.

В телогрейках ходят и Жорка Матвеев, тот же Глеб Пшеник, Аристарх Гребенников — Долгоносик, Сенька Шадрин и он, Парфен,— почти все в этой местности, потому что практичнее телогрейки для маркой работы не придумать. И на охоту, и на рыбалку, и за грибами на мотоцикле съездить — телогрейка незаменима. Она, что шинель солдатская, везде выручит и обогреет.

Когда Парфен показывался в курилке, гоп-компания веселела, начинались разговоры, шутки. А сегодня все сидели нахохленные. Даже Сенька Шадрин чего-то хандрил.

— Не повыспались за воскресенье, что ли? — выждав немного, проговорил Парфен.— Веки надо спичками подпереть, не на мыльной фабрике работаем!

Но шутку никто не поддержал.

— Сеня, ты что, отсырел? — продолжал Парфен.— Как наши спички: чиркнешь — сначала треск, дым, вонь, потом огонь!

— А ты чего один такой веселый? — сердито отозвался тот.

— А что, русскому человеку пошутить уже нельзя?

— Кончились твои шуточки!

— Это почему?

— Потому, что оканчивается на «у».

Видя, что от Сеньки Шадрина ничего не добиться, Парфен повернул голову к Аристарху Гребенникову и Глебу Пшенику. Но и те молчали. Порфирий Плутархов мог бы что-нибудь сказать, если бы не этот тон Сеньки Шадрина. От Жорки Матвеева тоже ожидать нечего. Скривив обмотанную бинтом шею, он сидел подальше от сквозняка. А от Филимона Меньшикова, заики, подавно слова не услышишь.

— Наше дело теперь — ходи да посапывай в две дырочки,— сказал Сенька Шадрин.— А не то на биржу бревна катать!

— Ну, хватит темнить.— Парфен поудобнее устроился на скамейке.— Чего биржей пугаешь?

— Я пугаю?

— А кто же?

— Гляньте на него! Прикинулся, как будто не знает.

— Не знаю.

— Ну даешь! Не знаешь, что у нас новый инженер?

— Перекрестись!

Парфен все еще думал, что Сенька Шадрин его разыгрывал, и улыбнулся: мол, не так-то просто поймать меня на удочку.

— Ну и что, что новый инженер?

— А то, что новая метла по-новому метет!

— Будешь пересдавать на разряд, вот так! — сказал Глеб Кершанок, Пшеник.

— Разогни! — Парфен, согнув указательный палец, протянул к нему. Это означало, что тот слишком заврался.— Разогни, разогни, я жду!

— Ты что же, приказов не читаешь? — заговорил теперь и Аристарх Гребенников.— Иди на проходной прочитай! Там для таких, как мы, малограмотных по слогам напечатали: пе-ре-ат-тес-та-ция! Всех нас пытать будут! Как не скажем, так и прощай седьмой разряд. Пятый дадут, сразу десятки три с зарплаты скостят, сам на биржу запросишься. Там разряды не нужны, крюк в руки — и катай древесину, пока не посинеешь.

Парфен притих: похоже, что Аристарх Гребенников говорил всерьез. Да и остальные, кажется, не шутили.

— Пожилой? — спросил Парфен.

— Кто? — переспросил Глеб Кершанок.

— Ну, этот... Новый главный?

— Твой ровесник. Молод еще нами командовать! В мастера принять я бы подумал.

— Он институт кончил, а мы что? — вскочил со скамейки Сенька Шадрин.— Сапоги задом наперед недавно обували!

— Даст нам по мозгам!

— Тебе в первую очередь: пшеников он не любит!

— Это мы еще посмотрим! Высоко берет, да где сядет?..

— Кого в комиссию выдвинули? — спросил Парфен, когда слесари приустиали спорить.

— В какую комиссию? — шмыгнул простуженным носом Аристарх Гребенников.

— Ну, в эту... Экзамены принимать.

— Нас с тобой туда не позовут!

— Кто меньше станки знает, тот больше всех спрашивать будет, — сказал Глеб Кершанок.— Книжечку перед собой откроет и подкинет вопросик. Так принимать экзамены и я смогу!

— Бодливой корове бог рогов не дал! — подтрунил Сенька Шадрин.— Это что наш Тихон, что ты — два сапога пара!..

Сенька Шадрин и Глеб Кершанок вдруг прикусили языки: в дверях курилки встал мастер Тихон.

Обычно Тихон входил в курилку не сразу, а как бы по частям. Сначала просовывал в дверь лобастую голову и грозно выпучивал глаза: «Опять сюда собрались!» Потом, морщась от табачного дыма, протискивал туловище и выпрямлялся на пороге во весь свой двухметровый рост. За это время слесари успевали прекратить разговоры, приготовиться, будто бы только что пришли перекурить. Имеют они на это право?

А в эту ночь мастер вошел в курилку без задержки, отступил по-военному в сторону, пропуская кого-то еще.

Парфен сидел ближе всех к двери и первым увидел этого человека.

Не спеша войдя в курилку, он поздоровался со слесарями так, точно знал их не один год. Прищурился, поглядел на одного, на другого.

— Много курить вредно.— Подождал словно бы для того, чтобы все усвоили эту мысль, добавил: — И для себя вредно и для производства.

Парфен хотел встать и выйти — он всегда совестился, когда начальство заставляло его в курилке, — а тут продолжал сидеть. Уже и Сенька Шадрин, и Аристарх Гребенников, Глеб Кершанок, даже тихони Жорка Матвеев, Филимон Меньшиков и Порфирий Плутархов повскакивали со скамейки, стояли перед новым главным инженером растерянные. Кто знал, что он придет ночью на фабрику да еще заглянет в курилку? Легко на помине!

— Всем известно, что завтра заседание квалификационной комиссии? — спросил главный инженер.

Слесари промолчали.

— Смотрите, чтобы потом не было никаких отговорок.

Новый инженер не собирался долго задерживаться в курилке. Помолчи слесари еще секунду — и он уйдет.

— А почему завтра? — первым осмелел Глеб Кершанок.

— Почему не сегодня? — улыбнулся инженер: это возражение, видать, ему понравилось.

— Когда же нам готовиться?

— К чему? К сдаче на разряд? На свой разряд вы должны знать всегда. Это же ваша работа, ваш хлеб. Так ведь? Переаттестация вот и покажет, на что вы способны.

Новый главный повернулся и вышел из курилки. Тихон ринулся за ним вдогонку, бросив на слесарей страшный взгляд: «Доигрались? То ли еще будет!»

— Вот так чертей глушат! — произнес Аристарх Гребенников. — Кто был прав? Разбегайся по своим норкам да грызи науку, пока время до утра есть!

Парфен вышел из курилки последним. Куда торопиться? В цех? До него два шага. К тому же станки его работали исправно. Завтра сдавать на разряд? Утром пойдет и сдаст этой комиссии. Напугали! Это Сенька Шадрин сдрейфил, потому-то и кричал больше всех. Надо бы подтянуться Сеньке. И Аристарху Долгоносику с Глебом Пшеничком не мешало бы. Подзаржавели у них в голове шарики за последние годы. Жорка Матвеев, Филимон Меньшиков, Шлеп-нога тихони тихонями, а худого слова о них не скажешь. А в общем, все сдадут, куда денутся.

Беспокоило Парфена другое: не понравился ему новый главный. Бывает же: как не понравится человек с первого взгляда, так все, трудно потом в него влюбиться. Инженер вроде и не заметил Парфена в курилке, а он за ним в оба глаза присматривал и в этой вот черепной коробке откладывал: и как посмотрит на ихнего брата слесаря, какое слово скажет, улыбнется или нахмурится, и как одет, причесан, мешковат или ловок. Кажется, и языком бог не обидел, короток на слово, улыбчив, и телом нежирен, проворен, и внешностью аккуратен: проборчик в волосах, очки интересные, золоченые, костюм на нем светлый, белая рубашечка с галстучком — человек, сразу видать, интеллигентный. А вот не прикипела к нему душа, как к иному: с первого слова, движения и мил, и люб, и дорог он тебе, словно всю жизнь с ним рядом прожил.

Возрастом, конечно, Глеб Кершанок угадал, инженер Парфену одногодок. Да что с того? Люди они далекие. И не потому, что образованием разные. Парфен тоже мог бы это образование получить. Не в этом дело. Кто сам не повкалывал, тому рабочего человека не понять. Сразу курилкой попрекнул. Замечание, чего там, правильное. Но не такое первое слово Парфен хотел услышать от главного инженера. Сказал бы прямо: «Валяйте-ка, ребята, в цех, покурили — и хватит». А то в обход, с выкрутасом: «Много курить вредно. И для себя и для производства». Значит, душа непрямая, с загогулинами. На что уж вредный был Казначеев и тот не ходил ночью проверять исподтишка. А этот приперся, как будто без него фабрика остановилась бы.

Парфен вспомнил слова Сеньки Шадрина: «Кончились твои шуточки!» — и нехорошо стало у него на душе. Барометр (так Парфен называл свое сердце) еще не подводил его. Да шут с ним, с этим новым главным! Детей ему с ним крестить? Не он первый, не он последний. Перебывало их тут, этих инженеров, всяких. Какой дорогой они приходили, той и уходили, а Парфен работал себе потихоньку. Станки есть станки. Ему без них никуда, а они без него — фабрика не фабрика.

Конечно, неспроста прислали нового инженера: вот уж три ме-

сяца подряд с планом срыв. Поползло по швам «бабское производство». Почему «бабское»? На спичечной фабрике, как на ткацкой, в какой цех ни сунься — женщины. В коробочном, набивочном, упаковочном... ‡

Войдя в цех, Парфен прислушался к работе станков — музыка привычная: стук да гром на все лады. Он по одним движениям локтей улавливал, у какой станочницы работа спорилась, а у какой заклинка.

Вот за станком стояла Проня Пашаева в красной косынке. Локти у Прони круглые, с ямочками, да и вся Проня пухленькая, как сдобный пончик. Ее так в цехе и прозвали — Проня Пончик. Ей уже за сорок, но поворачивалась она проворнее молодайки, ямочки на ее локтях то появлялись, то исчезали. Выработывала Проня Пончик больше всех из станочниц. Чистыми в месяц полторы сотни на руки получала. И жила Проня одна, замуж почему-то не вышла. Была бы неспособной к семейной жизни, а то и с ней недавно случился грех — забеременела неизвестно от кого. На пятом-то десятке! Сама поражалась: «Ой, людечки, откуда это у меня? Чи ветром надуло? Я ж уже старая». Родила сына и теперь не могла нахвалиться: такой хороший мальчик рос, рано и ходить и разговаривать начал. А станок Проня, пожалуй, не хуже Парфена изучила. Если что-нибудь очень серьезное стрясется, тогда на помощь звала. И работает на фабрике не так много — третий год.

А вот Каролина Бабкова раньше ее в цех пришла, но до сих пор с малейшей неполадкой сама справиться не может. Чуть что случится — сразу же кричит: «Парфе-е-ен!» Она так и кричит: вместо «ё» — «е», и с такой визгливой протяжкой, точно ее режут. И сбавляет голос, когда Парфен подходит к ней: «Погляди-ба, чтось тут у мене...» Каролина Бабкова из Белоруссии, и ее речь — сплошная мешанина белорусского языка с русским. Интересная бабенка. А когда зарплата подходит, то удивляется, чего это у нее меньше всех заработок. Потом в бухгалтерию бегаёт, докапывается, пока не убедится, что ее не обсчитали.

Не одна в цехе такая станочница, как Каролина Бабкова. Нелегко с ними сладить, вообще с женщинами. Иная как подымет хай — затыкай уши и уходи. Однако Парфен сам удивлялся, как это у него получалось, что даже самые неговорящие быстро обтесывались возле него, укрощали свой нрав. Говорили потом, что им никого, кроме Парфена, не надо, что лучше его и как слесаря и как человека нет.

Парфен смущался от этих похвал, старался казаться сердитым. Но женщин не проведешь. Они за версту чуяли его доброе сердце. Многие из них работали с ним не один год, вместе ездили на работу и с работы. Некоторые жили на одной улице, а Фаина Халявкина — его соседка. И уж тут от нее ничего не скроешь. Увидит во дворе, поздороваётся через забор приветливее некуда, а у самой ох и ухмылочка! Денег занимать придет, прикинется такой бедной да несчастной, а глазами по углам шарит: на чем его семья спит, на чем сидит, что ест, что пьет, во что одевается и обувается.

Парфен пошел дальше по цеху, присматриваясь к станочницам. Только у Прони Пончик была косынка яркая, краснее красного, и у Фаины не то голубая, не то синяя, подлиняла от стирки, да у двоих новеньких — у одной ярко-желтая, у другой оранжевая. У остальных то серые, то темно-серые, под пыль.

Когда Парфен поравнялся с Фаиной Халявкиной, та, не отрываясь от станка, коротко взглянула на него:

- Твоя Эмма просила передать, чтоб не задерживался утром.
- Чего?
- Ей в больницу надо.
- А, в больницу...

Парфен представил жену с набухшим животом, точно в него вложили арбуз. И от всего того, что было связано с этим животом, у Парфена потеплело на душе. Скоро еще один маленький человек войдет в его семью. Кто будет этот человечек? Опять дочь?..

Как складывается семейная жизнь? Женится Парфен поздновато: девятнадцать лет стукнуло — в армию, там четыре года морской службы (это сейчас три года служат!) да после демобилизации еще почти четыре года прохолостяковал из-за Берты Минашкиной. Была у него такая до армии. Уже невестой своей называл. В одной школе учились. Только она на класс ниже. До семи дотянула и шарахнулась от школы, в медицинский техникум поступила. Уходил Парфен в моряки осенью — сорвалась с учебы, приехала. Провожала — плакала, ждать обещала. Четыре года переписывались. Любовь до гроба. На третьем году службы прикатил Парфен в отпуск — дали за отличную боевую и политическую подготовку. У Берты — летние каникулы. Десять дней их водой не разлить. Ходили в обнимку. Парфен своими клешами улицу подметал, в парк да из парка, вся пыль — его. Случилось Берте одной дома ночевать, и Парфен — к ней. Ночь пролежали на одной койке — не тронул. А Берта за месяц до его демобилизации тайком за другого вышла. За военного. Офицера. И уехала с ним на Дальний Восток. Вот так. Пожалел — другому досталась. А красивая была эта Берта Минашкина!

Попереживал Парфен, никак простить себе не мог. Упустил — поздно локти кусать. «Душа мягкая», — оправдывался он. Так и холостяковал со своей «мягкой душой». Присмотрит девицу, походит с ней неделю — и отвал. Ни одна не нравилась после Берты. А чтоб путаться с кем — нет, не позволял себе этого. Летом как свечереет — так в парк с такими же, как сам, «старыми холостяками». Выберут потемнее лавочку, подальше от танцплощадки, вечер на ней и просядут. А зимой в клуб. Заберется Парфен поглубже в толпу и выглядывает из-за спин — он не умел танцевать. Не один вечер просто-ял так, покуда не высмотрел Эмму Авдееву, светловолосую, длинноногую десятиклассницу. Не сразу подошел к ней. Как только танцы кончатся, увидит, что Эмма вперед пошла с подругами, тут же следом за ней. Сзади и крадется вдоль заборов. Убедится, что спать пошла, калиткой лягнула, — и лево руля, полный вперед. В шесть вставать да ехать на смену.

Эмма сначала завоображала, когда дозналась, что Парфен за ней по пятам ходит: «Он на восемь лет старше меня, а я молодая да красивая!» Потом то ли поиграть с ним решила, за нос поводить, то ли еще какие мысли в голову ей пришли, но получилось так, что узелочек завязался. Кончила Эмма десять классов, дальше поступать никуда не захотела, проходила лето на танцы, нагулялась, а осенью пошла на мебельную фабрику. В клеильный цех устроилась — в «клейку». Поработала, а на Новый год за Парфена замуж вышла — сдалась.

Жила Эмма одна с матерью, и Парфен сразу же после свадьбы перебрался к теще: у его родителей хатка была маленькая — кухня да комнатка.

Полгода Парфен прожил — тещину хату не узнать. Стену подлатал, ставни голубой краской обновил, крышу перекрыл, веранду со двора пристроил. Под верандой — погреб кирпичный. Зимой на мороз

теперь не выскакивать, дверь из комнаты открыл, люк в полу приподнял — и ныряя вниз по лесенке за квашеной капустой, солеными огурцами, помидорами. Ворота крен дали — новые поставил. Все сам. Эмма выписала на мебельной фабрике горбылей — он всю усадьбу забором обнес. Весна пришла, молодые яблони посадил. Через пять-шесть лет — свой урожай яблок.

И в материальном отношении быстро обросли. Телевизор купили — теперь и у них над крышей антенна торчит! — стиральную машину, и радиолу, и кресло-кровать, и шифоньер за сто двадцать, буфет кухонный. Да одежды насправляли, в Ленинград съездили, Эмме одно пальто подобрали, Устиновне, теще, другое, ему, Парфену, штаны, рубашку полушерстяную. Еще поработали — и «Ковровца» приобрели. В раймаге давно стоял такой небесного цвета. На одного его, черта, теща со своей пенсии выложила, Эмма на работе перехватила, на книжке сколько денег было — все пошли. Год потом выкручивались. На весну кабанчика купили, лето продержали, осенью, как морозы стали, подвалили — куда как полечало. Худо-бедно, а пудов шесть набрали чистого веса. Непокупное.

«Ковровец» себя уже сто раз оправдал. Грибная пора подойдет, Парфен коробку на багажник — и в лес. Груздей привезет, на грибоварочный пункт сдаст — небольшая, но прибавка к зарплате. И за ягодой в выходной с Эммой мотанется на старые порубы, земляники, черники — ешь не хочу. А то картошку с поля привезти надо, Парфен на мотоцикл, пять минут — и она в доме. Не на себе мешок тащить. На то и век техники.

Обзавелся он к тому же ружьем, собакой, стал заядым охотником. Нежирно, конечно, но с десятков косых Устиновна за зиму ступит с картошкой. Да лося или секача по лицензии с охотниками отстреляют, если мясного, то в столовую сдадут, а спортивного — себе; каждому равный кусок.

Короче говоря, перед людьми Парфену не стыдно. Наоборот, все завидовали и завидуют. Дружней его семьи нет.

Эмма и до беременности ходила полненькая — у плохого мужа жена не растолстеет. Куда девались ее длинные ноги? И невысока теперь, под стать Парфену, не то что до замужества: идет, бывало, тонка, стройна, как дикая коза. Да еще бойка, остра на язык, сыплет словами, как горохом, налево и направо.

Это у нее и сейчас осталось, за мужа она везде горой, отщепет языком любого, не рад будет, что зацепил. А вот внешнестью не узнать прежней насмешницы. И про разницу в возрасте думать забыла. Однажды вспомнила в компании: «Я когда за своего Парфена замуж выходила, говорила: ой, да он же старый! А пожили, сравнялись, вроде так и надо. Молодая во дура была!» — и постучала себя ладонью по лбу.

Так уж не бывает, чтобы десять лет вместе прожить — и ни сучка ни задоринки. Возникали и у них трения из-за детей. Первый год прожили в свое удовольствие. На втором году Эмма родила Парфену девочку. А он хотел мальчика. Такая уж у мужчин слабость. Но вида не подал: не последний в семье ребенок. Таил надежду, что вторым обязательно будет сын. Через три года Эмма опять родила. Парфен с охапкой георгинов прикатил на такси в роддом, а ему сюрприз — сразу две девочки.

Трое детей в семье — это уже не шутка. Ради мальчика можно было рискнуть и на четвертого. Но кто знает, что четвертым будет мальчик? К тому же Эмма заявила: «Нет, это все, последние. Этих прокормить да одеть попробуй».

Она назвала двойняшек: одну девочку — Верой, другую — Любובью: мол, будет у нас Надежда (так звали первую дочь), Вера и Любовь. Парфен махнул на это рукой: ему теперь все равно. Но вскоре Вера заболела и умерла, а Любовь выжила. Парфен не знал, то ли ему огорчаться, то ли радоваться: двое детишек — это еще туда-сюда. Снова появился шанс на третьего. На мальчика. Хотя один, но шанс.

Сейчас Надя ходила в четвертый класс, Любочке исполнялся шестой год, а Эмма тяжелела с каждым днем. Скоро должна уйти в декретный отпуск. Отправляясь на работу, Парфен посматривал на ее живот, довольный, твердо уверенный, что теперь уж будет сын.

Семейная жизнь Парфена снова выпрямилась, пошла гладко. Даже с тещей — на что уж плохо о тещах думают — у него во всем мир. Спроси его — не вспомнит, когда они конфликтовали. Устиновна и обед сварит, и постирает, и на смену соберет. И за детьми кто, кроме нее, присмотрит?

Возле Фаины Парфен постоял подольше, понаблюдая за ее локтями. Сегодня у нее все валилось из рук: мужу мало было воскресенья для пьянки, еще понедельник прихватил. Дома что ни творится, а на работе Фаина норму дай. А легко ли ей после синяков? Нет, не поймет этого новый главный, не учует. А надо, чтобы понял, учуял. Иначе как же жить и работать с людьми, над которыми поставлен?

Пройдя весь ряд станков, Парфен выглянул из цеховых дверей во двор фабрики. Над приозерным лесом, что чернел за фабричной оградой, уже засветлела полоса. Выше этой полосы небо было еще ночным, в сплошных тучах. Хотя бы где-нибудь прорезалась звездочка.

Парфен знал, что с наступлением полного рассвета этих туч несколько не уменьшится, а, наоборот, прибавится. Потянет таким сквозняком, что и в телогрейке зуб на зуб не попадет. Того и гляди пойдет дождь. Весна свое возьмет, не успеешь оглянуться, как ни автобусу, ни машине не пробиться. Тогда смазывай сапоги дегтем и шлепай, Парфен, в сутки по десять километров туда и обратно — около месяца. Тут уж одна надежда на собственные ноги. Зимой в заносы можно еще на лыжи стать. Как ни сечет ветер с морозом, как ни проваливаются лыжи в снег, но если часа за два до смены выйти из дому, пропустят на проходной — успеешь. А в грязь осеннюю или весеннюю — по охотничьим тропам... У мужчин сил больше, а как женщинам? Хорошо тем, кто в Синезерках живет, при фабрике. Работа рядом. Думать, как добираться, не надо. Пять минут ходьбы — не так и велик рабочий поселок. А остальным со всей округи — и из Усовья, и из Лисьих Гор, и из Соснового Бора — сплошное мученье.

Парфен хотя и в городе живет, но этот город — одно название. Бывший районный центр. Всего-то и торчит в нем одна труба — мебельная фабрика, на которой Эмма работает. Но мебель и есть мебель, Парфену технику дай. Вроде и мелочь — спичка, а производство посolidнее. Жить можно. Хватит ему этой работы на всю жизнь. Смену отпахал — и домой. К жене. К детям.

К ночной смене только Парфен никак не привыкнет. Казалось, долго простоял на фабричном дворе, а взглянул на часы — десяти минут не прошло. Какой была рассветная полоса над приозерным лесом, такой почти и осталась. Длинный, нескладный в марте рассвет.

И Парфен даже обрадовался, когда у новенькой станочницы Нелли Юдиной, молоденькой девушки, заело в станке: за работой время шло быстрее.

Девушка стояла тут же возле него, переживая за случившееся.

А чего стоять, кусать губы? На то и станки, чтобы ломались. Стань за каждую поломку переживать, так тебя, девонька, надолго не хватит. Тебе еще жить надо, с парнями целоваться, замуж выйти, детей нарастить.

— Не рви сердце,— сказал Парфен ей ласково.— Иди покури.

Те станочницы, которые хорошо Парфена знали и не раз это слышали от него, не замедлили бы ответить: «Курилку для нас не построили!» — или еще что-нибудь в таком духе. Но Нелли Юдина замусуцалась и от станка не отошла. Так и простояла не поднимая глаз и не дыша, покуда Парфен не закончил ремонт. А тут и новая смена в цех ввалилась со свежим шумом.

Парфен кое-как отмыл руки от машинного масла — всего-то и лежал в раковине измылочек. Вытер их о штаны, причесался обломком расчески перед оконным стеклом, замалеванным с улицы белой краской, присмотрелся к лицу. Вид, в общем, ничего, не сонный, лишь щетина пробилась за ночь. Ну да сойдет, она у него непородистая, кустик здесь, кустик там.

В его распоряжении еще час: квалификационная комиссия заседала с десяти. Можно бы сходить в фабричную столовку, но в кармане не было ни копейки. Не предусмотрел он такое дело. Кто знал; что придется остаться после смены.

Тут Парфен вспомнил, что жена просила не задерживаться с работы. А раз просила — значит, дело серьезное. Больница. Пэ пустякам Эмма не станет просить. И приспичило главному с этой переаттестацией! Как-то так всегда получается, что тебе нужно одно, а тут преподносят другое. Вертись между двух огней. Пойти отпроситься? Мол, так и так, жена беременная... Человек же он, поймет.

Парфен заторопился к проходной: если главный инженер сейчас отпустит его, то он еще успеет на фабричный автобус. Явится домой в самый раз. А завтра приедет на мотоцикле и сдаст на разряд. Хотя и опасно по такой дороге на мотоцикле ездить, но ради этого рискнуть можно. На охоте, бывало, не в такие переделки попадал. Туда ты на нем едешь, а оттуда он на тебе: заглохнет или метель такая повалит, что за полчаса снега — по колено. Вот и катишь в руках. К вочи домой догребешься, сто потов с тебя сойдет.

Пока Парфен соображал, где искать инженера — в конторе или в цехе, куда тот мог с утра убежать, мысль отпроситься обкаталась в его мозгу и теперь казалась неподходящей. Новый инженер, конечно, может отпустить, но подумает, что Парфен просто пошел на уловку, чтобы улизнуть сегодня от переаттестации. Не такой он человек, чтобы взять вот так и поверить слесарю. Об этом он прямо не скажет, но подумать подумает. Подумает, что Парфен испугался переаттестации без подготовки. Пусть лучше Эмма там, дома, выкручивается как-нибудь без него, отпрашиваться он не будет.

Парфен вышел на фабричный двор, оглядел небо. Как он и предполагал, погода и сегодня была никудышная: все затянула ледяная морось. Появились новые лужи, обнажилась из-под снега куча металлалома под стеной сушильного цеха, резче зачернели россыпи шлака, которым посыпали зимой двор. Ветер хотя и не набрасывался из-за каждого угла, но был холодный, северный.

Поежившись, Парфен направился через проходную к конторе — вход в нее был с улицы. Гоп-компания уже собралась там. Сенька Шадрин стоял на крыльце, облокотившись о перила, как бы зажав ладонями уши, старался попасть плевком в кусок кирпича, втаявший на стезжке в лед. Аристарх Гребенников, широко расставив ноги, подпирал плечами дверной косяк. Глеб Кершанок мыл сапоги в луже возле крыльца. Жорка Матвеев и Филимон Меньшиков — эти тихони

зябко стояли в уголке коридора, сразу у дверей, выглядывая на улицу. Один Порфирий Плутархов ходил по крыльцу, разминая больную ногу. Он остушился в воду, когда шел сюда, и теперь в его калоше при каждом шаге сипло похлопывало. Порфирий волновался больше всех и старался скрыть это ходьбой.

— Оботри иголку: больно твоя музыка сырая, — сказал ему Сенька Шадрин, попав наконец плевком в кирпич.

Порфирий лишь жалко улыбнулся в ответ. Он всегда жалко улыбался. Нарвался он однажды на мотороллере на автоинспектора, тот его отчитывает, права требует, а он только жалко улыбается. «Ты что, чокнутый?» — вышел из себя автоинспектор. После этого случая Сенька Шадрин и Аристарх Гребенников пройти Порфирию не давали, подначивали: «Покажи, как ты инспектора до истерики довел. Ну, покажи!» Порфирий зажимал рот, стараясь сдержать улыбку, но она все равно прорывалась. А Сенька и Аристарх лопались от смеха: «Олег Попов! Ну, точно Олег Попов!»

Они и сейчас вспомнили про этого «Олега Попова». Сенька Шадрин зашел Порфирию сбоку, примерил на его голове кепку. Аристарх Гребенников прихлопнул ее ладонью.

— Давай мы тебя первого пустим, ты комиссию рассмешишь, потом уж мы зайдем под настроение! — больше, конечно, для храбрости шутил Сенька Шадрин.

— А то они не знают, кто я.

То, что Порфирий Плутархов не умел отозваться на шутку, сразу нагнало на всех тоску. Филимон Меньшиков попробовал поправить дело, но заикнулся на первой же букве и конфузливо замолчал.

— Ну куда ты лезешь! — тотчас воспользовался этим Сенька Шадрин. — Твоим языком только конверты на почте заклеивать!

— Как ты на разряд сдавать будешь? — подключился к разговору Глеб Кершанок, взойдя в вымытых сапогах на крыльцо.

— Ты им, Филимоша, побольше заикайся! — посоветовал Аристарх Гребенников.

— Ему и так поставят! Это нам просто не открутиться.

В это время из кабинета главного инженера, где заседала квалификационная комиссия, вышел Тихон, махнул слесарям рукой.

Первым почему-то кинулся Глеб Кершанок. Уж его Парфен знал с потрохами: на рожон Пшениник никогда не полезет, а выждет, посмотрит, как другие. Не терпелось и Порфирию Плутархову. Но этого понять можно: разволновался. Филимон Меньшиков и Жора Матвеев дисциплинированно стали за Аристархом Гребенниковым и Сенькой Шадриним.

Парфен подошел к дверям кабинета последним. Тихон пока никого не впускал, закрывал дверь спиной, глядя в список, и Парфену еще не поздно было попросить ребят пропустить его без очереди. Но он совестился, смотрел на мастера, надеясь, что тому как-то, быть может, передастся его желание. А Тихон ничего вокруг себя не замечал, кроме списка, потом оторвался от него и, пятясь в дверь, объявил:

— Ну, заходите, только по одному, не все сразу!

И первым в кабинет инженера проскользнул Глеб Кершанок. Хоть и толстый, а тут шмыгнул как вьюн.

Парфен постоял еще немного и тихонько повернул из конторы. Это уже часа на два рассчитывай. Лучше он это время по улице ходит.

Перейдя дорогу к фабричному скверу, Парфен остановился перед памятником Ленину. Летом его не сразу и заметишь среди густой зелени. А зимой от самого железнодорожного переезда он виден

сквозь голые деревья. Стоит, показывая рукой на выкрашенные серебряным ворота фабрики, словно приглашая: добро пожаловать в цех, товарищи рабочие! После метели столько на плечах снега держит, что, будь живой, и не устоял бы на ногах. Так вот подошел бы и подержал за него снежную ношу.

Но сейчас на памятнике снега не было. Он весь растаял. В сквере снег еще лежал сплошь, а здесь, вокруг памятника, уже обнажились кустики пожухлой травы. И увидев их, Парфен почему-то заволновался. Что в них, в этих отмерших травинках? Ведь до первых зеленых иголок, которые пробьются между ними, было еще больше месяца.

Парфен собрался пойти дальше, как в воздухе промелькнул серый комочек, чуток взял вверх и сел на памятник.

Воробей!

Рука Парфена машинально потянулась к снегу. Но снежок ведь мог попасть и в Ленина!

— Кыш! — негромко проговорил Парфен, взмахнул руками. — Кыш!

Воробей оказался настырным и не улетал. Или, быть может, ему было просто не до человека. Зимой, бывало, идешь в морозный день серединой улицы, а эти воробьи возле конских катышей прыгают, так близко подпустят, что хоть руками их лови. Отлетят немного, потом снова к катышам. А здесь и расстояние вон какое: до заборчика, которым огорожен сквер, метров пять да там по скверу до памятника раза два по столько.

Парфен, оглядевшись, нет ли кого-нибудь поблизости, полез к заборчику, проваливаясь в снег до самой воды, которая скопилась под ним. Он уже занес одну ногу через заборчик, а другой нащупывал, на что бы опереться — где-то тут под снегом была жердинка, — как услышал за спиной голос Глеба Кершанка:

— Глянь, ты что тут делаешь?

Воробей возьми да и слети с памятника, и не куда-то там сразу бы юркнуть за деревья, а пролетел прямо над головой Парфена, так что и Глеб Кершанок проводил его взглядом.

Вернувшись по старому следу на дорогу, Парфен вытер руки о полы телогрейки, кивнул в сторону сквера:

— Да вот вишь...

Глеб Кершанок заинтересованно посмотрел туда, но ничего не понял.

— Что «вишь»?

— Ветки на тополях... Вроде бы еще рано, а смотри ты...

Ветки молодых тополей и вправду были уже весенними, зелено-желтого цвета, с удлинившимися почками. Мокрые, они покачивались на ветру, роняя в рыхлый снег крупные капли.

— Ну и что? —нисколько не удивился Глеб Кершанок. — Это и отсюда видно. Чего лазить по снегу? Сапоги, что ли, казенные?

— Хотел сломать несколько веточек дочкам. В банку поставят, через три дня в хате — весна.

— Не мог зайти через калитку? — Глеб Кершанок все еще в чем-то заподозривал Парфена. — На то калитка есть.

— Далеко обходить. А через забор раз — и там. Ну, а ты как, сдал?

— Только страху нагнали! Лично у меня инженер ничего не спросил. Тихон хотел засыпать, да не вышло у него. Сам тупой, как сибирский валенок, а другого готов в ложке утопить. Ну, толстая морда, погоди! Я тебе устрою!

Глеб Кершанок погрозил кулаком на окна конторы, свернул с дороги на стезжку, которой он ходил домой.

— Остальные как, ничего? — уже вдогонку спросил его Парфен.

— Да ничего, все спихнули. Там сейчас Филимон последний сидит, заикается им. Ты иди, иди, а то дуться будут!

Возле крыльца конторы Парфена встретил Аристарх Гребенников:

— Что тебе сейчас Пшеник сказал?

— Сказал, что сдал.

— Ха, сдал!

— А что?

— Те наши двое из фабкома и даже Тихон еще по-божески отнесли, а инженер почему-то с первого раза его невлюбил. Ну и срезал. Долго ли умеючи? Пару вопросиков подкинул заковыристых — и Пшеник наш ни бэ, ни мэ, ни кукареку!

— Какой же ему разряд дали?

— Погоди, дорасскажу. — Аристарх Гребенников раскатисто хотнул. — Пшеник видит, что пропал, бух перед инженером на колени: пожалейте, Христа ради, у меня жена, мол, не при своем, чокнутая, детки еще малые, кормить, одевать, обувать надо, совсем я замаялся с такой семеечкой, недосыпаю, недоедаю, с ног валюсь, бледный да худущий. Ну, тот сжалился над ним, поднимите, говорит, его, я лежачих не бью. Оставьте ему старый разряд. Пшеник услышал это, от радости сам подхватился да ходу, пока те не передумали. Пронесся по коридору, точно ему там в зад реактивный двигатель вставили.

— Это ты складно придумал, — улыбнулся Парфен.

— Ребята подтвердят, мы в замочную скважину подглядывали.

— Разогни немного.

— Ну, на коленях он, может, и не стоял, а что разряд выпросил, это точно! Сенька вот не унижался, так ему и скостили.

— Это правда, Сень? — Парфен сочувственно посмотрел на него: еще час тому назад был парень с седьмым разрядом, и вот стоило ему сходить за ту дверь, как вышел оттуда с шестым. — Как же ты, а?

— Как же, как же! — огрызнулся Сенька Шадрин. — Сходи туда сам, тогда узнаешь!

— Ты не психуй, никто тебе не виноват, — вмешался Аристарх Гребенников. — Не надо было с ним спорить.

— С кем это?

— С главным. Если уж засыпался, поправляют — слушай да подкивай. А ты в бутылку полез!

— Чего после драки кулаками размахивать? Через месяц пойду, на какой хоть сдам, подумаешь! Да любую бабу за день можно поднатаскать. А я что, рыжий?

— Вот это другой разговор, — поддержал Парфен. — А то обидно будет: работу одинаковую делаем, а получать — один больше, другой меньше.

Подшли Жорка Матвеев и Порфирий Плутархов, счастливые: сдали на разряд.

— Филимона что-то долго держат, — сообщил Порфирий Плутархов. — Час уже, если не больше, сидит.

— Известно: пока позаикается... Наверное, петь заставляют.

Наконец из кабинета главного инженера вышел задом Филимон Меньшиков, потный, красный, но сияющий.

— Ну, сдал? — спросил его Аристарх Гребенников.

— С-с-с...

— Все ясно, можешь не продолжать. Поздравляю!

Аристарх Гребенников дурашливо потряс Филимону руку.

В коридор вдруг вышел главный инженер.

— Меньшиков! — позвал он. — Возьмите свои листки.

Сенька Шадрин присвистнул:

— Теперь нам понятно, почему наш Филимоша столько там сидел. Пока «сочинение» им написал...

— Кто еще у нас остался? — оглядывая слесарей, спросил главный инженер.

Парфен молча двинулся к нему, лишь проскрипели под ногами разошедшиеся половицы.

— Мы тебя ждем... У киоска, — многообещающе шепнул ему вслед Сенька Шадрин.

Но Парфен уже ничего не слышал, подошел к главному инженеру, и тот пристально взгляделся в него.

— Это вы и есть Локтионов?

Парфен понимал, что надо было что-нибудь ответить, но не смог и языком шевельнуть. Вроде бы и мелочь для него переаттестация и нового главного инженера не так уж заужавал, чтобы робеть перед ним, а тут на последней минуте спекся.

А главный инженер снял очки и близоруко, по-стариковски — и это при его молодости выглядело забавно — прищурился:

— Ну-ну, заходите!

Парфен валко шагнул в кабинет, остановился у порога, сцепил за спиной руки.

Ему и раньше приходилось бывать в этом кабинете, который передавался «по наследству» от одного инженера к другому. По разным приходил сюда Парфен делам, но по производственным ни разу. Так что вспоминал он о кабинетах лишь тогда, когда прижимала его личная нужда. Случилось крышу на сарае перекрывать — где щепы взять? На фабрике, где же еще! Сунулся он к главному инженеру — отказ. Он к коммерческому директору — отказ. Осмелился — и к самому директору фабрики. Выписали. Опять же погреб надумал сложить кирпичный, без цемента — никуда. Пошел просить, да ни в какую. Все как один. Даже директор фабрики на этот раз отвод дал: дескать, наша фабрика не контора по снабжению. Последний раз Парфен был в кабинете не помнит уже когда. Года три, а то и больше не заглядывал.

Однако какими бы ни были не похожими друг на друга все прежние инженеры, обстановка в кабинете ни при одном из них нисколько не менялась. А этот и мебель всю перепряс в один день: длинный стол выбросил, а поставил покороче, такой, какие выпускала Эмина фабрика.

За ним и сидела сейчас квалификационная комиссия: двое из фабкома — Трушин, «профсоюзный бог», и Подлегаев, его помощник, работник отдела кадров, оба протершие на этих должностях не одни штаны. Сидели Трушин и Подлегаев на месте главного инженера рука об руку — за столом не развалишься, как в кресле. А были они дяди с комплекцией. Тихон, хотя и моложе был в два раза, а места занял не меньше ихнего — всю узкую сторону стола на одного захватил. Расставил по углам локти, подпер ладонями тяжелый подборонок.

Трушин и Подлегаев посмотрели на Парфена заинтересованно, как и положено членам комиссии, ждущим, что хоть этот, следующий, порадует ответом. Тихон же поглядел на него исподлобья, как бык.

— Чего стал? Проходи, Парфен, садись, — пригласил Трушин. — Первый раз нас видишь?

Перед столом инженера на расстоянии метра — глаз у Парфена точен — был поставлен стул, на который, это же ясно, и должны были садиться все те, кто попадал под переаттестацию. Тут ты весь на виду, как на островке, с головы до ног оглядят тебя и Трушин, и Подлегаев, и Тихон, и новый главный..

Этот главный вдобавок отошел к окну, чтобы еще лучше видеть оттуда, подкинуть потом каверзный вопрос. Не иначе как для этого он и место свое за столом уступил Трушину и Подлегаеву, а сам все время на ногах.

Парфен тяжело прошел вперед и сел на стул-островок, до пота сжал кулаки, положил их на раздвинутые колени. На Тихона и главного инженера он изо всей силушки старался не глядеть, а уставился прямо в глаза Трушину и Подлегаеву. Только на них — Парфен со стыдом понял это лишь сейчас — он мог еще надеяться. Эти двое из комиссии знали и ценили его больше, несмотря на то, что у него с ними и бывали стычки — проработай столько на одной фабрике!

И когда Трушин и Подлегаев уже собрались что-то спросить у него, в этот самый момент главный инженер слегка приподнял руку, остановил их.

— Вообще-то вы можете идти.

Те с недоумением оглянулись на голос инженера.

— Что вы сказали, Василий Степанович? — переспросил Трушин, как будто он ослышался.

— Я сказал: вы можете идти.

— Я?

— Все трое.

Трушин, Подлегаев и мастер Тихон закопошились, собирая на столе бумаги, с какими они пришли на переаттестацию, хотя собирать там было нечего. Трушин с Подлегаевым вышли из кабинета первыми, сочувственно обойдя Парфена. А Тихон и тут скопился на него: «Задаст он тебе без нас!»

Когда кабинет опустел, главный инженер не спеша вернулся к столу, отставил в сторону стулья, на которых сидели до этого члены комиссии, оставил только один, сел на него — наконец-то почувствовал себя в кабинете полным хозяином.

— Да вы пододвигайтесь к столу, — проговорил он так, словно скованность Парфена раздражала его.

Придерживая под собой стул, Парфен подсунулся на половину расстояния, на котором он сидел от стола, но не расслабился, а все в том же напряжении выставил на коленях кулаки.

— Поближе, поближе! — не удовлетворился этим главный инженер. — Как вас по отчеству?

— Тимофеич...

— Тимофеевич? Ну вот что, Парфен Тимофеевич, думаю, что на разряд вы знаете. Говорят, с избытком. Так что экзаменовывать вас я не буду, а...

— Почему же? Я могу и сдать... Как все, так и я.

Парфен собрался решительно выложить кулаки на стол: дескать, я готов отвечать, задавайте вопросы.

— Член партии? — спросил главный инженер.

Парфен, не поднимая головы, передернул плечом.

— Вы, значит, уже восемнадцать лет на фабрике работаете?

— Восемнадцать...

— И все слесарем? Пора вам переходить в мастера!

Парфен часто-часто заморгал глазами. Вся усталость после ночной смены сразу навалилась на него, придавила его к стулу, не мог он шевельнуть ни рукой, ни ногой; горько и вязко сделалось во рту.

— Чего же вы молчите? Ну, вы-то сами хотели бы быть мастером?

— Не знаю...

Главный инженер прицокнул языком, посидел с открытым ртом не дыша.

— Это, конечно, хорошо, что вы не рветесь, как говорят, в дамки, но... Как вам сказать? Разве у вас никогда не появлялось желание расти? Да, расти,— повторил он.— Претендовать на должность, на которой, разумеется, вы себя оправдываете, ничего заторного нет. Одно ваше согласие — и завтра же будет приказ.

— Так быстро? — удивился Парфен.

— А чего тянуть? Если вы сейчас вот все взвесили... Я понимаю, вас может смущать тот факт, что оклад мастера несколько ниже заработка слесаря. Но мастер при условии выполнения плана получает премиальные и в общей сумме у него может выйти не меньше, а зачастую больше.

— А почему мастеру такой оклад?

— Ну, это понятно. Мастер в первую очередь должен быть заинтересован в выполнении плана. Это вы имейте в виду. Теперь и вам придется кой с кого спрашивать.

Парфена враз распрямило изнутри, все в нем вдруг стало на свое место: окрепли и напряглись мышцы, душе сделалось снова свободно, а голове ясно, так, как он всегда чувствовал себя слесарем-наладчиком, незаметным в массе таких же, как и он, простых людей, тесно слитых в одну большую, глубинную, живородящую силу. Нет, ни в какие мастера он не пойдет, нечего его с толку сбивать. С кого он станет спрашивать? С Сеньки Шадрина, Аристарха Гребенникова, Глеба Пшеника? С заики Филимона Меньшикова и Шлеп-ноги? С Жорки Матвеева или с Фаины Халявкиной? С Прони Пончик или с Каролины Бабковой? У него для этого «душа мягкая». А слесарем... Тихона он стороной обходил до сих пор и еще обойдет, а станки не люди, с ними у него давно заключен мирный договор.

Но инженеру ответил:

— Не знаю, как и быть... Справлюсь ли?

— Об этом не беспокойтесь, Парфен Тимофеевич, подскажем. Людей вы знаете, а это для нас главное. Что же касается административной части, то с Тихоном Семеновичем одну-две смены походите, и думаю, что вы эту арифметику усвоите. Потом на его место.

— А Тихона куда?

— В Советском Союзе никто еще без работы не оставался.— И главный инженер вышел из-за стола, подал Парфену руку.— Ну, так, значит, мы с вами договорились? Завтра вы мне скажете о своем окончательном решении.

— Надо подумать...

— Подумайте, подумайте, Парфен Тимофеевич! Я вас не тороплю. Ну, до свидания!

Парфен левой рукой оперся о колено, а правой выдвинул из-под себя стул и так, почти не распрямляясь, полусогнутый, направился к двери. Уже в коридоре он распрямился, пошатывающейся походкой вышел на крыльцо и жадно задышал влажным весенним воздухом.

Когда спустился с крыльца, Парфен вспомнил слова Сеньки Шадрина: «Мы тебя ждем»,— и только теперь до него дошел заложенный в них смысл.

Он огляделся по сторонам. Ему ли не знать всех тех сокровенных углов, где могли ожидать его слесари, чтобы потом в полном

сборе всей гоп-компанией двинуться задворками к «телевизору» — распивочному ларьку возле фабричного клуба, на самом открытом участке центральной улицы Синезерок. Но нигде не было видно никого. Наверное, не хватило терпения ждать. Ему еще и лучше: он и так задержался сегодня дальше некуда. Эмма уже не один раз вспомнила. Всегда ее муж смену отработал — и как штык дома. Бывали и раньше, не без этого, случаи, так это же за десять лет совместной жизни! Если два-три таких случая наберется, то и того много. Он-то их уже и не припомнит, да и Эмма постаралась забыть. Правда, один случай, если покопаться в памяти... Ну, это с Валентином Маркеловым было связано, с его лещами, а точнее с Ксенией, женой его.

Была у Парфена попервоначально с Валентином Маркеловым, тоже слесарем-наладчиком, только из другой смены, дружба. Настоящая, можно сказать, была, да вот не получилось ее, дружбы-то. И все из-за нее, Ксении. Взял ее Валентин с двумя детьми — мальчиками. Первый, «законный» муж бросил, уехал куда-то, говорят, в Сибирь, — и дело с концом. Алимента, хорошо хоть, платит, да что с того? Детям отец нужен. Вот Валентин и взял Ксению больше из жалости да сочувствия. Кто хвалил его за это, за такой красивый поступок, а хватало и языкатых: не мог, мол, себе другую женщину найти, без этого хвоста, детей то есть. Был бы уж парень никудышный, калека какой-нибудь или совсем богом обиженный, а то ничего вроде. Разве что телом худ: какой-то червь внутренний точит и точит его. Не клад такой мужчина, а все же мириться можно. А Валентин — тут он оказался молодцом — на все эти разговоры ноль внимания, фунт презрения, пока не привыкли, что он и Ксения — муж и жена. А была Ксения тихая и ростом невеличка, но хозяйка заботливая, уживчивая. И за станком расторопнее ее на фабрике не было, полторы сотни выгоняла ежемесячно. И в получку и в аванс больше мужа приносила. И уж ценил ее Валентин и берег крепко, к приемным детям относился лучше отца родного. Но страшно хотел он и своего займечь, кровненького, хоть одного ребеночка, сына или дочку, кто уж там будет. Да вот уже пятый год с Ксенией жили — пусто.

Сходилась Парфен с Валентином долго, зато, казалось бы, прочно. Нравился он Парфену больше всех из фабричных ребят. Ненахрапистый, рассудительный, мало что с виду Валентин — глист. И рыбак из него хороший. У кого нет, а у Валентина Маркелова круглый год над загнеткой лещей не две-три, так одна уж всегда низка на полпуда висит: где самый крупный лещ в речке — это весь его. Правда, все эти Валентиновы лещи керосинчиком припахивали, но не его в том вина. И до ихней речки добрались, как ни пряталась она в приозерских лесах, — где-то в другой области заводы всякую гадость сливают, а рыбе и здесь от этой гадости жизни нет. Однако какой там ни запах, а сушеный лещ с пивом — одна мечта. Посидеть вечером за домашним столом с бидоном бочкового пива, разобрать такого леща по косточкам, обсосать каждый плавничок — равного этому удовольствия не сыскать.

Позвал Валентин Парфена раз на леща, трехлитровый бидон вдвоем осушили, и за вторым Ксения в закусную сбежала, скоро для гостя. Позвал в другой раз под удобный случай, не меньше пива опростали и от лещей объедков на столе оставили. Ксения, довольная, целый тазик вынесла поросенку. А в третий раз пришлось Парфену у Валентина леща отведать, да уловил он Ксении взгляд. Понял Парфен, что это был за взгляд, дело нехитрое, пиво до доньшка добрал, леща дососал, ушел — и на том дружбу с Валентином завязал. А тот до сих пор в толк не возьмет, с чего это он отвернулся так круто. Как встретит на улице или на фабрике, так с вопросом:

чем он его обидел? Да ничем. Что еще Парфен ему ответит? Желудок, похоже бы, от тех лещей приболел... А жена Маркелова, Ксения, с того раза еще тише да сумнее стала. Уже и руки ее у станка опускались, и заработок ее сразу упал ниже среднего. И лишь нет-нет да и зыркнет на Парфена все тем же взглядом из-под зеленой косынки, когда тот по цеху пройдет. А уж если станок забарахлит, сама справиться не может, позовет его и, покуда он ремонтирует, ни заговорить с ним, ни дохнуть на него не смеет.

Вроде бы и знали об этом только он, Парфен, да она сама, Ксения, а вот как-то передалось все это Эмме. Учужала же она поди объясни как. И молода была тогда его Эмма, любовь их была еще в самом разгаре, не должна бы учужать. Это теперь пригляделись друг к другу, глаз поострее стал. Что сейчас вспоминать? Парфен-то перед женой чист остался как стеклышко. И перед Валентином его совесть спокойна. Вовремя он отдал концы, лег на другой курс. Малость все же замутилась вода за «кильватером» — пошумела в то время Эмма, но так и не узнала ничего.

Надо вот думать, как теперь домой добраться. Не в больницу бы Эмме, можно было б и не спешить. Как-нибудь пережила бы этот случай. Не без причины же застрял он здесь, в Синезерках. Автобус фабричный ушел уже, а кроме него, на что еще тут сядешь да приедешь? Придется на переезде попутную машину ловить. По весне сено последнее колхозы из приозерских зазимок вывозят, пока дорога стоит, с Эмминой фабрики скоро на станцию мебель повезут, на обратном пути посадят. Не в кабину, так в кузов, а все равно возьмут. В кузове, оно известно, просифонит до косточек, покуда доковыляет машина. Да что делать? Можно, конечно, телогрейку на голову натянуть, к кабинке спиной сесть — все же затишье, терпимо; пришлось похуже — на санях, прицепленных к трактору. Скорость у трактора черепашья, ползет-ползет он, вроде старается, оглянешься назад, вперед прикинешь — как будто нисколько не продвинулись. За дорогу так одубеешь, уж и не двигался бы, замерзал до конца. Ладно, если еще клочок сенца или соломы какой-нибудь завалющейся на санях окажется. А чаще — на голых досках, обляпанных грязью да соляжкой. И за это спасибо трактористу скажешь, что хоть так доез — лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

Парфен, старательно пригибаясь, втягивая голову в плечи, прошел окна конторы, обогнул фабричный сквер и вышел на тротуар. Прошлым летом пенсионеры выложили из плитки. И этот тротуар сразу полюбили пешеходы. И Парфен полюбил. Хвалил: молодцы пенсионеры, и тут оставили о себе память. Шел сейчас и думал: «Вот бы на всех улицах такие тротуары!..»

Тротуар обрывался у газетного киоска задолго до окраины Синезерок. Здесь Парфен собрался повернуть к железнодорожному переезду. Когда он подумал об этом, а ноги делали последние шаги по тротуару, из-за газетного киоска вдруг кто-то ухватил его за рукав.

— Ты чё это от нас откальываешься? — Перед ним встал как из-под земли Сенька Шадрин. — Я караулить тебя должен?

Парфен отдернул рукав телогрейки — не цапай своими лапами. Силы — как у вола, оторвешь — ктошивать будет? Жене лишняя работа. Словно бы рассердился Парфен за такую Сенькину выходку, а сам тянул время, соображал, какую бы придумать отговорку: выпивать ему сегодня и впрямь не хотелось. И сказал первое, что пришло на ум: мол, у него нет за душой ни копейки, а на чужие он от рожденья выпивать не привык. То, что у него не было с собой ни копейки, было сущей правдой. И очень обрадовался своему безденежью, тому, что ему не пришлось врать, а нашлась веская причина.

А раз так, то не должно быть причин и для обид. И Парфен, торопясь доказать это, вывернул карманы:

— Вот, куры все поклевали!

— А мы что, бедные? — Сенька Шадрин подбросил на ладони металлический рубль. — Сегодня у тебя нет, а завтра у меня не будет, баш на баш — и квиты! А не то на том свете уголочками рассчитаемся!

Из продуктового магазина вышел Аристарх Гребенников, взопревший в очереди, но нахально счастливый: штаны его обвисали под тяжестью поллитровок, в одном и другом кармане — по «белой ловке».

— Чего это ты? — накинулся он на Парфена. — Тебя что, срезали?

— Да нет...

— Так в чем же дело? Пошли! Вот взяли парочку да Жорка со Шлеп-ногой соображают там еще одну. На шестерых хватит без Пшенника. Пшенник давно дома со своей придурочной. Ёу, идем! Чего тянуть. Такой день, грех не выпить!

— Эмма просила пораньше домой вернуться, — вспомнил Парфен еще об одной причине и опять обрадовался, что и это было сущей правдой и что эта причина была всех поважнее. — Ей в больницу надо, на сносях же она у меня.

— Хватился! Завтра в свою больницу сходит, цела будет за сутки.

Что верно, то верно: опоздала Эмма в больницу. Что так, что этак, семь бед — один ответ. Действительно день такой: переволновались за разряды.

Но все же сопротивлялся, стоял, медлил, ни да ни нет.

— Шипеть будет.

— Кто? — наморщился Сенька Шадрин.

— Жена. Кто ж еще?

— А наши не шипят? У одного тебя шипит? У других не шипят? Мы, думаешь, как сыр в масле катаемся?

— Вам не так. Вы выпили — и дома. А мне еще, — Парфен мотнул головой в сторону переезда, — пока доберешься...

— Жора тебя на своем драндулете отвезет.

— В такую погоду... Кто на мотоциклах ездит? Да и у Жорки чирей вон...

— Не пойму я тебя сегодня! Уж не в родственнички ты к инженеру записался? То-то ты больше, чем мы все вместе, там с ним секретничал!

Парфену взять бы сейчас и выложить все как есть, так, мол, и так, в мастера предложил инженер переходить. Но он лишь заспел, как бы вдруг обидевшись на Сеньку Шадрина: «За кого ты меня принимаешь? Ты ли это говоришь, Сенька?» Он собрался с духом, чтобы сказать: «Нет, давайте-ка вы сегодня уж без меня...» — но не успел: из-за газетного киоска показались остальные наладчики — Жорка Матвеев, Филимон Меньшиков и несколько приотставший Порфирий Плутархов. Попробуй успеешь за всеми, когда одна нога в калоше, никак не желает слушаться. Ты ее вперед хочешь выбросить, а она шлеп почти на то же самое место. Какая скорость — один срам. Все уже изрядно подзамерзли на продувном ветру. У Филимона Меньшикова посинели губы, точно он наелся черники. Жорка Матвеев с ушами втянул голову в воротник телогрейки, защищая от ветра чирьи: хоть и сдавливал шею моток бинта, да какое от него тепло? К тому же и привычка у Жорки выработалась — кривить шею, прятать ее в воротник. Походи столько с такой хворобой! Порфирий Плутархов поджимал под себя большую ногу, как подбитый жу-

равль,— она у него замерзала больше, чем здоровая. И лишь Сенька Шадрин да Аристарх Гребенников, хотя и замерзли, еще «духарились», старались держаться бодрячками. И все это они, выходит, из-за него, Парфена, околевали тут, за этим киоском. Какая ни есть дружба, а дружба.

И жалко Парфену стало их всех вот таких, но вида не показал, а только повеселел чуток, встряхнулся: тесноватой почувствовал на себе телогрейку, эту свою рабочую одежду.

— А снегу-то за ночь того... поуменьшилось.

Парфену нужно было сказать сейчас ребятам что-нибудь такое вот ничего не значащее, перед тем как сломиться совсем, пойти с ними.

— Весна нынче ранняя,— прибавил он.— И не ожидалось вроде. Неделю так постоит — по стежкам уж сухо будет.

И слесари-наладчики всей гоп-компанией, не говоря больше ни слова, двинулись от киоска.

— Куда? — через несколько шагов уточнил Аристарх Гребенников.— В «Бабьи слезы»?

«Бабьи слезы» — так называли они закусочную на берегу озера.

— Куда же еще? — ответил за всех Сенька Шадрин.— Не в «телевизоре» же нам эту мерзавку распивать!

До закусочной дошли переулком, чтобы на жен не нарваться, по совету Шлеп-ноги. Правда или нет, а поговаривали в Синезерках, что жена Порфирия Плутархова Ада, эта «плоскодонка», как за глаза выражался Аристарх Гребенников, частенько поколачивала своего Порфишу калошей — снимала с больной ноги и оттягивала мужа по щекам. И тот мирился с этим. А кому он будет нужен, если она его выгонит? Такой — хромой?

И, зная это, слесари жалели Порфирия, прощали ему многое из того, что другим не сошло бы с рук. Например, Шлеп-нога мог занять тройак и не отдать или тянуть год, а то и два.

В закусочную вошли смиреннькие, настороженно-внимательные. Держась тесной кучкой, сторонясь буфетной стойки, с оглядкой углубились в зал. Сразу видать, что пришли со своей выпивкой: в закусочной и водка и вино — все с наценкой. Официанткам, чей заработок зависел от выручки, такие посетители ни к чему. И будь ты им трижды знакомый — а в таком небольшеньком поселке, как Синезерки, кто кого не знал! — тебя они выталкивали вон. Могли на весь поселок ославить, а самое пакостное — женам донести. И тогда уж попадало вдвойне: и в закусочной и дома. Но за много лет слесари научились проводить за нос самых опытных официанток.

Сенька Шадрин рыцарем ринулся к буфетной стойке за лимонадом, заодно прихватил оттуда чистые стаканы. Аристарх Гребенников, как истый кавалер, направился к официантке Марусе «заговаривать зубы» — просить принести всем по котлеточке, да по горяченькой, да поскорей — страсть как есть хочется. Если же не принесет Маруся сию минуту, шестеро лучших наладчиков фабрики тут же помрут с голоду, а она за это отвечать будет. Жорка Матвеев — и ему нашлось задание — в молчаливой тоске стал в очередь за пивом, как раз открыли новую бочку. Остальные заняли места за самым дальним столом, подальше от лишних глаз.

Официантка Маруся, конечно же, покосилась на гоп-компанию, сердито двинула на стол тарелки с котлетами, чуть ли не сказала: «Нате, жрите, хоть подавитесь! Как будто дома вас не кормят!» Она знала, что ее и на этот раз обхитрили. Эти чумазные с фабрики без своей сюда не придут такой кучкой, у каждого за пазухой уже на-

грелось по бутылке. И, уверенная в этом, никуда не отходила от стола. Пусть только попробует кто-нибудь шевельнуться, достать из-под телогрейки, она и директора позовет, она и... Подымет бучу!

А слесари молча и медленно поцеживали из кружек пиво, словно им и дела не было до Маруси,— кто кого возьмет на измор. Уже и котлетки успели поприостыть, а она крутилась тут, не отходила. Ах, эти упрямые Маруси!

— Маруся, а Маруся! — Долго так выдержать Сенька Шадрин не мог.— Пиво-то кончается! А, Маруся!

— А я при чем?

— Не гневи бога, Марусенька. Еще нам по кружечке.

Сердись не сердись на этого нахала, отказываться нельзя. На то она сюда и поставлена, чтобы уносить да приносить. А они будут сидеть, набивать желудки.

И стоило Марусе отойти к буфетной стойке, отвернуться на минутку, как водка была разлита по стаканам и выпита. И тогда в ход пошли котлеты. Слесари спешили заморить червячка. Заговорили, зашумели — водка не пиво, сразу дала о себе знать.

Почувствовал и Парфен, как по телу быстро разлилось расслабляющее тепло. Вот когда все вылезло наружу: и ночная смена, и переаттестация, а главное — что он ничего не ел. На тощий желудок не гулянье. И вообще напрасно он согласился на эту выпивку. Пускай бы обижались, всю жизнь добрым не будешь. Вон они уже соображали еще на бутылку. Мало им, выворачивали все складки в карманах, не завалилась ли где монета. Наскребли по мелочи и так, чтобы не распознала их заговор Маруся, совали теперь эту мелочь Филимону Меньшикову. Кому была охота вылезать сейчас из-за стола? И, так уж водится, отыскивали среди себя послабее.

— Пусть лучше Жорка сбегает,— вступился за Филимона Меньшикова Порфирий Плутархов. Он знал, что самого его с больной ногой ни у кого не повернется язык послать, и это придавало ему смелости распорядиться другими.— А то Филимон пока выговорит в магазине, что ему надо, так за это время нас тут Маруся всех метлой разгонит.

Однако нахрапистый Сенька Шадрин в счет эти доводы не принял:

— Когда он водку просит, то не заикается!

— Да тут без сдачи! — поддержал дружка Аристарх Гребенников.— Только руку с деньгами протяни, а Дуська знает, что дать. Ей только покажи в кулаке! Только покажи!

Сенька Шадрин с Аристархом Гребенниковым и раньше верховодили, когда бы ни собиралась гоп-компания. И сегодня Филимон Меньшиков под их напором не устоял, лишь жалконько улыбнулся, зажимая в кулаке деньги, и вылез из-за стола.

В самый раз Парфену сказать бы: «Ну, вы тут сидите, ждите, если вам еще хочется, а мне некогда...» Но он выжидающе помалкивал. И тут Парфен понял, что не мог он вот так уйти, не сказав ребятам, что главный инженер предложил ему стать ихним мастером. Перед кем еще, как не перед ними открыться ему? И как они скажут, так и будет.

А до этого ли им сейчас? И всерьез-то никто не примет. Ни Сенька Шадрин, ни Аристарх Гребенников... Начнутся шутки, а шутки с этим плохи.

— А ничего он,— проговорил Парфен как о чем-то малозначительном, как сказал бы о лимонаде или хлебном квасе: ничего, мол, пить можно в жару.

— Кто это — он? — насторожился Сенька Шадрин.

— Да этот наш... новый главный.

— Не хвались женой на третий день, а хвались через три года!

— Ну, то жена, а то...

— А это еще хуже! — Сенька Шадрин, запрокинув голову, добрал из кружки остатки пива. — Был у меня, как у всех добрых людей, седьмой разряд, а стал шестой. Никто до него рот на наши разряды не разинул, а он... Дурной и не лечится!

— О чем это вы завели? — Чтобы Аристарх Гребенников что-нибудь пропустил — ни в жизнь! — О новом инженере? Нашли чем мозги засорять! Мы этих инженеров ни снимаем, ни ставим. Какого пришлют...

— Тебе-то что! Тебе он седьмой оставил! — распаялся Сенька Шадрин. — Защищай, защищай! Посмотрим, что ты потом запоешь!

— Я разве его защищаю? С этими инженерами ни мне, ни вам из одного стакана не пить. Так уж, братцы-кролики, в жизни устроено.

— Говорят, он тож повкалывал до армии, — подал голос Порфирий Плутархов. — Нашего брата слесаря знает.

— Кто это говорит? — презрительно усмехнулся Сенька Шадрин.

— Люди.

— Ха, люди!

— Все говорят, и я говорю.

— Говорят, кур доят! Да хоть и повкалывал, но то до армии! Теперь-то он на тебе отоспится. Он вчера лаптем щи хлебал, а сегодня и признавать нас не захочет.

— Ты ведь его не знаешь, Сень, — тут уж Парфен не стерпел.

— Ага! Еще один заступничек нашелся! — взвился Сенька Шадрин. — А ты его знаешь? Водку с ним пил?

— Ну, положим, не пил водку.

Парфен оглядел стол, загроможденный пивными бокалами, бутылками из-под лимонада (из-под водки бутылки составили на окно за штору), хотел добавить: «Вот так, как с вами», — но смолчал.

— Тогда чего же ты готов ему ручки целовать? — напирал Сенька Шадрин.

— Про целованье забери свои слова обратно. У меня для этого дела, Сень, жена есть. Не хуже твоей, ты это знаешь. Но человека не оскорбляй. За глаза нехорошо, Сень! Не будь бабским сплетником.

— Когда ты таким стал? — приосекся Сенька Шадрин. — Сам же про начальство любишь потравить! И не по кабинетам же ты ихним ходишь, высказываешься, а так же, как и я, за углом.

— Не про то ты, Сень, баешь. Начальство начальству рознь. Что и где говорил я раньше, этим мне глаза не коли и равных себе во мне не ищи, не на того напал! Я тебе не Филимон Меньшиков, в магазин за бутылкой не побегу. За себя уж как-нибудь постою и других ни за что в грязь топтать не позволю.

— Фюйт! — присвистнул Сенька Шадрин. — Чего это ты сегодня взъелся на меня? Может, мало выпил, так вот сейчас Филимон еще принесет. Он уже возле прилавка заикается.

— Ты свои дурацкие шутки брось. Захочу выпить — к тебе просить не пойду, не такой уж я нищий. А что угостили, за то спасибо. Я в долгу не останусь.

— Ну что вы, хлопцы! — примиренчески начал Аристарх Гребенников. — Сцепились, как кобели, было бы из-за чего! Ну, почесали малость языки — и хватит. В конце концов, наше дело телячье: пососал — и в стойку!

— Не лезь, дай выяснить, — не унимался Сенька Шадрин, но его напористость пошла на убыль. — Не бойся, мы драться не будем. Мы с Парфеном как были друзьями, так друзьями и останемся. Нам делить

нечего, оба брата акробата. Что он, что я в такой же телогрейке ходим, одинаковым ключом гайки заворачиваем. Что с него, что с меня один спрос. А что на инженера плохое сказал, так вы меня знаете: не люблю я начальство, пускай оно хоть золотое. Ну, уродился я такой! Что ты мне за это сделаешь, еще на разряд понизишь? Так ниже уже некуда. Я всех не люблю, кто даже в маленькие начальники, а лезет! Вот предложи мне сейчас — инженером и то не пойду, откажусь. Не надо мне ихнего и оклада.

От этих Сенькиных слов Парфен вдруг двинул от себя стол, чтобы высвободить из-под него свои ноги. Встал, упрямо поглядел на гоп-компанию. Нет, не поймет его сегодня Сенька Шадрин. И остальные ребята не поймут. Что сказать им на прощание?

— Ну ты чего, Парфен? — заластился к нему Сенька Шадрин. — Ты что, обиделся?

— На обиженных богом не обижаются.

— Да ладно тебе! Садись на место. Скоро Филимоша принесет, дотянем ее, горькую, и на этом шабаш. А охота будет, еще за одной сбегаем. Вот Жорку к жене откомандируем, уж обмыть разряды даст нам трояк, а шестьдесят две копейки у себя как-нибудь наскребем, если хорошенько еще раз по карманам пороемся.

— Водка тут, Сень, не поможет. Пора бы с ней и завязать, — проговорил Парфен, упираясь рукой в стол, как бы отталкиваясь от него. — Хотел я сегодня с вами поговорить по душам, да... не вышло.

— Сразу так бы и сказал, а то... Садись, выкладывай. Кто против? Наши уши на гвоздиках!

— Не-е, ничего уже не получится.

— Да ты постой! Садись, садись! В ногах правды нет. Раз по душам, значит, по душам.

— Не-е... Сбил ты, Сень, у меня все настроение.

— Ну, извини, Парфен, извини! Такой уж у меня язык! Я его хочу так повернуть, а он, проклятый, по-своему. Страдать мне из-за него всю жизнь.

В это время на пороге закуской появился Филимон Меньшиков, и Сенька Шадрин, обрадованный тем, что вовремя Филимоша подоспел с бутылкой, снова принялся улаживать Парфена:

— Так садись, не стой. Сейчас мы поднимем твое настроение!

Между тем Филимон Меньшиков с таким жалким видом подошел к столу, что Сенька Шадрин онемел.

— Что, не достал? — с трудом проговорил он.

А тот, все такой же горемычный, сел за стол и только потом чудаковато засмеялся, показал на взбугренную под телогрейкой грудь.

— Ну и напугал же ты! — с дурашливым облегчением выдохнул Сенька Шадрин. — Так можно и зайкой сделать! Будет тогда нас на фабрике двое. Одного уж обязательно уберут!

Выждав, когда Маруся повернулась к гоп-компании спиной, он в одно мгновение принял от Филимона Меньшикова поллитровку, сорвал под столом с горлышка пробку и разлил водку по стаканам.

Когда одна рука Парфена, которой он держался за край стола, уже готова была оторваться от него, а ноги сделать первый шаг из закуской, другая его рука взяла стакан с водкой и опрокинула в рот.

— Дайте хоть кусочек хлеба!

Сенька Шадрин с проникновенной быстротой подал Парфену свой обедыш.

Парфен почти нежеванный проглотил и кругалем подался от стола.

— Живите, не кашляйте!

Ставя пошире ноги и слегка покачиваясь, как, бывало, ходил он

по палубе корабля, Парфен прошел через весь зал, внатяжку улыбнулся Марусе — мол, не обессудь, я тут гость редкий, залетный, ты это знаешь — и вышел в дверь, ухабисто скользнув плечом по дверному косяку: задел, не рассчитал.

По ступенькам крыльца на вольную волюшку Парфен сходил медленно и торжественно, глядя на все сверху. Капающие в сыром воздухе деревья, вся улица с почерневшими от влаги домами, заборами, тихое посапывание манежового паровоза за оградой фабрики, придавленный тяжелым небом дым над ее трубой, бестолковый крик галок над застланным водянистой муťou синезерским бором — все это показалось ему разумным и значительным, вошедшим в его жизнь надолго и прочно. Растоптанные возле крыльца окурки на вытаявшем грязном снегу, весь мусор, который накопился здесь за долгую зиму, — даже это было удостоено его внимания. А это вот горелые спички... Много горелых спичек. Это уж ихние спички, ихней фабрики. Из таких спичек складывались целые ящики, ящики — в гору ящиков, в то самое, что зовется планом, ради чего все начиная от директора и кончая им, Парфеном, шесть дней в неделю ходили на работу.

На повороте к переезду Парфен остановился перед лужей, которая затопила пол-улицы.

Тут уже кто-то выложил переход из белых кирпичей, один кирпич от другого — на ширину шага. Но воды прибавилось, и эти кирпичи скрывались в ней. Возле откоса железнодорожной насыпи белели груды такого же, силикатного, кирпича. Слышал Парфен: фабрика строила еще один двухэтажный жилой дом. Вон он, на другой стороне улицы, и строился. Прошлым летом возвели фундамент, было взялись за стены, но тут грянула зима, и строительство заглохло. Сейчас все обнажалось из-под снега: фундамент, кучи битого кирпича, раскисшей глины. Скоро приступят снова: на старый кирпич, что осталась возле железнодорожной насыпи, уже выгрузили вагон свежего. Почти половину побили... «Эх, эх, руки бы вам самим поотбивать за это, — подумал Парфен. — И вообще — строительство курам на смех. По телевизору смотришь или на снимки в газетах — по всей стране стройки. Но там разве так? Размах! Скорости!..»

Парфен переходить лужу по кирпичам не стал (что ему стоило принести оттуда несколько кирпичей, положить на те, что уже лежали в воде, но нет, жалко, кирпич к кирпичу — и стена!), а обошел по узкой, на ширину ступни, не залитой водой возле самого забора бровке.

У шлагбаума он сбавил шаг, прислушался: ниоткуда машины не слышать.

Тут, на переезде, место высокое, голое, открытое всем ветрам, и минут через пяток Парфен почувствовал, как его стало прошибать через телогрейку. А не пойти ли ему пешком, согреться? Если и будет какая-нибудь машина, то догонит, подберет по дороге.

Парфен прошел ту часть улицы, которую фабрика в позапрошлом году выложила булыжником, — снег с камнями стоял перво-наперво, и идти по ним было сносно. Потом потянулась улица без булыжника, расхлябистая. Парфен прошел и ее еще сносно, петляя здесь вдоль завалинок да заборов, где было посуше. И вышел за Синезерки. Стал, задумался. Дорогой идти — колеи машины выбили в колено, вода заполнила их доверху, по обочинам — снежная каша, между дорогой и лесом — узкая полоска пахоты с воронеными проталинами, ступи — и не вылезешь. И Парфен потопал наудалую, стараясь ступать туда, где снег был потверже, а местами превращен в лед. На этом льду — такой

уж он коварный! — Парфен уже успел поскользнуться, едва не запался в кювет. Да, зря он хватил ту свою долю от последней бутылки. Хмель только на время притаился, как зверь, чтобы потом наброситься на него, свалить его с ног, ткнуть лицом в первую попавшуюся канаву и уж там вдоволь поиздеваться над ним. Нет, такого Парфен еще не допускал и не допустит!

Он постоял на дороге, покачиваясь на широко расставленных ногах, боднул головой воздух. И с каждым шагом, когда невозможно было вытащить ног из снежного крошева, все отчетливее работала голова Парфена, все невысказанное там, за тем столом, просилось наружу. Не то чтобы заедала обида на слесарей. Нет. Ну что с Сеньки взять? С него все как с гуся вода. Да и другие лучше? Аристарх Гребенников, Долгоносик, Шлеп-нога, Жорка, Филимон несчастный... О Глебе Пшеничке и вспоминать нечего. Все же хорошие вы ребята, милые вы все рожицы! С кем же, как не с вами Парфену до самой пенсии коптеть на этой фабрике, да не годитесь вы в советчики. Подождите, вы еще не знаете Парфена. Не стал бы лезть в бутылку Парфен, не вывернул он еще перед вами все уголки своей души. Кто ваши косточки лучше разберет и на место сложит, как Парфен? Кто в нутро ваше так заглянет, пожалеет так, как Парфен? Знали бы вы, что он о вас думает, небось не то бы вы за столом говорили... Попусту, выходит, с вами Парфен время тратил, штаны протирал на казенном стуле. Лучше бы к Валентину Маркелову сходил, тот и леща бы на стол выложил, и совет хороший дал. Не стал бы лезть в бутылку, как Сенька Шадрин. Ну разве что Ксения со своим взглядом... Да уж раз перенести можно было этот взгляд ее, не впервой от него спастись...

Что же, это и все друзья у Парфена? Больше и нет у него никого?

Парфен остановился от удивления, поустойчивее расставил в раскисшем снегу ноги.

А Иван? Про Ивана Колчина забыл? Про своего лучшего дружка забыл! Как ножом память отрезало! Это все водка, это все она! В рот бы ее больше не брать, заразу! Скорее к Ивану! К дружку своему закадычному! Иван уж если совет даст, на всю жизнь — программа.

Парфен оглянулся: вроде и долго шел, а Синезерки вот они, и за лесок не спрятались, хотя и чуть-чуть опустились, как бы в землю вошли. Да тут и горка. Выходит, он только еще на горку поднялся, а там, где Синезерки, — низина, луга, озера как-никак. И машин нигде не слышать и не видеть. Всегда, когда надо, их нет. И будешь шлепать на своих двоих всю дорогу. Нагонит какая-нибудь, когда уже незачем ее и останавливать.

Парфен не помнил, когда свернул в лес на охотничью тропу.

На то, что в сапогах его, в «кирзухе», давно хлюпало, он, еще когда дорогой шел, рукой махнул. В лесу снег хотя и был раскисший, зато чистый, без грязи. И побольше его было, и от ветра в лесу поспокойнее. Это Парфен пьян-пьян, а сразу почувствовал и пошел побойчее, несмотря на то, что стал проваливаться на тропе глубже и чаще, чем на дороге. Почти все как на охоте. Глаз привычно схватывал все следы. Летом кажется — ни одного зверя в лесу нет, а зимой их выдает снег. Столько понапетляют, понакрутят вокруг каждого дерева, словно стада их, зверья, здесь прошли. Заяц, этот один напугает по всему лесу — десятерым охотникам не распутать. И лиса от косога не отстанет, любит поводить за нос, плутовка. А козы пронесутся стайкой в одну сторону — и не видеть больше. Разве кто их назад пугнет, тогда пройдут они прежним следом. Кабаны тоже свои места знают, облюбовуют густечь и, покуда все там не перевернут вверх дном, не покинут.

А это лосиные следы. Вот след самки, а это самца, здоровилы, отростков на семь. Этот уж не одно потомство оставил. Парфен мог точно сейчас сказать, куда эта парочка направилась — к Усовью, в осинник. А поленятся — у Косматой Горы в ивняке набьют свои брюха, не то по пути насытятся муточками молодых деревьев. Лес тут богатый, куда бы ни пошел лось, всюду ему корм. Но большинство следов к концу зимы старых, оплывших от мартовского тепла, с озерами тусклой водицы на ледяных донцах.

Парфен уже долго шел так, наугад, машинально одолевая то один лесной взгорок, то другой. А хмель не выветривался из головы.

И вдруг Парфен остановился. Уж он-то каждое дерево в лесу знал на память, не то что пень какой-то. Нет, такого пня Парфен тут отродясь не видел. Не должно тут быть его, пня-то. Откуда он взялся тут, этот пень?

Парфен тяжело ступил в сторону от тропы, к вывороченному пню. Вроде и не пень это, а если пень, то больно чудной пень, вроде бы живой: корни-то будто бы шевельнулись. А может, это в голове у него шевельнулось? Значит, каюк ему, не дойдет он сегодня до Ивана, свалится кулем в снег — и все.

Он пошире открыл глаза, присмотрелся; пень опять шевельнулся. Живой пень-то, как есть живой весь целиком, от комля до корней, с серо-бурой корой, как на звере. И на удивление высок, в полтора Парфеновых роста, и как бы кто ему ноги приделал.

— А-а, это ты, голубчик! — проговорил Парфен.

Перед ним стоял лось.

— Стоим, значит, на людей смотрим, да? Рога свои показываем? Красивые у тебя рога, да? И сам ты красавец. Перевидал я вас, красавцев, а такого первый раз вижу. Парфен тебе ничего плохого не сделает. Парфен сейчас для тебя — первый друг и защитник. Было время, обижал я вас зимой таких вот, рогатых. Вошел Парфен с ружьем в лес — уноси ноги. Охота и есть охота. — Парфен привалился плечом к сосне. Ствол у нее толстый, шершавый, для всего тела опора. — Да ты не сердчай на меня, нечего за это сердчать. Тебя я и в сезон встретил — не тронул бы. Разве можно такого красавца жизни лишать? Нельзя лишать тебя жизни. Такой крепкий корень грех губить. Вот ты все же зверь лесной, мозгов таких тебе не дадено, чтобы сообщать что к чему. А я, может, с тобой посоветоваться хочу. Может, ты и есть мой лучший друг. Может, ты как раз и скажешь, идти мне мастером или не идти. Вишь, у нас, у людей-то, как? Сразу и не поймешь. Шаг ступить — подумать надо, не то что у вас, зверья, — куда захотел, туда и побежал. Никто тебя за это не осудит. А тут головой все время думать надо, как повернешь, так все и сложится. А легко ли Парфену жизнь свою повернуть, на другой курс лечь? Куда зря, как ты вот, не побежишь. Эх, эх, ничего ты в людском деле не понимаешь. Впустую, значит, я слова на тебя трачу. Сколько тебе ни толкуй, а лось и есть лось, зверь рогатый.

Парфен поустойчивее привалился спиной к сосне, уперся ногами в снег, чтобы не съехать по стволу к земле. Лось был в десяти шагах от него, семигодовалый рогач, красавец леса, пристально смотрел на Парфена, не уходил, раздвигал широкие ноздри да водил ушами, ловя малейшее движение человека.

— Значит, я это что? — продолжал Парфен, стоя в другом, более удобном положении. — Опять же нового инженера взять... А он ничего, главный, наших кровей. Нюх у него есть, меня-то сразу учуял. «Сколько, спрашивает, ты, Парфен, на фабрике работаешь?» «Восемнадцать лет, — отвечаю ему. — С первого дня и до последнего». «Пора тебе в мастера переходить», — говорит он. Ишь, сразу в самый корень

заглянул! И правда, пора в мастера подаваться, засиделся я в слесарях-то. Ты что ж думаешь, Парфен хуже того Тихона? Хуже или нет? Вот ответ ты мне на такой вопрос!

Парфен повысил голос, и лось насторожился, готовый прыгнуть от него. Но еще выжидал: уж очень интересный встретился ему человек.

— Ага, молчишь! — восторжествовал Парфен. — Задал я тебе задачу! То-то уши наострил, куда б от меня рвануть. Ну, рви, рви от Парфена, коли так! Катись от меня колбасой. Зимой еще раз встречу, по-другому с тобой поговорю!

И Парфен оттолкнулся от сосны, сделал шаг к лосю, стараясь удержаться на ногах. Зверь сначала с ленцой повернулся, следя за Парфеном, потом, взбрыкнув, скакнул в сторону метра на четыре и легко побежал по просеке.

Парфену, когда он выпел из леса, в глаза ударило светом с поля. То, как он шел по лесу оставшиеся три километра, начисто вышибло из его памяти.

Парфен оглядел себя спереди и сзади — нет, кругом сух, значит, не упал нигде. И как он не заблудился, а точно вышел к той улице, где жил Иван Колчин? До Ивана теперь рукой подать. Выходит, ноги сами несли его домой.

Поле Парфен пересек по стежке, которая спрямляла путь к началу улицы. Улицей дальше не пошел, а свернул на огороды.

К усадьбе дружка подошел с задов — знал он и здесь стежку, — неслышно открыл в заборе калитку. Иван тоже насажал себе яблонь не меньше его, теперь и у Колчиных молодой сад, третий год подряд родит.

А хозяйственный Иван! На зиму корни яблонь навозом утеплил: в морозы не промерзнут, а весна придет — не сразу земля под навозом оттает, яблоня цвет попозже выбросит. В случае заморозков чьи яблони в раннем цвету — облетят, осыплются, и пропали яблоки. А Ивановы во время заморозков с почкой отстоят и разольются молоком в самую теплынь. Урожай — не оберешься.

Шел Парфен двором, вроде бы и не присматривался ни к чему так уж чтоб во все глаза — неудобно к чужому добру присматриваться, хоть и друг ему Иван, — а шел он и все замечал, всему давал хозяйственную оценку. Вон кирпич в стопку сложен — узнал Иван, что Парфен погреб кирпичный сделал, и себе решил отгрохать, уже кирпич подготовил. С осени забор заново перебрал, столбы дубовые подвел, толем сарай перекрыл, жерди про запас в угол двора составил. Не положил, а составил, чтобы не так гнили под снегом да дождем. Дровами не меньше как на три года вперед запаса. В дровяник все не вошли, так вдоль стены в два ряда сложил. Дрова не сено, сто лет здесь пролежат, высохнут, как кость, гореть будут с треском. Рядом с дровяником навес утепленный, курятник, в свинарнике кабан похрюкивает... Да, заботливый Иван что по хозяйству, что так. И жена его, Софья, не в запустении, вся здоровьем пышет. Ну, Эмма тож ей ни здоровьем, ни красотой не уступит...

Перед крыльцом Ивановой «хоромины», как называл свой пятистенник сам Иван, Парфен услышал звон цепи и ласково заулыбался: из конуры выбрался охотничий пес Ивана Колчина Геркулес. Толковый пес, хваткий на охоте, что за кабаном, что за козой, что за лисой или зайцем ходил исправно, без сколов. Повезло Ивану и на собаку. Малость только одно ухо у Геркулеса подпорчено в собачьей драке за суку Каролины Бабковой. Охотничья собака, известно, нравом уважительная, вот и досталось Геркулесу от дворняжек.

Геркулес, узнав Парфена, заластился, стал на задние лапы. Как

же! Не один выходной пробежали они с ним по лесу, не одним лакомым куском он из Парфеновых рук поживился! У Парфена хоть и своя собака Найда, а Иванову на охоте не обижал. Не раз Геркулес в паре с Найдой, бывало, как подхватят зверя, зальются в один голос, на весь лес — колокольный звон. Пустыми что Иван, что он с такой охоты не приходили. Себя как охотника Парфен хвалить не станет ни вслух, ни про себя. А Иван — бедовый охотник. На то он и друг ему, а плохих друзей у Парфена не бывает.

Парфен не торопился идти в хату, а ждал, когда Иван или Софья увидят его в окно и кто-нибудь из них выйдет на крыльцо, заулыбается, заговорит весело и за разговором легко и просто уведет его в дом, как всегда делали и они с Эммой, стоило показаться Ивану или Софье в ихнем дворе.

Парфен потрепал Геркулеса по ободранному уху, почесал под ошейником, под которым свалаялась шерсть, начал уже отпихивать от себя пса, но никто из Колчиных на крыльцо не выходил. Дверь в сенях была не заперта, значит, кто-то был дома. Еще немного подождав, Парфен пошел к сеням.

К Ивану он никогда не стучал, входил прямо, по-свойски, а тут не решился войти без стука. Но громкого стука не получилось, так как дверь была обита войлоком. Тогда Парфен открыл ее без всякого и вошел на кухню, где редко Софья чем-нибудь не занималась. Она то варила, то стирала, то мыла посуду, потом приносила из гардероба на кухонный стол швейную машину и что-нибудь шила: зимой на кухне было теплее.

А сегодня Софьи не было на кухне. Все уже прибрано — Софья у Ивана чистюля та еще!

— Есть тут кто живой? — спросил Парфен погромче, стоя на пороге. Заглянуть туда, в те комнаты, он сегодня тоже не решился.

Парфен услышал, как там кто-то встал с дивана — ему самому не раз приходилось прилегать на диван Колчиных, когда он загуливался у них с Эммой по вечерам, и знал, как он скрипит. И вот на кухню выплыла слегка заспанная Софья. Поправила при Парфене платье и только тогда заулыбалась, как улыбаются желанному гостю.

— Проходи. Чего стал? — борясь с зевотой, проговорила она.

Села за кухонный стол, давая понять Парфену, что его место тоже за этим столом, только с другой стороны, от буфета, за стеклами которого поблескивал новый чайный сервиз.

Парфен прошел и сел на это место. Сервиз-то он увидел, но постарался вида не подавать.

— Вчера купила в хозяйственном, — кивнула Софья на новое приобретение. — Привезли на драку, кто первый стал, тот и взял. Спасибо Полине — оставила. Я давно ее просила — как привезут, оставь. Вишь, не забыла. Уж за это Полина молодец...

Парфен скользнул взглядом по буфету. Почему бы не уважить хозяйку.

— А Иван где? — спросил он, помолчав. — Поди, тоже перед смежной отсыпается?

— В магазин за хлебом послала. Сама пол подмела, подмыла да немножко вздремнуть легла.

Софья работала с Эммой на мебельной фабрике в одном цехе и в одной смене. Так что Парфен знал по своей жене, когда Софья была в ночь, когда во вторую, а когда в первую смену. Поэтому уточнять это не стал — Эмма наверняка тоже сейчас глазки сомкнула. Ждала, ждала, намаялась за полдня да и завалилась в кровать.

— Ну как вы там працюете? — шутливо спросил он. — Все придумываете, как из одной табуретки две сделать?

Софья любила шутки, знала, что Парфен был охоч до них, и сама старалась не отстать. Их с Эммой считали на фабрике самыми языкастыми, неразлучными подругами: раз мужья дружат, значит, и жен их водой не разлить. Десять лет и на работу и с работы вместе.

— Ой, не говори, Парфен! — возбужденно двинулась Софья. — Что правда, то правда! Уж выкручиваемся как можем. В старом же цехе то фанеровки нет, то еще чего. Поэтому и заработки наши такие. Ты же знаешь, сколько твоя Эмма в прошлом месяце принесла. Ну вот!

Парфен для мебелиной фабрики хоть и посторонний, а переживал за нее как за свою, спичечную. Радовался, когда в прошлом году новый цех построили, оборудованный по-современному — быть и современной мебели! — специально смотреть бегал. Да вот только Эмму с Софьей при теперешней их квалификации и на километр к этому цеху пока не подпускают.

— Переходите к нам в набивочный, — сказал Парфен просто так, для затравки: подруги готовились к сдаче на разряд для работы в новом цехе.

Но Софья приняла это всерьез:

— Ой не, Парфен! Мы с Эммой уж привыкли, лучше нашей фабрики, кажется, и нет. Вот скоро сдадим на новый профиль...

Парфен поглядел на свои мокрые сапоги: в них пицало. Достается же этой «кирзухе»!

— Ты не пешком ли шел? — изумилась Софья.

— Да, пешком...

— Так чё это ты? Что, уже автобус не ходит?

— Да нет, ходит еще.

— А то я испугалась. Как же, думаю, моему Ивану добираться? Если пешком, так выходить из дому пора... А чего ты пешком шел? — вернулась Софья к старому разговору.

— Пока на разряд сдал...

— На какой разряд?

— У нас же сейчас этот... новый инженер.

— А! Мы это слышали с Иваном. Ну, сдал же ты?

Парфен двинулся на табуретке — мол, а как же иначе, — посмотрел в окно.

— Где же твой Иван? Привязали его к магазину, что ли?

— Наверное, очередь большая...

Но вот лягнула железной щеколдой калитка, и в окне промелькнула шапка Ивана, в которой он ходил и на работу и на охоту, топтался по двору. Шапка еще крепкая, с кожаным верхом теперь уже не то коричневого, не то грязно-бежевого цвета.

Загремел цепью Геркулес, вылезая из конуры навстречу хозяину. Но Иван и не посмотрел на него — все это Парфен видел в окно, пока тот не повернул к сеним. Тут Иван исчез из глаз, шаги его послышались в сенях, дверь в кухню отворилась, и вот он ввалился в хату с домашней сумкой, набитой по завязку буханками ржаного хлеба.

— А, — протянул Иван, увидев гостя, — привет!

Выпуклые глаза его масляно заулыбались, лоснящийся кончик носа загнулся книзу, чуть ли не касаясь верхней губы. Этим Парфену и нравилось Иваново лицо; все в нем было сдвинуто, перекошено, что нельзя было не развеселиться. Быть может, поэтому оно не казалось безобразным — нашла же что-то в нем Софья! Но иногда вылезало из Ивана и такое, от чего он делался важным, как министр, особенно если заговаривали о его учебе в техникуме. Это подмывало Парфена на дружескую шутку, а Иван тогда сердился, говорил, что он, Парфен, темнота. На это Парфен не обижался. Темнота? Пускай будет темнота.

Иван Колчин не спеша выложил хлеб из сумки на подоконник, пустую сумку пихнул за буфет — с глаз долой — и только потом пошел к столу, где сидели Парфен и Софья.

— Ну так рассказывай, — проговорил он, зная, что Парфен по пустяку к нему так вот прямо с работы не придет. — Выкладывай, выкладывай! Не тяни!

— Что тебе выкладывать?

— Как там новый инженер?

— По-моему, ничего мужик! — с охотой отозвался Парфен. — Приезжаю на смену, вхожу в курилку, а ребята и говорят... Сегодня уже на разряд пересдавали.

То, как Парфен произнес последнюю фразу, означало: «Я-то что! Я сдал!»

— Ну так с тебя бутылка! — усмехнулся Иван.

Ему еще предстояло пройти переаттестацию, но всем своим видом он показывал: «Я в техникуме учусь. Для меня разряд — игрушка!»

— Это что! — проговорил Парфен, подбираясь к самому главному. — Послушай, что мне новый инженер предложил. Иди-ка, говорит, мастером поработай. Дал день подумать.

Парфен сказал это с радостью, как можно сказать только лучшему другу, не подводя «базу под фразу». И теперь жадно ждал его слова. Он и на Софью посмотрел: дескать, вот так, Эмма моя спит там, дома, ничего не знает!

— Ну и сколько ты уже думаешь? — Иван натянуто улыбнулся.

— А вот всю дорогу, — ответил Парфен искренне. — Там, пока то да се... И тут восемь километров шел, думал.

— И до чего же ты додумался?

— Не знаю, Ваня... Не знаю, что и делать. Вот пришел посоветоваться. Что ты мне еще скажешь. Один сколько ни думай, до всего не додумаешься.

Вся бодрость с Ивана сразу сошла. Он взглянул на будильник, который громко тикал на буфете.

— Ах, черт! Жаль, что мне на смену, а то бы и вправду за бутылкой сбегали... Такое на скорую руку не решается. — Иван перекинул взгляд на Софью, которая сразу как-то приуныла, будто родственника похоронила. — Ты же, конечно, еще согласие не дал?

— Не, пока не дал.

— Ну и правильно! Успеешь еще этот хомут на шею надеть. Надеть его легче всего, для этого ума много не надо. А если шею натрет, попробуй сбросить!

Иван Колчин снова перекинулся взглядом с женой, возбужденно завертелся перед Парфеном:

— Ты вот что, давай договоримся так. Ты до завтра потерпишь, ничего новому инженеру не говори. Если он и спросит, скажешь, что еще не решил. А я сегодня там сам все разнохаю, чтоб ты не влип, понимаешь?

Парфен кивнул: дескать, понимаю.

— Ты ведь в производство не вникаешь, работаешь — и ладно, — торопливо продолжал Иван. — С планом, сам знаешь, третий месяц не клеится, вот они и мечут икру, ищут, кем бы заткнуть дыру. Из этого и сделай выводы. Ну, мне пора, а то опоздаю. Автобус сейчас раньше отходит: пока доползет по такой дороге...

Иван еще только глянул на жену, а та уже встала, полезла в буфет. Собрала мужу на смену — два сырых яйца, кусок сала, колбасы «краковской», плавленый сырок, хлеба четверть буханки, — все это завернула в бумагу, которой оклеивают спичечные коробки, положила в капроновую сетку.

Иван конец сетки намотал на запястье руки, поглядел на Парфена.

— Ну, пошли, меня проводишь.

Друзья вышли за калитку Иванова сада. Отсюда и Парфену было ближе: пройти переулок да огородами немного, уже по своей усадьбе.

— Так гляди не сморозь,— проговорил Иван, собираясь здесь, за забором, расстаться.— Я на тебя надеюсь. Приедешь завтра с работы, сразу зайди. Я уж тебе все точно скажу. Ну, бывай здоров, живи, не кашляй!

— Не кашляй,— ответил Парфен.

«Живи, не кашляй» — это Парфенова придумка, взятая на вооружение и Иваном.

Парфен не спеша открыл в своем заборе потайную калитку, такую же, как у Ивана, медленно, как бы изучая, пошел садом. Стежка огибала ветки яблонь, свисавшие до самого снега то снова выпрямлявшиеся, шла по центру сада, где можно было пройти под ними во весь рост. Пройдя сад, Парфен отворил другую калитку в заборе, который отсекал двор от сада. От этой калитки до крыльца еще шагов тридцать, пройти их — одна минута. Но он не спешил в дом, а сначала заглянул в сарай, посмотрел на кабана, прикидывая, сколько уже в нем пудов. Ивана Софья вон с салом на работу выпроваживает, а Парфену Эмма давно этого сала не показывает: только и осталось борщ приправлять. Вместо сала даст тридцать шесть копеек — все рассчитано! — на фабричную столовку, на полпорции первого да на котлетку.

Возле крыльца Парфен увидел Любочку. Дочь стояла к нему спиной, держа за веревочку салазки. Услышав шаги, она обернулась.

— Папка! — Бросила салазки и побежала навстречу отцу.— Папочка идет!

Но на ее сообщение никто не вышел.

Парфен подхватил дочь на руки, понес к крыльцу.

— Ты у меня уже тяжеленькая стала, выросла! — проговорил он ласково, прикоснулся ладонями к мокрым колготкам.— Где это ты так вымокла?

— С горки каталась!

— На салазках? — заинтересованно спросил Парфен, хотя, конечно же, знал, что дочь каталась на салазках.

— Ага,— ответила Любочка, покрепче обнимая отца.

— И ты что же, упала?

— Это меня Ленка толкнула. Я не хотела, а она толкнула! Я съехала с горки — и прямо в водичку. Вот идем посмотрим! Ну, идем, папка!..

С Любочкой на руках Парфен вошел в сени. Удерживая ее одной рукой, он наклонился, другой открыл дверь и, войдя в комнату, спустил дочь на пол.

Здесь, в передней комнате, где была печка, где обедали, завтракали и ужинали, смотрели телевизор, словом, где большую часть суток топтались всей семьей, не было никого. Да и в той, в которой Парфен спал с женой, стояли кровати детей, была тишина. Что же, так никого и нет? Не могли же они бросить дом на Любочку!

Парфен стянул с ног возле порога тяжелые от воды сапоги и пошел в подмокших портянках к печке, оставляя на крашеном полу следы.

— Доченька, иди посмотри, где мама.

Дочь сначала с готовностью побежала выполнять просьбу отца, потом остановилась, на цыпочках вернулась к нему.

— А мама спит.

— А бабушка где?

— Бабушка в магазин ушла. Сметаны к обеду нет.— И Любочка развела ручонками.

— Вы еще не обедали?

— Нет, я обедала. И Надьку бабушка накормила, когда она из школы пришла. А мама с бабушкой тебя ждали.

Парфен разостлал на приостывших кирпичках портянки, сунул босые ноги в «лапти». Так он называл свои старые сандалии из кожзаменителя. У них обносились задники, но перед был еще ничего, крепкий, и Парфен, обрезав негодные задники, приспособил эти сандалии под комнатные тапочки — «лапти».

Постояв возле печки, Парфен решил тихонько заглянуть в ту комнату, где спала Эмма. Приподнимая повыше ноги, чтобы «лапти» не шлепали, он уже ступил на половику, как услышал на кровати шорох, скрип пружин и то дыхание, с каким выбираются из постели, отыскивая, во что бы сунуть ноги.

— Папка пришел! — тут же сообщила Любочка матери.

По одному тому, как та ничего не ответила, а выйдя в эту комнату, не взглянула на мужа, Парфену яснее ясного стало — он ли не знал своей Эммы! — жена чем-то недовольна.

Парфен отошел в угол, сел на скамеечку. Когда-то он сделал ее для дочери, но теперь и для взрослых пригодилась: то Устиновна сядет к печке угли поковырять, то сам с охоты, бывало, придет, поспяницу возле огня погреть надо, ищи, на что сесть пониже. Посидишь так полвечера, пропечет тебя насквозь жаром — лучше всякого лекарства. Любую простуду как рукой снимает. Да и просто в другой раз с усталости сесть в сторонку, чтобы никому не мешать, — скамеечка всегда к твоим услугам. Низко, удобно на ней, ноги хорошо отдыхают. И видимость с нее другая, вроде бы снизу на все смотришь, как в детстве, когда сам был не выше Любочки.

Посидел Парфен на этой скамеечке, поглядел на жену. Да, полная стала, скоро и того... в декрет. Каждая линия под халатом на ее теле знакома ему, не раз обласкана его рукой, плавила его сердце, делала его домовитым, покладистым. А поди ж ты, вот так сразу и не скажешь ей, что сегодня у него за день такой! Законная жена с ним разговаривать не хочет. Вертится возле стола, посуду к обеду настраивает, только все молча, только все задом к мужу. Ну, это оттого, что не знает... Ничего, подуется, подуется, эта дурь у нее пройдет, а все остальное, пригожее да хорошее, останется. У него терпенья хватит.

— Папка, включи телевизор.— Дочь ткнулась ему в колени.— Ну включи!

Парфен молча встал, подошел к телевизору, включил его.

Эмма тут же нашла зацепку:

— Придумал днем телевизоры включать! За вечер еще надоест!

— Ребенок попросил...

Здесь Парфен сделал вторую ошибку. Надо было промолчать, сесть тихонько на место, посидеть, подождать.

— Мало ли чего ребенок попросит! — воспламенилась Эмма.— Выключи! Днем ничего там хорошего нет!

— Какой тебе день? Темнеет уже!

Парфен кивнул в окно, за которым в самом деле вечерело: март не июнь, день в марте еще короток. И это было третьей его ошибкой, потому что Эмма незамедлительно высказала мужу:

— Побольше пошлялся б, еще короче день был бы!

Однако телевизор Парфен не выключил, как будто он этих слов не слышал, вернулся на скамеечку.

— У всех мужья как мужья: как работу кончили, так к своим женам спешат, а мой...

Эмма грешила против истины. Знала, что грешила, но остановиться не могла.

— А мой, как тот Бажен!

Бажен — местный пьянчужка, скиталец по чужим квартирам. Имя его для жителей города стало ругательным.

— У моего мужа ни женки, ни детей нет, и дома ему делать нечего. Просила же, чтобы пораньше пришел, так он и послушался, приперся к вечеру. А ты, Эмма, и дома крутись, и на работе не меньше вас, мужиков, за станком отстой, и в больницу беги...

Слово «больница» больно кольнуло Парфена: так ему жалко стало жену. Вот по больницам ей теперь приходится бегать...

И снова его окатило теплой волной любви к жене, к ее животу, ко всему тому, что сейчас таилось в нем, в чем была частица и его, Парфеновой, плоти, его самого, и от чего зависело дальнейшее его счастье. И все Эммино ворчанье, все ее «нарочно» колкие слова показались ему пустяковиной, которая будет сказана и тут же забыта.

А Эмма продолжала:

— Хорошо, что свела дитенка к Фаиным, хату — на замок да успела еще в регистратуру.

— А мать где была?

— Мать! Мало матери и так попадает? Походи по магазинам, узнаешь! У тебя спроси, сколько буханок кабану на день надо, — и не скажешь! Ты не покупал, не знаешь...

Эмма и тут возводила на мужа напраслину. Знал Парфен все, и в очередях стоял, и покупал сразу по пять буханок, и почему к весне трудно становилось с хлебом. Потому что свиней и коров все печеным хлебом кормят, не успевают пекарня тесто замешивать. А то и просто сокращает выпечку, чтобы в лимит уложиться. Но все это Парфен пропустил мимо ушей. Главное — Эмма все же сходила в больницу, без него выкрутилась. А не сходила бы, завтра та же канитель началась бы. А неизвестно еще, как завтра придется ему — вовремя с работы вырваться или задержат его, как сегодня...

— Бабушка идет! — радостно кинулась к двери Любочка.

Но Эмма прикрикнула на дочь:

— Хватит тебе бегать, опять простудишься! — Она только сейчас заметила на дочери мокрые колготки и пригрозила: — Вот больше не пущу на улицу, раз не умеешь гулять!

Парфен, не вставая со скамеечки, молча притянул дочь к себе. Сменив ей колготки, легонько подтолкнул:

— Ну, а теперь иди гуляй в той комнате!

И вот на пороге тещи. Как вошла, так сразу:

— Прихожу в магазин за сметаной, гляжу, а там рыбу свежемороженую дают. Так я стала и вот больше часа и простояла.

Устиновна все еще была радостно возбуждена от такой случайной удачи, потому что свежемороженую рыбу привозили редко, а когда привозили, то не успеешь, бывало, до магазина добежать, как ее расхватывали.

— Какую же ты рыбу купила? — спросила Эмма. — Может, хек?

— Ой, не! Хек мне и даром не нужен. Морского окуня! — И Устиновна вывалила на стол из газеты красноватые смерзшиеся рыбины.

— И камбала, говорят, была, да уже разобрали. Передо мной последнюю Надя продала. Да уж ладно, хоть окуня застала. Если бы за сметаной не пошла, то и не знали бы. — Устиновна повернулась к Парфену, спросила: — Это правда, что у вас новый инженер?

Парфен улыбнулся: настал и его черед.

— Кто вам сказал?

— Фаину в магазине встретила, говорит — всю фабрику за три дня перетрусил.

— Так уж перетрусил!

— А то как же! Всех на разряд пересдавать заставил!

— Кого заставил, а кого...

Парфену все больше нравилось вести эту игру, оттягивая главное. Это начинало веселить его, поднимать в собственных глазах.

А Устиновна, думая, что зять шутит — не раз уже было так, что сразу и не поймешь, где у него правда, где шутка, — продолжала допытываться:

— А ты что, сдавать не будешь? Кто же тебе позволит на работу ходить?

— Да он уже давно сдал! Не видишь по его лицу? — проговорила Эмма, до которой стала доходить истинная причина задержки мужа. — И обмыть успели! Он только в хату войдет, а я уже знаю. Что, скажешь, не так? Там уж было с хлопцами...

Парфен лишь улыбался, ждал удобной минуты, чтобы сказать: «Так, да не так!»

Устиновна вынула из печки борщ, разливала по тарелкам.

— Садись же ешь! — подав на стол ложки, пригласила Эмма. — Небось рукавом там закусили... Знаю, как мужики пьют! На водку всегда найдется, а на закуску не хватает.

Парфен сел к столу, отхлебнул борща, поискал взглядом по столу.

Эмма молча подала ему банку со стручками красного перца.

Парфен растер ложкой кусочек стручка о краешек тарелки, размешал в борще, попробовал на вкус.

День ничего не ел он, пусто с утра в желудке, а вроде и не голоден. Ни есть, ни пить никакого желания, будто никогда не приходил домой впроголодь, не набрасывался с охотки на пищу так, что за ушами трещало. Пропал аппетит, не вернуть его ничем. Ты ложку к рту, а она назад в тарелку просится. Не помогал и красный перец.

— Ну, так, значит, инженер того... Предложил мне мастером идти.

Сказал это вскользь, как нечто такое, на что не стоило тратить лишнюю энергию, выдал как бы в виде необходимой прибавки к еде. Ешьте, мол, кушайте на здоровье, справитесь — еще подброшу. И всем в пример заработал ложкой, словно бы он больше всего борщом был занят — пробудился-таки аппетит. А ушами весь до кончиков был там, где сидели жена и теща.

Первой отозвалась Устиновна:

— Каким мастером?

— Ну, каким? Сменным, конечно. Не директором же меня поставят.

— Сменным? Что ты говоришь! Так это тоже в три смены? И в ночную и...

— Ну да, а как же? Все так же, как и слесарем.

Парфен на секундочку задержал ложку над тарелкой, глаз на жену и тещу не поднял, но внимание заострить заострил. Это только с поверхностного взгляда нет выгоды, а копнуться глубже — она есть. Давайте, мол, посчитаем. Надо уметь считать!

— Смены сменами, ну, а так взять... И отпуск побольше, как у итэровцев, двадцать четыре рабочих дня, а с выходными... Это вон полный месяц! И вообще... Хоть вот эту, драную, скину.

Парфен оттянул на себе рабочую рубашку, щелкнул ею, как резиной. Довод как будто немаловажный. Сами нет-нет да и упрекают: замазывает на работе, стирают-стирают — не отстирывается. И отпуск месячный — не двухнедельный, не всем подряд дают. Кто и хотел бы получить, поди получи. А за месяц отпуска дома в хозяйстве таких

дел можно наделать. Осенью под картошку угодить бы, им же, жене да теще, облегченье. И дрова пора заготавливать, не пойдешь просить к Ивану... Чего не работать мастером?

Но Устиновна опустила ложку в тарелку и там ее оставила. Насторожило же ее что-то! Ну пусть теща. Теща человек хоть и заинтересованный в делах зятя — лично Парфен не против такого интереса, но после жены, на втором месте. А жена-то! Ближе жены нет никого. И уж ей-то в первую очередь до всего бы пристрастие иметь. А она нет, вон как ела молча, так и продолжает добирать свой борщ. Пойми ее: то ли за она, то ли против.

— А оклад какой? — спросила Устиновна. — Уже сказали?

— На десятку меньше.

Парфен ответил ей без задержки, чутьем уловил: нельзя в этом вопросе задерживать. Лучше сразу сказать как есть, не мяться, больше веры будет. И сразу, полегче скажешь — настрой у всех другой. Пусть меньше, ну, немножко меньше... Для него не главное оклад.

Парфен тоже перестал есть, но посмотрел не на тещу, с которой разговаривал, а на жену. Важно, как жена к этой разнице отнесется. Важно, чтоб она поняла правильно, не заартачилась.

Но та по-прежнему никак не реагировала. С тещей уж и придется договаривать, взять объяснить ей, вроде бы ей, но так, чтобы это и Эмма прочувствовала. Главное — чтоб она!

И Парфен бодренько — без бодрости тут нельзя, с верой да надеждой надо! — прибавил:

— Ну, известно, мастеру еще премиальные идут. На круг у него даже больше в другой раз выпадает.

А Эмма и после этих слов продолжала играть в молчанку.

Борщ Парфен давно съел, даже ложку облизал. Но второе ни жена, ни теща не подавали. Теперь обе сидели молча. А чего, спрашивается, молчать? Дело-то еще нерешенное! Опять расшевелить надо.

— Оно если и с премиальными не выйдет в каком-нибудь месяце или как, не всегда же будем план давать, зато...

Парфен надеялся на одно словечко, которое употребляли инженерно-технические работники, когда говорили о преимуществах своего положения. И вот оно ускользнуло от него в нужный момент, подвело его, никак не подворачивалось на язык. Вроде бы он это словечко зацепит, а оно круть — и снова сорвалось. Точно рыбецка с крючка: клюет-клюет, а потянешь — крючок голый. Только дразнит.

— Зато мы... И я, значит, того... В другом соку вариться буду!

Как было не обрадоваться, что нашлась замена исчезнувшему словечку! И тут выскочило и оно, то спасительное словечко, само взяло и выскочило, без всякой натуги, кругленькое, славенькое, как горошина. Хватай его, пока опять не упрыгало, за другие слова не спряталось.

— Да и морально! И морально, значит... И для души то есть... Ну, ты понимаешь, грамотная у меня.

Парфен устался на жену, которой это словечко, такое хорошее и красивое, с таким трудом найденное, было до лампочки. Не прошибло и оно, прошло мимо — не зацепило. Недальнобойным оказалось.

Эмма вышла из-за стола, достала ухватом из печки кастрюлю с тушеной картошкой. Мужу положила отдельно на блюде, а себе и матери — в одну общую тарелку. Подала в миске соленые огурцы с бурыми помидорами — огурцов побольше, а помидоров меньше. Огурцы и помидоры — это к тушеной картошке. Любил Парфен картошку с солениями, собственно, на картошке он и вырос. Во время войны и после нее еще года два — тогда он еще пешком под стол

ходил — даже картошки вдоволь поесть не давали. Что вспоминать! Дело прошлое.

Парфен подцепил на вилку картошки, собрался взять огурец и надкусить, но попридержал: вот когда она, жена его разлюбезная, заговорить решила. И выбрала же момент!

— Тебе предложили, а ты и растаял!

Интересно, что она дальше скажет? Не надо торопиться с возражением, а посидеть, подождать спокойно, как ни задевает за живое. А то перебеешь, опять слова от нее не услышишь.

Но жена и не думала развивать свое мнение. Сказала — и как топором отрубил. Ждет, значит, что Парфен на это ей ответит.

— Да нет, я-то не растаял еще... Не знаю, что и делать.

Таких искренних слов он никогда перед женой и тещей не проносил. На то и мужчина, один в семье на весь женский состав, чтоб за них, баб, думать и решать. А за себя сам в ответе. Совет советом, согласие да поддержка — для души лекарство, но твое слово твердое, сказал — закон.

А вот сегодня у него тупик. И со стороны какое подспорье? Что жена, что теща — обе как сговорились: сидят и ждут, будто он скрыл от них главное, только подвел к нему разговор. Подвел и таит. То были цветочки, а ягодки-то, мол, впереди. А разобраться — что он скрыл главного? Это и есть главное!

— И что же ты решил? — не вытерпела Эмма.

— Что я решил? Ничего еще не решил. Попросил у инженера день подумать. Ну, и... вот думаю. Иван обещал узнать. Что еще он завтра скажет... А вы что мне посоветуете?

Сначала Устиновна молча вылезла из-за стола, принялась убирать тарелки, мыть их. Потом поднялась и Эмма, вытерла тряпкой клеенку, повернулась к мужу:

— Спать ты сегодня будешь?

Парфен взглянул на стенные ходики, подумал.

— Да когда уже спать? Скоро опять на смену. Полежу этот час на лежанке. Ох, когда же та пенсия!

«Когда же та пенсия» он употреблял в шутовском тоне, если жизнь вдруг ставила перед ним неожиданные трудности. Скажет, бывало, так, когда видит, что не на кого, кроме как на себя, рассчитывать, напомним про эту пенсию, а рано еще ему о пенсии думать, и для всех — мгновенное облегчение, смех. Значит, не так уж это страшно, значит, преодолет, обойдется без помощников, раз о шутке не забыл. С остальных тяжесть снимет вроде бы шутя да нарочно, а на себя на одного навалит. Скроет в душе. Пусть меньше переживают.

Он взял с тещиной кровати подушку, взобрался на лежанку, устроился так, чтобы можно было лежа смотреть телевизор: грудь на подушку, локти поставил по ее краям, подбородок подпер ладонями. Передавали «Сельский час». Какого-то механизатора выставили на позор — попросили поделиться опытом работы тракторной бригады, а он от растерянности и рта открыть не может. Ясное дело: первый раз на экране. Ведущий уж и так и этак кивал, подбадривал, но без пользы. И Парфену стало неловко за этого механизатора. Если б можно было помочь как-нибудь, помог бы бедолаге... Нет, не мог он смотреть такую передачу. Хоть и не колхозник сам он, а заболела душа.

— Доченька, подай газету.

— Какую, папка?

— Нашу, маленькую... Программу посмотрю.

Любочка с готовностью побежала в другую комнату.

— Сам не поленился, взял бы,— заметила Эмма.— Не дитенка гонял!

— Да я уж лег...

Дочь вернулась ни с чем, развела ручонками:

— Папка, нет газеты.

— А где же она?

— Вот твой брехунец!

Эмма выхватила из-под рыбы намокшую газету, швырнула на лежанку. Та, конечно, не долетела, упала на пол. Любочка подняла ее, подала отцу, довольная, потеряла ладошками.

Парфен не обиделся на жену ни за ее грубость, ни за то, что она назвала районную газету «брехунцом».

Парфен никогда не читал ее, как читают любители газет (подавай ему каждый день свеженькую), но выписывал исправно сразу на весь год: в ней помещали на последней странице дня на три вперед программу областных телепередач, которую в «Правде» или в «Известиях», конечно же, не найдешь. И если уж Парфен брал газету в руки, чтобы посмотреть программу, то заодно просматривал всю газету. Прочитает один заголовок, другой. И когда какой-либо из них чем-нибудь его привлекал, он углублялся в чтение. А то и просто писалось о знакомых людях. Интересно было сравнить, насколько написанное в газете соответствовало действительности. Еще в воскресном номере можно было натолкнуться на сатирический отдел. Критику Парфен любил и одобрял.

По программе в девять пятнадцать ожидался художественный фильм «Три тополя на Плющихе». Парфен не успевал его посмотреть: в десять ехать на смену. Газетенка-то была намокшая, подпорченная морским окунем, и он нехотя принялся просматривать остальные страницы. Начал с последней и дошел до первой. Собрался уже отложить газету, лечь поудобнее и прикрыть глаза. Но тут увидел снимок: у станка, наклонясь, стоял знакомый Парфену человек, что-то там делал, надо догадываться — ремонтировал. Да это же он сам! Парфен еще раз всмотрелся в снимок, прочитал под ним подпись: «Лучший слесарь-наладчик спичечной фабрики «Пролетарий» Парфен Тимофеевич Локтионов».

Он уже забыл и вообще не придал этому серьезности, как месяца два или даже три назад в цех ворвался фотокорреспондент районки Блюдин и в каком-то уж больно горячем порыве щелкнул Парфена возле станка и умчался в той же суматохе, в какой и появился. И вот на тебе: через сколько времени, а в газете — снимок!

У Парфена и усталость сразу прошла, и спать ему расхотелось, что-то такое хорошее прошло по всему телу, горячо и туго хлынуло в грудь, влилось в легкие, остановилось под сердцем.

Держа газету в руке, Парфен приподнялся на лежанке и поглядел на жену.

Эмма чистила окуней, которые уже оттаяли в тепле, стояла к мужу спиной и ничего не видела.

Ну и пусть не видит, занимается своим делом. Нечего ей все видеть...

Газета, как назло, подмокла больше всего в том месте, где был снимок. Мокрое пятно зацепило Парфену лицо и руку, в которой он держал ключ. К снимку прилипло и несколько рыбьих чешуинок. Парфен осторожно, как скальпелем, снял их ногтем, тем самым ногтем, через который пролегал наискось шрам от пилы. Потом лежа отодвинулся от стенки, приложил газету мокрым местом к нагретым кирпичам. Когда она подсохла, он разгладил ее ладонью, оставил на лежанке снимком вверх, а сам слез на пол. Снял с печки сапоги, портянки, сел

на скамеечку. Сапоги чуть-чуть провяли — почти нисколько не высохли за это время. Не дело в таких обутках идти на работу, ревматизм подхватишь и не заметишь как. Но и в ботинках еще не сезон.

Эмма услышала за спиной, что муж ее собирается, взглянула на ходики, удивилась:

— Чего это ты сегодня так рано? У меня еще ужин не готов.

— Да не лежится что-то...

— Ну, задал инженер твоей головушке работы! А чего ходить, вздыхать? Если не хочется, то и не соглашайся. Кто хочет, тот вон сам напрашивается. Да и подумаешь — мастер! Бугорок на ровном месте!

В запасе у Парфена было еще около часа. На дворе ночь не ночь, но и вечером еще не назовешь, а уже темень. Это все из-за пасмурной погоды. Весь март такой. Все забыли, какие на небе-то и звезды.

Парфен вобрался в телогрейку, включил в сарае свет. Цивилизация все же! В хате на кнопку нажал, а в сарае — пых лампочка. Хоть вечером, хоть ночью случится к кабану заглянуть или дровишек набрать, не надо лазить со спичками. А что мудреного? Достань двадцать метров провода, соедини к сети — и все.

Он отыскал в коридоре на полке молоток, банку с гвоздями и направился в сарай. Вчера кабан доску в свинарнике оторвал. Прodelал дыру, морду свою нахальную просовывает, и глядите на нее, радуйтесь. Еще доску оторвет, и лови потом его по двору, гоняйся за ним, а он бегать будет в свое удовольствие.

Парфен забил дыру не спеша, степенно, растягивая время. Что ее забивать? Пустяк. Раз молотком ударил по гвоздю как следует — и готово, доска на месте. Ну, может, где подтесать ее чуток. Так это тоже работы на три минуты. Топор у него как бритва.

Парфен проверил на прочность и другие доски в свинарнике. Для верности на кое-каких простучал молотком по старым гвоздям. Постоял с молотком в руке, наваялась грудью на перегородку, полюбовался «хозяйством». Да, скоро, скоро его под нож. Живи — отживай последние месяцы, нагуливай жиру. Не одному Ивану сало на работу брать.

Топор, молоток и банку с гвоздями Парфен отнес на место, где им и положено лежать. Молотку и гвоздям — на полке, а топору — внизу, под лавкой. Топор в хозяйстве надобен чаще.

Вот теперь можно потихоньку и на работу двигать.

Парфен вошел в хату.

— Дай копеек, — сказал он Эмме. — Завтра тоже, наверное, задержусь.

Эмма молча отсчитала из кошелька медяками выверенную сумму. Больше дай — это уж будет на кружку пива. А на работе нечего пивом распиваться. Подождет до банного дня. После баньки, она сама знает, пива выпить не грех. Все мужики это любят. Разве она когда-нибудь отказывала? Рубль всегда на баню его.

— Ужин тебе подавать?

— Не хочется чего-то... Да и недавно обедали. Туда сообрази — ночь длинная.

Парфен с жалостью поглядел на жену. Опять всю неделю и он и она в ночную смену, только и увидишься днем. Сейчас-то что! Терпеть можно. А тогда, в молодости, как ночная смена подходит, так терпи не терпи, а гнетет душу. Ты ее сжимаешь, гаубже загнать хочешь, а она, упрямая, снова вылезает, разжаться норовит. Так неделю и живешь: ты ее давишь, а она тебя давит, ты ее сожмешь, а она разожмется. Тут уж кто кого пересилит. Ну, ясное дело, Парфен вот жив остался, не умер же от ночных смен. И Эмма, слава богу, жива,

здорова, не сглазить бы. Без ночных смен оно бы лучше. Но не он их устанавливал, не ему их отменять.

Парфен принял из рук жены ужин, завернутый в бумагу, сунул за пазуху, хотел сказать: «Ну, так ты гляди тут, берегайся...» Но только посмотрел ласково на ее живот и двинулся к двери.

— Куда ты пошел, папка?— остановила его дочь.— На работу? А чего?

— Пойду на хлеб зарабатывать.

— Чего на хлеб зарабатывать? Бабушка в магазин пойдет и купит!

— Тебе спать пора.— Парфен нагнулся к дочери и поцеловал в лоб.— Ну, спокойной ночи!

— И мамке?

— И мамке!

Из дому Парфен вышел уже с улыбкой. Не раз он сравнивал, в каких условиях рос он и в каких растут его дети. Куда в лучших — разница большая, и говорить нечего. И этому только радоваться надо. И все же замечал, что не все еще давал дочерям, что нужно бы. И тут ничего нельзя поделатъ: всем нутром он чувствовал, что в жизни есть нечто такое, что первоочереднее его личных нужд, нужд его семьи. А главное, как ни старался догнать и насытить это нечто, снова оно выставляло голодный рот. На это нечто, собственно, Парфен и работал, увеличивал и двигал его вперед. Спокойствие и уверенность приходили к Парфену от таких мыслей. Он знал, что будет завтра, и готовился к этому завтра, не увиливал, а встречал сознательно, без особого для себя исключения.

Вечером он ходил на рабочий автобус улицей. В саду на стежке в такую темень нетрудно оступиться, шухнуть по колено в снег. А под ним куда ни стань — вода, подтачивает, подъедает этот снег с каждым часом. Недалек тот день, когда она проступит и на его поверхности зеленовато-серая, стоячая, пока не скопится и не зажурчит на солнце живыми ручейками: весна заговорит в полный голос.

— Парфен! А Парфен!— встретила его у калитки Фаина, которая тоже шла на смену.— Правду это люди говорят, что тебя мастером хотят поставить?

Ишь ты, уже разнеслось!

Парфен медлил, соображал, чьих рук это дело.

— А кто тебе сказал?

— Да все говорят!

— А точнее?

— Ну, кто же еще? Дружок твой!

— Иван, что ль?

— У тебя много друзей стало? Иван и разнес. Вся фабрика уже знает. Бабы со смены приехали, встречают и говорят: «Парфена новый инженер в начальники выдвинул!»

— Бабы брехать не будут!

«Бабы брехать не будут» — так Парфен шутил, когда разносилась какая-нибудь очередная небылица. Но на этот раз «бабы брехать не будут» он произнес таким тоном, что это надо было принимать за правду.

— Значит, люди не врут?— обрадовалась Фаина.— Ой, как хорошо! Мы сами меж собой поговаривали: «Ну на что нам тот придурок?» Ростом под потолок вымахал, а умом бог обделил. На этом Тихоне пахать еще б польза была. А его к бумажкам приставили! Он же с людьми разговаривать не научился. Как откроет свое хайло, хоть тикай!

— Это ты сейчас так на него говоришь! А тогда тише воды, ниже травы.

— Ой не, Парфен! Я и тогда не молчала. Если вижу, что не так, я ему глотку перегрызу. Мне он ни шел, ни ехал. Что я честно заработала — отдай.

— Ну-ну! Знаем мы таких храбрых! — подтрунивал Парфен. — Только ты рано расхрабрилась, Фаина. Я-то отказался от мастера.

— Да ты что, Парфен, шутишь?

— Нет, Фаина, не шучу. Какой из меня мастер? Чтобы мастером быть, с вами надо... Я же горло драть не умею, как Тихон.

— Парфен, что ты говоришь? Да чи мы уж такие, что не покричи на нас, так и не послушаемся. Ой не, Парфен! С нами по-хорошему, так и мы хорошие будем. Хорошее слово и скотина понимает, а мы все же люди. Или ты и вправду шутишь, Парфен? Уже вроде и зазнаваться стал?

— Тебе, Фаина, видней. У самой глаза есть. Гляди повнимательней, а то прогадаешь!

— Ты мне голову не морочь, а прямо скажи: будешь у нас мастером или нет? — категорически заявила Фаина. — Ты же, Парфен, солидный! Да еще мой сосед! А по-соседски так не делают. Хороший сосед соседу что чарка к обеду.

Уходя из дому, Парфен думал, что вот еще всю ночную смену и утро, пока не придет на работу инженер, он может решать, да или нет. Но, пошучивая с Фаиной, он от шуток пришел к простой и ясной мысли: «А чего решать? Откажусь — и все, не повесят». Опоздал он с повышением. Вон и дома не очень-то встретили. Эмма, считай, отмолчалась, а что и сказала, то как ершом прочистила. Да и теща ни то ни се, как хочешь, так и поступай. Плохо будет, мы, мол, тут ни при чем, у самого была голова на плечах, на себя и пеняй. Нет, лучше как он работал слесарем, так и... Найдут другого, производство из-за него не остановится. Один он, что ль, на фабрике?

И Парфен повернулся к Фаине:

— Значит, просишь по-соседски сказать? Так я тебе уже сказал. И сейчас без шуток повторю: не тянет меня на мастера, Фаина. И дружок мой Иван советует не спешить, обещал там все сегодня разнюхать. Ну, сама понимаешь, в каком смысле. Дурное дело — нехитрое. Поломать себе жизнь недолго, склеить потом...

Парфен вдруг представил, как «ломается» у него вся жизнь, но отчего именно она ломается, что тут было такого зловредного, этого он не мог сказать. Ему все больше нехорошо становилось от такой мысли: жил он нормально, как все люди, и вот что-то без спросу стало вклиниваться в его жизнь — «ломать» ее, втыкать ему под ребра. Вроде бы ничего еще не случилось, оставался он пока при своих интересах, а душа сдвинулась, была не на месте.

Голос, каким сказал Парфен это Фаине, убедил ее. И та опечалилась, пропала вся ее прежняя радость.

— А чего жизнь? — проговорила она. — Чего ее ломать-то? Сам не переломаяешься, жизнь не переломается. К худшему переломаяешься — и жизнь к худшему, а сам к лучшему — и жизнь к лучшему.

— Так поди ж ты разбери, где к худшему, а где к лучшему! Ты хочешь сделать как лучше, а оно... неизвестно еще, какой стороной обернется.

— Это в тебе еще бес какой-то сидит. Пока он там не перебесится, будет в голове мутно. Я уж, Парфенушка, это по своему мужику знаю. Бывало, придет мой Вилен, я по одному взгляду вижу: не трогай его, дурное из головы выйдет, человеком станет. Конечно, дурное

дурному рознь. У моего это по пьянке... Ну, а тебе что я скажу? У тебя своя жена на то есть, чтобы советы давать.

Почувствовал Парфен какую-то правду в словах Фаины, но тут же постарался приглушить. Ей это легко говорить. Ей же на руку, чтоб он в мастера пошел. Как уж ему там придется, не ее печаль. Хорошо или плохо, а ей выгода. Не с Тихоном нервы трепать. А о Парфене кто позаботится? Если сам свою судьбу не решит, от других не скоро дождешься. Да и поздно об этом думать. Лет пять бы назад — ухватился б он за этого мастера, глядишь, еще и техникум заочный окончил бы. Иван-то учится...

На автобусной остановке уже чернела толпа. Все давно собрались, одни они с Фаиной подзадержались, пока дотопали по лужам, языками помололи. Не о пустом, но за разговором какая ходьба? Не замечаешь, как сбавляешь ход.

Фаина вперед вырвалась, сразу затесалась в толпу.

Раньше и Парфен подходил пошустрей, с припасенной шуткой. Он еще только рот откроет, а все уже смеются. Знают, что всегда что-нибудь выдаст, попадают со смеху. Зарядка на всю дорогу, покуда и к воротам фабрики не подъедут.

А сегодня Парфен приотстал от Фаины, «сбросил обороты». Если бы мог, вильнул от станочниц, не показывался бы им на глаза. Вон уже судачат, — о ком же, как не о нем? Видят, что подходит, а судачат, удержаться не могут, хотя бы при нем помолчали, совесть поймали. Такой у этих баб характер: не перемыть тут же косточки — живыми не быть. Подбросила им Фаина пицци, обо всем успела доложить. На это она скоро!

Но расстройства своего перед ними Парфен не покажет. Подойдет, как всегда подходил, веселым да шутливым. Глядите, каким был он, таким и остался. Не слушайте вы Фаину, не то она вам сказала. Досужей ее промеж вас нет.

— Вы нашего лесничего, бабоньки, знаете?

То-то же! Сразу приглушили голоса, глазами уставились. Попались! Прихватил вас Парфен на зряшном деле. Не думали, что он с шуткой подойдет. Небось неловко теперь, не в силах на другой лад перестроиться? Сейчас перестроитесь!

— Так знаете или не знаете нашего лесничего?

— Дундика? Кто его не знает! — первой отозвалась Каролина Бабкова со своим русско-белорусским, по определению Парфена, говором. — Чи только дитя малое? Як дрова выписывать, к кому первому? К ему! В прошлом году пошла просить...

На этом Каролине Бабковой и остановиться бы, но она никогда не чувствовала меры, когда бралась поддержать шутку. И Парфен обрубил ее новым вопросом:

— А лесника Никодимыча?

— С Коммунальной? — откликнулась опять Каролина Бабкова. — Кто его, черта косоного, не знает? К ему як за дровами идти, так лучше утопиться. Гнилушек яких пихнет, лишь бы отчепились. Та ще бутылку поставь! А не поставь, в други раз и не сунься. Сбаловался...

Парфену снова пришлось остановить ее:

— Ну так вот. Поехал Дундик к Никодимычу на участок, а тот сует ему акт: «Подпиши!» Ну, известно, чтобы наш лесничий что-нибудь подписал, неделю за ним ходить надо. И поехал от Никодимыча домой. По дороге нахлестался дармового — всем лес нужен! — и свалился под забор. Подходит к нему Никодимычева собака Полкан, черный такой кобель, знаете, наверно. Подходит Полкан к Дундику и начинает лизать ему лицо. А он лежит с закрытыми глазами, рот до

ушей, и говорит: «Да не целуй-ба, Никодимыч, не целуй-ба: все равно не подпишу!»

Смеяться было некогда: по дороге скользнул свет от фар автобуса, а через секунду из-за поворота показался и сам автобус.

Садилась недолго, но долго отъезжали: шофер остановил машину неудачно — на колдобине, и вдоволь набуксовались, пока выцарапались из нее.

Женщины расселись по парам, кому с кем больше нравилось, захватив передние сиденья, чтобы не так трясло. Одной Каролине Бабковой не досталось пары, и Парфен сел с ней.

— Это правда, что ты от мастера отказался? — спросила она.

— Правда.

— Правда? — обернулась к Парфену Проня Пончик. — Фаина не брешет?

— Не брешет, — с гордостью подтвердил Парфен.

— Я и сама подумала: Фаина разве когда брехала? Честней ее на фабрике нету. Ну, а чего же ты так?

— Тебе бы сейчас директором предложили, ты бы пошла?

— А чего б не пошла? И пошла! — с веселой отвагой проговорила Проня Пончик. — Сразу бы не сняли, один месяц уж как-нибудь продержалась. Хоть бы раз его оклад получила! Тогда и помирать не жалко! Всем своим отцам и прадедам на том свете рассказала бы, что и я ж директором побывала, за что и выгнали!

— С нашей бы фабрики выгнали, а на другую поставили! — засмеялся шофер Виталька Анашкин. — Ты, Проня, уж если бы на эту орбиту выскочила, то летать тебе там, пока не посинела.

— Ой, и то правда, Виталька! — подхватила его шуточный тон Проня Пончик. — Какой же ты умный хлопец! Поэтому-то тебе и помирать шофером придется!

Нашла коса на камень! Парфену от этого одна выгода: меньше о нем разговоров будет. И подлил масла в огонь:

— Ты думаешь что, Проня, — Виталька прогадал? Вот он на автобусе насобачится по ямкам возить — и к Буенову в директорскую «Волгу» на место Швыряева. Тому уж на пенсию пора.

Автобус, надрываясь и виляя на раскисших местах, взобрался на горку, с которой видны были Синезерки. К ночи похолодало, воздух очистился от мокрой пелены, и поселок с разбросанными в низине огнями похож был на большой город, живущий напряженной ударной жизнью. И хотя это зрелище должно было давно всем приесться за не одну такую поездку, но в автобусе притихли, уставились на огни.

— Если б могла я свою хату продать, переехала и жила б в Синезерках, — не удержалась Каролина Бабкова, чтоб не высказаться. — Да кто ж ее купя, такую развалюху?

— Подай заявление на фабком, — посоветовала Фаина. — Может, и дадут. В фабричной жить будешь. На что тебе своя хата? Денег давать некуда?

— Подай! Легко сказать: подай! Хватает там без Каролины! Один тот дом строят, так любо кому давать.

— Чего же тогда говоришь? Терпи уж! Мы вот терпим! И я терплю, и Парфен вон терпит. У него хата, думаешь, лучше твоей? Где подзамазал, где позабыл, подкрасил — и живут впятером в двух комнатках. Да шестой ожидается! Сейчас еще ладно, пока ребяшня малая, ничего еще не понимает. А подрастут, для каждого кровать поставь. А где их ставить, кровати эти? Со своей рядом не поставишь, отдельную комнату отводи. А много у нас отдельных комнат?

— И как это раньше жили: наплодят полную хату — и хоть бы что! — искренне недоумевала Проня Пончик. — У меня один растет, и

то беготни да плачу не оберешься. Уши затыкай, глаза закрывай и уходи на весь день куда-нибудь.

— Что раньше? Раньше так не думали, другое понятие имели,— заметил Виталька Анашкин.— Темный народ был, необученный. Я своему пацану раз сказал, что при царе народ, мол, в темноте держали. А он и спрашивает: «А что, тогда электричества не было?»

Автобус так сильно встряхнуло, швырнуло в сторону и еще раз встряхнуло, что многие попадали с сидений: заговорившись, Виталька на полном газу влетел в колдобину.

Станочницы как одна загалдели, усаживаясь на свои места.

— Ты взялся везти, так вези как следует! Все печенки поотбивал! — выразила общее возмущение Фаина Халявкина.

Виталька Анашкин в виноватом молчании старался поскорее вывести автобус на ровную дорогу. Все утихомирились, благополучно поехали дальше.

— И придумал же дитенок такое сказать! — вернулась к прежнему разговору Каролина Бабкова.

— А что он еще видел? — неожиданно возмутился Виталька.

— Да, это так, — с важностью согласилась та. — Когда электричества этого не было, тогда и дети иные были. А сейчас же при электричестве родятся! При телевизорах!

Автобус въехал в Синезерки, добрался по лужам до булыжной дороги.

— Ну, сегодня, слава богу, доехали, — подытожила Проня Пончик. — А завтра, если к утру отпустит да день так постоит, не знаем, что с нами будет. Придется пешком идти.

Она нагнулась к уху Парфена и сказала как о чем-то лично для нее давно решенном:

— А я, Парфен, тоже так думаю: оно лучше будет, если ты у нас слесарем останешься. Где мы еще такого найдем? От слесаря нам больше пользы. А мастер что? Раз в смену глаза покажет да в конце там бабки подобьет. А больше что мы от него видим? Крику только больше! Попадет такой, как Тихон...

Автобус остановился у ворот фабрики — приехали! — и Парфен первым выбрался из него. Скорее бы улизнуть подальше от этих разговоров: мастер — слесарь, слесарь — мастер! Надоело! Сейчас он встретит Ивана, тот скажет ему последнее веское слово, и на этом Парфен поставит точку.

Проскочив через проходную, он заспешил к цеху, где и рассчитывал найти своего дружка, и тут — стоп! Иван, оказывается, сам подлавливал его здесь, на фабричном дворе, ухватил за рукав, не дал пробежать мимо. Уцепился за телогрейку — не оторвешь, потянул в сторону от проходной, в темень.

— Ну, что решил?

— Откажусь, Иван...

— Правильно! — Дружок оглянулся — чего доброго, кто-нибудь подслушает, — продолжал возбужденным говорком: — Дурака нашли! Я сегодня такое узнал, такое!.. Директор этого нового инженеришку с первого дня невзлюбил. Да это и понятно! Если бы к тебе в дом кто-то пришел, стал указывать, по-своему мебель переставлять и прочее... Ты мою мысль улавливаешь? Выходит, что до него тут люди сидели, зря денежки получали вместе с директором. Есть проверенные слухи, что этот инженеришка долго не продержится, рога себе обломает. Ну, ты же понимаешь, если его попрут, то и тех, кого он вокруг себя расставил. Это закон! Инженера спихнут, и тебе мастером не быть. Куда пойдешь? Снова в слесари? Снова к Шлеп-ноге и Долгоносику?

К Глебу Пшенинику или к тому заикастому? Ко всем тем горлопанам? Они первые против твоего выдвижения. С ними поскандалишь — врагов себе наживешь, потом и к ним невпротык, и из итээр вышибут. Получится, что от ворон отстанешь, а к павам не пристанешь. Ну, усек? Скажи спасибо, что у тебя друг такой есть! — Иван улыбнулся, подбадривающе толкнул Парфена в плечо. — Вот так обстоят наши дела. Да ты этому только радуйся! Чего голову повесил? Жизнь есть борьба! Понял? Тут все тонко! Не на простаков рассчитано!

— Да я что? Я ничего... Сказано — сделано. Ты меня, Иван, знаешь...

— Все хорошо, что хорошо кончается! Ну, живи, не кашляй, а то я на автобус опоздаю!

— Живи, не кашляй! Спасибо тебе...

— Ну, брось, брось! Кто я тебе, друг или портянка?

— Друг.

— То-то же! Ну так я побежал.

У дверей проходной Иван Колчин махнул дружески рукой и скрылся за воротами фабрики. Парфен благодарно посмотрел ему вслед. Вот Иван какой: расторопный, деятельный, умный. Не то что он, темнота, — влип бы по уши и не заметил как. Спасибо дружку — просветил. А вот он и не подумал об этом. Оказывается, вон как тут хитро! Куда ему до борьбы? До ее тонкостей? Борьба! Слово-то какое, и выдумали же! Можно ведь жить просто, открыто, честно, как жил он до этого. А то... борьба!

В цех Парфен вошел бочком — не нарваться бы на кого-нибудь из слесарей! — прокрался к своему верстаку. Все тут знакомо до мелочи, до каждой щели, щербинки в досках с вьевшимися в них металлических опилками, ржавчиной, пятнами от солидола и машинного масла. Заглянул в нутро верстака, в тайник, в котором хранил инструмент — самое ценное, чем дорожит каждый уважающий себя мастерской человек. Многие инструменты приобретены им самолично с немалыми трудностями, ухищрениями, куплены за кровные деньги, выменены на что-либо другое у людей, которым они были ни к чему. И тем больше таким инструментом дорожил он, берег его. Нет, Парфен не «зажимался», никогда никому ни в чем не отказывал. Любой инструмент попросят — пожалуйста! Но он любил поддерживать порядок, чтобы не рыться, не искать впопыхах, когда инструмент вдруг понадобится.

И здесь, в тайнике, все лежало так, как он оставил. У кого хватит совести подобрать ключ, забраться в его хозяйство? Уж насчет этого никто из гоп-компании ни-ни... Без спросу в чужой верстак не полезет, как бы ни прижала нужда. В чем-нибудь другом куда еще ни шло, а в этом все честняги.

Парфен просунул руку дальше, в тот потайной уголок, куда никому не было доступа, нащупал складной пластмассовый стаканчик. И он на месте. Поколебался, то ли изъять его, то ли оставить. Оставил: жалко, хороший стаканчик, еще пригодится.

Он запер верстак — взял с собой только самое необходимое: разводной ключ, напильник, штангенциркуль. Штангенциркуль сунул в нагрудный карман куртки, как делал всегда. Все же вид мастера человеческого, не шалопака с улицы. И осанка другая, и походка не та. И на тебя по-другому смотрят, с уважением. Одежку бы еще посимпатичней к этому штангенциркулю — во! А то Эмма сшила летник не летник, куртку не куртку... Да брюки давно уж простенькие купила. В таком наряде и ходи на работу.

Парфен настроился на спокойный рабочий лад: впереди еще вся смена, ночная смена, и тут надо рассчитать свои силы.

Он собрался отойти от верстака, как в слесарню ворвался Сенька Шадрин.

— Эй ты, начальник! — крикнул он от дверей. — Тебя ждут!

Парфену не понравилось то, как Сенька произнес слово «начальник». Ясное дело: на мастера намекает. Теперь уж будет разговоров, назубоскалятся вдоволь, им смех, потеха, бесплатное развлечение, пицца на всю смену, а ему эти слова... Несостоявшийся начальник! На «орбиту» хотели запустить, да не вышло: «топливо» не то. Отложен «запуск», другого в тот «космос» пошлют.

Случись что с кем-либо из ребят, он и сам бы не преминул что-нибудь такое вот брякнуть, живот порвать. А обиделся бы тот — еще больше подковыривал бы: не обижайся, не обижайся на это! Но коснулось его, и... Почему-то не приняла душа такой подковырки, заперлась обидой. «Не ты ты, Сень, ноту взял!» — хотел Парфен открестить-ся от него, сдачи дать, но сдержался: не так, мол, легко уесть меня, обождешься. Поищи себе другого, я тебе не по зубам.

— Где это меня ждут?

Но Сенька Шадрин и не собирался его подзуживать, а скорее, наоборот, всерьез был озабочен тем, зачем звал.

— Ты не знаешь, где наш «кабинет»?

— Не знаю.

— Быстро забыл!

— Память коротка.

— Так я напомню: в курилке!

— А кто меня там ждет?

— Небось тоже уже забыл?

— Не припомню что-то, шарики заело.

Взгляд Сеньки Шадрина забежал по Парфену, стараясь проникнуть внутрь.

— Ну, хватит сумерничать. Вся гоп-компания в сборе. Тебя одного ждут.

Парфен очень уж неохотно оторвался от верстака, направился не то туда, куда Сенька Шадрин просил, не то делал «ход конем», выбирая удобный момент, чтобы увильнуть от него.

— Прихвати свой стаканчик, — таинственно шепнул Сенька Шадрин.

— Зачем?

— Не из горлышка же нам пить! Мы же культурные люди!

Парфен, морщась, приостановился, но лезть в верстак за пластмассовым стаканчиком не спешил.

Это и насторожило Сеньку Шадрина.

— Ты что же, не хочешь с нами выпить последний раз?

— Почему последний? Последний день на свете живем?

— Типун тебе на язык! Пусть сначала помрут наши враги. А что последний раз мы с тобой тут выпиваем, это и к бабке ходить не надо. Мы это дело понимаем: мастером станешь — все, дружба врозь. Работа работой, а порядок порядком.

Ага, они еще не знают, что он этого мастера уже похоронил. Сегодня на смену пришел и похоронил. Иван, дружок, помог. Тем лучше, что не знают. А узнают, не то запоют.

— Ладно, Сень, стаканчик вот возьми, но... Без меня, понимаешь?

— И в курилку, что ли, не пойдешь?

— Почему? В курилку пойду. Погляжу, как вы пить будете.

— Да там нечего пить. На бутылку солнцедара наскребли. После вчерашнего не оклемаемся... Ну, а ты как?

— Нормально.

— Дома небось обрадовались? На повышение идешь!

— Да, обрадовались..

— Ты на то наплюй и разотри, что я вчера про начальство в закуской наговорил. Надо же было потрепаться о чем-то! Начальство начальству рознь, ты прав, как и нас возьми — каждый по-своему шит и скроен. Эту арифметику мы давно усвоили! Нас тоже есть за что почихвостить. Ну, хотя бы вот за это. — Сенька показал на пластмассовый стаканчик. — Все мы это знаем, понимаем, на собраниях об этом говорим и в газетах пишем, а как до дела доходит... В общем, спайся кто как может!

Сенька спрятал стаканчик в карман.

— О тебе какой разговор! У нового инженера глаз наметан. Я лично за! Я еще тогда, в закуской, смикитил, что с тобой что-то творится. Был Парфен свой парень, шутки шутил, а тут, пока не уломали всем коллективом, и выпить уже с нами не хочет, домой ему, видите ли, надо, к жене скорей захотелось. Ты не обижайся, я тебе честно говорю. Все мы такие. И я бы так сделал, окажись на твоём месте. Но то то и оно, что мне до тебя...

— Не прибедряйся, — возразил Парфен.

— Я говорю как есть! Мне еще вот здесь, — Сенька Шадрин постукал себя по лбу, — порядок навести надо! А у тебя уже все по полочкам разложилось.

— Скажешь...

— А то нет?.. Ты же для себя давно обмозговал. И правильно. Мое слово такое: иди в мастера и не раздумывай! Там еще Жорка Матвеев какой-то секрет для тебя приберет. Нам он ничего не говорит: мол, Парфен придет, тогда и скажу.

Перед курилкой Сенька Шадрин огляделся по сторонам: как он ни храбрился, а пластмассовый стаканчик прожигал карман. Новый инженер своим ночным посещением нагнал на всех страху. А Парфен вошел в курилку, как всегда, без оглядки. Чего уж тут было трястись да оглядываться?

— А! — первым поднялся из дыма Аристарх Гребенников, забавно расшаркался перед Парфеном. — Я вас приветствую и поздравляю! Когда заступаем на новый пост, позвольте вас спросить?

— На днях или раньше, — отшутился Парфен.

С напускной беззаботностью он посмотрел на остальных слесарей — Порфирия Плутархова, Филимона Меньшикова, Глеба Пшеника, Жорку Матвеева... Лица их как бы говорили: «Жили нормально, работали — и бах, Парфен в мастера! Грабят среди бела дня. Вырывают из наших рядов». А вот Парфен возьмет и скажет сейчас: «Ошибаетесь вы, мои хорошие, не хочу я быть вашим мастером. Ни к чему мне ваши ряды ослаблять. Будем идти в одной упряжке, как шли, тянули вместе и тянуть будем до конца». Не поверят ведь, усомнятся, сразу сделают кислые морды. Подумают, что набивает себе цену, куражится. Лучше промолчать, подождать, что Жорка скажет. Какой он такой секрет для него приберет? Сроду не было у Жорки секретов, и вдруг — секрет! Ну, давай, Жорка, выкладывай! Хватит людей на сковородке поджаривать. Уж если ты собранье такое собрал, решил выступить, значит, дело нешутейное.

Жорка Матвеев напрягся прямо-таки как великомученик: трудно начать ему, молчаливому.

— Ты Ивана-то, дружка своего, видал? — Он едва договорил это, сморщился, как на иглу сел: чирей стрельнул ему в шею.

— Ну, видал.

— Когда ты видал?

— Днем видал, заходил к нему. Да и сейчас встретил...

Жорка Матвеев помедлил.

- Что он тебе сказал?
- Когда?
- Ну, сейчас.
- Ничего особенного. Так, один совет дал.
- Какой совет?

— Жорка, ты кто, следовательно? Смотрите, как разговорился! А прикидывался тихоней! Ну, давай, что ты узнал про Ивана?

- Я таких дружков в гробу видал бы в белых тапочках!

Жорку Матвеева слушали все, слушали так, как можно было слушать только Жорку. Как же, Жорка заговорил! Жорка! Каждое его слово проверялось на слух и на вес, укладывалось в мозг с особым значением. И последние Жоркины слова ошарашили всех. Жорка и сам испугался своих слов, сначала сказал, а потом испугался, испугался и совсем смолк.

И тогда все посмотрели на Парфена: может быть, он объяснит, чего это Жорка готов видеть его дружка в гробу, да еще в белых тапочках? Что же такое случилось, что лучшие дружки... Или Жорка поклеп какой наводит на Ивана? Поссорить обоих хочет? Тогда надо Жорку самого обуть в белые тапочки.

Но и Парфен пока не понимал, в чем его дружок так провинился. За что всегда молчаливый, как могила, Жорка желает Ивану такой кары?

— Что это ты, Жора, нам говоришь? — первым опомнился Сенька Шадрин. — Объясни, пожалуйста, нашему без пяти минут мастеру, почему его лучший дружок должен лечь в гроб в белых тапочках?

— Да, Жора, ты, если уж того... Не робей, секи до конца! — подержал Сеньку Шадрина Аристарх Гребенников.

Жорка Матвеев взглянул на Филимона Меньшикова, словно спрашивая: как, мол, открывать секрет до конца?

Оказывается, Филимон Меньшиков посвящен в Жоркин секрет! И не только посвящен, а это его, Филимонов, и есть секрет! Это Филимон что-то узнал про Ивана, Парфенова дружка, и попросил Жорку рассказать за него, зайку.

И теперь все вылупились на Филимона Меньшикова. А тому от такого внимания вовсе язык связало: дерг-дерг губы, а слова не получается, хоть ты этот язык отрежь и собакам выбрось.

— Чего много говорить? — решил продолжить за него Жорка Матвеев. — Иван Колчин к новому инженеру бегал! — сказал Жорка и снова рот на замок.

- Чего же он бегал? — не терпелось Сеньке Шадрину.

- Ну, ясно чего...

- Говори, говори!

- Ну, чтоб это... Иван на мастера бегал проситься.

Сенька Шадрин крутнулся к Парфену: мол, ну что скажешь? Вот он, твой дружок закадычный! Вот он когда проявился! Весь наружу выполз, как змея из старой кожи. А ты ходил, расхваливал: лучше Ивана друга нет! Сколько лет дружишь, а не разглядел. Полюбуйся теперь своим хваленым дружком, погляди на него, порадуйся. Он тебе еще не такую свинью подложит!

А что до Парфена, то до него сразу как-то и не дошли Жоркины слова. А когда дошли, он и печалиться не стал, улыбнулся. Так он сразу и развесил уши, говорите больше. Если и ходил Иван к инженеру, то не за этим. Для него же он и старался, вон даже к инженеру пошел, не посмотрел ни на что. А уж для чего, об этом не обязательно всем знать. Видно, Жорка что-то перепутал, не так рассказал. Глухой недослышит, так добрешет.

Зашевелился, задвигал задом, почуяв, что запахло жареным, Глеб

Кершанок, Пшеник. Вот-вот готовы были затеять суды-пересуды Аристарх Гребенников и Сенька Шадрин. Под солидарное молчание Жорки Матвеева, Филимоши, Шлеп-ноги — всей остальной гоп-компании — они припомнят сейчас Ивану и то и это, в два счета «докажут», что от него этого и следовало ожидать. И если Парфен не замечал, то для ихнего постороннего глаза это было всегда заметно. Но Парфен такого скорого суда над другом не допустит.

— А мотив? — шагнул он к Жорке Матвееву.

— Какой мотив? — не сразу понял тот.

— Ну, мотив? Чем ты докажешь?

Оторопь свела Жорке шею, она не она, чирьи не чирьи, но ни головы не повернуть, ни самому повернуться, лишь глаза вытаращил да рот приоткрыл, как рыба. Разве нельзя ему поверить на слово? Разве когда-нибудь он врал?

Сенька Шадрин был тут как тут:

— Это дураку ясно! Иван в техникуме учится, а ты... Кто ты? Слесарь-самоучка! Поздно найденный самородок! Это Ивану прямая дорожка в мастера, это ему другими командовать. Для начала над нами потренируется, а там, глядишь, с таким пробивным рылом и в начальника цеха выскочит. Правильно я тебя понял, Жорка?

Жорка Матвеев вышел из неподвижности, распрямился, обрадованно кивнул головой: так, так, Сенька, так!

— Ну вот! — воскликнул Сенька Шадрин, довольный своей догадливостью. — Мы это сразу усекли! Поняли что к чему, не пальцем деланы!

— Колчин себя предлагал. — Жорка Матвеев указал взглядом на Филимона Меньшикова, призывая подтвердить его слова. — Вот он рядом стоял, все слышал. Говорит: мол, раз я учусь в техникуме, мне нужна перспектива, мне расти надо, вот и ставьте меня мастером, если решили Тихона заменить. А что Парфен? Парфен — отсталый человек, без развития. Мастер для него — потолок, только мне дорогу закроет.

— Это правда? — Парфен посмотрел на Филимона Меньшикова.

— Правда, — ответил тот, нисколько не заикнувшись на таком трудном слове.

Больших доказательств не требовалось. Слесари задвигались, зашумели, загалдели.

Сенька Шадрин уже перешел на шутки:

— Кому хочется расти, валите к новому инженеру! Он всем сейчас должность раздает! Торопитесь, пока он добрый!

— Да, да! — подхватил в тон ему Аристарх Гребенников. — Иван Колчин вон сходил...

Под этот шумок Парфен собрался выйти из курилки, но Сенька Шадрин разгадал его план.

— Ты чего уже от коллектива отрываешься? Давай вот по грамм-мульке выпьем за помин вашей дружбы и прикроем эту лавочку!

— И в рот не возьму.

— А ты в рот не бери, а в руку!

— Нет, все, шутки в сторону. Живите, не кашляйте!

— Да ты не вешай голову! Утром к инженеру завалим, от твоего Ивана мокрого места не останется! Подумаешь, друзей, что ль, больше нету?..

Парфен вышел из курилки волоча ноги, будто на каждой из них было привязано по пудовику. Постоял, раздумывая, куда бы пойти сейчас, в цех или просто, может быть, побродить по фабричному двору. В цехе что? Там теперь только покажись, станочницы пройти не дадут, привяжутся с расспросами. Но и на дворе вон погода собачья. Ехали на

работу, казалось — подморозило с вечера, а ночью опять отпустило. И ветер откуда-то прорвался как бешеный. Он железные цеховые ворота покачивал так, будто они ничего не весили. Позвякивал цепью — запором. Как покачнет, так и цепь звяк, звяк. Минуту-две постоишь да послушаешь, и начинает казаться, что это в голове твоей звякает.

А еще ветер покачивал электрическую лампочку над входом в цех. Не была бы она в плафоне с металлической сеткой, то недолго бы и разбится ей. Как ветер эту лампочку в одну сторону качнет, так она погаснет, как в другую, так загорится. Тень от ворот то ляжет внутрь цеха, то отбросится назад, во двор. То перед входом в цех станет черным-черно, то покажется лужа. То она исчезнет, то покажется. Свет сменялся тенью, а тень светом, как в театре на сцене.

И Парфен, глядя на эти превращения, подумал, что так вот и в жизни между людьми, смотря как и что осветить. Так осветишь — будет один строй вещей: что-то попадет на свет, что-то скроется в тень. Иначе освети — будет другой строй вещей: то, что было раньше на свету, окажется в тени, а что было в тени, выйдет на свет. Как у него с Иваном получилось, с их дружбой. Вроде бы все он до этого знал о друге, а скрывалось же в нем такое. Осветило Ивана под другим углом, и уже не тот человек, выходит, не тот, что был. Выглянуло наружу то, о чем Парфен никогда не подумал бы...

Кто был другом, на поверку оказывается дерьмом, кого принимал за так себе, ни за рыбу, ни за мясо, те — люди, шли с добром к нему... Но не мог же Иван выдумать про эту самую «борьбу», про ту «кухню» и всякое такое. Да еще говорить об этом с таким жаром. Может быть, Филимон Меньшиков и слышал разговор, но чего-то недопонял или рассказал Жорке что-нибудь не так. Он ведь слово скажет, а о десяти словах догадываться надо. И вот сделали из мухи слона... Нет, пока Парфен не услышит это своими ушами от самого инженера, ни за что никаким Жоркам и Филимошам не поверит.

Из курилки Парфен направился в чужой цех — в сушильный, из сушильного в коробочный, из него заглянул в упаковочный, а оттуда уже к себе — в набивочный. Словом, обошел почти всю фабрику, чтобы протянуть время, отвлечься, не думать ни о чем. Но мысли сами лезли в голову, он их не просил, а они лезли. Быть или не быть Парфену мастером — не это сейчас волновало его. Важным было — друг ему Иван или не друг. Вот что прояснить надо! Скорее бы утро!..

В половине ночи Сенька Шадрин вернул Парфену пластмассовый стаканчик, многозначительно сообщил:

— Тихон сегодня в курилку носа не показывает! Смекаешь?

Парфен промолчал, а Сенька Шадрин дурашливо пропел на всю слесарню:

— Последний нынешний де-не-е-чек!..

— Не денечек, а последнюю ночь! — поправил его Аристарх Гребенников.

Он тоже счел нужным подойти к Парфену с новым сообщением:

— Инженер Ивана-то выгнал! Сказал: «Вон из моего кабинета!» Мол, самозванцев мне не надо. Филимоша сейчас дополнил: он раньше выговорить не мог!

Когда Сенька Шадрин и Аристарх Гребенников ушли к своим станкам, к Парфену подошел Глеб Кершанок, Пшенник. Сначала покрутился возле него будто бы от нечего делать, потом только сказал:

— Ты друзей старых не забывай. Не забывай старых-то. Сам знаешь: старый друг лучше новых двух.

Покуда он сказал это, покуда еще покрутился, видя, что Парфен молчит, и унес свое жирное тело в другой конец цеха, полчаса прошло.

А в третьем ночи мимо Парфена как две тени продефилировали Жорка Матвеев и Филимон Меньшиков, с вежливой оглядкой удалились в сторону, противоположную той, в какой исчез хитроумный Глеб Кершанок.

Последним к Парфену подошел Порфирий Плутархов. Парфен еще задолго узнал его по шлепанью о цементный пол мокрой калоши. Плутархов со своей жалкой улыбкой постоял молчком возле будущего мастера и также молчком ушел, сказав этим больше, чем словами.

В четвертом часу у новенькой Нелли Юдиной опять сломался станок. Опять, как в прошлый раз, новенькая очень переживала, и опять Парфену надо было сказать ей: «Иди, покури».

Вскоре сломался станок и у Каролины Бабковой.

— Парфе-е-ен! — тут же позвала она.

Поломка оказалась пустяковой. Парфен устранил ее за каких-нибудь пять минут. Но не успел он отойти от станка Каролины Бабковой, как «заело» и у Прони Пончик.

— Ты ж не будь дураком, — прошептала ему на ухо Проня Пончик. — Не слушай никого, а делай, как своя голова подсказывает. Обижаться будешь, так на себя. Понял?

Перед самым концом смены «сломался» станок у Фаины Халявкиной.

— Иди к инженеру, пользуйся моментом, пока Иван твой тебя не объехал! — посоветовала Фаина. — Ворон ловить будешь — останешься на бобах.

Парфен повеселел и отправился в туалет мыть руки.

Мыть руки он не торопился: новый инженер придет на фабрику не раньше чем через час, когда приходит вся администрация. За этот час можно и ему еще успеть позавтракать в фабричной столовой.

Он вышел из туалета, а инженер вот он — стоял перед входом в навивочный цех, разговаривал с Сенькой Шадриним. Прихватил он его, Сеньку-то, не успел Сенька улизнуть через проходную. Стой теперь выслушивай, что тебе начальство выговаривать будет.

Парфен и сам от такой встречи лоб в лоб с инженером здесь, во дворе фабрики, да еще в такую рань, растерялся. Опомнился, да поздно: инженер уже заметил его.

Подходя к инженеру, Парфен услышал, как тот спросил у Сеньки Шадрина: «Вы-то сами не против его кандидатуры?» — и ответ Сеньки:

— Да мы-то что? Нам такого и надо, чтоб он нас знал, а мы его знали... Да нет, он парень свойский, в доску...

А когда Парфен подошел совсем близко, инженер уже погромче сказал:

— Ну, а вы, Шадрин, готовьтесь! Возьмите в библиотеке книжечку и почитайте. Через месяц мы вас переезжаем. И нам и тем более вам неинтересно, чтобы вы от своих товарищей отставали.

Сенька Шадрин стал прежним веселым Сенькой Шадриним, побежал к проходной, на бегу оглянулся, дал Парфену знак: «Давай вот говори сейчас инженеру!..»

Инженер первым подал Парфену руку, как подают давно знакомому, равному себе человеку, коротко взглянул на небо, словно жалуюсь на сволочную погоду.

— Ну что, пойдём ко мне?

Он зябко свел плечи, как бы поглубже влезая в потрепанное демисезонное пальтишко, прибереженное, видимо, для того, чтобы ходить в цеха: где-нибудь и шурнет о станок, вымажет — не жалко.

Инженер шел небыстро. Парфен мог бы в два счета догнать его, но продолжал идти за ним, немножко приотстав. Он всегда размягчался,

делался застенчивым в поведении с людьми, которые к нему начинали хорошо относиться, приближать его к себе, особенно если эти люди были выше по работе или просто в жизни. И сейчас с каждым шагом Парфен проникался к инженеру ответным добрым чувством за то, несомненно, чуткое и уважительное отношение к нему, простому слесарю и человеку.

Возле крыльца конторы инженер оглянулся на Парфена и, словно бы убедясь, что цел Парфен, никуда от него не сбежал, поднялся на крыльцо, зашагал дальше по коридору. Прошел в кабинет, оставил дверь открытой. Это для того, чтобы Парфен входил сюда прямо, равноправно, как в свой дом.

Инженер уже стоял на своем излюбленном месте — у окна, когда Парфен переступил порог кабинета и остановился здесь же: на большее у него смелости не хватило. Опять связала его по рукам и ногам ответная доброта.

— Садитесь, Парфен Тимофеевич.

Инженер, подойдя к столу, сел к нему боком, выжидаясь посидел, пока Парфен устраивался на стуле с противоположной стороны.

А тишина в кабинете такая, что слышно было, как ветер поскрипывал кустом сирени в палисаднике, шелестел застрявшим между веток обрывком перезимовавшей под снегом бумаги.

— Вы с Иваном Колчинным друзья? — негромко спросил инженер, посмотрел на Парфена сбоку, как бы изучая его в профиль.

— Ну, вроде бы...

От этого «вроде бы» по лицу инженера проскользнуло что-то свое, то, ради чего он и позвал Парфена.

— И давно вы с ним друзья?

— Давно... Охотимся вместе...

— Понятно.— По лицу инженера снова проскользнуло то свое, уже решенное.

А Парфен больше всего хотел сейчас ясности. Чего спрашивать? Чего его прощупывать? Чего тянуть? Друг ему Иван или не друг? Если друг, он встанет и уйдет. Ему будет нечего больше тут делать.

И Парфен, нахмурясь, спросил:

— Что вам понятно?

Инженер улыбнулся, наклонился через стол:

— Плохой у вас друг. Уж поверьте мне на слово.

— Можно и не на слово... Мне вашего слова только и не хватало.

— А мне вашего!

Инженер поглядел на Парфена уже без улыбки, потому что понимал: нелегко было Парфену согласиться, что был у него друг и сплыл вдруг. Да, он понимал, что тут было не до улыбок.

— Так, значит, решено?

Точно, очень точно рассчитал инженер, когда задать этот вопрос. И знал, как задать: коротко и ясно, так ясно, что Парфен снова размяк от ответного доброго чувства за то, что инженер понял его так, как никто до сих пор не понимал.

То, что Парфен решил в эту минуту, инженеру было еще проще понять: «Не уступлю Ивану!..»

— Тогда сегодня же будет приказ.

Когда Парфен уже дошел до двери, инженер остановил его, окинул взглядом с ног до головы и сказал как о чем-то второстепенном, но все же обязательном:

— Да, вам бы уж подстричься пора, Парфен Тимофеевич... Ну, и эту вот,— кивнул он на телогрейку,— сменили бы... Даю вам день на переустройство.

Парфен, не сказав ни слова, вышел из кабинета. Коридор одолел нестойкой, раскоряченной походкой, будто там, в кабинете, он по доброй воле взвалил на себя стопудовую ношу. И только на крыльце распрямился от ударившего в лицо шального ветра. Конторский двор прошел уже бодренько и выскочил на тротуар — «памятник пенсионерам». Здесь Парфен совсем почувствовал себя легко и свободно, как после хорошей бани, с парной и холодным душем, во всю мощь развернул грудь. А чем его бог не обидел, так это грудью, даже перестарался в этом: как чуть посылнее ее Парфен выпятит, так пуговиц на рубашке и нет. Если нитки крепкие, то с мясом отлетают, все равно не выдерживают натиска.

И вспомнилась ему морская служба: вот так же приходилось не раз, стоя на палубе корабля, выпячивать грудь в ответственный момент. Но то на флоте, то один был фронт, а это другой — трудовой...

К фабричной столовой Парфен подошел веселеньким от мысли, что в кармане притаилось тридцать шесть копеек, как раз на тарелку борща, на полную порцию, конечно, на стакан компота и три кусочка хлеба — хлеб Парфен любил черный, но чтобы был свежий, не черствый. Таким же, забавным, он переступил и порог столовой, подошел к буфетной стойке, посмотрел на буфетчицу Клаву.

Та уже знала Парфенов рацион, знала и его самого, как многих, кто работал на фабрике. Знал Парфен и ее как облупленную, ее проделки за буфетной стойкой, ее жизненный принцип: не украдь, не сбреши — не прокормишь души. Но Парфена она не обижала, наоборот, почему-то ему симпатизировала, норовила подкинуть в тарелку кусок свинины пожирнее да поувесистее и самого борщику набухать сверх нормы, чтоб плескался через край. И когда Клава его обслуживала, Парфен старался сказать ей что-нибудь такое, от чего она зарумянивалась, что поднимало ее настроение за этой однообразной и неблагодарной работой. Всем, как ни угождай, все равно не угодишь. Кто-то всегда вылезет из-за стола недовольным. «Пусть женки дома вас лучше кормят!» — отвечала Клава на все претензии.

— Привет шеф-повару! — шутливо поздоровался с ней Парфен. — Как живем, кашляем?

— Ой, не говори! — сразу повеселела Клава. — Как покрутишься день за этой стойкой, так и не до кашлю. Придешь домой, свалишься на кровать и спишь как убитая.

— Борщиком-то у тебя сегодня пахивает?

— Только что с плиты сняла, как огонь еще борщик-то! Губы в ложке оставишь — такой горячий! Целовать женку нечем будет!

— Она у меня теперь нецелованная спит.

— Знаю, знаю... Скоро же она?

— Да к лету должна...

Парфену не хотелось говорить об этом, и он поспешно перевел разговор на то главное, зачем сюда пришел:

— Гю-ка, подлови там сс дна пожиже!

Клава схватила тарелку, разливную ложку, повернулась к кастрюле с борщом, зачерпнула, как и просил Парфен, «со дна пожиже» — одной гущи — и бух в тарелку. Выловила покрупнее кусок мяса, говядины, плюхнула туда же. Собрала сверху понаваристой жижи, залила тарелку пятакими жира с томатом. Напоследок плеснула две ложки сметаны вместо одной — и порция самой отборной пищи (съешь ее — сыт полдня будешь) готова.

Все это время Парфен не сводя глаз следил за Клавиными движениями, удовлетворенно отмечая про себя, когда она зачерпывала как раз то, что он и хотел, чтобы оно попало к нему в тарелку.

Потом осторожно, боже упаси, чтобы не пролить, принял обеими

руками тарелку от Клавы. Дальше первого стола нести не рискнул: то самое вкусное сверху, раскачавшись, вот-вот могло выплеснуться.

— Дай тебе бог жениха хорошего, Клабочка! — поблагодарил Парфен, вернувшись за компотом и хлебом.

— Ой, кому я нужна? Помоложе в девках сидят, а уж куда нам-то? Как за двадцать пять перевалило, так забывай про любовь ту! Была бы я еще красавицей какой-нибудь, а то уродилась — ни богу свечка, ни черту кочерга!

Говорила Клава так для виду. Был и у нее хахаль — Колька Шитик, грузчик товарной станции. Хороший парень, на редкость непьющий и некурящий, то, что женам надо. У них уже что-то там назревало, и Клава расцветала день ото дня, бойкая, говорливая, не такая уж уродина, а обыкновенная, пожалуй, смазливая бабенка.

И Парфен сказал:

— Ну, видали мы вас, таких скромниц! На свадьбу-то когда позовешь?

— А может, этой осенью,— быстро перестроилась Клава.

— Колька-то хорошо зарабатывает?

— Он же в «Бабьи слезы» не относит!

— А сама-то к свадьбе денег много небось накопила аль на самогонке думаешь выехать?

— А ты чивой-то завтракать к нам пришел? — увильнула Клава от ответа. — Чи тебя дома не кормят?

Спросила Клава по существу, потому что завтракать с фабрики редко кто-нибудь приходил. Городские приезжали точно к смене, дома завтракали, а те, кто отработал ночную смену, тут же уезжали, опять же дома их ждал завтрак. Синезерские утром тем более сюда не заглядывали. Они и обедать домой ходили — близко ведь, не в город ехать. Шумно становилось в столовке тогда, когда на фабрике начинался обед. Для всех, и для городских и для синезерских.

— Я мастером работаю,— сказал Парфен просто, как о событии рядовом, но все же закономерном.

— Правда? — обрадовалась Клава.

— Какой мне интерес врать?

— Так правда мастером?

— Ну вот еще, не верит! А чего бы я задержался?

— Как же ты домой добираться будешь? Это теперь тебе каждый день так?

— Почему каждый? Не каждый... Если каждый, пусть они сами мастером работают. Может, еще когда случится раз... Сегодня вот пока с инженером поговорили... — Слово «поговорили» Парфен произнес так, как если бы у него с инженером были самые обыденные повседневные дела, которые он ставил на уровень простых, но имевших прочную, жизненную основу. — Ну да вчера пришлось... Но то мы на разряд сдавали, к концу дня ввалился. Было от Эммы!

— Ты ж сейчас, Парфен, не обижай, не нервируй ее, ей спокойствие надо. Вишь, оно у женщин-то как...

— А то я не знаю... Учишь! Я себе не враг, Клава.

Парфен взял с подноса стакан компота, три кусочка хлеба и пошел к столу. Поговори с ней больше: был борщ как борщ, остынет — холодный есть будешь. То только и пища, что горячая.

Он не съел еще и половины борща, сидя один в зале, а уже стало тепло всему телу. В виски ударил жар, на лбу, как роса, высыпал освежающий пот, на руках вздулись вены, как от тяжелой благой работы. Но вместе со всем этим на Парфена навалилась и усталость. Она будто только того и ждала, когда он поест сытно, а с пи-

щей, утеплившей желудок, уляжется и все то, что пришлось пережить ему за эту ночь и утро.

Парфен, пошатываясь, как пьяный, выбрался из-за стола, поглядел на Клаву. Та, покуда он ел, занималась своим делом — подсчитывала вчерашнюю выручку. Делать нечего, сиди и считай, не скучать же за стойкой!

Парфен выждал, когда Клава оторвется от денег, взглянет на него, довольного ее борщом, и сказал:

— Ну, живи, Клавочка, не кашляй!

Парфен машинально подошел к парикмахерской, почти уперся лбом в дверь.

Расставив ноги, он стал рыться по карманам. Начал проверку с телогрейки, потом облазил куртку, добрался до брюк. Бывает же такое, что заваливается двадцатуха в складках или в носовой платок западет. Вытащишь его из кармана, тряхнешь, а из него дзынь — монета!

Где взять хоть бы тридцать копеек? Это ровно столько, чтобы подстричься.

Не снимая шапки, Парфен подергал себя сзади за волосы. Верно инженер заметил: хоть в попы с такой гривой иди — не откажут. Нынче необязательно верить в бога, только прическу отрасти — стоишься.

Поусмехавшись, Парфен снова стал озабоченным: так где же найти денег? Во всех карманах пусто. Уж он-то еще ту ревизию им навел! И на улице никого из знакомых, а то бы перехватил. Никто не откажет: мелочь ведь... Хотя эти копейки и просить как-то неудобно, будто нищий. Вернуться нешто к Клаве, занять рубль? Завтра же он отдаст ей. Вспомнил бы о парикмахерской раньше, завтракать не пошел бы, а лучше бы домой подстриженным приехал.

А в «пистоне»? О «пистоне» забыл! В него не заглянул!

Был такой в Парфеновых штанах крохотный карманчик у самого ремня, спереди, куда он нет-нет да и совал по рублику втайне от Эммы. Ну, рублик — небольшой грех. Не такая уж крупная сумма этот рублик.

Парфен просунул палец в «пистон» и с радостью ощутил там свалывшийся комочек. Это был тот самый рублик, который долго носится в таком вот тайнике — «пистоне», дожидаясь своего часа. Как хорошо, что вчера Парфену обрубило память на «пистон»! Остался бы этот рваный рублик в закуской: случай для него был подходящий.

Перед тем как занести ногу на ступеньку парикмахерской, Парфен оглядел найденный рубль. Ничего, сойдет, им все равно в банк сдавать. А там и кусочки принимают, лишь бы были все целы.

В синезерской парикмахерской Парфен не был ни разу — своя в городе есть, получше этой «забегаловки». Но синезерского парикмахера знал он хорошо. Да и кто не знал Модеста Полуэктова, сухо-рукого выпивоху, засевшего в этом гнезде — помещеньице не больше газетного киоска — с тех пор, как зашибло ему на фабрике правую руку? Наловчился же он стричь и брить одной левой, а правой мог только зажать меж пальцев расческу, и то с помощью левой. Если и портачил шевелюры, то ему прощали, учитывая его незавидную судьбу. Одно время он собирался открыть вовсе непосильное — «дамский салон». Вообще Модест был сторонником «внедрения», как он высказывался, пользуясь еще фабричной терминологией, модных причесок. И то ли отсюда, то ли по схожести слов называли его не Модестом, а Модистом.

Парикмахерская открывалась с десяти, но Модист открыл ее на пятнадцать минут раньше. Клиентов еще не было и быть не могло в это время. Если и появятся такие, то это где-то к середине дня. А больше всего их следовало ждать к вечеру, после работы. А пока что Модисту надо было скучать, а уж если кто-нибудь заглядывал к нему, то он старался продержаться подольше, покуда не приходил кто-нибудь другой. Все были свои, синезерские, поговорить с ними было о чем, и день у Модиста проходил быстрее.

Зная все это, Парфен вошел в парикмахерскую приободренным: Модист сейчас будет рад любому, а ему, заросшему, тем более.

— Как поживает цирюльня? — поприветствовал Парфен на свой манер. — Ты тут еще не автоматизировал стрижку?

Модист с интересом прислушался: это уж ожидай подвоха!

Парфен еще немного помариновал его, на полном серьезе прибавил:

— Скажем, голову всунул в какой-нибудь барабан, раз крутнул — и хорош, вынимаешь, подстриженный!

Модист когда-то был на фабрике лучшим рационализатором и понял Парфена с полуслова. Заулыбался и одновременно обрадовался ему как первому клиенту, да еще такому, с которым не заскучаешь. Он с размашистой гостеприимностью усадил его в допотопное парикмахерское кресло — где он только откопал! — развернул перед таким же допотопным зеркалом с желтыми разводами по краям. С обольщающей аккуратностью укутал плечи в простыню и потом уже ответил на шутку:

— Я же не дурак сам себя куска хлеба лишать!

— А ты совсем не лишай. Сделай полуавтомат. Чтоб клиент туда сам голову просовывал, а оттуда уж ты его за ноги...

Модист и не улыбнулся. В Синезерках он один был таким, никогда не смеялся от любой шутки.

— И полуавтомат невыгодно, — возразил он. — Расценки снизят, а норму повысят. Ну, а нестриженных в Синезерках не прибавится!

— Очень может быть!

Парфен ощутил за шиворотом щекочущий холодок чистой простыни, глубже опустил в кресло и, прищурившись, как кот от домашнего тепла, уставился в зеркало. Давно он не глядел на себя вот так специально и в такое большое зеркало, в которое можно было видеть себя почти всего, до коленок, со свисающими концами простыни, резко, как снег от грязи, отличавшейся своей белизной от рабочих брюк.

Парфен всмотрелся в свои глаза и удивился, что они у него синие-синие. Такими он их видел и раньше — не могли же они поменять свой цвет! Но ни разу так вот не удивился, что они синие, а не карие или серые, какие-нибудь дымчатые или совсем черные, как у цыгана. А только синие, синие-синие, и никакие другие. И белки с синевой, как у девушки. Да и брови у него симпатичные, без тех кустов у переносицы, завихренности и беспорядка. И нос у Парфена ничего, не безобразный, не как у Аристарха Гребенникова. Нормальный мужской нос, и рот, и подбородок. Да и лоб не узок. Неплох, неплох Парфен собой, не уродина. Разве что уже морщины прорезались по всему лицу. Да куда денешься от морщин? И в висках седина проросла, негустая еще, а уже созрела. Значит, время и ей пришло. А так ли уж много ему? Да и немало. Недавно четвертый десяток разменял, а что от этого десятка осталось? Неполных три года — и за пятый братья надо. Время, оно такое: ты от него, а оно за тобой, ты быстрее, а оно еще быстрее. Как ни убегай, не убежишь от времени!

Парфен прищурил глаза, когда ощутил прикосновение Модисто-

вых рук к волосам, услышал за ушами металлическое чиканье ножниц, усердное сопенье, уловил какие-то там еще манипуляции — не понять какие, но приятные, размягчающие. Парфен еще разобрал заботливый, оберегающий голос Модиста — и не подумал бы, что у него такой голос! Голос этот вроде бы спросил, сколько Парфен не подстригался, и он, Парфен, вроде бы ответил, ответил так же вежливо, как было у него спрошено. Потом Модист опять не то что-то спрашивал, не то ему просто рассказывал интересное, и Парфен не то отвечал ему, не то слушал, во всем соглашаясь, сочувствуя, — все уплывало, уплывало от него: и Модистов голос и его манипуляции, — пока совсем не уплыло...

Проснулся Парфен от чириканья воробья. В окно парикмахерской робко светило солнце — за столько дней разок выглянуло! И вот этот воробышек уже зачирикал, пригрелся на ставенке. Только его чириканье и слышно: такая в парикмахерской тишина, будто проснулся Парфен на каком-то далеком глухом острове, куда не проникал ни один живой звук. Сидел лишь вот этот счастливый воробышек и чирикал.

Уже потом, когда открыл глаза пошире и увидел себя в зеркале, свисавшие с плеч концы белоснежной простыни, колени, обсыпанные посеченными волосами, свою резко уменьшившуюся голову, — когда схватил это все разом, без деталей, вот тогда исчез тот прекрасный своей сказочной тишиной остров и все вокруг приобрело первоначальное содержание и смысл.

— Ну, передремал малость? — Модист пытливо заглянул Парфену в лицо. — Чего это тебя так разморило? Выпил, что ль?

— Ты как моя Эмма. Когда я прихожу домой усталый, она говорит: «Уже набрался?» А когда хоть и пью, но держусь бодренько, — ни слова.

Парфен попытался встать и сбросить с плеч простыню.

— Нет-нет! — поспешил к нему Модист. — Шею еще побрею.

— Чем же ты это время занимался?

— Не мог же я тебе сонному...

Парфен ощупал кругом голову руками, поморщился.

— Что-то ты меня больно уж бритым сделал! Аж холодно стало.

— Ты спишь и спишь... А мне что? Чем-то надо руки занять.

— А большой я тут у тебя кусок сна отхватил?

— Да с час, поди, проспал.

Парфен, высвободив руку из-под простыни, поглядел на часы. Да, было уже около двенадцати.

— Засиделся я в твоём кресле. Ты, наверное, с меня целый рубль возьмешь. Я у тебя все равно что в гостинице переночевал!

Модист, мазнув помазком Парфену по шее, взял бритву.

— Не смейся, а то пережу...

Парфен послушно напряг шею, чувствуя, как мыльная пена, быстро остывая, холодила ее.

— Две ночи подряд не спал, — проговорил Парфен, когда Модист убрал бритву.

— Что, Эмма ночевать не пускала?

— Скажешь... — Парфен, помедлив, ровным голосом добавил: —

Я ж мастером теперь.

— Да ну? — поразился Модист.

— Ну да. С сегодняшнего дня минута в минуту.

— Ну и правильно!

— Да вот друга лишился...

— Это Ивана-то?

— Ивана...

Парфен молча выбрался из кресла, отыскал рубль в кармане куртки, куда переложил из «пистона», перед тем как войти в парикмахерскую.

— Возьми за работу.

Модист задержал рубль в руке.

— Может, того... побрызгать? — кивнул он на пульверизатор.

— Обойдусь, — отмахнулся Парфен.

— Да я даром... Может, я из-за одного уважения тебя подстриг. Может, я в твое положенье вошел! Такой день у тебя: сразу и мастером стал и друга потерял!

— Отсчитывай как положено: я к тебе не в частную лавочку пришел.

Модист порылся на тумбочке в коробке из-под пудры, отсчитал Парфену сдачу.

— Обиделся, поди? Я ведь понимаю: друг есть друг, не выкинешь вдруг!

Парфен шагнул к двери. Модист забежал ему наперед:

— А что у вас там?.. Я ж никому... Могила!

— Ладно, я, Модист, пошел.

Выйдя из парикмахерской, Парфен огляделся по сторонам: нигде никакой машины. Оставалась одна надежда на фабричный автобус. В начале первого он привозил из города строителей, которые снова взялись за строительство жилого дома.

И пяти минут Парфен не простоял у переезда, как со стороны фабрики заковылял по промоинам этот самый автобус совсем пустой. За рулем подпрыгивал Виталька Анашкин.

— Ты, наверное, в три смены газуешь? — спросил Парфен, влезая в автобус и садясь на ближайшее к шоферу сиденье. — Тебе много денег надо.

— Васька Антипов прихворнул. Сейчас же грипп всех косит, вот и кручусь взад-вперед сутками, — ответил Виталька Анашкин, набирая скорость, потом спросил: — Так тебя можно поздравить?

— Можно.

— Приказ уже есть?

— Сегодня обещали...

— Ну, радуйся!

— Чего радоваться?

— Как чего? Что Иван тебя не опередил.

Парфен, посуровев, опустил голову. Потом поглядел в низкопосаженную спину Витальки Анашкина.

— И ты уже знаешь?

— А кто этого не знает? Вся фабрика знает!

— Так уж вся?

— Ну, пусть не вся, а на одного человека меньше. Я так скажу: Иван твой не дурак. Лично я его не осуждаю: он требует свое. Это мы, такие честные, все скромничаем, куда сунут нас, там и вкальваем. За свое законное просить совестимся. Потом на начальство обижаемся.

Ясно, куда он гнул. Сказал бы уж прямо, что Парфен размазня, тряпка, присосался к одному месту и думает, что это уже рай.

— Если бы ты хотел, — Виталька Анашкин включил третью скорость: попался ровный кусочек дороги, — то и без нового инженера еще раньше бы мастером стал. Ты думай как хочешь, а я бы на твоём месте доброту в утиль давно бы сдал!

— Чужая жена всегда лучше,— проговорил Парфен, засопев.— Что ты понимаешь в доброте-то? Ты что, у меня ее прибором измерял, на весах взвешивал? Можешь сказать, какая она? В утиль сдавать или... Проживу без таких советчиков!

Парфен по спине Витальки заметил, что тому не понравился его ответ. Обидчив был Виталька Анашкин, слова ему против не скажи, сразу надуется, как сыч. Все исподтишка, все тихой сапой, а ранит больно.

Вот и сейчас примолк, пригнулся к баранке. Это уж верный признак — обиделся. Теперь молча давил на газ, бросая автобус из колдобины в колдобину. Попрыгай, Парфен, похватайся руками за воздух, получи за свои слова первую «зарплату». Что ты в тринадцатую получишь! И половину дороги не проехали. Значит, еще долго Виталька Анашкин будет гнать машину по ямкам, гробить ни в чем не повинную технику. Не своя ведь. Эту разобьет — другую дадут. Не жалко. Сейчас хоть кол на его голове теши — не докажешь. Останется глух и нем, как чурбан, только спина, вросшая в продавленное шоферское кресло, будет выдавать его дурной дух.

Тут автобус так подшвырнуло, что Парфен не удержался и, как по льду, скользнул по дерматиновому сиденью, чуть ли не секанулся лбом о поручень.

— Что же ты, поросычье отродье, с машиной сотворяешь? — Парфена, как волной, окатило возмущением.— Есть ли у тебя хоть капля жалости? Или ты ее всю за обедом съел?

— Не переживай,— не умолчал Виталька Анашкин.— Не твоя!

— А чья же еще?

— Ты что, ее купил?

— Ну, не купил... Но и не чужая. Бесплатно катаемся. А это все равно как своя.

— Была у собаки хата!

— Я тебе не собака, Анашкин! И машина тебе — не из собственного гаража, а государственная. За свои родненькие купи, тогда и разбивай!

— Гляди-ка, еще приказа нет, а уже за государственное радеть стал. Мы, Николай Второй!

— Останови здесь! — Парфен поднялся с сиденья.— Останови!

Виталька Анашкин, не глядя на своего обидчика, молча открыл дверь — ну и вылезай!

На ходу выпрыгивая из автобуса, Парфен попал ногой в лужу и обрызгал себе весь бок. Отойдя на сухой бугорок, он обтер грязь ладонью, посмотрел вслед отъехавшему Витальке Анашкину.

Остаток дороги Парфен прошел на своих двоих и ступил на первые метры улицы. Легко, забавно сделалось у него на душе. Сказали бы побежать сейчас — и побежал бы, как мальчишка, не запыхаясь нисколько. Предложили бы запеть прямо здесь, на улице, — и запел бы. Пусть люди думают о нем что угодно — с ума сошел Парфен.

Но улица была безлюдна и пасмурна. Капало отовсюду: с деревьев, с телеграфных проводов, с крыш. Огромные лужи перерезали улицу от одной стороны до другой. Вода по старым канавам прорывалась под заборы на огороды. Возле завалинок уже проглядывала голая земля, но стезка была еще во льду, в мелких коварных лужицах. Без сноровки и не пройти. Так никто и не встретился Парфену.

Может, завернуть сначала к старикам — отцу и матери? С ними первыми и поделиться радостью... Но раздумал: ничего, родители пождут. Время выберет, сходит и к ним.

Возле тещиной калитки Парфен приостановился. Не идти же ему прямо в хату! Огляделся: и тут не было никого. Любочка и та не играла около ледяной горки. Что от этой горки осталось? Глыба испещренного льда.

Прежде чем открыть калитку, Парфен напустил на себя сумный вид, припрятал при себе все то, что распирало его, подмывало на забавные, сногшибательные поступки. С этим незадачливым видом прошел по двору, стараясь не глядеть на окна, подошел к крыльцу. С чрезмерной старательностью пошаркал подошвами о деревянную решетку, вдавленную в землю перед ступенькой, не спеша открыл дверь в коридор. На несколько длинных секунд притих на входе: пол был чисто вымыт, еще хорошо не просох. Прибрались, как перед праздником, заходить боязно. Весну, что ль, почувствовали?

Одной рукой Парфен уперся в дверной косяк, другой принялся стягивать правый сапог, зацепив пяткой о носок левого. Потом стянул таким же способом левый, помогая уже разутой правой ногой. Сброшенные сапоги взял за голенища и так вот с портянками на ногах и с сапогами в руке переступил порог. Поглядел, кто здесь есть, жена или теща, а может, только Любочка или Надя.

Спиной к обеденному столу, наготове, как встречают жены провинившегося мужа, стояла Эмма, а у печки, закрывая заслонку,— Устиновна. Обе, мать и дочь, хотя и смотрели на него по-разному, каждая со своего места, но их взгляды говорили одно и то же: какую новость принес? Они, конечно, видели, как Парфен шел по двору, слышали, как обтирал перед крыльцом ноги, как разувался в коридоре, и успели принять эти позы.

Парфен молча прошел к печке, пристроил мокрые сапоги к теплomu поддувалу. Размотал с ног намокшие портянки (когда он шел к печке, они тянулись за ним, все больше разматываясь). Как и вчера, положил их сушиться на кирпичи, босые ноги сунул в «лапти» и после этого взглянул на жену и тещу. Поесть, мол, дадите? И — спать, спать...

Это жена и теща, безусловно, поняли, но ни та, ни другая не двинулись с места.

Парфен помедлил и сел на скамеечку.

— Чей-то ты в коридоре стал разуваться? — первой начала Эмма.

Все ясно: это лишь бы за что зацепиться. Но Парфен решил все-таки ответить жене:

— Чтоб вам не наследить.

— Когда это ты таким культурным стал?

На это можно и промолчать.

— Летом не разувался, а зимой стал разуваться! — как он и ожидал, сказала Эмма. — Опять кашлять станешь!

Был с Парфеном такой грех. Что было, то было, не возразишь. Но простудился он не оттого, что разувался зимой в коридоре, а на охоте. Пробежал за лосем-подранком километра три с гаком по метровому снегу, до нитки взмок, ветром дунуло, и приключилась болезнь. Месяц провалялся в больнице — выцарапался. Катар верхних дыхательных путей — вот что за хворь была. Долго еще покашливал. С той-то болезни и пошли слова: «Живи, не кашляй!»

— Мало мы с тобой повозились! — продолжала Эмма. — Забыл уже?

Жена отошла от стола к буфету, взялась за посуду. Это подтолкнуло и тещу. Она повернулась к печке, выставила заслонку на пол, вынула ухватом чугуны с борщом. Сейчас будет-таки обед.

— У тебя дети вон есть!

И Эмма, подойдя к двери другой комнаты, поплотнее прикрыла ее. Это значило, что Любочка спала.

Устиновна подала борщ на стол. Но Эмма еще не все высказала:

— К тебе ж Иван приходил.

— Иван? Когда?

— Не вчера же! Часов в одиннадцать был. Думал, что ты уже приехал с работы, а ты...

— Чего же он приходил?

— Не знаешь, зачем друзья приходят? Соскучился по тебе, вот и пришел!

Когда Эмма не хотела сразу что-нибудь сказать, так просто из нее не вытянуть. Но то, что Иван тут уже наговорил им, ясно и без нее. И то, что он сумел убедить в чем-то и Эмму и Устиновну, тоже яснее ясного.

Но Парфен хотел услышать это от законной жены:

— Что же Иван такого сказал?

— В молчанку с ним поиграли и разошлись.

Да, бесполезно добиваться, такая уж уродилась Эмма — не переделаешь. Поздно ее воспитывать, терпи уж. И то учесть: на сносях она...

— Ладно, можешь не говорить,—пошел Парфен на обходный маневр.— Я так знаю.

— Знаешь, так и не спрашивай! Иди лучше садись ешь!

Парфен не прекословил, сел за стол, но без особой охоты: обед был точно такой же, как и вчера. Это еще куда ни шло-ехало. И на этот борщ у него аппетит не пропадал в доброе-то время, а сегодня глаза бы его не глядели в тарелку, ни есть, ни пить — полная заклинка. Бывало, станок вот так заклинит, ни туда, ни сюда. Уж каждый винтик его знаешь, знаешь, куда перво-наперво заглянуть, а сразу и не доберешь, где собака зарыта. Но то станок, железяка бессловесная. Как ни хитро там, у него внутри, устроено, а все же она не человек. Ключом поработал — и загудела снова, ожила. А человеку в душу с ключом не залезешь, ни разводным, ни каким другим. Душу человеческую по схеме что разбирать, что собирать — вредное это занятие, одни поломки от такого вмешательства.

Парфен засопел над тарелкой, так и не донес ложку до рта, из пальцев выпустил.

— Я об Иване ничего и слышать не хочу!

Он все смотрел на борщ и, кроме этого борща, ничего не видел. Но по звукам очень ясно представил, как Эмма всколыхнулась за столом:

— Чего это так?..

— С Иваном у меня разговор кончен. В этом я отчитываться не буду.

Обиднее всего было оттого, что как ни старался он удержать в себе то забавное, легкое, от чего хотелось побежать, как мальчишке, запеть удалую песню и что, несомненно, в нем бы и осталось, встретить жена иначе, скажи другие слова и другим тоном,— вот все это хорошее, припрятанное для удобного случая начинало выходить из него, а напускная сумрачность превращаться в настоящую. Обида накатывалась и накатывалась с самого дна души, с тех нижних, ничем не затронутых до сего дня пластов.

— Это уж дело наше, почему мы с ним...— уже мягче проговорил Парфен.— Ну, не стану же я всем...

— Я тебе не «все», а жена! — прервала Эмма.

— А я тебе — муж! Почему же ты от меня скрываешь, что он тут вам наговорил?

— Если ты с ним поссорился, то хочешь, чтобы и я поссорилась? Я с Софьей дружила и дружить буду!

— Ну и дружи на здоровье! Кто тебе запрещает? Но при чем твоя Софья?

— А при том, что если мужа — враги, то и жены — враги. А я этого не хочу. Я с Софьей за одним станком стою, каждый день вижу. Что же мне, в глаза ей прикажешь плевать? Софья мне, может, самая верная подруга. Она вчера пришла на работу, все рассказала.

— Что же она тебе рассказала?

— А то, что тебя затынут в мастера, потом же на тебе и выспятся! Найдут стрелочника... Иван на фабрике больше тебя знает!

— Иван!.. Он и Софью на это подбил, а та тебя подбила. Ты и развесила уши, послушала их! Ну, теперь мне все ясно.

— Что тебе ясно? Ясно, да не ясно! Это нашему директору всегда все ясно. А ты ж не директор!

— Кончай, жена! Директором ты мне в глаза не тычь.

— Что не тычь? Люди добра нам хотят, а ты... Кто бы стал ходить за тебя, заботиться, если не Иван? У Ивана своих забот полон рот, а он первым узнавать побежал, чтобы ты не влез туда, куда...

— Уже влез.

Парфен поднял голову и спокойно, с гордостью посмотрел на жену. Затем приставил к глазам ладони, как бинокль, и медленно словно бы вдаль всмотрелся в тещу. Та еще не успела сообразить, куда это ее зять «влез», а Эмма ухватила мысль Парфена сразу — не была бы она его женой! Не то от удивления, не то от радости — Эмма умела мгновенно перестроиться — всплеснула руками:

— Ой, мамочки! Рятуйте меня!

— Приказ уже висит, — прибавил Парфен, будто не заметив этого «рятуйте», то есть спасайте.

— А я-то смотрю, думаю, чего это мой муж подстригся? Уж не разводиться ли со мной собрался! Пойду ж и я завтра в парикмахерскую, кудри себе наведу. Как же, муж мой теперь начальник, так и жена должна не отстать!

И не понять уже, то ли осуждала Эмма поступок мужа, то ли все же ей приятно было, что он стал мастером, не послушал Ивана.

Одна Устиновна не умела скрывать того, что думала. Она рассерженно прищурила на зятя подслеповатые глаза.

— Ты, Парфен, всегда так, войдешь молчком в хату, а ты, Устиновна, думай, как к тебе подойти. Не то скажешь, ну и пропало! Сутки с тобой в одной хате проживешь, ничего от тебя не услышишь. Уж если мы к тебе плохо относимся, так не знаю тогда, как и годить.

— С чего это ты, мать, взяла?

— Ты совета у нас спросил? — не слушая зятя, продолжала Устиновна. — С родной женой обсудил? С остальными посчитался?

Парфен усмехнулся: с остальными! Кто же эти остальные? Она одна, теща! И очень вежливо ответил:

— Ну как же! Это уж поклеп на честный народ, мать. Я ведь вчера говорил вам...

— Мы думали, что ты так, скажешь — и на этом все. А ты вон что за одну ночь надумал!

Вот когда открылась полностью и Эмма, законная жена:

— А у него ни жены нет, ни семьи нет, никого! Своим умом живет!

— Чьим же мне еще жить?

— Вы слышали, что мой муженек говорит? Ну, тогда на себя и пеняй! Сам за все отвечай, если ты такой самостоятельный!

— Ну вот что, я пошел спать.

Парфен спокойно, с ленцой, как от чрезмерной сытости, выбрался из-за стола. Жена и теща притихли. Знали: нажимать на Парфена дальше опасно. Отходчив ведь, вовремя смолчишь, минут через пять—десять можно начинать заново.

— Тебе и сказать ничего нельзя,— примирительно проговорила Устиновна.— Что сделано, то сделано, назад не воротишь.

— Это другой разговор, мать!

Но Эмма не любила отступать сразу:

— Другой, другой! Был бы другой, если бы ты был другой!

— Что, плох? — Парфен через силу улыбнулся.

— А чем, скажешь, хорош?

— Пусть мать скажет. Тещам видней, какие у них зятья!

Улыбнулась и Устиновна:

— Ох, хочу на тебя обидеться и не могу!

Парфен, довольный своей выдержкой, направился в другую комнату. Но возле дверей обернулся к жене:

— Постирай хоть эти штаны. Я лягу спать, а ты постирай.

— И в таких красавцем будешь!

— Жена, я не шучу.

— Тебе все равно их мазать! — упрячилась Эмма, знала, что постирает, а упрячилась.— Когда сама просила — скинь, стираю, не хотел, а теперь чистых захотелось?

— Ну, то тогда, а то... И эту вот,— Парфен кивнул на рабочую телогрейку, которая висела на гвозде у порога,— чем-нибудь заменить бы... Инженер дал день на переустройство.

— Во! И себе хлопот затеял и женке! Чем же я тебе заменю? Пальто выходное на работу не наденешь же ты!

— Выходное я и не прошу у тебя. Что-то другое купить...

— А за что купить? Ты хоть думай, что говоришь! Надьке, весна вон идет, а ни пальтишка, ни плащика не припасли! Из того пальта выросла, ходит — ноги голые, как у цапли. Да и ботиночки посбивала. Мотоцикл не надо было покупать! Толку-то с него: день ездешь, два стоишь!

— Мотоцикл тож... Он свое оправдал.

— Оправдал, так возьми продай.

— Кому он нужен сейчас, «Ковровец»? Их новых в магазине иди бери свободно, барахло такое. Это «ИЖа» не купишь. Да и купит кто мой «Ковровец», так самому, что ль, пешком ходить?

— Ну и так денег нету! — зыкнула Эмма.— И до наших получек еще далеко.

— Да мне что-нибудь недорогое. Не в телогрейке же на работу ходить теперь.

— А что, в телогрейке уже нельзя, Парфен? — отозвалась Устиновна, которая с опаской прислушивалась к такому разговору.— Ты уж, как министр, хочешь. А если не за что купить? Будто там, на фабрике, тебя не знают. Знают, из какой ты семьи.

— Неужто мы такие бедные?

— Ну, не бедные... — Устиновна развела руками.— Где взять, если нет? Эта телогрейка, конечно, уже старая. Если постирать, зимы на три еще хватит тебе на охоту ходить. А на работу новую купим, десять рублей где-нибудь уж найдем. Через день мне пенсию принесут — проживем.

— А как же другие ходят, одеваются, обуваются?

— А что нам на других глядеть? — сменила тещу жена.— У других, может, сберкнижки есть.

— Откуда, Эмма? Откуда у них?.. Что, у других миллионы?

— А ты знаешь, миллионы или не миллионы? Ты в ихние книжки заглядывал?

— Ну, не заглядывал и заглядывать не собираюсь. Все одинаково зарабатываем.

— Одинаково, да неодинаково! Кто зарабатывает, а кто, может, и прирабатывает!

Учуяв надвигавшуюся ссору, Устиновна поспешила предотвратить ее:

— Значит, мы не умеем жить, все проедаем! Нехай нам будет хуже: одежкой худы, зато телом справны!

Парфен устало посмотрел на тещу, на жену и решил прекратить бесконечное это словопрение. Вон уже четыре часа, а он, как и вчера, еще не вздремнул ни на волосок, если, конечно, не брать в счет сон в парикмахерской.

Как можно тише — Любочка еще спала — Парфен открыл дверь в другую половину хаты, на цыпочках прошел к детской кроватке, постоял немного возле нее, потом разделся и полез на супружескую кровать.

— Папка! Я к тебе хочу! — вдруг проснулась дочь.

— Ну, иди, иди на ручки.

Парфен, подхватив ее под мышки, перенес к себе на кровать. И стоило ему вытянуть ноги на мягкой постели, прижаться к теплой щеке дочери, как он тут же уснул. Любочка погладила отца по обрешанным волосам, сползла с кровати и побежала на кухню.

— Тише, папка спит!

Проснулся Парфен от тещиноного голоса:

— Парфен, а Парфен! Докуда же ты спать будешь? Эмма и на работу сходила, и с работы пришла.

По пучкам света, которые пробивались через щели в ставнях, Парфен разобрал, что было уже утро, часов десять.

— Я вчера тебя и ужинать не стала будить, — разговорчиво прибавила Устиновна. — Думаю: «Ну, спи, спи, выспишься — сам проснешься». Тебя если б не разбудить, ты еще сутки спал бы!

Парфен продолжал лежать, глядя на яркий клин света, который врезался в открытую дверь из освещенной половины. Уж не распогодилось ли?

Он собрался спустить ноги на пол, когда вошла Эмма. Она быстро подошла к кровати, молча потянула через голову платье. Осталась в ночной сорочке, и живот ее еще больше округлился, выпятился: шелковая сорочка плотно обтекала тело. У Парфена защемило в груди. Рука его потянулась к жене, норовя прикоснуться к животу. Но Эмма ненажимисто отвела ее и не с такой легкостью, как бывало раньше, до беременности, скользнула под одеяло.

— Ты выспался, а я нет, — проговорила она голосом человека, который еще жил минувшими заботами. — Мы тебе не мешали спать, дай и мне полежать спокойно.

Парфен уступил жене место у стены, на которую он когда-то прибил самодельный ковер, купленный Устиновной на ярмарке. На нем были изображены дикие кабаны со страшно задранными рылами и белыми клыками, похожими на бивни мамонта. Кабаны неправдоподобно огненно-рыжего цвета, а растительность, такая пышная, дубы и листья папоротника, — сплошь зеленого. По краям весь этот диковинный пейзаж окаймляли в виде рамки мелкие красные кубики, расположенные в шахматном порядке. Какой ни ковер, а ковер, глав-

ное — недорогой, не сравнить же по цене с магазинным. Все же лучше, чем голая стена. Да и привык Парфен к этому ковру. Он напоминал ему лес, охоту и тех настоящих секачей, которых он немало погонял с Иваном.

Когда Эмма улеглась и затихла, Парфен осторожно встал, поправил на жене одеяло и пошел к гардеробу. Почти не дыша снял с вешалки, согнутой им из стальной проволоки, брюки от выходного костюма. Парфен справил этот костюм после морской службы — сшил из темно-коричневого немецкого материала, который привез из заграничного плавания. Как уж этот материал назывался, бог его знает, важно, что оказался крепким. Костюм жил уже второй десяток лет, да Парфен и редко его надевал, берег.

В выходных брюках, без рубашки, в одной майке Парфен вышел на свет, которым была залита вся та половина хаты, где больше всего уютись всей семьей.

Первое, что он увидел: его рабочие брюки висели у печки постиранные и почти уже сухие. Когда они были грязными, то казались одного ровного цвета, нельзя сказать какого, как все, что окружало Парфена на работе, хотя со дня покупки он помнил их в веселых сверкающе-стальных тонах. Теперь же, когда грязь отстиралась, на вытертых местах проступили светлые полосы, отдаленно напоминавшие прежнюю краску; края карманов прорешетились, с манжет полезли нитки. Считай, что отжили свое, осталось раз надеть их, и то смотри, как бы на работе коленками не засветил. Но то, что брюки были постираны, понравилось Парфену: как вчера ни перечила Эмма, а постирала.

Он остановился возле печки, оглядел стены, потолок, пол, все, что стояло и лежало по углам, у дверей, у окна, на окне, — все нужное и ненужное добро взвесил каким-то новым, праздничным взглядом.

Одна Устиновна крутилась тут: домашнюю работу сколько ни делай, а она откуда только берется. Надя, понятно, в школе, а Любочку уже выпустили на улицу. День вроде бы как день, каких много уже ушло-уехало из жизни, а такого еще, поди сопоставь, и не было.

Парфен прошел к умывальнику. Теща увидела на зяте выходные брюки, покосилась.

— Чего ты эти надел?

— А какие мне еще надеть?

— У тебя нет больше никаких брюк? А эти, старые, — кивнула она на те, рабочие, что висели у печки, — уже не нравятся?

— Они же неглаженные.

— Долго их погладить? Десять минут — и готовы. У тебя же еще те вон есть, что в позапрошлом году покупали на май.

— Ну, те... Те в краске. Тогда коридор красил, тернулся, ни ацетон, ничто не берет.

— Так что, их выбрасывать?

— Не выбрасывать... Сгодятся еще, на охоту надевать буду. Ну, а эти-то чего беречь?

— А на праздники в чем ходить будешь?

— На праздники... Что на праздники? Другие куплю, а эти пора уж и того... Хватит их жалеть.

— Еще не заработал, а говоришь! Купишь ли ты еще с новой-то работы!

— Куда же моя зарплата денется? — Парфен слегка засопел. — Вот возьму с первой полочки пойду и куплю. Не одни брюки, а новый костюм! Сколько этому в гардеробе висеть, мяться? Может, сегод-

ня как раз и надеть его на работу? Может, сегодня пришло и ему время...

— Надевай, надевай! Все надевай! В один день возьми и порви все! Как хочешь, так надевай и носи, но только ты уж сам тогда смотри. Сам, Парфенчик, сам! А то ты и дня еще мастером не проработал, а спрос у тебя стал, как у директора. Погляжу, погляжу еще, то ли у тебя будет! Может, этим штанам рад будешь!

Устиновна шаркнула ладонью по столу, как бы что-то стирая с него, широко ступила к печке. Она всегда шаркала вот так ладонью по чему-нибудь, тогда как в этом не было никакой нужды, широко начинала ступать по комнате, если что-то делалось не по ней, но настоять на своем не могла. Парфен с точностью «до сотых» улавливал этот момент и больше уже не говорил ей ни слова: дело его было выиграно.

Он умылся, вытерся льняным полотенцем, причесался расческой жены и молча сел к столу. Сейчас Устиновна должна была так же молча подать ему завтрак, если его можно было назвать завтраком: по времени это был уже обед. Дома часы и минуты не те, что на работе в ночную смену, летят незаметно, не успеешь проснуться, повернуться туда-сюда — и дня нет.

Парфен поел толченой картошки с солеными огурцами, запил стаканом чая, заваренным зверобоем, малость еще посидел за столом, отдуваясь от тепла, которое разлилось от такого чая по телу. Вот тогда он встал и не спеша, с домовитой размеренностью снова пошел к гардеробу. Уже увереннее снял с другой вешалки чистую полушерстяную рубашку, надел ее, расправил под ремнем, чтобы не собиралась сзади в складки. Потом надел от выходного костюма и пиджак. Новые туфли обул, а раз так, то и дорогое пальто из синего драпа не пожалел, и цигейковую шапку, что с Эммой в Ленинграде купили, — вырядился, как на праздник, и намеренно во всем этом наряде вышел к Устиновне.

— Что, мы плохо живем или мало кому должны? — улыбаясь, проговорил он.

— Куда это ты собрался? — удивилась теща.

— В магазин пойду. Погляжу себе...

— А деньги у тебя есть?

— Может, найду у кого...

— Возьми же вон, — Устиновна мотнула головой в сторону кухонного буфета. — Все утро бегала, занимала.

— Ну, мать, дай я тебя поцелую!

И Парфен шагнул к ней, не столько к ней, сколько сделал вид, что к ней. Разве можно было вразправду поцеловать тещу!

Что это несерьезно, понимала и Устиновна, однако попыталась как бы отстраниться от зятя, сразу повеселела, заулыбалась. Все-таки добрая у Парфена теща!

Подойдя к буфету, Парфен заглянул в коробку из-под торта. Покупали давно, еще на Надькин день рождения, торт съели, а коробку приспособили под «кассу», куда клали деньги, которые предназначались для ежедневных расходов.

Еще не вынимая деньги из «кассы», Парфен определил по величине трубочки, в которую они были свернуты, сколько их. Если по пятерке предположить, то тут не больше пятнадцати рублей. Это чуть больше стоимости телогрейки. Но пятерка, кажется, всего одна сверху трубочки, а то, внутри, все вроде рубли. Значит, денег ему отвалили еще меньше, как раз на телогрейку, ни на что другое. Уж цену ей Устиновна знает. Ну, может, там мелочи какой-нибудь сдачи дадут, которую не грех будет после покупки употребить на пиво. За эту мелочь ни теща, ни Эмма уж не спросят.

Парфен не пересчитывая сунул деньги в карман брюк, повернулся к Устиновне:

— Значит, телогрейку?

— А что же еще, Парфен? На телогрейку и то еле нашла, ни у кого рубля не выпросишь. Видно, и вправду на сберкнижки люди кладут, чтоб поэкономней жить. Епифанчиха, учителя жена, сама не меньше ста получает, а он еще больше, но нет-нет да и бежит: «Ой, одолжи, Устиновна, не рассчитали!» А чего не пойти да с книжки не снять?

Дойдя до центральной улицы, где начинались магазины, Парфен остановился, огляделся вокруг. Кого встретишь сейчас в эту грязь? Все по домам сидят. И Парфен медленно тронулся в сторону промтоварных магазинов. Это только говорится магазином. Если сосчитать их, то один обувной, вот он будет первым от угла, один одежды, следующий, и универмаг, который раньше, когда здесь был район, назывался раймагом. На базаре метрах в двухстах от универмага стоит еще промтоварный ларек, и это вся радость. Тут, если по магазинам ходить, за пять минут все обошел, и больше тебе делать нечего.

Парфен подходил уже к обувному магазину. И хотел бы заглянуть в него, посмотреть — а вдруг привезли резиновые сапоги с длинными голенищами. Весной в таких сапогах за уткой по болоту лазить лучше не придумаешь. Да чего без денег заходить? Если и привезли, поглядишь на них, только расстроишься. Приказано телогрейку купить... К Ивану пошел бы, тот уж выручил бы. Да что теперь этими думками жить? Забывай Ивана...

Ноги сами прошли мимо обувного, а до магазина одежды нужно было пройти еще городскую площадь. Когда-то на этом месте пришкольный участок был.

Парфен не раз ходил сюда на демонстрацию, водил за ручку сначала Надьку, когда та была маленькой — теперь-то она в школьной колонне ходит, — потом стал водить Любочку.

Перед площадью Парфен остановился. Просто нельзя было не остановиться перед ней: шел он по другой стороне улицы, тесно застроенной домами, с почерневшими заборами и калитками, а там сверкало простором. И снег там лежал почище и не так быстро таял. А на трибуне и Доске почета, казалось, почти не тронула его весна.

Меж туч пробилось непривычно яркое солнце, резануло Парфену глаза. Оно тут же и поблекло, но его мгновенный проблеск сдвинул Парфена с места. Он отвернулся от площади и потихоньку пошел дальше, к магазину одежды.

Перед входом в магазин Парфена придержала лужа. Дай бог этой луже здоровья: все же еще минутку можно постоять, поразмыслить. Купить телогрейку недолго, деньги вынул из кармана — и забирай товар, носи, носи опять пять лет. Коль деньги плачены, другой обновки не жди, хоть трижды мастером стань. Надо сразу решать. А чего решать? Вот они все деньги — в кулаке, зажал, и не чувствуется.

Парфен на пятках пробрался через лужу к двери, потянул на себя ручку и впрыгнул в магазин. Сначала убедился, что новые туфли все же пострадали, потом уже закрыл за собой дверь и напрямик двинулся к прилавку.

— Как торговля, Васильевна? — спросил он продавщицу как бы вместо приветствия.

— А во: ноги уже болят от стоянки за прилавком, будь он проклят, — ответила продавщица тоже как бы вместо приветствия, оживая оттого, что вот Парфен вошел в магазин и ей веселее стало. — То когда давятся, друг на друга лезут, а то нет ни души, стою день одна

как дура. От двери поглядят, что вешалки пустые, да и назад. Обещали в этом месяце партию польт мужских и женских подкинуть, жду вот уже неделю, а их не везут.

Васильевна, жена Эмминого начальника цеха, работала в одежном магазине, наверное, не меньше, чем Парфен на спичечной фабрике. И к ней так привыкли в городке, словно бы магазин был ее собственный, а не государственный. «Васильевна привезла», «У Васильевны есть», «Сходи к Васильевне», «Васильевна не откажет»... По-другому ее и не называли, а пожилые и молодые — все обращались к ней только по отчеству: «Васильевна, Васильевна...» И всех она встречала приветливо, как если бы и вправду торговала своим товаром, интересовалась делами, справлялась о здоровье, передавала близким приветы.

— Ну, а ты ж как? — спросила она у Парфена.

— Да потихоньку... мастером сейчас.

— Что ты говоришь! Ой молодец! Ой да Парфен! Вот уж Эмме радости-то!

— Да ничего, рада.

— И Устиновна там небось теперь загордилась зятем!

— Загордилась.

— Наконец-то и твои дождалась этого дня.

— Дождались... А вы не думаете на другую работу переходить?

Парфен спросил это со скрытым умыслом, уже зная, что та ответит: «Ой, что ты, Парфен! Я уж в этом магазине и помирать собралась!»

В окне кто-то промелькнул, пробираясь через лужу к двери магазина, и Васильевна сразу перестроилась на рабочий лад:

— Так ты чего, Парфен, пришел?

Мысль о телогрейке связала Парфену язык, стрельнула прямо в сердце. Наскоро он подумал, что поспешил с покупкой. Дернул его черт как с постели встать, так и в магазин бежать. Еще не поздно сорвать Васильевна, мол, пальто приходил прикинуть подешевле, да нет же их вон ни дешевых, ни дорогих...

Парфен нащупал в кармане деньги, которые лежали такой же трубочкой. Нисколько она не увеличилась за это время, не потолстела: деньги не трава, сами не растут. Потом вспомнил коробку из-под торта, «кассу», то, что в ней осталось — какая-то мелочь, половина серебра, половина меди да рубль кабану на хлеб, — потоптался перед прилавком, проямлял:

— Телогрейку обновить бы надо, Васильевна.

— Да мы уж давно телогрейками не торгуем! У меня теперь же во, погляди, все модное! — Васильевна кивнула на оголенные вешалки. — Потому-то не успею привезти — и разбирают!

— Ну что ж, мода — дело серьезное, ты за ней, а она от тебя, — с напускным огорчением проговорил Парфен, направляясь к двери. — Пойду дальше, авось где-нибудь телогрейки еще не вышли из моды.

— Ты на базар в ларек загляни, — посоветовала ему вслед Васильевна. — Туда это барахло часто привозят... Да и в универмаге иногда бывает, подойди к Полине, скажи, я послала. Ты не стесняйся, подойди и прямо спроси.

Парфен крутнулся к двери: мол, ладно, Васильевна, ладно, подойду и спрошу, как же не подойти да не спросить, прямо там аль криво, только я сперва подумую...

Остановясь на тротуаре, он с прицельным прищуром посмотрел вправо и влево по улице.

Всего-то улицы этой, центральной, что туда, что сюда, в оба конца по триста метров, не больше, еще на улицу похоже. А там дома

опять вкривь и вкось, не разберешь. И никого поблизости не видать, с кем бы Парфен был близко знаком, хоть и начали потихоньку вылезать люди: чуть-чуть проглянуло солнышко — и уже зашевелились. От аптеки шла какая-то молодая парочка, кажется Павлик Чижов со своей новобрачной библиотекаршей. Около кинотеатра «Родина» перед афишей толкались кучками парни и девчата из профтехучилища, за счет которого в основном и разросся центр. Из дверей десятилетки на школьный двор высыпали ученики — зазвонили на перемену. Несколько мальчишек с красными галстуками выбежали на площадь, принялись швырять снежками друг в друга.

Парфен пересек наискось улицу, еще немного прошел по другой стороне прежним темпом и постепенно стал притормаживать перед универмагом.

В универмаг он вошел с душевным спокойствием, сразу его оглушил нервный шум очереди: что-то тут «выкинули».

Ему не нужно было спрашивать, зачем такая очередь. Это он тут же увидел и сам: за тюлем. Увидел и вспомнил, что Эмма с тещей давно говорили про тюль, горевали, где его купить. Тот, старый, на окнах уже порывал, сколько раз Эмма чинила его, как рыбаки чинят сети, а он прорывался в новых местах. Давно бы его пустили на тряпки и не мучились, но пока не было ему замены.

И Парфен так обрадовался случаю, что готов был тотчас занять очередь, дожидаться «крайнего» и бежать за Устиновной. Уж за тюлем та будет сутки стоять, не уморится. И денег для него из-под земли достанет. Парфен может и эти рубли вернуть ей чинно и благородно, будто бы пожертвовать на тюль, а на самом деле чтобы отсрочить покупку этой ненавистной телогрейки. Ему жарко стало от мысли, что его решение одобрит и Эмма, не одна теща, обе похвалят, подобреют к нему, хотя Эмма и не преминет сказать: «Как это ты додумался!»

Парфен уже двинулся в конец очереди, но тут кто-то придержал его сзади за рукав. Обернулся — перед ним Валентин Маркелов.

— Чего это ты к нам? — обрадовался и удивился Парфен одновременно: сколько он знает Валентина Маркелова, а ни разу еще не видел его здесь, в городке.

— Да это... — Валентин замялся. — С Ксенией приезжали...

Услыхав имя Валентиновой жены, Парфен ненадолго застыл, но голоса своего не изменил.

— Чего, если не секрет?

Валентин покраснел.

— Не говори, если секрет.

— Да это... По женской, значит, части.

Бывшие друзья, словно бы чего-то стыдясь, помолчали.

— Где же ты ее бросил? — спросил Парфен.

— Да тут... В вашу больницу положили.

Парфен сочувственно притих на секунду, снова спросил:

— Надолго положили?

— Да недели три отлежит.

— Выходит, ты сейчас один?

— Да, один.

— Вроде ты теперь как холостяк?

— Да вроде... Детей сам и корми и в школу отправляй как есть день в день. Да хозяйство... Хотел тогда свинью зарезать, да Ксения не дала: нехай, мол, подрастет еще... Сейчас бы в больницу надо жиров каких передать, да что без Ксении?

Валентин Маркелов говорил голосом человека, задавленного заботами, из которых не скоро предстояло выпутаться. Все его мелкое,

высосанное тело, желтые пятна, густо нашлепанные на лицо, вылинявшая солдатская шапка, заношенная телогрейка — все, все на нем и в нем вызывало у Парфена жалость, сострадание.

— Ну, ты, если что, позови, помогу, — проговорил Парфен душевно. — На рыбалку-то ходишь?

— Да ходил, еще лед не трогался. В заводе одной наглядел табук... Туда-то он зашел, а лед подтаял и просел в устье, закрыл выход в речку. А заводь-то мелконькая, дышать нечем, еще б день-два — и задохлись.

— Лещи?

— Да, лещи.

— Всех повыловил?

— До единого. С отдыхом донес в рюкзаке... Уже повысушились.

— Давно я у тебя не был.

— Да, давно. Приходи, дам леща к пиву.

Исчерпав рыбную тему, они замолчали, постояли, напрягая лбы, копаясь в своих мозгах, о чем бы им поговорить еще. Общим было неудобно друг перед другом, каждый готов был принять на себя вину за расклеившуюся дружбу. Вот только какую вину, кто бы им подсказал?

— Ты-то чего сюда пришел? — первым догадался Парфен, о чем еще можно спросить. — Наши магазины лучше?

— Да не лучше... У вас в обувном вот сапоги купил.

Валентин развернул перед Парфеном сначала одну ногу, потом другую. Сапоги как сапоги, кирзовые, яловые же. Яловые купи, потом береги их, обувай по большим праздникам, каждый день гуталином смазывай и на полочку ставь. А эти универсальные, в любую погоду куда захотел, туда и пошел в них. А истрепал, иди за новыми, эти всегда лежат.

— Ну как? — спросил Валентин, продемонстрировав свою обновку.

— Ничего вроде, — оценил Парфен.

— Да вроде... Шесть пар перебрал. Носок в носок, пятка в пятку. И подошва на медных гвоздях, не на железных. Не так скоро сгниют, на две весны хватит с меня.

— А старые куда дел? В газету завернул?

Тут Валентин за все время разговора озорно улыбнулся:

— За угол зашел, скинул, эти, новые, на ноги, а те, старые, там кому-то через забор. Сюда ехали, еще как будто держались. Пока Ксению до больницы на горку довел, гляжу: правый есть запросил и левый вот-вот...

Настроение у обоих приподнялось.

— А сюда чего зашел? — спросил Парфен. — Тюлю покупать?

— Да не-е, так, поглядеть. Может, что и хорошее... А ты за тюлей?

— Я? — Парфен пристально взгляделся в Валентина. — Ну, я... Я не за тюлей. Тюлю пускай женки наши покупают, чтоб у них окна были красивые. Я и без тюли хорош буду. Мне что-нибудь такое на плечи сообразить... Я ж мастером теперь!

Валентин чуть качнулся на ногах, опустил к новым сапогам взгляд, стал прежним, тихим, замученным, без кровинки в лице.

— Слышал, наверно? — не теряя своего приподнятого тона, продолжал Парфен.

— Да, слышал...

— День сегодня во: гуляю, переоборудываюсь. Послали в магазин жена с тещей, дали в зубы тринадцать рваных...

Почему Парфен решил, что у него в кармане тринадцать рублей, он и сам не знал, не гадал. Как-то сорвалась с языка эта цифра, тринадцать, без всякого злого умысла. И, назвав ее, он тут же себе поверил, что столько у него и есть их, денег этих.

— Что на тринадцать рублей купишь?

Парфен поглядел Валентину в глаза: в них то зажгутся маленькие огоньки, то потухнут, точно микроскопические лампочки, которые то подключали к току, то отключали. Заодно и худой носик Валентина то раздувался, то опадал. Загорятся эти огоньки, и носик — пфю, раздулся, потухнут те, и он — уф, опал. Что-то с чем-то боролось в Валентине, побеждало то одно, то другое.

— И перехватить не у кого, — заволновался Парфен от внезапной надежды. — С полочки сразу б отдал.

Огоньки в глазах Валентина на этот раз вспыхнули и не погасли. И носик его раздулся и таким остался. Он мелко, импульсивно подергивался, пропуская через себя порции воздуха.

— Много тебе? — глуховато проговорил Валентин, задерживая руку у верхних пуговиц телогрейки.

— У тебя, значит, есть? Ну, не зря моя душа чужала... Вот уж барометр! — Парфен постучал себя по груди напротив сердца. — Никогда не подводит!

Валентин двинул руку дальше за пазуху, приостановил ее там.

— У меня полсотня есть еще, хватит?

— Смотри на что... Если не спешишь, пошли вместе посмотрим, посоветуешь, что купить. Со стороны оно видней.

И бывшие друзья в обход очереди стали пробираться туда, где стояли вешалки с верхней одеждой.

Парфен первым оказался возле них, взглянул на одну этикетку, на другую, но стоимость пальто в два раза превышала и его и Валентиновы деньги, вместе взятые.

— Это не для нас шили, — сказал он подошедшему Валентину. — Пусть они тут еще повисят!

— Да, это жирно для нашей работы, — согласился Валентин. — Пошли еще на ваш базар сходим. Там я в ларьке, когда из больницы шел, видел, вроде бы «москвички» висят. Как раз по нашим деньгам. Да и лучше, чем пальто: покорооче, не будет в ногах путаться.

В ворота базара они вошли осмотрительно, увидели промтоварный ларек открытым, поспешили к нему: еще закроется перед самым носом.

Теперь вперед вырвался Валентин. Откуда у него и прыть взялась? Он заглянул в окно ларька, похожее на амбразуру дзота, радостно оповестил:

— Точно, есть! Такие, как я говорил!

Парфен, потеснив его в сторонку, с нетерпением взглянул на товар. Да, Валентин не соврал. Это были те самые «москвички» — полупальто из черного недорогого сукна, с коротким цигейковым воротником. Воротник — это ничего, до настоящего весеннего тепла еще далеко, погоду-то вон как ломает. И потом ведь осень придет, за ней зима. Не на месяц же он ее покупает! Только бы по цене пришлась...

— Берите, пока есть, — проговорила продавщица, которая Парфена знала, как и он ее, но лишь в лицо. — Вчера привезла десять штук, уже вот две остались.

— Поглядеть можно?

Продавщица уж очень небрежливо, как показалось Парфену, кинула «москвичку» на прилавок, приделанный к окну изнутри ларька. Парфен расправил ее с таким чувством, как будто она уже была

его собственной, в первую очередь ухватился за этикетку. В глаза ему сразу попала цифра «шестьдесят девять». Если это цена, то у него и с Валентиновыми не хватит денег.

Парфен еще раз изучил этикетку. Все верно, шестьдесят девять «рэ».

— Чего торгуетесь? — не вытерпела продавщица. — Корову покупаете? На работу носить — лучше любой телогрейки. Это же сукно! Поглядите какое, в палец толщины! Ни ветер никакой не продует, ни мороз, пусть сорокаградусный, не проберет. Ну разве что грубое, так ему и цена такая!

Парфен, мгновенно вспотев, не попадая в карман, полез за деньгами, вытащил ту тонюсенькую трубочку. А вдруг тут не тринадцать рублей, а больше? С чего он взял, что тринадцать? Вот же не одна пятерка, а две. Это сразу десять рублей. Да вот рубль, вот еще один — уже двенадцать. И вот трояк! Пятнадцать! Это все же больше, чем он думал. Пятнадцать рублей уже деньги. Но где взять еще четыре, если у Валентина только полсотни?

— Давай твои, — нетерпеливо проговорил Парфен.

Валентин медленно, как бы с трудом расставаясь со сбережениями, полез за пазуху, вынул полсотни десятками такими новенькими, будто он их за ночь наштамповал. Парфен приложил их к своим «капиталам», пристально уставился на Валентина.

— Надо еще четыре рубля.

Парфен ждал, когда вспыхнут в глазах Валентина те спасительные огоньки. Но они не вспыхивали. Не вспыхивали, а значит, и нечему в них было гаснуть.

— Валентин, надо четыре рубля, — громче повторил Парфен. — Валентин, еще четыре! Всего четыре!

Но и после этих слов глаза Валентина не зажглись, остались мертвыми.

— Валентин, мне все равно тебе отдавать, — продолжал Парфен. — Какая мне разница, пятьдесят или пятьдесят четыре?

Рука Валентина с каким-то вывертом, как перешибленная, вильнула куда-то книзу, к полам телогрейки, к «пистону» в штанах под самой кромкой ремня.

— Гони рубль сдачи, — проговорил Валентин, прежде чем его рука извлекла из этого «пистона» пятерку. — Месяц от Ксении прятал...

Парфен сунул Валентину взамен пятерки рубль, остальные деньги зажал в кулак, продвинул его в окошко и разжал там.

Продавщица мгновенно пересчитала деньги, завернула «москвичку» в бумагу.

Парфен крепче захватил покупку под мышку и заторопился с базарной площади. А Валентин, как обкраденный, сник, отстал от него.

Это показалось Парфену обидным для человека, который выручил его. Валентин должен идти рядом с ним, в одну ногу, и радоваться покупке так же, как он.

И, подождав его, Парфен широким, щедрым голосом предложил:

— Пошли ко мне. Пошли! На бутылку красного сообразим... Своих подшевелю — найдут.

Но Валентин посмотрел на него такими глазами, которые говорили, что он мало верил в это. Парфен и сам не поверил в свои слова, сказал их под напором благодарности Валентину за выручку — сначала сказал, потом только взвесил.

— Пошли, — однако повторил он. — Эмма обрадуется...

— Домой надо: у меня же дети. Один я теперь.

— Да мы ненадолго!

— Не-е, была бы Ксения дома, а то... Зайдем вот по кружке пива выпьем. Рубль-то еще остался...

Они вошли в городскую ресторан-столовую, и Валентин заказал четыре кружки бочкового пива. Молча выпили каждый по две кружки, молча выбрались на улицу, остановились друг перед другом. Ни тот, ни другой не решался первым взять и расстаться. Что-то приклеивало их обоих, не отпускало.

— А Иван-то того... Показал себя,— проговорил Парфен, поправляя под мышкой покурку.— Ну, ты, наверно, знаешь уже...

— Да, знаю...

— А дружками были.

— Да, были...

И снова Парфену стало жалко Валентина, всего его забитого, подавленного вида. Он невольно сопоставил его с Ксенией. Та, при всей своей хворобе, рядом с ним выглядела бы куда здоровее. Это ему-то надо, а не ей ложиться в больницу. А вот ходит, держится на ногах, ни одной жалобы не услышишь от него, а все заботы, заботы... Откуда силы у человека берутся?

— Ну, я пошел,— неуверенно проговорил Валентин.— На автобус опоздаю, придется в новых сапогах по такой грязи тепать.

— На фабричном поедешь?

— На фабричном.

— Это со строителями?

— Со строителями.

— Тогда торопись. Сапог-то не жалко, здоровья жалко... Ну, живи, Валентин, не кашляй!

— Чего?

— Не кашляй, говорю!

— А...

Валентин, кажется, так и не понял, что это за пожелание такое: давно, давно они не сходились так близко, как сегодня, не разговаривали на таком языке.

Он тут же повернулся и, опустив голову, как будто что-то потерял, пошел к углу универсама, туда, где останавливался фабричный автобус.

А Парфен отправился в обратную сторону. Пройдя несколько шагов, оглянулся: Валентин уходил от него не оглядываясь, бережливо, в обход луж ставя в новых сапогах ноги.

Возле своей калитки Парфен еще издали увидел Надю с каким-то мальчиком. Они, потупясь, стояли друг перед другом, он и она, покачивая на подставленных коленках портфели. Ясное дело: шли вместе из школы и остановились. Мальчик жил дальше, а Надя уже пришла домой, решили еще немного постоять. Что особенного? Чего-то не договорили по дороге. Только не первый раз натыкался Парфен на них таких вот, застенчивых. С самой зимы еще замечал. Зимой, правда, реже, а к весне развили обороты, через день стоят у калитки. Чей был мальчик, он, конечно, знал — учителя истории Епифанова, жену которого Устиновна называла Епифанихой. Ну, Епифанов мальчик, так Епифанов. Ничего, чернявенький, вот только на целую голову ниже его дочери. Ему Парфен как-то шутливо совет дал: «В ботинки воды подливай, быстрее расти будешь!» Мальчик тогда засмутился, покраснел. Словом, хороший, умный мальчик, из интеллигентной семьи. И Надья его не хуже. Но уж больно рано у калитки останавливаться начали, портфельчиками, стоя, покачивать, головы друг перед другом

потуплять. Саранча же еще зеленая, шпана малая! Всего-то в пятый класс переползли!

И все-таки виду никакого Парфен не показал, подошел к дому ровно, вдумчиво, на шпану на эту вовсе как бы и не глядел. Но и не упустил из глаз, как Надька первой, потом и Епифанов мальчик перестали раскачивать портфели, пугливо замерли. Увидели, значит, его, и сердечки у них остановились. Мальчик Епифанова по знаку Надьки наклонился на бочок, словно бы это портфель у него такой тяжелый, набок его завалил. И так бочком, бочком да вдоль забора посеменял ножками к своему дому. А Надька осталась стоять на месте, невинно глядя на отца парфеновскими синими-синими глазами.

— Ну, здравствуй, дочь! — дружелюбно поздоровался Парфен. — Хоть на третий день я тебя увидел: то ты в школе, то я на работе, то я на работе, то ты в школе. Вот так под одной крышей живем, вырастешь, я и знать не буду когда. Столкнусь с родной дочерью на пороге и не признаю.

Надька подумала, что отец ни о чем не догадался, но все же смущенно, одними губами улыбнулась ему.

— Чего улыбаешься? Неправильно говорю? — Парфен сокровенно подморгнул дочери, кивнул на портфель: — Ну, признавайся, что несешь?

Дочь уже раскованно заулыбалась.

— Пятерки? — спросил Парфен для того, чтобы похвалить дочь и самому погордиться ее успехами.

Та подтвердила кивком.

— И вчера?

Надька собрала губы сердечком, поставила неподвижно глаза.

— Вчера меня не вызывали.

— А завчера?

— Завчера две пятерки!

— Умница! Ну, пошли в хату.

Парфен первым шагнул во двор: а ты, дочь, закрой калитку.

— Дневник, может, тебе подписать?

— Мне мамка вчера подписала, когда ты спал.

— А задачи сегодня трудные?

Дочь снова собрала губы сердечком, неподвижно поставила глаза: значит, трудные. Придется Парфену вечер посидеть с ней, поломать голову. С того дня, как перешли на новую программу и в Надькиной школе, ломать голову над задачками ему приходилось все чаще и чаще. Бывало, как он ни ломает, а задачка не получается, не сходится ответ, хоть ты убейся. Парфен лез в конец учебника: может, неправильный, не указана ли опечатка? Нет, не указана. И тогда он начинал возмущаться новой программой: придумали — взрослым не под силу, а они детям задают! Надька пускалась в слезы: раз отец не может решить, значит, плохи дела. Проверят завтра в школе, что она ответит учительнице? За решение задачи бралась Эмма. Устиновна и та заглядывала в учебник, хотя она и по старой программе не смогла бы решить. Если и у Эммы не сходился ответ, Устиновна советовала внучке: «Сбегай, детка, к Епифанову. Сбегай, моя золотая, чего плакать?» Но такие случаи были редки. Парфен брал с собой задачник на лежанку, к концу вечера выдавал решение.

— Иди вперед. — Парфен толкнул дочь в коридор.

Та не понимала, почему она должна идти вперед отца, когда могла бы войти в хату и вслед за ним. Крутнулась, только сейчас поинтересовалась:

— А что ты купил? Покажи!

— Иди, иди! Увидишь!

Парфен из-под мышки переместил сверток за спину, когда дочь открыла дверь и он увидел в комнате жену и тещу, которые раскатывали на столе тесто — быть сегодня пирогам!

— А папа что-то купил! — тут же доложила Надя.

Парфен, напустив на себя неудачливый вид, остановился на пороге, потом дотянулся до табуретки, положил на нее покупку и медленно принялся развязывать на туфлях шнурки.

Старшая дочь первой подскочила к свертку. Стараясь не отстать от нее, бросилась к нему и Любочка. Сестры наперебой принялись разворачивать его.

— Пальто какое-то, — разочарованно проговорила Надя и отошла.

А Любочка потянула за этикетку, и «москвичка» упала на пол. Падая, развернулась суконным верхом и цигейковым воротником наружу.

— Гля-янь! — Эмма толкнула мать под бок.

Устиновна недоуменно поглядела на зятюву прибыль.

— Ты посмотри, что мой муженек купил! — продолжала Эмма не то удивляться и радоваться, не то осуждать. — Сколько же ты ему денег давала?

— Ну, сколько? На телогрейку! Где же мне было взять больше?

— На телогрейку? А он что купил?

Эмма, не обтирая рук от муки и теста, шагнула, нагнулась и одной рукой, как берут гадливого щенка за шиворот, приподняла с пола то, что купил ее муж.

А Парфен разулся и в носках, держа туфли в руке, прошел в другую половину. Пальто, пиджак и полушерстяную рубашку повесил на место в гардероб. Вышел к семье в майке и брюках от выходного костюма.

— Где же ты денег взял? — спросила Эмма.

— На дороге нашел. Валялись.

— Может, ты какие-нибудь получил и не признался?

— Получил. Первый раз мне, что ли?

— А почему я знаю? Может, и не первый. Раз уж польты стал без спросу покупать...

— Ты, значит, так?

— А как же ты думал? Ты не миллионер! Отдавать все равно из одного кармана. Ты получку принес, на стол положил — и тебе забот мало. А женка думай, как ее распределить, чтоб до аванса дотянуть.

— Не переживай. Летом на грибах заработаю — отдам. Получка твоя цела будет.

— А и на грибах! Так эти деньги себе бы пошли!

— Хорошо. Тогда я отдам Валентину с первой же зарплаты.

— Ты у Валентина взял? И набрался же совести!

— Не к Ивану же идти...

— А что к Ивану? Уже нельзя? Быстро ты о своем друге забыл! Тебе наговорили, а ты и поверил! Софья мне сегодня на смене все рассказала. У него и в мыслях не было мастером идти. Больно ему нужно! Ославили человека ни за что! Так всегда, когда хочешь сделать людям добро, так тебя же за это еще и...

— Прекращай, жена.

— Ты мне рот не затыкай! Из-за тебя и мне теперь с Софьей... Я это предвидела, но ты меня не послушал, по-своему сделал. Жили спокойно, так...

— Ладно, я проживу и без Ивана. А ты без Софьи проживешь, если уж на то пошло. Иван ее подначивает, а она приходит на работу, тебя подначивает. Я раскусил. Не удалось Ивану объехать, так теперь назад оглобли поворачивает. Опять хорошим хочет стать. Нет, если уж один раз поднавонял, то...

— Зачем тебе это надо?

— Сам не знаю...

Парфен сказал это так искренне, с таким глубоким вздохом, что Эмма притихла, с сочувствием посмотрела на мужа.

Облегченно расслабилась и Устиновна: ссора и на этот раз, кажется, миновала.

— Повесь. Купил, так не валяться же ей на полу, — кивнула она на «москвичку».

Однако сама понесла ее к гардеробу, где хранилась вся лучшая одежда.

— Еще чего, вешать туда это лохмотье, — остановила ее Эмма. — На вешалку вон! Там ей место! — И спросила у мужа: — Сколько же ты за нее отдал?

— Шестьдесят девять.

Эмма промолчала. А Устиновна не сдержалась, подытожила:

— Куда ни шли эти семьдесят рублей, — округлила она, возвращая «москвичку» на вешалку, где висела Парфенова телогрейка. — Носи же теперь аккуратно, чтоб лет на пять хватило.

— Десять проношу.

Парфен накинул на голые плечи обновку и вышел в «лаптях» посмотреть погоду.

Когда он уже собрался повернуть назад из-за сарая, увидел через забор Фаину Халявкину.

Соседка увидела его еще раньше, подошла поближе к забору.

— А я только хотела к тебе идти, — пропела она, просунув нос между досок. — Не опоздал бы ты...

— А что?

— Ну как что? Приказ же на тебя висит, сама читала на проходной. Велели передать, чтоб ты сегодня во вторую выходил.

— Почему во вторую?

— Это ты у них спроси.

— Точно знаешь? Ничего не перепутала?

— Не-не, Парфен! Чи я совсем дурная? Начальник цеха так и сказал: «Нехай Локтионов сегодня во вторую выйдет...»

Парфен быстро сообразил, что это и станочницы не его и слесаря другие, не гоп-компания — не Сенька Шадрин, не Аристарх Гребенников, не Жорка Матвеев, не Порфирий Плутархов, Шлеп-нога, не Глеб Пшеник. А главное, в эту же смену работал Иван. Он работал, правда, не в его цехе, а в соседнем, автоматном, но на работу придется ехать вместе, вместе потом возвращаться...

— Так почему мне во вторую? — угасшим голосом еще раз спросил Парфен у Фаины.

— Чего не знаю, Парфен, того не знаю. И нам лучше, чтоб ты у нас мастером был. Мы так все и хотели. Мы к тебе привыкли, шутка, столько годов вместе проработали! Ты сходи к начальнику, сходи! Не жди, когда тебя куда-нибудь ткнут. А не то всем цехом пойдем, попросим, нехай переменят.

Уже с первого дня получилось что-то не так, как Парфен ожидал. Даже этот день, на который отпустил его инженер, не дали отгулять

до конца. Не вмешалась ли уж сюда та темная, непонятная сила, о которой предупреждал Иван? Но как тогда понимать главного инженера?

Парфен вошел в хату, ничем не выдав своего расстройства. Не спеша водрузил «москвичку» на вешалку, посмотрел на печку, где висели с утра рабочие штаны. Их там не было.

— На лежанке вон, гляди лучше! — зыкнула Эмма. — Сколько же им болтаться над кастрюлями?

Штаны оказались не глажены, о чем Парфен и сказал жене.

— Стань да погладь. Женке или пироги тебе готовить, или штаны гладить!

Парфен пошел в другую половину, включил утюг. За круглым столом Надя готовила уроки.

— Подвинься, дочь, — попросил ее Парфен. — Я тут с краешка пристроюсь.

— Задача не получается, — проговорила та чуть ли не плача.

— А ну покажи.

Покуда утюг нагревался, Парфен прочитал задачу, но сразу не ухватил что к чему.

— Порешай еще сама, пока я вот брюки поглажу.

Парфен гладил брюки, а голова его была занята решением задачи. Но как он ни прикидывал в уме, то и дело сбивался. На бумажке, бывало, то одну, то другую теряешь цифру, путаешься, а попробуй продержи их все в уме!

А когда кончил гладить брюки, то пора было ехать на работу.

— Пусть мама порешает, — сказал он дочери. — Мне некогда.

— Чего это тебе некогда? — удивилась и возмутилась Эмма. — Говорил, что свободный день дали, — и некогда! Чем ты так занят, что с дитенком позаниматься времени у тебя нет?

— На смену надо... Фаина сейчас передала.

— И ходишь молчишь!

— Где мой серый пиджак?

— Возьми там, где положил. А я уже устала за эти два дня все искать тебе да подавать.

Парфен засопел. Нехороший был это признак. Был на первом году ихней женитьбы случай, когда он вот так же засопел и ушел на ночь глядя из дому. На другой день Парфен, конечно, вернулся, когда Эмма нашла его на чердаке у Ивана Колчина и вдоволь наплакалась. Этот случай Парфен постарался забыть, никогда о нем не вспоминал. Забыла его и Эмма. Но теще он запомнился на всю жизнь, стоял в ее голове вроде сторожевого поста. И всякий раз, когда ей начинало казаться опасным зятево сопенье, она спешила угодить ему.

— Парфен, ты же его вчера на вешалку под куфайку повесил. — И Устиновна кинулась к вешалке. Действительно пиджак там.

— Спасибо, мать. Я и забыл.

— Это он с радости, что мастером стал, ум потерял, — попыталась пошутить Эмма.

— Может, и с радости, — Парфен не принял ее шутки.

Этот серый пиджак он носил в будний день дома или просто надевал пройти куда-нибудь по делам, когда не нужно было особенно наряжаться. На работу воздерживался надевать, а вот сегодня решил — пришел черед и пиджаку.

— А куртка что, уже плохая? — уколола Эмма.

Парфен смолчал. Неохотно пообедал, натянул на себя новую «москвичку» — толст вроде бы стал в ней, неповоротлив. Шапку на голову нахлобучил старую, в ней он и на охоту ходил. Она еще ничего была: спасал кожаный верх.

— Копеек дай на ужин.

— У тебя разве не осталось сдачи?

Это спросила Эмма, и не поймешь, то ли всерьез, то ли опять с издевкой.

Парфен глянул на нее так, что жена притихла, молча пошла к «кассе».

— На вот рубль: нет мелочи.

— Не бойсь, не пропью.

Парфен потоптался у порога, не то собираясь что-то сказать перед уходом на работу, не то ожидая, что скажут ему в напутствие жена и теща. Но те молчали. И он было двинулся на дверь, но к нему подбежала Любочка.

— А ты скоро придешь? — Дочь потерлась о колени отца.

— Ты, доченька, спать будешь. — Голос Парфена сразу оттаял, по-добрел. — Пожелай хоть ты папке удачи...

— Иди уже! — прикрикнула Эмма на мужа. — Будешь теперь... Сам ходит, переживает, хочет, чтобы и все за него переживали. А чего нам за тебя переживать? Напросился, так не вздыхай, будто тебя не понимают.

— Ладно, живите, не кашляйте!..

До автобусной остановки Парфен двигался, стараясь ни о чем не думать. Но когда еще издали увидел в толпе Ивана, опять провернулось в мозгу все то, что произошло за эти последние два дня. Его ноги сами приостановились, закосили в сторону. Еще одна такая минута — и он повернул бы назад.

Не друг ему Иван, это уж точно, ясно навсегда. Но что-то еще оставалось к нему — нет, не чувство вины за рухнувшую дружбу. Дружба ушла-уехала не по его вине, иди ищи ее теперь, как ветра в поле. А что-то же такое скребло у него на душе. Не перехватил ли он в самом деле Иванов хлеб? Имел ли он на это право?

К «не своим» станочникам, поджидавшим автобуса, Парфен подошел без шутки, поздоровался без обычного слова «бабоньки». Была бы его смена — дело другое. Подойди он так к «своим», те обязательно бы подумали, что у него что-то стряслось. Сразу полезли бы с сердобольными расспросами, заохали бы да заахали: «Что это сегодня с тобой, а, Парфен? Чи Эмма борщом не покормила?» А этим, «чужим», как будто так и надо. В лицо Парфен всех их знал, и они его знали. С ними здоровался, а сам больше всего за Иваном подсматривал, как он откликнется.

— Здорово, здорово, Тимофеевич, — еще радушнее всех и вперед всех ответил Иван.

Это-то и плохо. Встреть он как-то иначе, ответь не тем голосом, нахмурься, промолчи или отвернись, тогда было бы все понятно: сердится Иван, а значит, перешел Парфен ему дорогу. Тогда знал бы и Парфен, как себя вести с ним. Тогда и Парфену было бы легче отвернуться, нахмуриться, как он, простоять в стороне, пока не появился бы автобус.

— Чего оторопел? — продолжал Иван, как бы не помня зла. — Чай, не чужие.

— Да, не чужие... Свои вроде.

— Почему «вроде»? Не уверен?

— Был бы уверен, так по-другому бы и говорил.

Но Иван заулыбался: мол, понимаю, понимаю, в новом соку и поновому варятся. Ты сам этого захотел, я сделал для тебя все что мог, на меня тебе не за что обижаться, напрасно так думаешь.

— Значит, начинаем? — проговорил он загадочно.

Но Парфен понял его — чего тут было не понять? — ответил:

— Значит, начинаем.

— Первый раз в первый класс?

— Первый раз в первый класс.

Ни расположить к себе Парфена, ни унижить Ивану так сразу не удалось. Он постоял, чему-то усмехаясь, попробовал подъехать с другой стороны:

— На утку-то пойдешь?

— Пойду, конечно.

— Когда думаешь?

— Ну, как лёт начнется... Если сапоги резиновые достану.

— У меня же вторые есть, прошлогодние.

— То у тебя.

— Какая разница?

— Есть разница.

Иван осекся, уже понизил голос:

— Раньше ты этой разницы не замечал.

— Не замечал. А вот сейчас заметил.

Замолчали. Стояли, как два петуха, которые уже подрались, но еще не расходились, настороженные, недоверчивые. Ни тот, ни другой не желал первым показать спину.

Станочницы притихли, отвернулись. Не их это дело, лучше не лезть, не вмешиваться. В самый раз подойти бы автобусу — и наступила бы разрядка. Пора бы ему быть здесь, но всегда так: когда нужно, его нет.

— Видно, пойдём мы сегодня пешком, — проговорила одна из станочниц. — Дорога вон во что за одну ночь превратилась.

— Сказали бы, что не будет. А то что же, стоим тут, не знавши, опоздаем, мы еще и в виноватых останемся, — отозвалась другая.

Сразу же заговорили и остальные станочницы облегченно и старательно. И под их галдеж, который никто так не умеет создавать, как женщины, Парфен с Иваном тоже сдвинулись с мертвой точки, ослабились друг перед другом.

Иван первым «сменил пластинку»:

— Ты-то чё?

— А ты чё? — в тон ему ответил Парфен.

— Я ничё.

— И я ничё.

А подумал Парфен другое: «Нет, Иван, не получится у нас с тобой, как было, не получится. Раскусил я тебя, раскусил. Ты хуже Витальки Анашкина. У того хоть все на лбу написано, как он ни скрывается. А ты не тот, ты скользкий, намыленный. Ты не дурак. То-то и оно, что не дурак!»

Высоко в небе, раздвигая тучи, подул ветер. На минуту выглянуло и спряталось солнце. Холодом потянуло от открытых просторов на краю городка. Парфен приподнял воротник «москвички». Мех коснулся его щек нежно и ласково. Тепло, надежно было спине под толстым, непродуваемым сукном, всему телу до колен от ощущения на себе новой, негрязной одежды.

— Вырядился? — уже с открытой враждебностью заговорил Иван.

— Да, вырядился.

— Теперь в чистом ходить будешь?

— Да, в чистом.

— Как все начальство?

— Как все начальство.

Из Дрындина переулка наконец вывернул автобус, разбрызгивая грязь, переваливаясь с боку на бок на ямах и погромыхивая разбитым

кузовом. За рулем сидел Виталька Анашкин. Он выдупил на Парфена глаза — не узнал сначала такого, а когда узнал, сразу надул губы, вспомнил вчерашнюю обиду.

В автобус Парфен протиснулся последним. Сесть уже было негде: со спичечниками ехали и строители, которые сели в центре, — здесь собирались только те, кто жил на окраине по пути в Синезерки.

— Садись мне на колени, — предложил Иван. — В ногах правды нет.

— Отдаваю все твое хозяйство, подаст Софья на меня в суд.

— Садись!

Парфен решил промолчать. Подсахаривает Иван, чует кошка, чье сало съела! Нет, друг, больно дешево захотел купить!

Иван насупился, от этого губы его соединились с кончиком носа. Замолчал.

Проехали лес, взобрались на горку, с которой были видны Синезерки, одолели улицу, железнодорожный переезд и остановились у ворот фабрики.

Выбравшись из автобуса, Парфен отстал от всех: он собственными глазами, без свидетелей, хотел взглянуть на приказ.

И знал, что все уже решено, а приехал на фабрику и, казалось бы, из-за такой формальности, пустяка, как эта приколотая кнопками бумажка, которых он видел-перевидел в проходной на доске объявлений, заволновался так, как не волновался перед свадьбой.

Приказ был как приказ, всего одна строчка: «Приказываю: слесаря седьмого разряда набивочного цеха Локтионова П. Т. перевести мастером того же цеха с 18 марта с. г.». И подпись директора — Буенов.

Парфен прошел на территорию фабрики, и только тут у него помлели ноги: вот он и мастер!

Остановился, впервые не зная, куда ему сейчас идти, что делать. Все давно разошлись по цехам, у каждого было определенное рабочее место и дело, а вот он все еще стоял на фабричном дворе как заблудший.

Окоченело чернел за забором синезерский лес. Небо после четырех часов дня налилось серой гущей, срезало с фабричной трубы дым, пригнуло его к земле.

Парфен шаткой, неуверенной походкой двинулся к набивочному цеху. Новая «москвичка» с каждым шагом тяжелела на его плечах. Стало в ней тесно Парфену, душно и стыдно, точно он пришел в гости и увидел, что оделся чересчур нарядно, не так, как, предполагал, оденутся другие.

— Товарищ Локтионов! — услышал Парфен сзади себя женский голос.

Обернулся — его догоняла курьерша Лида.

— Зайдите к начальнику!

И курьерша Лида собралась проскользнуть дальше: Такая уж у нее работа: все бегом да скоком, этого позови, тому передай, эту бумажку отнеси, ту принеси — и так весь день как заводная, тоже профессия!

Но Парфен придержал ее:

— К какому начальнику? Их тут много.

— У вас он один — начальник цеха! Да поторопитесь, вас ждут, товарищ Локтионов!

Почему-то строга и суха сегодня Лида. Будто первый раз его видит. Будто он не равный ей, а на три должности выше. А раньше. бы-

вало, он с ней шутки шутил, когда она приходила в набивочный цех по курьерским делам. И Лида на шутки отвечала шутками, его, всех слесарей называла по имени, улыбалась, как могла улыбаться мужчинам холостячка, ищущая, по выражению Сеньки Шадрина, «себе мужа». И чего она так переменялась?

Но слова ее обрадовали Парфена. Сам бы он и не додумался пойти к начальнику цеха и выяснить, с чего ему начинать.

То, что начальники цехов собирались в производственном отделе, Парфен без курьерши Лиды знал и сразу взял курс туда. Был бы Милешин в отделе, он с ходу и прошел бы к нему. Но вот наткнулся на кучу народа — здесь толклись начальники других цехов, сменные мастера, из конструкторского бюро — и осекся в самых дверях.

За столько лет работы на фабрике все эти люди примелькались ему. Но перед каждым из них в отдельности у него и мысли не было робеть, давать задний ход. А тут как увидел их всех вместе, так и застопорил, будто налетел на самое высокое начальство.

— Проходи, Парфен! Испугался такого парламента? Проходи, тут тебя никто не покусает!

Это вышел к нему мастер Мокей Коломеев, который когда-то учил его слесарному делу, протянул ему руку.

— Ну, здорово, Тимофеич! Значит, к нашему шалапу?

— К вашему.

— Ну, добро. Сколько можно в той курилке штаны протирать?

Мокей Коломеев бережно взял Парфена под локоток, так же бережно, как переводят старушку через улицу, отвел его подальше от шума.

— А сразу бы задался целью в мастера выскочить, глядишь, до начальника цеха уже дорос бы.

— Высоко взял, Иваныч. Опустит.

— Ну-ну, не скромничай! Я вот через свои руки не одного такого, как ты, пропустил, а так мне мастером и помирать тут, голубь мой.

Мокей Коломеев суетно похлопал ладонями по карманам пиджака.

— Была одна пачка «Примы» и ту забыл дома на буфете, склероз уже, — проговорил он сокрушенно, не переставая обыскивать карманы. — А, вот она. Сунул вместе с пропуском... Говорю же тебе: склероз старческий.

Он вынул из сплюснутой пачки сигарету, вставил в беззубый рот. Но теперь не мог так же, как сигарет, найти у себя спичек.

— На спичечной фабрике работаю, а прикурить нечем. В другой раз по пять коробок в карманах таскаю, дома все выложу, хвачусь — хоть в цех беги проси.

Был бы кто-нибудь другой, а не Мокей Коломеев, старый, заслуженный мастер, всеми уважаемый человек, Парфен не удержался бы, сказал: «Иди от фабричной трубы прикури!» Но молча протянул ему коробку спичек, которую всегда носил в кармане.

— Во, это я понимаю! Сказано: мозги молодые! — обрадовался Мокей Коломеев. — Пошли из этой духоты, свежим воздухом подышим.

— Милешина надо бы увидеть... Вызывал.

— Милешин у главного инженера. А пока я твой начальник, голубь мой. Не понял? Сегодня ты в моих руках. Поднатаскать я тебя должен. На след поставлю, а там сам нюхом бери, — перешел старый мастер на охотничью терминологию. — Верхним аль нижним, с голосом аль без голоса — тут дело твое. Но чтоб не скололся на первом же круге, уловил?

Мокей Коломеев вышел на крыльцо конторы, присел на мокрую ступеньку. Парфен не захотел садиться, притулился к входной двери. Один курил, другой без дела глядел ему в согнутую спину.

Покурив немного, старый мастер спросил:

— Скольким ты ноне зайцам лапы обрезал?

— Мало.

— А без брехни?

— Десяток отправил на тот свет. В день закрытия охоты одиннадцатому в хвост поглядел. Ивана кобель ноги поранил в гололед, круг сделал — и хоть ты убей его.

— Значит, десяток? Бедово.

— Я что! Месяц с Иваном за кабанами да сохатыми проходил. Отстреляли сколько положено. А косых... Это уж попутно, как попадется.

— Не-е, все равно бедово. А я ноне пятерых всего. Без собаки не охота. Была бы Марта — другое дело, а без Марты...

Мокей Коломеев тяжело вздохнул, вспомнив свою несчастную суку, погибшую в прошлый сезон под поездом. Обморозила она на охоте соски, вот старый Мокей Коломеев и придумал для них защиту — сшил что-то наподобие бюстгальтера, проще говоря, лифчика. Пошел поохотиться в очередной выходной, заодно испытать свое изобретение. Подняла сука зайца, косой что есть духу хватил через железную дорогу, та за ним, да и зацепилась лифчиком за костыль. А тут поезд...

— Без суки не охота, — грустно повторил старый мастер и старый зайчатник. — Лучше Марты не было у меня собаки и не будет. Считай, голубь мой, что отохотился. Да и ружье живит.

— Как это «живит»?

— А вот так... Пошел я раз с Зыряном, лесником с Косматой Горы, по свежей пороше на Октябрьские. У Зыряна кобель хороший, третий год ему, в самый сок вошел. Ну, побродили мы по лесу, Зырян и говорит: одолжи, мол, с пяток патронов, дома отдам. Я, дурак тороватый, вынул и на тебе, бери, заряжай, знай мою доброту. Сегодня я тебя выручу, а завтра ты меня, случись, выручишь. Ну, дал я ему пять патронов, идем дальше. Тут поднимает кобель косога, я бах из левого ствола — мимо, бах из правого — мимо. И близко был, шагов на двадцать. Проходил я с Зыряном день, еще три раза по зайцу стрелял — все мимо. С тех пор вот ружье и живит.

— Почему же «живит»?

— Зарок такой у охотников есть: нельзя в лесу на охоте патроны одалживать. Вот заяц и уходит из-под ружья живым.

Мокей Коломеев смурно глянул через плечо на Парфена.

— Расскажи ты что-нибудь.

— Может, там Милешин от инженера пришел, ожидает, — качнулся Парфен у двери. — А мы тут на крыльце байки рассказываем.

— Если б пришел, так позвал бы. Не слепой, видать. А ты чего торопишься-то?

— В цех, наверно, пора...

— Сходим еще и в цех. Успеем те бумажки обглядеть. К концу смены подобьем бабки — и шабаш. Ты, голубь мой, коль ко мне прикомандированный, так меня и держись. Лучше расскажи, как это вы с Иваном...

Парфен подумал, что Мокей Коломеев имел в виду их треснувшую дружбу, и перебил его:

— Иван как Иван, себе не враг. Одной дружбой сыт не будешь.

— Знаю, знаю... Про охоту мне расскажи. Про сохатого.

— Было такое дело... Передал лесник из Усовья егерю, что лось

в лесу лежит, на ноги не встает. Тут мы с Иваном и выехали на мотоциклах. Взяли еще двух усовьевских охотников. Те с егерем перехватили его у Лисьих Гор, выстрелили по нем, еще раз ранили в лопатку. Лось забрался в болото, стал и стоит. Те к нему сунулись, а топко. Расстреляли все пули, а лось стоит, только головой водит. Тогда они разжигают костер, садятся и переливают заячью дробь на пули... Потом того лося трактором из болота тащили, рога обломали... Вообще тяжелая картина.

— Да, тяжелая,— вздохнул и Мокей Коломеев.

Парфен посмотрел сверху в его изогнутую, как коромысло, спину, в белый от седины затылок, который выглядывал из-под облезлой котиковой шапки, на окурки, что дотлевали в его расслабленных пальцах, похожих суставами на усохшие бамбуковые палки. Такой же белый, как седина, пепел, накапливаясь, падал на чисто выстиранные штаны старого мастера. Но Коломеев не стряхивал его, сидел по-стариковски осунуто, точно колдун.

Жизнь Мокея Коломеева Парфену была известна. Не в подробностях, конечно, все подробности разве можно знать, да и ни к чему они. Но некий стержень, на который, как на барабан, наматывалось все остальное, Парфен знал в точности. Была у Мокея Коломеева одна пронзительная мечта, но которая не сбылась и по сей день. И уже не сбудется. Пиши жалобу на кого хочешь, результат будет единый, потому что жаловаться Мокею Коломееву не на кого.

Мокей Коломеев — синезерский. И родился в Синезерках и крестился. И помирать не иначе же как здесь собрался. Немного осталось ему дышать: как седьмой десяток разменял, так присматривай место на кладбище. Кто из мастеровых протянул больше? Сколько их таких уже лежит под соснами на песчаной горке за станцией! И Мокей Коломеев — первый кандидат туда. Потому-то он и заявил категорически, что не собирается уходить на пенсию. Когда работаешь, вроде до смерти еще далеко, а как на «заслуженный отдых» ушел, так через год-два, ну три, заказывай музыку. О чем печаль? Музыка каждому будет. Одному раньше, другому позже. А вот что в жизни было Мокея Коломеева — смерти поважнее.

В революцию был он еще мал, так что, считай, при советской власти вырос и состариться успел. А как подросток, грамоте малость обучился и скорей на фабрику. Куда же еще? Одно спасение — спичечная фабрика. Расстроилась она, а то как же, за годы советской власти, но числом больше их, этих фабрик, ни в Синезерках, нигде окрест не стало. Вот и работал Мокей Коломеев на ней, холостяковал до тридцати лет. Холостым и на фронт ушел. Не убило на войне, уцелел. С фронта вернулся, опять же куда податься? На фабрику. Женился наконец, хоть поздно, но женился, не прогадал. Жена почти его же лет досталась: война помешала вовремя выйти замуж. Ему на четвертый десяток поперло, и ей уже под третий подбиралось. Но оба молодцами оказались, что Мокей, что его Анисья, женщина невздорная и породистая — «здоровая была», это сейчас она поусохла, поубавилось с нее румян. Поженились они и начали детей клепать, будто решили наверстать упущенное. Как год, так ребенок. Первая — девочка, вторая — девочка, третья — девочка. Вот тут Мокей Коломеев и зачесал затылок, заненастился: «Давай, Анисья, еще одного попробуем, может, этот пацан будет». Попробовали — и опять девочка. Рискнули еще на одного ребенка — пятая девочка! И все как одна, вылитые Анисья. От Мокея и кровинки в лице, как ни ищи, не отыщешь. Вот ведь как бывает. Чего уж тут такого — иметь бы рядом с собой сынишку, подрастающего охотника,

помощника в мужских делах, да поди ж ты его займей. И все чаще увиливал Мокей Коломеев от Анисьи с ружьем в лес, бродил по чащобам до вечера, тосковал. Молчаливый, почерневший ложился к жене под ватное одеяло. Лежал, не дотрагиваясь до нее, решал. Где пять детей, там и шестому место найдется. И не объест он, шестой. Все равно мать один и тот же чугунок борща варит, когда мало, а когда и остается, кабану выливает. И опять округлился у Анисьи живот, натянулся, как барабан, приподнял спереди платье. На все девять месяцев Мокей Коломеев запер свою душу на замок. «Чует мое сердце: он,— уверяла его Анисья.— Сюда вот ножками посучивает...» Теплело на душе Мокея Коломеева, искривлял он возле рта морщины в улыбку, но волю чувствам не давал: чем черт не шутит... А черт и на этот раз подшутил: ошиблась Анисья, и шестая — девочка. Не могло же быть такого, чтобы и седьмая — она же, лупатая, вся в Анисью! Есть ведь всему предел... Через два года после шестой беременности Анисья снова отходила девять месяцев, на себя не похожая, «как бонба». И родила Мокею Коломееву седьмую девочку. «Все, жена, завязываем»,— сказал он. Не убитым горем стал Мокей Коломеев, а спокойным и медлительным, каким был до женитьбы. И седел, старел с каждым годом все быстрее. Дочери его были мал мала меньше; старшей было немногим за двадцать, а младшей четыре годика. «И как ты сумел ее смастерить? — пошучивали над ним мужики.— Из тебя уже песок сыплется!» Звал Мокей Коломеев дочерей не их женскими именами, а мужскими: Сережка, Андрюшка, Петька, Гришка, Васятка...

Совсем дотлевшую сигарету он бросил в лужу, вытащил из-за пазухи районную газету, разгладил ее на коленях.

— В фабричной читалке из подшивки выдрал.

Мастер хулиганисто улыбнулся, как бы гордясь своим поступком.

— А зачем тебе она? — спросил Парфен.

— Это же ты тут! Ты разве не знаешь?

Парфен вяло, стараясь казаться безразличным, ответил:

— Знаю.

— Свою куда-то дели, не заметили, что там твое изображение. Понесу, покажу Анисье... Да и ребята мои обрадуются. Сережка с Андрюшкой первые. А мне двойная честь: кто тебя всему научил?

Мокей Коломеев умолк, словно бы устыдясь своего не очень скромного заявления: всего-то с полгода и походил Парфен у него в учениках — мастер только «на след» его поставил, остальное ведь восемнадцать лет он собственным «нюхом» брал, всяким, и «верхним» и «нижним».

— Ну, а твои-то как? — спросил Мокей Коломеев, пряча газету за пазуху.

— Что «как»? — не понял Парфен.

— Ну, подтянулись?

— Теща, что ль? Жена?

— Да не теща и не жена. Пацаны!

Намек ясен: «пацаны» — значит, дочери, Надя и Любочка. Это для него, Мокея Коломеева, «пацаны» что свои дочери, что чужие — одинаково. Привычка уж такая.

И с притворным равнодушием Парфен произнес:

— Растут.

— Второй-то сколько уже?

— Пятый пошел.

— А той, первой?.. За женихами еще не бегают?

— Спеклась. У калитки подловил. Иду, а они стоят, как птенчики. Понимали бы еще!

— Не пугай. Пусть привыкают.

— Да он-то ничего, соседский. И все ж боюсь я. Гляди да и гляди теперь, чтоб раньше времени...

— За этим не уследишь. У меня их вон сколько! Табунами женихи у двора толкуются, и то не переживаю. Ежели она к самостоятельности приучена, ложись спать спокойно, глаз на все не хватит.

— Да я что? Я ничего. Пускай обтирается, мне не жалко.

Старый и молодой мастера замолчали.

— Пора тебе...

Мокей Коломеев пристально взглянул на Парфена. Тот понял это по-своему:

— Да, надо двигать.

— Двигать, двигать! Надвигаешься еще! Я говорю, пора тебе еще одного заводить!

— А, ты вон о чем... Так вот скоро будет.

— Знаю, что будет. Будет — это еще не все. Бракоделом не будь, как я всю жизнь.

— Ну.

— Вот и «ну», гну! Сделать — дело нехитрое, а кого сделать — вот вопрос!

Парфена как кто-то исподтишка подсек под коленки: так резанули его эти слова. А вдруг у него опять будет дочь? Не гнаться же и ему, как Мокею Коломееву, за счастьем? Ты за ним, а оно от тебя. Будешь бежать, пока не споткнешься, и на этом конец. Если само счастье в руки не идет, то лови его, не лови — не поймаешь.

— Буду тогда всю жизнь на мокрохвосток работать,— проговорил Парфен, словно продолжая вслух свои мысли.

— А куда денешься, голубь мой? Одной туфли, другой платье, то модно, а это уже не модно! Не то что парню: одни штаны купил — и носи до дыр.

По коридору из кабинета главного инженера в производственный отдел, стуча кожаными подошвами, прошел Милешин.

Мокей Коломеев медленно поднялся со ступеньки.

— Ну, пошли,— сказал он Парфену.— Чем он нас обрадует?

Начальник цеха собрался снова куда-то убежать, когда они было сунулись в двери производственного отдела.

— Я вижу, вы успели подружиться! — улыбнулся им Милешин.

— Долго ли умеючи.— Мокей Коломеев и глазом не моргнул, таким серьезным стал.— Мы с Тимофеичем давно друзья.

— Тогда мое дело — сторона. Сторона! Без меня разберетесь.

Еще б секунду Парфен помедли, и Милешин ускользнул бы.

— Борис Константинович! А почему меня поставили не в мою смену?

Немного подумав, Милешин низким, терпеливым голосом, каким втолковывают новичку элементарные знания, проговорил:

— Вам разве не объяснили? В вашей смене мы пока оставляем Тихона. А вы походите с Мокеем Ивановичем, поучитесь у него. С понедельника выйдете в свою смену. Думаю, что двух дней вам хватит для стажировки.

(Окончание следует)



ИРИНА СНЕГОВА

★

ОГНЕННЫЙ КРУГ

.

Я сбросила рифму, строфу распрягла,
Срывая погромки.
Я лист извела от угла до угла,
От кромки до кромки.
И вкрадчиво шли, полоса к полосе,
Обширные строки.
А я говорила: так делают все,
Всему свои сроки.
А мне говорили: давно бы пора,
Как жаль, что так поздно!
Век взрыва — он требует спешки пера
И емкости прозы.
А мысли! — нельзя, как плоты, их вязать...
И я развязала.
Но жгло: ты умела короче сказать
Все то, что сказала.
Отринь, потесни, чтоб лишь нерв, только суть...
Спеши, это срочно!
Чтоб мог кто-то вот-вот начавший тонуть
Схватиться за строчку.
И я принялась за избытки, концы,
Находки, детали...
И строки построились снова в столбцы
И к рифмам припали.

.

Только яблоки падают — стук,
Совершенно особенный звук.
Непреложный, неспешный, тугой —
Осторожный — над жизнью людской.
Не внезапно, и все-таки — вдруг:
Стук — грушовка, папировка — стук...
Воплощение, свершение, срок,
Тяготения школьный урок?
Признак чуда в усилии рук:
Шевельнулось и, медленно, — стук...
Что ты, вовсе не хочется спать!
Это яблоки... Слышишь — опять.
Совершается. Рядом. Вокруг...
Завершается огненный круг.

* * *

Тесно.
 Попросгу тесно.
 Теперь только я поняла:
 Тесно.
 В утробе. В свивальнике.
 В шубе. В доме.
 В толпе и в гробу.
 Тесно. Вот в том-то и дело.
 Теперь только я поняла.
 Тесно — в объятых,
 В тисках долга и срока,
 В книге, в колодках,
 В лесу, в унижении, в славе...
 Тесно
 На желтой и жаркой
 Кромке залива —
 Как мал он, как мал!
 Океана хочу, океана.
 Ах, теперь только я поняла:
 Тесно — это, наверно,
 Прапамять тоскует в нас
 Об океане, из которого мы..
 Тесно, господи,
 Тесно!
 Теперь только я поняла.

* * *

Какая мел! По щиколотку чайкам...
 Как стыл, ребрист и пасмурен залив,
 Как горизонт, шлагбаумом в тишь впечатан,
 Замкнул его, от моря отделив.
 Но там, за ним, где глазу ходу нету,
 Как знак, что даль, что глубь, что трын-трава,—
 Протяжный дым плывет по белу свету,
 Предчувствуемый берегом едва.

НАД ВОДОЙ

И как полоснуло: — Пстой!
 И ты ведь была молодой!
 Сама же была молодой...
 Была-а! — подхватила вода...
 О да, я была молода!
 О, как я тогда молода...
 Была и война, и беда,
 А я все равно — молода.
 Подумать — в такие года!..
 Я долго была молода.
 Да-да-а — покатила вода —
 Всегда-а... никогда-а...
 Молода-а!
 И кто-то вмешался другой:
 И я был тогда-а
 Молодой!

.

Попробуйте прыгнуть
 С сосны на сосну
 И факелом вскинуть
 Свою рыжизну,
 Кометой прорезать
 Мерцанье берез
 И гриб углядеть:
 Как он за ночь — подрост?
 На стебель надеть
 Земляничный шашлык,
 И спрятать в тайник,
 И забыть про тайник.
 Попробуйте в небо
 По елке взбежать
 И самую маковку
 К туче прижать
 И там, раскачавшись,
 Застыть на весу...
 Тогда вы поймете,
 Как скучно внизу.

.

Мне снилось — звенело! — что птицы поэт.
 Был май, или бор, или луг, или юг...
 Не помню — ведь я только слышала сон,
 Звенел, свиристел, пришепетывал он.
 Как будто все певчее с горних высот
 Слетело в него и как может поет.
 Не сон, а какой-то разбой голосов,
 Какого-то давнего праздника зов...
 Но тихо я вышла из пенья его,
 Чтоб ты не проснулся от сна моего.

ПОКРОВ НА НЕРАИ

Октябрь октябрем, а трава-то, трава,
 И белым по зелени храм Покрова.
 Свечой на ладони — на голом лугу —
 Прямой на ветру, гнущем реку в дугу.
 Мерцает в излучине, будто из туч
 Сквозит к нему некий, единственный, луч.
 Пропорций бесспорность и магия лет? —
 Струющийся в небо, естественный, свет!
 И сколько б ни шел ты назад, допоздна
 Идет за тобою его белизна.
 Как жизнь, что, отстав, и в последней дали
 Все светит нам вслед, как Покров на Нерли.



Н. Н. МИХАЙЛОВ

★

ЧЕРСТВЫЕ ИМЕНИНЫ*

Глава четвертая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВТОРОГО ПУТЕШЕСТВИЯ В НЕОТКРЫТЫЕ ГОРЫ

... **А**га, понятно. Сейчас нам троим руки скрутят. С живых сдерут кожу. В костре сожгут.

Но не убили.

Боевых джигитов в становище не было — куда-то умчались. Наверно, в погоню за экспедицией Погребецкого. Видно, с ними-то в долине Иныльчека украинцы и приняли бой, который нас чудом миновал.

Мы не встретили ярости. Просто нас взяли в плен, благо сами заявили. Нужны баям, чтобы попытаться на кого-то выменять.

Вспомнил я, что значит слово «аманат»! Заложник. Вот от чего хотел уберечь нас киргиз в худом армяке.

Ярости мы не увидели, но Кончак в «Князе Игоре» был куда вежливее. Не давали есть три дня. Тыкали на нас пальцем и хихикали. Мы лежали в тени юрты.

От голодной смерти спасал Валя. Молодые киргизки возликовали, узнав, что он ловок рисовать портреты. Чертил на листочках, вырванных из записной книжки. Платили куском лепешки. А лепешки пеклись так: тесто прищлепывали к котлу-казану, перевернутому над огнем очага.

Ржали лошади, блеяли овцы. Пахло сухим пометом, горящим в кострах.

На третий день к вечеру прибыли гости — такие же баи. Предались тою — кочевому восточному пиру. Заклали жеребенка. Сидели на кошмах, объедки бросали женщинам и батракам, включая того, который нас встретил. Те, обглодав, швыряли собакам. Дали по куску жеребятины и нам.

Утром толстяки с женами уехали на свадьбу — на какой-то Шулу. Тузы-мужчины в пестрых дунганских халатах с распахнутой грудью, в шапках лисьего меха, на вороних иноходцах, блистая сбруей, в седлах, покрытых ковром. Женщины в тяжелых белых тюрбанах из полотна, намотанного во много слоев, с младенцами на руках — шапочки у детей из шкуры барса, с перышками. Батраки держали стреля. Там, на свадьбе в Шулу, пирует и шайка.

Истекал четвертый день. Ватага головорезов могла возвратиться в любой миг. Нас мутило, когда всматривались в окрестные бугры. Уже поплыли галлюцинации: вон, вон они скачут!

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Но возник из-за холмов не курбаши Касым, а наш Рускельды. Басмачи на сыртах угнали лошадей, но тут подвернулся почтальон с винтовкой, бросились в погоню и в перестрелке отбили коней. Возможно, было и не совсем так, мы не знаем.

Сразу перемена. Нам поднесли пиалы с кумысом. Вскочили мы в седла, при высокой дневной воде преодолели пучины Сарыджаса и, забыв о голоде, шли рысью до темноты, уносили ноги. Заночевали в долине Кокжара, когда я от усталости свалился с коня.

На рассвете снова в путь. Встретились двое верхами — крупная боевая женщина и худенький юноша. Профессор ботаники из Ташкента направлялась на сырты Сарыджаса собирать коллекцию, ее сопровождал студент. Мы все рассказали. Молодой человек заерзал в седле. Богатырша поблагодарила за заботу и не моргнув глазом дернула поводья, ударила лошадь камчой.

Пошли жилые места. Шалаша у сенокосов. Мельницы на горных речках. Степная ярмарка в Каркаре. Села иссык-кульской котловины... На четвертый день после Сарыджаса подходим к Караколу. Сбыть на базаре лошадей, взойти на теплоход, в грузовике до Фрунзе, поезд — и мы дома.

Алма-атинский адрес я знаю — Талгарская, 40, а ташкентский спросить постеснялся.

— Что нам Каракол с давешним генералом, там уже были. Айда на Алма-Ату! Подумаешь, перевалить еще два хребта. Кунгей, Заилийский, река Чилик между ними — ведь это интересно. И, кажется, так еще не ходил никто. Ну, опоздаем в Москву на неделю — голову не снимут.

На подступах к Алма-Ате, когда под снежными горами на конусе выноса из темной зелени уже высунулась маковка собора, лошади не могли нас нести. Умаялись на перевалах. Шатались, ложились. Мы лишний день тащили их за уздечку, погоняли хворостиной. На Скотском базаре продали за бесценок. Обнялись с Рускельды.

Белый домик со ставнями на травянистой Талгарской возле арка под тополями. Черненькая девочка играет с камешками.

— Как тебя, милая, зовут?

— Лида.

— Ты Зинина сестричка?

— Сестричка.

— А Зина дома?

— Она вчера уехала в Ташкент.

Из Алма-Аты мне в Москву от Лидии Васильевны Косенко

«24 октября 1972 года.

...Постоянно вспоминаю сестру. Сегодня, в ее день, захотелось к Мохнатой сопке. На ту еловую гору мы с детства с нею, с Васей часто ходили. Собирались с вечера и утром часов в пять отправлялись. Как славно нам было! Возвращались в сумерках.

Решила снова поближе взглянуть на горы, которые она так любила, нарвать веточек боярки.

Вижу ее ясно. Совсем юная девушка — мечтательница и фантазерка. Любила рядиться под шейха, называла его Джаваиром.

Вот студентка, полная жизни, приезжает на каникулы. Помню, поцеловала старую проволочную петельку, которой запиралась кладовка. И куда-то уже снова торопится, уезжает.

А потом немного утомленная, обдуманно одетая, с вечной заботой «как выгляжу».

Все более редкие встречи, редкие письма... Мне очень грустно.

Съездила сегодня к Мохнатой сопке как на свиданье».

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Когда замыслили проложить путь к пику Хан-Тенгри, меня томила жажда открытия. Когда остановились перед озером, преградившим дорогу, мучило разочарование. Угодили к басмачам — терзал страх. Завидел впереди Алма-Ату — трепетал. Писал ли я о каких-нибудь подобных чувствах в своих книгах? Не писал.

Почему же, рассказывая о стране, я забывал о личном восприятии? Почему не затрагивал духовное? Почему не высказывал самостоятельных суждений? Почему не писал, как сказали бы теперь, «через себя»?

Наверно, была в моих писаниях не только сводка перемен, но и научная суть дела в более или менее образном выражении.

Наверно, была динамичность, шедшая от самой темы, от жизни.

Возможно, была там и своя поэзия — поэзия народного деяния, покорения стихий, переделки косного мира.

Но я тогда не понимал: чего-то и не было. Нечто важное утёкло за решетку строк. Утекало писательское. Утекал я сам.

Записка:

«Дорогой мой, прочитала рукопись, как ты просил. Значит, не поняла, не вникла, очень спешу, убегаю на работу. Не понравилось. Знаю, что ты хотел, но на свежий взгляд получилось очень надуманно. Резонерство. Нельзя ли изменить? И сделать душевнее? Отложим разговор до вечера. Ты не огорчайся».

Смысл перестройки и обновления был настолько ясен, что лишний раз повторять слова о нем не видел нужды. Схватка с неуступчивым — со слабостью индустрии, с отсталостью земледелия — поглощала мое внимание, и на нее перемещался центр тяжести. Соорудить завод, прорыть канал, оросить пустыню, распахать залежь — вот что казалось самым важным. Цель заслонялась средством.

Помню час: в институте, где работал, однажды, когда студенты убежали обедать, я сидел в опустевшей аудитории и писал первую заказанную статью для «Наших достижений» — о преобразованиях в Киргизии. 1933 год, номер журнала 2—3. Как раз там, в горах Киргизии, взбурлила моя жизнь, и я не так давно написал первую книжку — о походе к Хан-Тенгри, о борьбе с крутизной. Но сейчас, в комнате нового здания на окраине Москвы, за столом с листом бумаги, дело, думалось, вовсе не во мне, не в моем участии. Тут утром, в этой аудитории, с кафедры говорил я студентам, естественно, не о чувствах, не о мечте, а о систематизированных фактах. И теперь, когда взялся за перо, во многом продолжал в том же духе. Был уверен, что делаю нужное: пишу о новых городах, о новых дорогах, о новом лице края. И в строках, что писал, личного было совсем мало. Мало было своих мыслей.

Литературная сторона идеи заключалась в том, чтобы, говоря о новом, и сказать по-новому. Новое же видел в поэтическом постижении знания. Думаю, правильно я поступал, но переборщил. Когда к чему-нибудь стремлюсь, всегда перестараясь. Увлекаясь, захлебывался сведениями.

Комья фактов не растапливались до нужного градуса. Плавка твердой руды пожирала силы ума и сердца. Слишком много уходило на скрытую теплоту плавления. Меньше, чем следует, оставалось для душевной жизни читателя. А ведь соотнести прочитанное с собой — вот чего он прежде всего хочет.

Считал: личное мешает общему. И в голову не приходило, что в книгах рядом со страной могу поставить свою личность. Полагал: чувства должны лишь тайно помогать в изображении того, что происходит вне меня, что совершается в стране.

Переживания? «Сантименть». Любование красотой? «Розовая во-дица». Речь про свою душу? «Самокопанье».

Редакторы подсобили мне закоренеть в заблуждении. Как-то после войны я принес рукопись книги о стране, где уже проглядывал автор — очень робко. Редактор вымарал это «через себя» единым махом. Мое поколение получило сильный заряд в 1917 году, я привык к диктату высоких целей, к дисциплине и со вниманием слушал, как человек с красным карандашом, чиркая рукопись, говорил мне: «Так нужно». Недостойно осуждать издательского работника — виноват я сам: не настоял.

Да и в Союзе писателей в те годы наслушался, как порицали поэтов за «самовыражение». Был председателем одной из творческих секций и все наматывал на ус.

Критики не указали на этот недостаток ни разу. Лишь не так давно в статье профессор Эдуард Макарович Мурзаев пожалел, что я «много дум оставлял за бортом своего писательского корабля». Справедливо.

Руссо в «Исповеди» говорит, что пишущий о себе охотно выкладывает недостатки простительные, а о других умалчивает. Не молчу: моя податливость, нехватка собственного разумения, понимания с опозданием были недостатком объяснимым, незлостным, но и непростительным.

На дальний берег озера я не перебрался.

РАБОТА

Продолжал ездить по стране и писать. По выражению одного читателя, хотел быть «писателем-самовидцем».

Конференция по развитию Кузбасса в Сибири: шахты, химические комбинаты, Томь в широких берегах...

Осмотр новых лесных полос в Черноземном крае: в машине с лесоводами и селекционером по полям и колхозам от Дона до Днепра...

Прокладка канала в Каракумах: нутро пустыни, буровые вышки, палатки изыскателей среди барханов...

Начало гидростанций на Средней и Нижней Волге: руины Сталинграда, пастбища Черных земель, сайгаки в степи...

Под Сталинградом большой новый мост вздымался посреди сухой равнины: река придет только завтра. Ночевал в селе, построенном на пустом месте, — фасады в одну сторону, которая ничем не отличалась от других: с видом на будущее водохранилище. У истока Ахтубы видел зарождение индустриального города Волжского, сейчас в нем полтора-два миллиона жителей: на голом берегу — гряда запасенных матрацев. Хотел книгу назвать словами из шоферского быта: «Дальний свет».

В разведывательном самолете вместе с градостроителями и архитекторами мы были двое: парили над песками Хорезма, высматривали площадку для нового города. Сели на плоском глиняном такыре, и человек топнул:

— Тут.

Перед тем в древнем оазисе пролетели над развалинами крепости на холме и над мавзолеем Мазлум-Хан-Сулу, где на надгробье, я знал, начертаны арабской вязью слова царевны, рано ушедшей: «Жизнь прекрасна, как жаль, что она не вечна».

Судорожно пишу книгу за книгой. Кажется, они были нужны. «Наша страна» выдержала в разных городах восемьдесят изданий — наверно, потому, что была первой, хоть и маленькой, беглой книжкой о лице страны после войны. Затем вышла «Земля русская». Опять тороплюсь, к старому дописываю новое, пока печатается одна книга, уже готова другая.

В книгах отсутствие покоя, поток новых и новых фактов.

Но раз все время рождается новое — значит, новое все время становится старым.

Книги мои устаревали прежде, чем успевали выйти из типографии. И не следовало жалеть — ведь именно быструю изменчивость я и пытался показать.

Ни одна моя книга о стране не могла быть переиздана, если даже того и заслуживала. Надо было обновлять и переделывать. А это необъятная, кропотливая работа. Чтобы выполнить ее, нужно точно знать, что изменилось и где. Внутри меня будто жил экран во всю страну — и на нем непрерывно вспыхивали новые и новые лампочки. Я следил за каждым городом, за каждым уголком. И ездил, и читал. Сверх сил пытался один угнаться за тем, что по плечу целой конторе или электронной машине, накапливающей информацию. От мигания тысяч огоньков и знаков изнемогал.

А ведь, кроме фактов, были еще и жанровые задачи. Книгу «Над картой Родины» нарочно, с вызовом написал по обычной схеме учебника, хотя текст был иной, в меру моих возможностей образный, литературный.

Много работал. Но только показывал вид, что бодр и доволен.

Просыпаюсь до срока, в пятом часу. Встать нет сил. Режет мысль: жизнь моя неправильна. Делаю, что считаю нужным, но делаю как-то не так. Где болит — не понять.

Чувствовал, что тревожна и Зина.

Отводил душу в жалобах Найдису.

Послал письмо Гусеву — кажется, с избытком красивостей, но оставляю, как тогда писалось.

«5 февраля 1948 года.

Вспоминаем ли мы тебя, милый Валя? Вспоминаем все время как близкого. Тут как-то я валял дурака под клоуна, дети покатывались, стало в доме тепло-тепло — и вдруг мы с Зиной услышали твой беззвучный хохот. Ты был среди нас в самую счастливую минуту.

Сейчас я в Москве один: Зина поскользнулась на улице, упала, легкое сотрясение, уехала в санаторий в Болшево.

Ее еще считают молоденькой. Но смеется она меньше, чем прежде.

Мне скучно, пусто, тоскливо. Не только потому, что Зины нет. Ты знаешь, ты видел: в моей жизни две полосы пессимизма — в молодости и вот теперь. Оба раза причина, пожалуй, ясна.

Пессимизм — ведь тот же оптимизм, но с обратным знаком. Неутоленная жажда. Право на радость.

Влекла сила жизни — и долго пил горькую чашу, пока вдруг не блеснул на дне перстень. Добрая судьба указала вагон. И первая задача решилась.

Но назрела вторая. Сила жизни влечет теперь — куда? Надо проявиться. Осуществить и доказать самого себя. В написанных словах. А тут еще нет Арыси. Будто снова, как тогда с тобой, уперся в неодолимое озеро Мерцбахера.

Дела, ради которого живу, я, кажется, еще не начал. Напиши я хорошую книгу — и к чертям полетит вся тоска. Что же мешает напи-

сать? Может быть, я просто еще не доехал до Арыси, второй Арыси моей жизни?

Очень много всяких хлопот. Болят глаза.

Сегодня с утра трещала голова, не мог работать, развинтился. А вечером пошел в Консерваторию: дождался трио Равеля. Забылся в потоке разноцветных звуков, в еле слышном дуновении женских духов. Блеск изгиба у рояля. Даже страшно было в одном месте — умопомрачение, озноб. И отсиделся, затихла голова, успокоились нервы. Снова хочется жить, снова жалко молодости. Земная музыка, сладкая боль — и трепет надежды... И щемящее сознание счастья, что жив, что жил... Хочу лететь над океаном.

Пришел домой, на улицах снежок — и вот пишу тебе письмо.

В усталости, в сутолоке живем как оглоушенные, иной раз и ссоримся. Не те годы, чтобы лезть на стену, показывать фокусы и выставлять товар лицом. Все двойки и козыри моей колоды ей известны. Но, как восемнадцать лет назад, хочу угадать — в глазах, в улыбке, в пустяках... Ведь я обязан ей всем, что у меня есть».

МНЕ НАУКА

Неясное совмещение «познание и эмоции» дорого мне обошлось. Оно несло с собой не только плюс, но и жирный минус. У меня недоставало ума вовремя уяснить суть своих склонностей. Долго не доверял тяге к писанию. Не переставал преодолевать науку, кипятил и перегонял ее в себе, как в колбе.

Так ли уж я виноват в раздвоении? Гераклит говорил: «Сущее представляет собой гармонию благодаря противоположным стремлениям». А коли гармонии не видать, можно убаюкать себя словами того же Гераклита: «Скрытая гармония сильнее явной...»

Сложные взаимоотношения с наукой начались с первых же очерков, с первого шага. Вузовский шеф профессор Шальнов хотел, чтобы во мне проклюнулся ученый, его огорчали и злили литературные забавы в журналах. Шли мы как-то вместе из института, и у Красных ворот целый час не давал он сесть в трамвай — пилил, пилил.

Я продолжал зудить науки. Потратил годы — что-то, наверно, и приобрел, но больше потерял. Все на свете понимаю с опозданием. Как, думаю, и большинство людей.

Не рука судьбы — совсем бы погиб. Сам так и лез на рожон, а судьба меня спасала.

Летом 1931 года, в начале рабочей жизни, явился на географический факультет МГУ (тогда называлось — отделение) — верхний округлый этаж на углу Моховой и Никитской, железные ступени. Там я увидел за руководящим столом довольно юного мужчину. Уверенности на этот раз хватило — сказал ему, что мог бы вести занятия по курсу экономической географии СССР, или по мировому хозяйству, или по курсу географии Средней Азии. Тот мужчина вежливо ответил:

— Прекрасно, но у нас все занято.

В комнате тут же пребывал Борис Цезаревич Урланис, тогда незнакомый мне совсем молодой преподаватель статистики, ныне известный профессор-демограф. От него через людей случайно узналось — когда я ушел, за столом сидевший сморщился:

— Эва какой приткий. Недавно окончил, а за все берется. Гнать таких с порога.

Какое счастье, что он меня выгнал. Знает ли, как я благодарен? Геофак МГУ — географический факультет отличный. Получи я даже

одну студенческую группу, никогда бы не бросил, дошел бы, может, до ценимых степеней и всю жизнь занимался не своим делом.

Не взяли в МГУ — стал читать в Московском институте инженеров транспорта.

Пришвин писал в дневнике: «Родятся поэтами почти все, но делаются очень немногие. Не хватает усилия прыгнуть поэту на своего дикого коня». Не знаю, могу ли заикнуться о поэтических задатках. Но не хватало усилия вскочить в седло, и я продолжал плестись в тарантасе.

В 1936 году вырвал себя из учебного плана и из дома, почти полгода странствовал по Дальнему Востоку, вернулся — мне говорят:

— Вы уволены.

Было больно. Но ей-же-ей — какое счастье! Освободилось время — написал книжки. Перед войной приняли в Союз писателей. Тогда делалось просто: не подавал заявления, не просился, не думал — и вдруг открытка от Валентины Михайловны Кашинцевой, секретарша Фадеева: «Президиум решил принять Вас в Союз, прошу явиться за членским билетом».

Меня и это не образумило. После не только читал лекции, но и заведовал кафедрой. Преподавать легче, чем писать. Мука формулировки — совсем не то, что страшная мука формы. И я соскальзывал к более легкому пути.

Защитил кандидатскую диссертацию — книгу о Дальнем Востоке. Как же без степени! Прямой здравый смысл. «Пошлый опыт — ум глушцов».

Ученая степень для жизни и работы вовсе не понадобилась. Лишь морозной военной зимой в Алма-Ате получил как кандидат лишнюю тонну саксаула. Вот чего стоят принципы: ненавижу привилегии, а от дров не отказался — дома мерзли малые дети.

И уж совсем осел: полез защищать докторскую. Подал два тома — один вышел в Лондоне, другой в Нью-Йорке, о них говорилось.

Отчасти меня подобрал членкор Баранский, высший иерарх экономической географии. Вместе с академиком Ферманом написали хвалебный отзыв, вдохновили на подвиг. Сказали: это не исследование, а географическое описание, но своим методом, который и защищается.

Защита со свободной дискуссией на ученом совете прошла не так уж плохо, с обычным счетом: двадцать три за, один против, один воздержался. Но ВАК меня не утвердил.

Выдали заключение, там говорилось примерно так: а где же исследование? и что это за стиль? разве допустимо начинать с пилота, который заблудился потому, что карта устарела? Так ученые люди не пишут.

Я проявил тут слабость: ощутил удар хлыстом по лицу. Самое постыдное воспоминание жизни. Поруганное самолюбие тешилось словами Гейне: «Достоин запрета».

Зачем свернул с дорожки, которую сам проторил? Зачем унился? Надо было раньше понимать: не соответствую. Ругал себя безжалостно — по стиху Некрасова: «самобичующий протест».

Мара Найдис предостерег бы, но тогда он жил в другом городе.

Слава богу, через тридцать лет у сына («Мама, какие у тебя длинноногие пальцы») все обошлось в лучшем виде — его докторскую об устьях рек, полноценную и бесспорную, утвердили сразу.

В том заключении про меня сказано: «Доклад диссертанта был посвящен, по сути дела, вопросам исканий в его литературном творчестве и имел отношение скорее к литературе, нежели к географии... Бесспорные литературные достоинства работы не могут служить ос-

нованием для присуждения степени доктора географических наук, так же как, например, известные работы писателей Ильина, Паустовского и Пришвина».

Рассудок мой помрачился, и я думал: оставим в стороне квалификацию — но разве эти большие таланты, столь мною почитаемые, загружали географией себя и читателей? Оставим в стороне способности — но разве на этих великолепных писателей давил неотвязный, врожденный императив пространства? Для меня он оказался фатальным — я предал ясный писательский путь ради своей любимой географии. Роковая любовь.

Чудный тогда получил урок, оздоровляющий: с того момента ни в одном вузе ни одной лекции не прочитал. Отрезало ножом.

Но взглянем: случись ужасный недосмотр, поругание науки — и меня бы утвердили. Может быть, стал бы профессором. И всю жизнь занимался не своим делом. Тщеславие быстро накормлено — и я понял бы, что сбился с пути.

Боже, молю тебя, не лиши меня иронии, дай посмеяться. В 1970 году я возвращался через Ленинград из путешествия по Карелии. Тогда болели спайки в животе после аппендицита, и резкий приступ грянул как раз на углу Невского и Литейного. Не мог держаться на ногах, схватил пустой дощатый ящик, что валялся возле овощного ларька, и, корчась от боли, уселся на тротуаре.

Но не боль страшна, а стыд. Я знал: в Ленинграде объявлен съезд географического общества и на него приглашен из США Чонси Харрис — тот, что писал мне про упряжку. Он генеральный секретарь Международного союза географов. Дома у него в Чикаго на полке над рабочим столом я усмотрел свои книги о стране на разных языках, начиная с русского. И теперь с ужасом озираюсь — а вдруг выйдет прогуляться по Невскому проспекту милый Чонси (он любит Ленинград, «дворечный город»), заметит меня и скажет: «Хе-хе, дорогой друг и коллега, очень рад вас видеть. Я думал, однако, что вас позовут в зал, а вы сидите посреди улицы на ящике из-под помидоров».

Но появился не профессор Харрис — подбежала продавщица из ларька, обругала меня за непорядок и ящик отняла.

Моему провалу с докторской Зина не придавала ни малейшего значения. Будто и не было.

— Бог с ними. Другое плохо: пишешь не так.

НА ПОЛЮС

Весной 1948 года среди ночи звонок дежурного редактора «Известий»:

— Николай, поздравляю. Утром прочитаешь.

Утром прочитал: лауреатство за книгу «Над картой Родины».

В те годы премия значила для писателя очень много. Позже вторая Государственная прошла совсем спокойно. А тогда я был бурно обласкан издательствами. Ездил на парадные встречи, где хлопали в ладоши, не прочитав.

Даже Илья Григорьевич Эренбург сказал мне:

— Приятная книга.

В фойе Художественного театра я с малых лет млею перед портретами писателей — и как раз там Фадеев с пожатием руки выдает нам лауреатские знаки на глазах у Толстого и Чехова.

Многие пресс-бюро просили статей — и они печатались в десятках газет.

То и дело я взывал перед микрофоном — помню, почему-то к греческим писателям.

Мне говорили:

— Николай Николаевич, как вам замечательно удалось найти себя в литературе!

— Ваш сжатый и отрывистый стиль — ведь это стаккато!

Читатели присылали стихи на тему книги. А сержант Владимир Осипенко вконец обрадовал письмом: «Книга Вас переживет».

Из «Огонька» явился фотограф. Не могу сейчас смотреть на эту картинку без стыда и отвращения: под торшером в задумчивой позе расселся с открытой книгой тип, упоенный собою.

Я вообразил, что пишу хорошо, и поэтому стал писать совсем плохо.

Хоть и спешил всегда, но работал медленно, переписывал, а тут брошюру о Волге походя наговорил стенографистке.

Выпустил книгу «Твоя Родина», где нет ни малейшего сомнения, что писать нужно именно так, а не как-нибудь иначе.

Пафос окостенел. Много фанфар. Вовсе нет личного начала, собственного взгляда на вещи.

Но время шло. Постепенно одумался, осмотрелся. Почувствовал: а ведь я в тупике. Засомневался — что и как писать? Книги перестали выходить. Я соскучился по самому себе.

Просыпаюсь однажды утром и говорю:

— А почему бы мне не слетать на Северный полюс?

Отчаянный ход ферзем в проигрышном положении.

Нужно идти в Главсевморпуть и проситься в служебный самолет. Стыдно признаться: ночью не спал, днем все сыпалось из рук. Дошел до площади Ногина — вернулся. Дошел до улицы Разина — вернулся. Сидел перед кабинетом — хотел выпрыгнуть из окна, как Подколесин.

Разве не слабость, разве не трусость?

Не могу похвастаться. Езжу всю жизнь — и всю жизнь с трудом. Путешествие для меня — выматывающее напряжение.

Стеснительные нелюдими просить не любят, требовать не умеют. А в пути на каждом шагу нужно чего-то добиваться — билета на поезд, брони в гостиницу, разговора с занятым человеком. Для других пустяк, а для них — барьер.

Хвала активным и могучим людям за энергию, какую они вкладывают в свои действия. Называется — «бойцовские качества». Но иным, чтобы сломить себя и совершить поступок, приходится каждый раз разжигать, как свечку на ветру, внутреннюю энергию — кажется, бóльшую.

Одного я в жизни упорно добивался, а перед другим робел. Подобно многим. Как в этом разобраться? Есть ли у нас утешение и оправдание?

Слышал про опыт: инженер, нервную систему которого психологи причислили к слабому типу, дежурил за пультом завода, и, чтобы увидеть, как слабый будет действовать, испытатели пустили ложный сигнал аварии. Инженер среагировал тотчас и правильно. Ответственность перекрыла в нем то качество, которое было названо слабостью.

Читал, читал я современную психофизиологическую литературу... Ранимость, мечтательность, мягкость — свойства сомнительные... Что общество нервную систему переделывает, разумеется, сказано. Но мало и вскозь говорится, что такие черты, как мягкость, относятся и к этике.

Зина, мой домашний психолог, с огорчением встречала во мне черты неуверенности. Она хорошо знала образцы иные. И в первое время, когда многое было еще зыбким, грозились:

— Напишу трактат о поведении слабого типа.

Но трактат не был написан. Как-то спросил — почему. Ответила:

— Проверка — работоспособность. Твои пятнадцать часов за столом — этого достаточно.

И правда, когда цель стала ясной, когда сел за письменный стол, ничего другого нет, все заброшено.

Но и эта рабочая выносливость, этот запал под подозрением! «Инертность нервных процессов у данного типа препятствует переключению с одного на другое». Возможно... А верность? Верность делу и верность людям?

Потом, со временем, прямолинейность академического мышления исчезла. Но следы оставались.

В самом конце я с отчаянием услышал уже не оценку, а благословение:

— Все-таки ты тип инертный. Прошу тебя, не застревай.

Нет, дорогая. Я застрял навсегда.

В августе 1954 года я лечу на полюс, купив в охотничьем магазине на Кузнецком мосту резиновые сапоги за восемьдесят рублей: летом на льдине лужи. Других приготовлений не потребовалось.

Самолет пронесся над рыбинским разливом, над лесистой Онегой с деревянной церковью на берегу. Побыл я в Архангельске, побыл на Таймыре — и долетел до Северной Земли. Сели на промежуточном островке.

Море забито льдом. Оно тихо шумит, но то не шум прибоя, а шум льда. Еле слышный шелест, настороженный шепот, издали идущий гул.

В полночь солнце, слегка опустившись, бросает на белое цвет раннего вечера, в сиянии растворена капля пурпура. Как уголь, горят ледяные купола.

Скупая прелесть, я бы сказал — торжественность. Откуда такое чувство на голых, холодных камнях? Наверно, суровость вызывает новые силы в душе человека — силы на жизнь, на борьбу, на восхищение прекрасным.

Летчик Виктор Михайлович Перов заколебался:

— На СП не пойду. На полюсе слишком тепло. Лед тает, полоса размыва, обломана, слишком коротка. К тому же вся в ропаках. Рисковать машиной не буду.

— Как же? Неужели возвращаться?

— Очень может быть.

Замкнулся, надвинул капюшон, отвернулся.

В самом деле, машине ничего не стоит свалиться в море. Уж не вернуться ли? Тревога — как рана.

Много позже был я в Ферраре, где сначала блистал, а потом томился узником в сумасшедшем доме Торквато Тассо. Там, у стен замка, я сразу увидел островок в Ледовитом океане, откуда смелый Перов боялся лететь на расколотую льдину.

В тот тревожный час на островке вдруг из избушки с радиорубкой — музыка. Несомненно, Лист. Прислушался — ах, это «Тассо». Удары стальных клинков и шипение адской смолы. Трубные звуки страдания и славы. А меж ними — менуэт, мелодия любви. Вспорхнула, овеивает весь мир, — зажмурил глаза.

Как я мог сомневаться? Лететь, лететь!

В Москве перед полетом возбуждение поглотило меня. Жена проводила до ворот аэродрома Полярной авиации. Я ушел с рюкзачком по длинной асфальтовой дорожке между пакгаузами — и не оглянулся.

Какая мука, но поздно, не догонишь: служитель аэродрома спросил, выдавая билет в рискованный рейс:

— Кому писать?

После долгих колебаний Перов все же решил. Человек определяется борьбой с самим собой. Не будь соблазнов измены, чего бы тогда стоила верность? Если бы добро всегда вознаграждалось, какая бы была ему цена?

Летим над океаном. Пора садиться на осколок льдины. Самолет снижается. Белый лед становится белее, синий — синее, чернота разводов жутко густеет. Среди снежного поля я вижу темные катшки палаток.

Мы круто идем вниз. Моторы чихают. Восторг опасности — вся душа накалена.

Эх, я один — некого потрясти за плечо, некому крикнуть: «Смотри, началось!»

Короткая узкая полоска. Справа утыкана флажками, слева зияет полынья. Вода летит прямо на нас, крыло над нею свисает. Меня бросает вперед и от удара — вверх. Лопаются веревки, ящики срываются с мест. Трах! Трах! Стоп.

Что было для меня, литератора с любовью к географии, заветным мечтанием, недостижимым? Как ни наивно...

У начальника дрейфующей станции Алексея Федоровича Трешникова толстая амбарная книга, он все туда записывает, записал и слова моей депеши.

Прием: 15-го 10 07 № 529
Из: Север три № 636
13 сл. 14-го 17 ч. 30 м.
Служебн. отметки: замедл.

Москва Потешная 3
Институт психиатрии
доктору Зинаиде
Васильевне Косенко

Я на Северном полюсе

Перешагивая меридианы, которые собрались в пучок, обошел льдину. Длился день, равный ста восьмидесяти суткам. Солнце ходило по кругу на одной высоте. Куда ни взглянешь — всюду юг.

По краям льдины выросли торосы. Они шевелились со звуком, в котором слыты шуршание и грохот. Лед и снежный наст то просто белели, то покрывались тенью синевы, то отдавали оранжевым, то вдруг фиолетовым. Временами в полостях меж торосов был виден воздух — лиловый газ, густой как дым.

В домике кают-компания, стоящем на полозьях и похожем на возок, я увидел пианино. Рядом с библиотечными полками, таблицей шахматного турнира и стенной газетой «Во льдах» висел приказ: «Неорганизованное преследование медведей воспрещается».

Ночевал в палатке, круглой как яранга. Там жили кинооператор и врач. Читали Бернарда Шоу. Я спросил, знают ли, как встретились Шоу и Нансен. Шоу сказал: «Вы бы лучше изобрели порошок от головной боли, чем открывать Северный полюс, который никому не нужен».

Я проснулся под утро — условное утро — в тишине. Лыдина скользила неслышно. Она тихо переходила через полюс в канадский сектор. Но покой не убавил моего сердца, не потушил возбуждения: в трех метрах подо мной — Ледовитый океан.

Ночью я уловил шум вращения планеты. Мне снилось: земной шар, крутясь, как кусок сахара в стакане, растворяется во Вселенной, и я перед нею один на один.

Возвращаюсь на материк. Самолет ушел далеко к югу. Последние лыдины плавали, как соринки. Черный кораблик острием тонкой иглы был наколот на синеву — он, несомненно, двигался, но при взгляде издали был неподвижен. Маленькая точка несла в себе такой заряд жизни, что первозданная пустыня показалась осмысленной, пристроенной к делу.

С промежуточного островка, где звучал «Тассо», мы отвезли на полюс собаку. Я ее очень стеснялся. Люди думали, что понимают, зачем лечу на лыдину. Но понять это собаке было трудно. Она смотрела на меня, и я отводил глаза.

ПОСАДКА В ТУМАНЕ

Океан затянули тучи. Бензина бы хватило дойти до аэродрома на материке и там спокойно сесть. Но Перов намерен приземлиться раньше — на одном из островков. Должен отыскать в толще облаков маленькую отмель среди океана и скалистых гор.

На островок Перов неделю назад привез гидрографа для уточнения лоции. На плоском голом клочке суши — зимовка, но жить там старому человеку неудобно, и Перов с ним расстался так:

— Не волнуйся, дед, на днях пойду на материк, захвачу.

Мы летим. Человек нас ждет.

Летать в Арктике не так уж трудно, но вот садиться — дело другое.

— Пора пробивать.

Скинул со лба обруч с козырьком, взялся за штурвал и опустил самолет в клубящиеся тучи.

По службе Перов не был обязан забирать гидрографа, но слово дано.

Белые хлопья сразу превратились в серый туман. Стало темно и, как мне показалось, сыро.

С островка говорят:

— Облачность почти до земли, видимость плохая.

Прибора для слепой посадки у нас нет. Островок так мал, что радиорубку не удалось поставить на самом аэродроме, который жмет к бровке берега. Радиорубка в стороне. Поэтому к стрелке радиокompаса, обычно приводящей машину прямо к полосе, пилот должен прикинуть поправку в уме — расчетом и чутьем.

Без конца опускались. Туман и туман. В таких случаях новичок думает, что давно пора стукнуться о землю.

Кромешной ночью легче садиться, чем днем в тумане: в темноте видней огни.

Внезапно под нами туман сгустился до черноты. Это вода в двух шагах. Самолет чуть не срывает пену волн. Моторы режут. Долго идем так низко, что качнет вниз — мы в морской пучине. Не идем, а стелемся.

Море и море, к нему прижаты вплотную, хоть бы что-нибудь увидеть в тумане. И вдруг косо проносится линия берега с прибитыми лыдинами. Мы скользим над щебнем, почти царапая кузов машины. И никаких поворотов — Перов идет прямо, как задумал. Сбоку из тумана

вылетает полосатая черно-желтая пирамидка — знак посадочной площадки. Удар, тяжелый бег колес.

Выходим. Холодно, изморось, летят клочья туч, на крыльях самолета — лед, с обеих сторон из красных бочек рвется пламя и густой дым. Последним показывается Перов — высокий, смуглый, одетый в кожу.

Я ему сдуру сказал:

— Какой вы мастер!

Он хмур, в ответ ни слова, только метнул в меня черными глазами. Вижу — старик гидрограф обнимает его со слезами.

Идем с экипажем ужинать, едим молча. Потом завязался пустяковый разговор, и вдруг немой Перов взрывается:

— Мальчишка-эскимос увидел лошадь и говорит: «Какая большая собака». Ха-ха-ха!

Старый вопрос — как же писать о людях любимых, если они живые или жившие?

Без недостатков и слабостей, которые их наверняка умаляют, как каждого из нас? Получится что-то вырезанное из бумаги и раскрашенное. Нарушится правда образа.

Писать с недостатками? Но тогда повествователь разоблачит себя. Ведь он — любящий. И он не в силах все изъяны заметить и тем более вставить в строку. Нарушилась бы правда любви.

Как найти меру?

ОБРАЗ МЕСТА

Возвратившись в Москву, я встретился в Союзе писателей с известным поэтом, он меня странно приветствовал:

— А, география!

Хорошенькое дело: географы считают писателем, а писатели — географом.

Раз нет обычного сюжета, раз речь о Земле — значит, «Михайлов-географ». Как часто судим мы о писателях по одной, ранней, случайно перелистанной книге. Зато здорово умеем по малейшим признакам улавливать оценку писателя в печати, в разговорах. Жизнь спешная, все заняты — некогда следить за дорогой соседа и выводить собственное мнение. Что уж о нас говорить, Гёте и тот обижался: «Когда думают, что я еще в Эрфурте, я уже в Веймаре». Если так, поговорим о географии.

География — вещь обширная.

На одном крыле — теории, которые отыскивают закономерности на лике Земли и дают предложения практике. Такие ветви знания отчасти приближаются к физике, химии, биологии, экономике. Они в последнее время быстро насыщаются математикой. Ход дела естественный. Эта современная география, так сказать, дополняет геометрию алгеброй. Она удаляется от ощущения пространства, от зрительных образов. Наука вполне достойная, но ее предмет м е н е е в и д е н, и потому она мне менее интересна. Наверно, я неспособен к отвлеченному мышлению.

На другом крыле — «гео-графия» как «описание Земли». Ученые называют страноведением. Наука не только описания, но и объяснения. Не только сообщения, но и истолкования. Она требует не только знания, но и наблюдения, а следовательно, кроме других способностей, наблюдательности.

Предмет такой науки в и д е н, и потому она для большинства обычных людей интереснее и ближе.

Это география не только описательная и истолковательная, но в какой-то мере может она быть изобразительной.

С самого начала угадывалась близость географических описаний и искусства, искусства. И с самого начала вопрос был неясен. Грек Страбон, знаменитый творец семнадцатитомного описания античного мира, называл «отцом географии» не кого-либо другого, а Гомера. Эратосфен же, тот древний грек, что первым измерил дугу меридиана, не в пример Страбону отрицал право ученых на образную речь о Земле.

И так до сих пор. Но даже к строго академическим географам нет-нет да и ворвется чувственное дуновение жизни.

Полистайте самую сухую книгу по географии какого-нибудь края — непременно найдете: «Город красиво расположен на реке такой-то...» Эстетика тут как тут, но она не обрела нужных слов.

У более талантливых — тоньше. В книге «Центральная Европа» профессора де Мартонна, например, мы встретим призыв к зрению и слуху, к воображению, к художественной струнке: «Покинув равнину, просыпается среди залитых солнцем фруктовых садов». Или так меж карт и таблиц — о Пфальце: «Как только отходишь от долин, углубившихся до пермских пород, начинается полная лесная тишина». При всей серьезности — французское изящество.

Французское изящество. Поль Элюар:

Я так тебя люблю что я уже не знаю
Кого из нас двоих здесь нет.

Думаю, подлинный географ, даже теоретик, должен воспринимать ландшафт не только умом, но и всеми пятью чувствами. В пустыне он видит гряды барханов, слышит звон цикад, осязает ступнями сыпучий и горячий песок, чувствует запах полыни и ощущает во рту ее горечь. Основная работа падает на зрение.

Конечно, географическая наука ушла далеко вперед, первоописания почти кончились. Но не должны кончиться описания раз описанного, потому что мир непрерывно меняется и не иссякает логическая работа мысли. Сам человек, воспринимающий Землю, становится другим.

Из писателей хорошо понимал это Гоголь. Беру слова из «Мыслей о географии» в «Арабесках»: он хотел, «чтобы мир составил одну яркую, живописную поэму».

Через какие же ворота проникает художественный образ в географию? Предмет описания в географии — место. В каждом месте, будь то край или город, множество черт, связанных в нечто целостное. Приходится их отбирать и сокращать по важности. Искать сжатый синтез. Так открывается путь к образу. Недаром ландшафт на польском языке — «крайобраз».

Дело трудное. Пропустишь важную черту — нарушишь целостность. Ее наши научно-художественные писатели понимали, ценили. М. Ильин говорил мне, что хочет написать книгу «Машина планеты» — в машине все связано. А он в ту пору не знал ни Берталанди, ни Эшби, ни Боулдинга, ни прочих творцов теории систем, душа которой — целостность. Позволю себе привести слова из своей статьи о способах описания, напечатанной в 1948 году в «Вопросах географии»: «Дело решается не литературными способностями в узком смысле слова, а способностью видеть и понимать мир как целое».

Платон в диалоге «Пир» даже любовь называет жаждой целостности.

Целостность — желаемое. Но иногда так заманчиво вырвать из цельного, из структуры, кусок, осветить его, а прочее загнать в тень. И пусть читатель ломает голову, случайный ли это кусок или в нем скрыт расчет.

В поисках образа места ученые и поэты — каждый до своей грани — идут навстречу друг другу. Вот как они отыскивали образ Петербурга.

Франческо Альгаротти, итальянский ученый XVIII века, друг Вольтера: «Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу».

Пушкин: «В Европу прорубить окно».

Профессор Баранский: если этот город — окно в Европу, то незамерзающий Мурманск — зимняя форточка.

Достоевский: «Самый отвлеченный и умышленный город в мире».

Маркс: «Эксцентрический центр империи».

Гоголь: «Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь — Петербург!»

Петр I: «Выборг — каменная подушка Петербургу».

Шкловский: «Широкая Нева — заглавная строка новой истории».

Тютчев (перевод с французского М. Кудинова):

И Полюс северный при тусклых вспышках света
Баюкает во мгле любимый город свой.

Вторгается жизнь, пространство в виде художественного образа, и это влечет людей к географии. Разрешу себе сказать, что в таком смысле я географ, как и многие.

Тем более что география не только познает жизнь, но и включает в нее — путешествие. Говорит Джозеф Конрад, писатель и мореход: «География, единственная из всех наук, возникла из действия, и, больше того, отважного действия, которое так захватывает людей».

Но я и не географ. Хотел бы, чтоб не география в узком понимании была темой, а живой мир в его разнообразии.

Мир разнообразен от места к месту. Люблю разницу вещей, вызванную размещением в пространстве.

Ехал я в Южной Америке на машине к югу по Панамерикане — по автострате, пересекающей оба континента. Какое наслаждение было следить, как на широте реки Био-Био совершался постепенный, но быстрый переход от степей к зоне лесов. И как, в частности, соответственно этому на полях и в индейских селениях проволочные изгороди сменялись деревянными заборами.

— Любовь неполохожеству — вот ваша география, — сказал мне Виктор Борисович Шкловский.

Осмысленное своеобразие — это интересно.

Но мир разнообразен не только от места к месту. Неодинаковость видна не только на большом пространстве. На берегу той реки Био-Био дом под шифером и тут же, рядом, сарайчик под дранкой. Столкнулись степь и лес, промышленное с кустарным.

Увидеть и охватить мир входит в задачу географа. Но тот, кто к этому стремится, обязательно только географ.

При всем давлении темы пространства, книга «Американцы» — не география. Так же и «Японцы». Путешествие в книге «Иду по меридиану» не сводится к географии. «С планетой вместе» — опять-таки не география. Исторический том «Моей России» — тем более не география.

Да и те книги, которые можно отнести к географии, по письму, я думаю, отличаются от географических книг.

Суть жанра не только в подобии, а и в отличии.

Сильно портит дело само слово «география» — наукообразное, холодное, школярское. Скажите: «лицо страны», «образ родной земли» — и вы сразу приблизитесь к литературе.

А тому стихотворцу, который обозвал меня «географией», я предъявлю выписку из «Золотого тельца»:

«На волю! — продолжал кричать географ. — В пампасы!

Он лучше всех на свете знал, что такое воля. Он был географ, и ему были известны такие просторы, о которых обыкновенные, занятые скучными делами люди даже и не подозревают».

ПЛАВАНИЕ В АНТАРКТИКУ

Чтобы написать книгу «От полюса к полюсу», нужно было после полета в Арктику плыть на крайний юг, к берегам Антарктиды.

На том материке еще не поселились наши полярники. Опять пошел добиваться — на этот раз в Министерство морского флота. Вынес много хлопот и в конце концов поплыл на танкере с грузом горючего для китобойной флотилии. «По маршруту мазута», — сказал один знакомый.

Впервые пересекал я границу, мне уже было пятьдесят.

По дороге — изгибы Босфора. Дарданеллы с электрическим профилем Кемаля. Греция с Акрополем. Улички Гибралтара под скалой, начиненной пушками. И наконец океан.

Прошли экватор. Меня, новичка, купали в чане. Рискнул запрокинуть голову и взглянуть вверх — пламя ударило в глаза с самой середины неба. Еще недавно на полюсе я был, можно сказать, продолжением земной оси, а теперь превратился в ее перпендикуляр. Посмотрел вниз на ступни, одетые в дощечки на ремешках, и увидел под собой черненький кружок: все, что осталось от тени.

Заходили в Южную Африку. Капитан разбудил перед рассветом: — Виден огонь мыса Доброй Надежды.

На мостике ветер, темно. В штурманской рубке тикают приборы. Рулевой чуть поворачивает колесо штурвала. Далеко впереди мерцает маяк. Куда летит его луч? В сторону от человечества, к Южному полюсу. И мы идем из темноты океана на мигающий, одушевленный свет.

Посмотрели в Кейптауне небоскребы белых, под Кейптауном — жестяные локации черных. Добрались с капитаном до мыса Доброй Надежды. В лесочке, где поставили машину, порхают синие птицы с коричневыми крыльями. Обезьяны прыгают на капот автомобиля.

Поднялись на утес к маяку, и с высоты раскрылся перед нами простор, где океан Атлантический сливается с Индийским.

Корабль преодолел сороковые ревушие и вошел в зону айсбергов. Ночь. Каюта раскачивается. Ледяные горы скрыты в тумане.

Счастливое время, живу серьезно: грозит столкновение с айсбергом. Верная пробоина. Как бы понять, прочувствовать поглубже и запомнить, не утратить...

Зачем, думал, плыть мне в Антарктику, грозить пальцем невидимым льдам и вздрагивать от страха? А затем, чтобы начисто слетела мелочь и пыль.

Настиг одиннадцатибалльный шторм. Цифру назвал капитан.

— Что вы! — сказал я. — Показатель одиннадцати баллов в таблице — ветер вырывает деревья.

Капитан ответил:

— Были бы — с корнем.

Небо вдруг почернело и опустилось. Дунул и пошел свистеть ве-

тер. Побежали, закрутились мелкие дробные волны, их гребни курились брызгами, как дымом. Прозрачно-пенистые клочья срывались и улетали. Воздух густел от мельчайших капель влаги.

Со стола скатилась ручка. Переборка скрипнула. Зазвенела разбитая тарелка. С грохотом захлопнулась железная дверь.

Палуба сидела так грузно, так низко, что океан вкатывался на нее вал за валом. Выплескивал пингвинов.

Заваливались, заваливались, ну вот еще немного — и совсем завалимся. Я ходил по каюте — в одну сторону сбегал, в другую взбирался.

Услышал, как помполит сказал капитану:

— Понимаю, вы чувствуете ответственность, но ничего не в силах сделать. Если случится чего боитесь, отвечать не придется.

Тут по радио из Москвы — разрешение сбросить лишний груз в море. Слить мазут за борт? Капитан Ткаченко на это не пошел.

Вот до чего я дожил: участвую в охоте на китов. Маленький пароходик-китобоец качается в волнах куда резче танкера. На носу у гарпунной пушки застыл в непромокаемом сизом комбинезоне Гниляк — тот самый, что одним из первых начал бить китов во время шторма. Нос режет встречную зыбь, она то вскидывает нас на холм, то окунает. Волны, рассеченные надвое, швыряют пену выше мостика. Брызги замерзают на палубе, на поручнях, на вантах. Вода обдаёт гарпунера. Его одежда оледенела и хрустит. Перед гарпунером на самом кончике судна нет перил. Спрашиваю Гниляка, как это он даже в шторм стоит там спокойно. Ответ был такой:

— Когда волна сбивает, падаешь ведь не вперед, а назад.

Приблизились к полярному материку. Прикрывая лицо от ветра, смотрю я с корабля сквозь пургу на юг — на здешний север. Белый буревестник с черным клювом мечется над кормой, предвещая близость сплошных льдов. Они бросают серебристый отсвет на пелену облаков. Ветер несет снежную пыль.

Так я, двигаясь по дуге меридиана и захватывая полную октаву природы, перевернулся по законам тяготения в пути вниз головой. Шарообразность Земли перестала быть умоглядной. В путешествии, как мечтал Пер-Гюнт, «насмотрелся до изнеможения».

Думал на обратном пути: времена года так и мелькают. Вылетел на Северный полюс среди жаркого лета — попал сначала в осень, а потом в зиму и снова вернулся к лету. Поплыл в Антарктику — и пережил весну в Средиземном море, лето под тропиками, глубокую осень и листопад в Южной Африке, а сейчас после зимы и осени меня ждет еще раз лето на экваторе и весна в Москве — на протяжении всего нескольких месяцев.

Может быть, и вправду мир совсем не так обширен и беспределен, как мы думали? Нет. Все-таки нет. Как раз наоборот — в наши дни мир расширился.

Дело ведь не в числе часов и километров, а в том, чем они насыщены. Полна жизнь — дорога и ярка минута. Скучна жизнь — угасают годы, похожие один на другой.

Пусть нам кажется, что расстояния сократились. Зато впечатления умножились. Все равно что жизнь удлинилась.

В Москве меня попросили прочитать доклад в географическом обществе о путешествии к двум противоположным точкам земного шара. Я увлекся, забылся, и шут толкнул сказать:

— Вот как за короткое время изменилась в мире техника транспорта — теперь она позволяет чуть не сразу перебрасывать человека с Северного полюса в окрестности Южного. И вышло так, что первым оказался я.

Из рядов раздался голос:

— Нескромно!

Я смутился, лицо мое загорелось, и все дальнейшее было скончано.

ЧЕРЕЗ СЕБЯ

Когда в новороссийском порту перед плаванием наш танкер грузился, вдруг неурочный, взволнованный вызов к телефону из дома. Сквозь треск:

— Как ты там? Пришло письмо от какого-то инженера-гидротехника, фамилия Ромашков. Что он пишет! Я прочту. Слушай. «Писателей теперь такое множество, что я никак не могу вспомнить, читал ли я что-либо ваше раньше. А может быть, вы тот самый Михайлов, который пишет популярные книги по географии? Вряд ли: его манера слишком постна и добродетельна, а ваш полет на полюс в «Литературной газете» великолепен: когда я его прочел, мне показалось, что лучшим языком об Арктике никто не писал. Сжато, скупое, временами даже не набросок, а просто штрих, но как эмоционально, как напряженно!» Это были его слова, Ромашкова. Ты ведь знаешь—я с ним про старые книги вполне согласна. Всегда говорила. А вот что пишет дальше, слушай. «Впечатление, впрочем, расхолаживается рассуждениями второй половины третьего столбца, они спотыкливы». Не слышишь? Спотык-ливы. Ну, целую тебя, дети здоровы.

Трубка повешена.

За прежние книги я готов был бороться. Но я задумался. Уязвленный в больное место, занесся:

— Ничего этот, как его, Ромашков не понимает. Примитивный, заурядный, пошлый вкус. О полете всякий болван напишет, кто лучше, кто хуже. И тысячу раз писали. Ничего нового. «Над картой Родины» — другое дело. К эстетической стороне моих книг он глух. Целостное эмоционально-познавательное восприятие и отражение мира — разве популяризация? Слиты художество, политика, знание — так современно! Получилось новое качество. Когда из сложения вытекает новое качество, называется эмерджентность... Однако, черт возьми.

Открытый океан, невиданные страны, штормы, преследование несчастных китов и сострадание к ним на время вытрясли из меня сомнения в себе. Но я все больше понимал, что писать надо как-то иначе.

Вовсе не стал я считать, что мне нужно писать романы. Знал, что должен писать свое и по-своему. Но как-то человечнее.

Понимал, но долго самому себе сопротивлялся. Искал оправдания.

Вот в книгах у М. Ильина, говорил себе, тоже нет «я». Но никто не спорит, что «Рассказ о великом плане» — художественная литература. Правда, нового типа. Эта книга «без людей» и «без лирики» — поэма о человеческом гении.

А если спросить: всегда ли есть действующие лица в лирическом стихотворении? Поиски их были бы столь же вульгарны, как отрицание фламандского натюрморта. Как отказ от симфонической музыки, где не слышно человеческого голоса.

Успокаивал себя: людей у меня по меньшей мере двое, хотя их не видно,— автор и читатель. Достаточная разница потенциалов, чтобы проскочила электрическая искра. Автор и читатель — иногда весьма многолюдное население.

По самой сути жанра, увещал я себя, речь идет на больших обобщениях. Герой книги — народ. Герой обозначается тем местоимением, которое по-немецки звучит «тап», по-французски «он». Живут, работают, изменяют лик Земли.

Подозревал, что у меня, в сущности, с самого начала был лирический герой, воспринимавший через автора жизнь. Не сиди он во мне, я бы, наверно, не смог ничего написать.

Литература широка — может бежать и такая стежка.

Однако, черт возьми...

Приведу один свой пейзаж и постараюсь показать, чем он плох. В книге «Над картой Родины» сказал о среднерусской лесостепи:

«Чуть сошел снег, лиловые цветы прострела уже смотрят на солнце. Луг еще только собрался зеленеть, а уж горит на нем золото горичвета сквозь светлую голубизну гиацинта. А там пойдут ирисы, незабудки и, наконец, ковыль выбросит белые перья. Летняя жара разольется темно-лиловым цветением шалфея, пока не ляжет ковер кашки и таволги. Синий оттенок бросят колокольчики, их сменят тускло-розовые цветы эспарцета — и яркость мало-помалу поблекнет, трава побуреет, приблизится осень...»

Осенние кленовые листья принести в палату и почти убедить, что они желтее, чем лоб, чем ладони.

Пейзаж черноземного луга мною написан неважно. Стоило ли повторять прием: смена цветения и увядания? А главное, написано слишком плотно. Кажется, я не оставил места переживанию. Надеялся, что в чтении оно само собой возникнет. Боялся утратить темп и ритм. Столько натолкал. Нечем дышать. Ни малейшей остановки: ритм фраз выдержал, а ритмом чувства пренебрег.

Мне часто говорили — не критики, а близкие: «У тебя нет людей». И я сердился: чего-то во мне не понимают. Не понимал сам. Возможно, понял бы, скажи они иначе, толковее, зная мои интересы и возможности: не «нет людей», а «мало человека». Персонажей не хватало, но не это самое страшное. Не хватало лиризма, мыслей, авторской личности.

Право судить себя, думаю, я заработал.

Вернулся из Антарктики и тропиков сожженный солнцем, весь в стружьях, веселый. Земля ходила и покачивалась подо мною, как палуба. Но скоро закис. Надо было писать, а как — не знал. По-старому не хотел, по-новому не мог.

Мы на танкере заходили в Батуми, а в батумском порту после штурмов «работает тягун» — возникает течение и волочит корабль, трудно удержат. Тягун куда-то уже тащил меня, но я упирался — как судно на стальных якорях. Все больше и больше давило душу сомнение. Пожирало покой. Я отъединялся. И вот до чего — написал в блокнотик летом под Москвой:

«28 августа. Шла издалека гроза. Уже пятую ночь грозы. Проснулся. Молния, ветер. Задышался — открыл шире окно, и ворвался дух дождя, стало легче. Раздумался, раздумался — «пожар коры», мозг перевозбудился, не мог спать.

И всю ночь не спал — до тех пор, пока не стал различать серые облака, они тихо шли.

Лежал, думал — нет, что-то дома не так. Новое для меня и странное чувство подозрения, недовольства, обиды. Я загнан и гибну. Без охраны, без жалости, без понимания.

Что со мной? Схожу с ума.

Рассветало, встал, ходил по дорожкам — туман, каплет, дождь прошел. Петух. Потом слышу — соседка доит корову. Сумрачно, сыро, свежо.

Забрел на террасу, стал вот записывать — не писал давно, значит, было благополучно. Нехорошо. Надрываюсь из последних сил, как много их затрачено — кажется, уже не поправить. Сердце болит от непрерывной многолетней тяжелой работы. Рассвело, но туман».

Наверно, накапливались силы и отрицали меня, поворачивали.

Прошло две недели. Теперь такая запись:

«Утром разговор о будущей книге. Слезы у Зины. На пристани крадут крышу зеленой краской.

Началось вдруг с ее слез, с дрожи, с ее слов: «Что н у ж н о — ты знаешь. А что из нужного ты х о т е л б ы?»

Написал новую книгу. Написал в отчаянных муках, потому что пытался писать иначе, чем прежде.

В первый день вымучил единственную фразу: «Задуманное путешествие началось на Северном полюсе» — и затем дело стало.

За осень и зиму, ничем другим не занимаясь, смог выжать лишь одну страницу — первую. Кончил книгу только следующей осенью, через год — небольшую, всего сто семьдесят страниц. Рисунки в ней, как и почти во всех моих прошлых книгах, тонкого графика, доброго друга Сергея Михайловича Пожарского. Название «Иду по меридиану» придумал старый товарищ по «Нашим достижениям» Николай Сергеевич Атаров. Были годы 1955, 1956, 1957.

На первой странице, которую писал всю зиму, сказано: «Давно рисовался в мыслях несбыточный рейд — обогнуть земной шар по дуге от полюса до полюса. Не прихоть, не странная причуда — в такое путешествие нужно было пуститься, чтобы о нем рассказать. Чтобы передать его другим. Напомнить читателю:

— Ты житель планеты».

Получилась книга с летчиками, полярниками, моряками и с «я». Рассказа о людях было все же меньше, чем нужно, но «я» непрерывно что-то чувствовало и о чем-то думало.

Вдруг я предстал перед знатоками литературы в новом качестве. К осечкам и грубым промахам они отнеслись снисходительно.

Маршак, старый мастер, сказал мне: «Наконец-то, голубчик, вы начинаете себя выражать». А в «Заметках о мастерстве» написал: «Вышла в свет книга Н. Н. Михайлова... Никогда еще ему не удавалось проявить себя с такой полнотой... Ученый дал волю художнику, взрослый человек — ребенку, умеющему радоваться, удивляться...»

Получил от известного литературоведа профессора Берковского письмо — слишком самонадеянно его приводить, но я это сделаю. Не выкину веселого слова из грустной песни.

Из Ленинграда

«24 октября 1957.

Дорогой Николай Николаевич!

«Меридиан» прочитан всеми в нашем доме. Книга прекрасная, очень радуюсь за Вас, что такая книга написалась. Вы, как автор, вскипели изнутри, и вот книга закипела, как река закипает.

Давно думаю, что книги такие, как Ваша, как книги покойного Ильина, это будущая литература. Сейчас они идут по особому сектору — всегда так было: сначала «жанр», «отдел», «подотдел», нечто допускаемое на правах частности и исключения, потом это становилось главенствующим правилом.

В Вашей книге внутренняя свобода, лиричность. Элементы буду-

щего в ней, по-моему, вот какие: синтез ума и поэзии, знания вещей и восприятия вещей, науки и чувства, технического и гуманитарного.

Вы рассказываете о сезонах и температурах, которые вы «прошли по меридиану». В стиле книги тоже есть такие благодетельные колебания температуры: точно-научное, «абстрактное», точно-техническое в ней подмораживает, действует возвышающе. Врывается температура среды. Это куда лучше, чем одно только человеческое тепло, которое было бы приторным и расслабляющим. Технику и точную науку, рожденную человеческим восприятием и оторвавшуюся от него, Вы снова ему возвращаете. Человек смотрел глазами, у Вас он смотрит «оком» — понимающим, знающим, проникающим.

Итак, да здравствует гео-гуманитарная поэзия».

От литературоведов такого одобрения моей тропки я раньше не слышал. Похвалы приятны. Но пусть читатель не думает, что я принимал их целиком и всерьез. Хвалили от неожиданности.

А вот другое письмо от того же Берковского через десять лет:

Из Ленинграда

«20 ноября 1967 года.

Милый, дорогой Николай Николаевич!

...В последний раз я видел Зинаиду Васильевну в 1958 году, когда она, приехав на какой-то конгресс, была у нас после «Идиота» — Смоктуновского. Какой казалась она — совсем, совсем молодой, блестяще-оживленной, с необозримой перспективой жить и действовать. Из нее изливалась инициатива и энергия, и глаза полны были движения».

В той книге говорилось о корабле: «Лоцман уже поднимался на мостик. Я стоял на спардеке и думал: «От берегов моей страны виден весь мир. Сейчас капитан даст команду: «Якоря по-походному!» Что мне нужно в жизни? У меня есть все».

Да, несмотря на склонность к душевному беспокойству, я был уверен, что у меня есть все и навсегда.

Ничто не затмит того больничного треножника, страшного жертвенника, прозрачной капельницы. Но и шепота ничто не заглушит:

— Мы прожили с тобой счастливо.

Но не всем пришлось по сердцу моя книга. Получил письмо из Мурманска с рефрижераторного траулера «Ашхабад»:

«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.

Написано поверхностно, поспешно.

Что за перлы: «в ноздрях якоря»? «Переходной мостик с перилами» — перил на судах не бывает, есть поручни! «Пол выдерживало из-под ног» — в наше время даже пионеры знают, что на судах не пол, а палуба! «Канаты одеты на чугунные тумбы» — кнехты, дорогой автор, кнехты, а не тумбы! «Стальные столбы, держащие палубу» — пиллерсы, пиллерсы!

И всюду я, я, я.

Старший механик Елфимов».

Глава пятая

СТАРЫЕ МОЛОДЫЕ ПИСЬМА

Я не сомневался тогда, в 1929 году, что пассажирка на станции Луговой исчезает навсегда, однако за ниточку ухватился. В Алма-Ате ташкентский адрес узнал.

О приключениях тянь-шаньского путешествия за зиму много написал, но в печати не появилось ни слова. Все ушло в длинные письма, которые чуть не каждую неделю слал из Москвы в Ташкент — без надежды.

Первое отправил в тот день, как вернулся домой. Напомнил про нас и попросил разрешения написать об экспедиции. «Мне показалось, что Вы с интересом смотрите на людей и на мир».

Позволение было дано:

Из Ташкента в Москву.

«28 октября 1929 года.

Благодарна, что Вы мне напишете. Письмо Ваше колыхнуло запахом альпийских лугов, чистотой водопадов и безграничной прелестью наших гор и гор.

...Вы говорите, что я рассудочная натура. Не знаете Вы меня. Я рассудочна, когда касается «разговора с рассуждениями». Но это слово совсем не подходит к той, которая многое делает не обдумывая, закрывая глаза. Хотите пример безрассудства? Если бы Вы тогда, в поезде, согласились взять меня в экспедицию на Хан-Тенгри, я бы поехала. Желание было выше рассудка.

Передайте, пожалуйста, привет Валентину».

Писал я не только о грозе басмачей и об озере на пути к Хан-Тенгри. Писал, что думал. О чем-то спорил. Искренность была разбавлена дозой кокетства.

Писал об увиденном и прочитанном, о делах того времени — о «Женщине» Никифорова и «Закате Европы», о немецком фильме «Лулу» и о «Клопе» у Мейерхольда, о вырождении Персимфанса и о явлении Ойстраха.

Письма писать куда легче, чем книги. Непосильные загадки искусства, изъяды вкуса, промашки ума, истязание формой — все отпадает, просто ты живешь. И об этом знает душа единственная.

Нет-нет да и приходили ответные письма. В нетерпеливых дырочках почтового ящика просвечивал белый конвертик.

Шел 1930 год, мне было двадцать четыре.

Из Москвы в Ташкент

«11 февраля 1930 года.

Зина, напишу Вам о впечатлениях последних двух дней.

Вчера вечером собрались альпинисты и испытаннейшие горные бродяги. Пришел наш маэстро Василий Логинович Семеновский и сказал, что скальные крючья скоро наконец начнут делать на заводе. Он пойдет летом в ваши алма-атинские горы на пик Талгар, там на вершине никто еще не был. Пришел Панютин, победивший весь Западный Кавказ. Пришел Раковский, построивший хижину на Безенги. Приковылял юноша Зельгейм, знаменитый тем, что первый переночевал на макушке Казбека, — его настигла лавина, он провалился в пропасти не-

делю, четыре отмерзших пальца на ноге ампутировали. Прибежала Лелля Березовская, первая девушка, взошедшая на Эльбрус.

Люди, игравшие в калечину-малечину с жизнью. Все они кое-что знали: страшно вспомнить, но снова и снова тянет. У всех маленький завидный психоз — стремление к несуразному, что выше и чудеснее простого существования.

Мы мило болтали о нашей страсти, не приносящей плодов, — болтали на языке, который, наверно, невнятен для нормального, разумного человека. На столе лоснились американские туристические журналы с картинками Кашмира и Огненной Земли, с лицами индейцев с Колорадо и девушек из Андалузии.

Панютин сказал:

— Тьфу, как противно жить в городах, скорее бы пришла весна.

Зельгейм заявил, что он не у дел, ничем заниматься не хочет, все надоело — надо на Кавказ.

Раковский засмотрелся на картинки в журналах:

— До чего заманчиво! Знаете, скоро папиросы будут по карточкам.

А сегодня утром я был в правлении Государственного банка на заседании по кредитной реформе, на днях закон принят правительством. Начнется с 1 апреля. Я немного к этому делу причастен.

На стене диаграммы эмиссий. Таблицы. В углу плевательница.

За столами, покрытыми зеленым сукном, сидят вокруг президиума управляющие конторами Госбанка, съехались со всей страны. Слушают доклад члена правления Артура Адамовича Блюма. Высокий латыш. Поминутно снимает и надевает черепаховые очки. Тишина и голос Блюма. За столиком стенографистки — пестрые кофточки и женские прически так нелепы в потрясающе прозаическом мире.

Блум говорит о новом порядке кредитования снабженческих операций. Я сижу на стуле в стороне, холод и сухость овладевают мною. Но — уловил мысль Блюма. Понимаю, в чем он хочет убедить. И начинаю увлекаться. Вот я уже и не согласен с Блюмом.

Прения. Говорят управляющие конторами, они возражают Блюму. Говорит представитель ВСНХ, он возражает всем. Блум отвечает умно и дельно. Он читает цифры, как смертный приговор.

Слово Певзнеру, управляющему Харьковской конторой. Он толстый, резкий, в сапогах. Почти кричит. Держит речь о финансовом плане, как Марат. Изрыгает вереницы чисел. Его лысина покраснела. Он уже не похож на человека. Я думаю — неужели у него есть дом, жена, неужели он может влюбляться? Какая детская чепуха! Только дело, дело...

После Певзнера — Ершов. Так настаивает на доведении кредита до цеха, будто борется за собственную жизнь.

Председатель звонит... Меняются стенографистки... Курьеры на цыпочках бегают с папками.

Я сижу, охваченный пафосом дела, и узнаю чувство, которое испытывал вчера, у альпинистов — страсть жизни, ту, что выше и чудеснее простого существования.

Но стоп! Обман! Это уже не «дело», а «о деле», возврат к безрассудству.

Слышу, как Вы говорите: «Ну вот, он опять про то же». Как быть? «Сконцентрировать действия» я никак не могу. Два пути — и ни одного нельзя предать.

Живу в палатке в лесу и думаю: довольно глупить, пора за дело. Гну спину за конторским столом и мечтаю: на Иссык-Куле сейчас, верно, бури...

Может быть, эти крайности возвеличивают друг друга? Может, на-

мечается некая гармония, разгадка жизни? Или это лишь мучительный компромисс между несовместимым?

А ведь послушайте, как хорошо, какое богатство: вместе и то и другое! Как мне нравится профессия Валентина — от него Вам привет. Архитектура — сразу и скука сопромата и восторг золотого сечения.

Да тоже и Вы — под микроскопом рассматриваете безмолвные нейроны, чтобы постичь человеческий дух. Как прекрасно — знать врачу все почему и зачем и оставаться человеком, умеющим плакать...»

Из Москвы в Ташкент

«22 февраля 1930 года.

...Передовица в газете сейчас эмоциональнее поэмы в «Красной нови». Сегодня в России нужно отдаваться делу — и делу главному, неотложному. Самое важное теперь в снижении себестоимости не на 7%, как предписывают контрольные цифры, а на 11%. Не понимаю, как люди могут об этом не думать. Наверно, не найду подходящих слов. И не знаю, как Вы к этому отнесетесь. Вам, медикам, еще многого не видно. Мы стоим перед исключительным, потрясающим, грандиозным.

Вчера в институт влетает пылающий комсомолец Костаньянц, он работает в Госплане, и орет:

— Ребята! Я узнал! Через пять лет — социализм!

Да, мы уже в конце переходного периода. Открывается новая страница истории. Не звучит ли фальшиво? Творится что-то небывалое.

Вот Луначарский пишет в статье, как будет строиться Магнитогорск. «Мужчина и женщина одинаково имеют свою собственную комнату, и никто не входит в дальнейшем в их взаимоотношения как мужа и жены. Тем более что в социалистическом городе дети во всяком случае общественно воспитываются, чем и предоставляется неслыханная до сих пор свобода выбора для таких интимных дружеских комбинаций. Можно сказать, что в социалистическом городе семья старого типа окажется совершенно отмененной...»

Еще измены живучи, трагичны, но что будет через пять лет? Еще не сгнули привычки, чувство уюта, лень, зависть — а завтра? А завтра, лет через пять, окончательно победит новая справедливая мораль. В социалистическом обществе, среди свободных и равных людей, преданных друг другу, невиданно расцветет искусство. Это будет скоро.

Мы встретились с Вами случайно вдвойне — мне, конечно, следовало ехать не к безжизненному Хан-Тенгри, а в какой-нибудь рязанский колхоз — для достижения идеала нужнее.

Валентин звал в минувшие каникулы на лыжах в заполярную Лапландию, я совсем собрался. Но тут другой мой товарищ, его фамилия Найдис, разведаль, что меня могли бы взять на временную работу в Госплан: группа из трех человек по заграничной статистике выясняет темпы Америки, Англии, Германии, Франции. Плановики хотят принять во внимание. Мара Найдис понимает, он живет в сегодняшнем дне.

Нелегко было отказаться от северного сияния даже ради мечты. Но я отказался.

Каждый день хожу в Госплан на Карунинскую площадь, благо мой институт вечерний. Строчу индексы физического объема.

В вагоне я не успел рассказать Вам, как поступал в вуз. Держал сразу в два — на литературное отделение университета и в экономический. Приняли в оба, нужно было выбирать. Думал, думал — бросил университет и остался в институте. Если экономика — основа общества, то чего же держаться на задворках?

Занялся — чем? Теорией и практикой кредита. Потому и сидел на заседании в Госбанке. Черт возьми, это тоже интересно при обмене

стоимость остается, право собственности уходит, а при кредите право собственности остается, стоимость уходит.

Решил, что поступаю иллюзией ради дела. А тут еще Маяковский:

Я 28 лет отращиваю мозг
не для обнюхивания,
а для изобретенья роз.

На дне души, правда, теплился вопрос: зачем же выращивать, если не нюхать? — но я загасил.

И все же — читал недавно книгу одного ученого немца о денежном обращении и наткнулся на фразу, которая заставила снова дрожать и колебаться: «Еще не так давно слово «инфляция» можно было встретить лишь в специальных научных трудах, где оно скрывалось, как фиалка в траве».

Фиалка в траве. И книга летит в угол. Какой я, к черту, экономист!

Впрочем, сейчас в выборе вуза не сомневаюсь. По Киркегору как бы ни решил, все равно пожалеешь. Но я не жалею. Жизнь пошла бы вся иначе, ни один вздох не совпал бы с тем, что стало, — и ночью в Арыси я мог бы, пожалуй, залезть в другой вагон».

Письма из Ташкента я, конечно, сберег. А совсем недавно с непоправимым опозданием обнаружилось, что и письма, посланные в Ташкент, не пропали. Сорок лет пролежали в шкафу. Сколотые булабочками! Сшитые шерстинкой!

ТАШКЕНТСКИЙ ЗНОЙ

Начался 1930 год, шел последний курс. Все, казалось, отлично. В Госплане с иностранной статистикой управился. Был всегдашним старостой группы и членом всяких комиссий. Ведал научным кружком. Обличили доверием — «выдвинули на научную работу», тогда отбирали почему-то не профессора, а студенты. Профессора же поощряли меня любовно. Госбанк пригласил читать лекции молодым сотрудникам. Научные учреждения манили на работу. Как будто открывался заманчивый путь...

Я все это бросил и уехал в Ташкент

Нелегко было в тот боевой год получить назначение в город по собственному выбору. Соврал, соврал — и людям и себе: «Там у меня невеста».

Что должен был делать в Ташкенте? Поступил кредитным инспектором в банк.

Совсем вдруг, не предупредив, явился в первый же день на медфак в конце Карла Маркса, за речкой Салар. Ташкентские студентки любили прикреплять к портфельчику цветок. Смущение было утоплено в смехе. На углу узбек с халвой на плетеном блюде просиял и закивал: — Ягода танцует, ягода поет!

От Нины Сергеевны Гражданкиной мне из Ташкента

«22 января 1973 г.

Коля, ты спрашиваешь, какой была Зина, когда мы приехали с нею из Верного учиться в Ташкент. Хорошенькая, вдумчивая, немного тщеславная, упрямая, очень самолюбивая, иногда до эгоизма. Решительная, горячая, порой отчаянная. Очень скрытная — до лживости. В то же время ясная и прозрачная — глядя ей в глаза, можно было увидеть душу.

Смешливая, умела беззаветно отдаваться веселью. Дразнила мальчишек.

Вечерами мы бродили под деревьями, сидели у журчащей воды и говорили, говорили без конца, сменяя друг друга. Тут же придумывали сказки из далекого прошлого. Сильные, смелые мавританские воины, персидские странники. Прекрасные духом и телом первооткрыватели новых путей. Подвиги во имя любви, побеждающей смерть и уходящей в вечность.

Брали с собой Гертю, черную лохматую собаку, и к нам никто не смел приблизиться.

Зина любила вот это предание — наверно, тебе рассказывала. (Нет, не рассказывала.) Рыцарь Аль-Мансур Севильский, тяжело раненный тайным врагом, очнулся и увидел над собой лицо девушки, которая перевязывала рану. Спросил, кто она. «Зобеида, дочь халифа, повелителя Кордовы». Но он снова потерял сознание... Любил ее всю жизнь и разыскивал... Нашел и снова утратил...

В Зине был избыток жизненной силы, но и всем другим бог ее не обидел. Бросалась ко многому и попевала везде.

Постепенно я стала замечать, что ей скучно со мной. Слишком много говорила о похвалах ее внешности. Проскакивали мужские имена. Стала уверенней в своем женском обаянии. Жаждала власти. Бурное море, кипевшее ожиданием счастья.

Я пошла на инженерно-строительный и позже, как ты знаешь, занялась исследованием керамики, разгадкой древних секретов. А Зина, проучившись два года в трудовой школе-коммуне, поступила на медфак, потому что «человек интересен».

Слышал: было в той школе собрание, сидели над какими-то хозяйственными заявлениями, время было нелегкое. Задали вопрос, который ей не понравился. Вспыхнула, подбежала к столу, разорвала в клочки свою бумагу и ушла.

В Ташкенте султанами вздымались туркестанские тополя с зеленой короной. Шуршали без ветра — я подходил и слушал: увядший лист, задевая веточки, долго падает внутри высокой узкой кроны.

Рокотали арыки. В них прела трава, подобно водорослям, я ловил невероятный для тех мест запах моря.

У сквера Революции, где сейчас башня с курантами, кашлычники по вечерам веерами раздували жаровни. Над глиняным дувалом бородач в полосатом халате играл на свирели.

Рядом в садике в начале Куйлюкской в раковине духовой оркестр дудел среди опереточных увертюр почему-то Мизерере из «Трубадура», я ходил слушать трагическую песню.

Сначала страшился храбрых ташкентских молодцов — был среди них взрослым мальчиком, росомархой. Потом выяснилось, что уже давно обречен:

— Скоро уеду в Ленинград насовсем, там Мишка в университете, гениально умен, станет знаменитым генетиком.

Сейчас открытия Михаила Ефимовича Лобашева известны ученым, толстый вузовский учебник генетики известен многим.

Почти беспризорный, он вырос и сложился без чьей-либо помощи. Всю жизнь, не отклоняясь, хотел одного. В Ленинград уехал по образцу Ломоносова — «на денежку квасу». Пока не пробился в университет, работал сторожем. Стипендию изводил на книги: Маркс и Дарвин.

Проницательно, упорно размножал дрозофил и что-то важное генетически-химическое изобрел сразу после вуза. Когда Менделя кля-

ли, отказался снять его портрет в своем научном кабинете. Взглядов не менял. Никакие внешние силы не могли его согнуть. Лишившись работы, ходил каждый день в Публичную библиотеку и написал «Очерки по истории русского животноводства» — большой том. Стал профессором, заслуженным деятелем науки, руководителем университетской кафедры.

В Ташкенте праздновали юбилей школы, где он когда-то учился вместе с Зиной, вернулся оттуда с тяжелым инфарктом, как сказал — «от жары и эмоций». Продолжал, обманывая врачей, работать сверх меры. За день до второго инфаркта писал мне — в духе Бетховена: «Мы должны жизнь брать за горло и требовать от нее права на все, что ей свойственно. Грустью жизни не отвоюешь, а поэтому, пока есть силы, надо за нее драться всеми средствами».

Это он был взят писателем Вениамином Александровичем Кавериным в прототипы положительного героя Сани Григорьева в романе «Два капитана».

Из Ленинграда в Москву

«14 ноября 1967 г.

Дорогой Николай Николаевич!

Скорблю вместе с Вами об уходе романтической жизни. Счастлив, что Зина была любима...»

Я погибал. Мне показана фотография юноши в майке и подаренная книга с надписью: «Человек без цели — раб судьбы».

Миша Лобашев был волевым, складным, дерзким, с острыми глазами и резким ртом, с концентрированными действиями. Он поступил расчетливо и здраво — отсюда уехал ради науки. А я бросил науку и приехал сюда. Поступки противоположные — как раз потому, что он владел клятвой, а у меня не было даже и надежды. Косу я не застал, но тогда, при Мише, она, говорят, достигала колен.

Воспаленное время. Я сидел весь день в банке на Ирджарской за зеркальным окном как на витрине, писал конъюнктурные обзоры, анализировал балансы и скрепя сердце обижал клиентуру — урезывал кредиты. Работал плохо, быстрым соображением в оперативных банковских делах не обладал.

Мучительство. Коварство. Поджаривание на сковороде. Вытягивание жил. В адской азиатской жаре все летело в пропасть.

Однажды возвращаюсь с папкой из Узбекторга и нахожу на столе возле арифмометра записку: «Коленька, милый, не огорчайтесь».

Но это еще ничего не значило.

— Как хочешь ты жить? — спрашивала подруга ранней юности. — Хорошо бы идти по тернистому пути борьбы за идею. Ты можешь? Не заглядываясь на цветы?

— Могу и по тернистому. Но остановлюсь и сорву. Может быть, и задержусь.

— А свернуть с дороги можешь?

— Да, Нинка, могу.

И при всем этом была сдержанной, неуступчивой, стыдливой, себя зря не раскрывала, любовь и презрение тайла. Любила и не любила поступком, а не словом.

Если говорят, что человек сорвался, — значит, обычно не срысывается.

«Чем больше в человеке страстности, тем больше и чистоты, целомудрия» — я выписал эти слова из книги одного музыканта, тончайшего.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ДЖИНАЛ

Через двадцать восемь лет был у меня трудный год — совсем по-другому. Устало сердце от тропического плавания и напряженной поездки по Америке. Пришлось немного полечиться в Кисловодске.

Письмо в Москву

«25 декабря 1958 года.

Родная, решил послать письмо не домой, а на Потешную, — чтобы под голыми сводами психиатрической науки неожиданно раздался голос любви. Для большего контраста.

Впрочем, вполне соответствует. На днях мне было пятьдесят три, и так писать — чистое сумасшествие.

Сидел за завтраком, жевал — вдруг слышу: сквозь бряцанье тарелок доносятся редкие такты рояля — напев твоего детства:

В час полночный близ потока
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далеко
В горнем мире чудеса...

Поднялся, вышел, сел у звучащего ящичка и стал утирать слезы. Девочка, долгие годы — и почему-то тут я, с длинным носом и неизвестно откуда взявшимся правом. Как и почему ты прожила со мною жизнь? Сколько раз и чем я тебя обидел? Что я должен был сделать и не сделал?

От избытка озона совсем стал глупым на этих горных дорожках — только чтение «Литературной газеты» отрезвляет меня. И звонки междугородного телефона, которые раздаются среди ночи как сигналы из здорового мира: дринь, дринь, дринь — хи-хи-хи — простофиля!

Обдумывание американской книги что-то не идет. Решил залезть на высшую точку хребта, в складках которого лежит Кисловодск, — на Верхний Джинал, у самой границы Кабарды. Лишь на три метра ниже Крымских гор. Так далеко, что туда, конечно, никто и не ходит. Тем более снежной зимой.

Я покинул санаторий в половине десятого и, скашивая зигзаги терренкура, через полтора часа выбрался из котловины. Открылось белое плато с ущельями и холмами.

Через час хода встретил трех колхозников, везли сено. Мажару тащили воле. С воза окликнули:

- Зверь порвет!
- Какие ж тут звери, кроме волков?
- Вот волки — это основное.
- Волк днем не тронет.
- Еще как.
- Бояться волков — в лес не ходить.
- Дело ваше.

И они уехали.

Начал я подниматься на вершину с триангуляционным знаком — думал, это и есть Джинал. Колея свернула вбок, и пришлось идти прямо по насту. Кусочки льда с громким шуршанием скатывались по снежной корке. Пласт с шумом оседал под ногами, и я мгновенно оглядывался: звук такой, будто по снегу бегут лапы.

Вскрабкался наконец к деревянной пирамиде — и, к ужасу своему, увидел далеко впереди еще более высокую гору, тоже с вышкой, но крупнее. Внизу чернела пропасть.

Мертвая пустыня.— ни души. И волков пока нет. Лишь огненный снег, острые скалы — как перья, как крылья демона. И конусы раздвоенного Эльбруса — совсем рядом. Под правой грудкой все время рождалось облако, слетало в сторону и исчезало.

Что же мне делать? Подумал, подумал и решил, что, может быть, я чего-нибудь стою. В драке волос не жалеют. Пошел дальше.

Тут, на счастье, попалась опять колея, и она перевела меня через провал. Но тут же увидел я волчьи следы. Наст сохранил и уколы когтей.

Вспомнил стихотворение: лучше умереть не на постели при нотариусе и враче, а в диком ущелье. Не осуди меня.

В третьем часу достиг вершины. Обрыв, куэста из песчаника. Деревянная вышка еле слышно пахла хвойным мылом. Помню номер репера: 2954.

В голубом растворе, между снегом и солнцем, высились ледяные пики Кавказа — кружилась голова, и они плыли передо мною как парус. Редко видишь такое.

Разглядел вдали Бермамыт: черный кубик домика — метеорологическая станция, где я прошлой весной ночевал. Тогда синели цветы — никак не мог расправить лепесток между страничками тетради, так и привез, если помнишь, смятый ветром. Летели сизые кобчики, таскали сусликов. Кони на пастбищах стояли парами и чесали друг друга губами чуть повыше хвоста. Под утро демон меня искушал. Конусы зажглись оба сразу в четыре пятнадцать.

А сейчас стыла одинокая зима.

Назад почти всю дорогу бежал, чтобы успеть до темноты. С Синих камней сполз ощупью, но на тополевой аллее уже горели, тихо шипя, фонари дневного света.

И некому было сказать, где я был и что видел.

Будь ты здесь, пошла бы со мной. Вот потому ты со мной и пошла».

Позже там, в Кисловодске, на косогоре, когда она взбиралась впереди, я вдруг заметил и испугался: ноги на какой-то миллиметр стали тоньше.

КОНТРАПУНКТ

Книга «Иду по меридиану» сдвинула с мертвой точки, приблизила к миру мою душу. Но все же ее не наплатала.

Путешествие скользило по касательной. «По маршруту мазута». Много видел издали и мало рассматривал вблизи. Обнял земной шар, но те страны, где в портах бросали якорь на день, на два, чуть потрогал.

Бежал корабль мимо Сицилии, с палубы я разглядел снежно-белую Этну, скудно-зеленые холмы, терракотовый город — и это все. Жизнь людей неразличима. Вдруг блеснул яркий зайчик — может быть, сицилианка окно распахнула, сверкнула стеклом? Написал: «...Отраженное солнце брызнуло в далекое море, в глаза жадного, неудовлетворенного путника, увлекаемого кораблем прочь, все дальше, дальше...»

Когда-то Маяковский говорил, что жил в Америке «достаточно мало, чтобы верно дать общее». Сейчас бы так не сказал. Время только общих оценок прошло.

Словом, опять меняя галс. Я понял что-то общее на планете, но теперь требовалось понять частное: отдельную страну. И первым делом — главную страну другого мира.

Вдвоем через Париж и Гавр, оттуда на морском лайнере за Атлантику в Нью-Йорк, потом кольцо по Штатам — и обратно в самолете над океаном.

Стоял октябрь, «индейское лето», с желто-красной пестротой листвы, как у нас в Приморье, где осенью даже в пасмурный день лес так ярок, будто озарен солнцем. Мерцали листья, мерцали этажи небоскребов, мерцали лаком автомобили, мерцал неон реклам — уже не вдали, а вблизи.

Помогал переводить разговор в вагоне между Балтимором и Питсбургом:

— Ни разу не видела русских. Приятно познакомиться. Я фельдшерница из Колумбуса. Гм, маникюр. И совсем не грубый голос. Можно пощупать ваше платье? Я думала, русские женщины все ходят в красном. Мы в Америке бесцеремонны — вы не очень обидитесь, если я попрошу вас привстать на секунду? Выше меня. С талией. Гм. Очень приятно познакомиться.

Нелегко теперь писать о путешествиях. Уже надоели маршрутные репортажи, линейные, как сама дорога: приехал сначала туда-то, потом туда-то, увидел то-то. Такие недорого стоят. Не форма.

Но как сделать рассказ о путешествии не плоским, а объемным? Подчиненным идее и соразмерным с нею? Не нанизанным, а построенным?

Стал писать о поездке, как принято, день за днем и шаг за шагом: детали повторялись, выводы не вязались в пучок. Бросил дорогу, написал как мог проблемные главы — куда труднее! Исчезла стремительность езды, пропала вся прелесть путешествия.

Тогда вставил обобщающие рассказы в ткань следования. Вышла нахальная безвкусица, подобная той, какая бывает, когда поэт в прозаическом тексте время от времени становится в позу и с серьезным видом, без тени иронии переходит на декламацию собственных стихов.

Тут я и решил, что позы избегну, если голоса будут разные, — вмонтировал свои рассказы в путевой дневник спутницы. Она отказывалась: «Некогда и не мое дело». Но я настоял. Дневник дописали, поработали.

Теперь, я подумал, — осмысленный контрапункт. Два неодинаковых голоса как-то корреспондировали друг другу. Спутница моя не была литератором, именно это показалось мне литературной находкой.

Советский Комитет защиты мира дал нам за книгу «Американцы» по почетной грамоте — уравнил как авторов. Но меня, честно говоря, не следовало поощрять — разве что за режиссуру. Читатели сразу увидели: рассказы написаны хуже, чем дневник. Идея у меня уж слишком выпирала. А дневник был куда свободнее, легче, живее. Чувствовалась женская душа.

За совместную книгу, как это ни странно, натерпелся поношений.

Валя Гусев промолчал.

Мара Найдис покачал головой:

— Коля, это просчет. Жена. Что скажут люди?

А люди говорили вот что.

Некий Щ.:

— Об Америке написала жена? С точки зрения домашнего хозяйства?

— Нет, почему же. Она доктор наук.

— Ах, извините.

Писать вместе нам понравилось. И мы разлетелись ехать в Японию. Полагали, что не только американцев, но и японцев нужно знать лучше.

Союз писателей помог запросить визы. А пока пошли прививать холеру, тогда требовалось. Уколов нужно было два, с промежутком. Но уже осень. Нам хотелось поскорее: хризантемы отцветали. И мы упростили вкатить две порции сразу. Когда я мучился в ознобе и бреде, с жаром выше сорока, по телефону известили, что Япония нам в визах отказала.

Пришлось ехать позже и врозь: в компании ученых и с делегацией писателей.

По дороге у обоих была Индия.

Январь. Морозный, темный вечер. Я с шубой жду на Шереметьевском аэродроме самолета из Дели у самого трапа. Первое, что услышал с верхней ступеньки:

— Сегодня каталась на слоне!

Были Филиппинские острова со следами испанского барокко. Был Гонконг — многолопастный город на островах, мысах и горах. Рикши, вытирая пот полотенцем, мчались вперегонки с «роллс-ройсами» и «ягуарами».

После Токио путешествие по стране — в Хиросиму, Киото и многие другие места вплоть до спуска в жерло, в серный чад вулкана Асо.

Все это врозь. Прежний литературный замысел нарушен. Но ведь именно трудности толкают к поискам. Практичный пессимист Шопенгауэр сказал: если неудачу нельзя устранить, остается извлекать из нее пользу. Разозненная поездка навела на новый способ: мы написали книгу «Японцы» в форме диалога.

Ездили не вместе — возможен обмен впечатлениями. Иногда до спора.

Книга разговора — такой прием, не для всех читателей легкий, — позволяет охватить и наблюдения, и мысли, и собственные души. Мы не все от него взяли, поспешили. Тон часто натянут, ненатурален. И, наверно, ошибка, что не перебивали длинный диалог каким-то другим текстом.

Диалог — жанр давно известный: автор пишет один оба голоса. Другое дело, когда автора два.

В книге сказано, что беседа шла у магнитофона. Литературная выдумка — никакого прибора не было, все извивы живого разговора ловили рукой. Это трудно. Но все-таки не наговорили, а написали.

Япония к тому же более сложная страна, чем Америка, хотя и та не проста. Приглядываясь к средним американцам, мы увидели немало как будто несовместимого. Американец эгоцентричен, но вы входите в его дом — он рад. Американец думает о себе, но пусть сломается ваша машина на дороге — всякий поспешит на помощь. Американец бережет себя, но на пожаре у ближнего не будет стоять сложа руки. Американец жаден, но не скуп.

А японец противоречив еще более. Иной раз хоть плачь — так неясним.

И в «Американцах» и в «Японцах» текст отдельный: указано, что писал один и что — другой. Но, правя соавтора, я внес чуждые ему интонации, особенно в ритме. Заметил, когда книга вышла.

Не понимаю, как можно писать прозу нераздельно, вдвоем, хотя

таких примеров много. Думаешь, читая: у каждого из двух нет собственного голоса, а следовательно, и собственной души. Но это еще что— я видел лирические стихотворения, подписанные двоими!

Впрочем, в искусстве возможно все.

Зина писала книги в паре с другими, но книги специальные — например, «Рассказы о жизни мозга» или монографию о зависимости инфарктов от психики. Но то писалось с людьми учеными, с докторами медицинских наук. А тут требовался совсем пустяк — всего лишь держать перо в руке.

Возможно, перо бежало у нее по бумаге менее уверенно, чем у меня, зато она гораздо лучше умела разгадывать встречных людей. Из интереса к человеку хотела стать чистым психологом, но предпочла психиатрию: помощь людям, попавшим в беду. Однажды я разговаривал с ее больным:

— Эта докторица — ведунья.

У нее было сильнее воображение, чем у меня. И она больше придумывала. В заокеанском дневнике я с удивлением встретил какую-то Ивлин, жену архитектора. Такой не бывало. Собрала из замеченных американских черточек.

В юности не останавливалась перед красным словечком, неизвестно откуда взявшимся.

Так мы вместе написали две книги. Решали вопросы жанра. Э, я себя обманываю. Жанр жанром, но мне, по правде сказать, просто хотелось еще большей близости.

Как всегда, после выхода книги полетели письма. Были и такие, что заставляли задумываться.

Одна область: Иркутская. Один возраст: двадцать с небольшим. Сходный уровень: Владимир Швец — студент, В. Левин — инженер, недавно кончивший.

Первый: «Книга мне очень понравилась. Замечательная!»

Второй: «Пусть Косенко лечит больных, а Михайлов займется каким-нибудь общественно полезным трудом».

Из книги видно, что Зине удалось помочь двум больным японским девочкам. Письма и устремились больше к ней, а не к нам обоим. Писали и без медицинских просьб — поделиться горем:

Со станции Ружино Приморского края

«28 ноября 1963 г.

Товарищ Косенко, наша одиннадцатилетняя резвушка Таня заболела, за завтраком упала в обморок. Придет, бывало, со школы, положит портфель, и такая у нее была привычка — по арифметике пять, по грамматике пять, и сколько раз пять, столько и топнет ножкой. Отправили в Хабаровск в железнодорожную больницу. Врачи разводили руками, ничто не помогает. Таня и девочка Галя, у них койки по соседству, пели песенку «Мама, милая мама», а я сидела у Тани в ногах и плакала. Привезли ее домой, несли на носилках. В то время набрали цвет яблоньки, а у нас у калитки растет ранетка. Танюша так посмотрела на ранетку, я и сейчас вижу этот взгляд. Дома жила шесть дней. А минут за десять до смерти сказала: «Подумайте только, в какое зеленое время». Не сердитесь, пожалуйста.

Танина мама Турко М. М.».

«Американцам» и «Японцам» мы отдавались полностью, с крайним напряжением сил.

Ездили по городам, были на заводах и в университетах, театрах, больницах, в домах, долго разговаривали с учеными, писателями, бизнесменами, рабочими, с теми, кто держится за нынешний уклад, и с теми, кто не мирится.

Наш английский больше помогал в Японии, чем в Америке: японские интеллигенты, как правило, говорят по-английски, но достаточно плохо, чтобы русский с плохим английским мог понять.

Конечно, прочитали об Америке и Японии почти все ценное, что есть на русском, кое-что и по-английски.

В пути приходилось работать почти круглые сутки. Днем впитывали все что могли, часть ночи записывали впитанное. Я спал по три часа, а то и меньше. Нелепица — потому что поездки короткие. Чтобы как следует уловить черты людей в чужой стране, нужно больше времени, больше наблюдений. Нужна свобода передвижения.

Опять путешествие по касательной! Ну, думал, тут-то я найду себя. И преодоление пространства и разгадывание своеобразия... Не туристские очерки, а сильная характеристика нации, критическая, но благожелательная. Книги у нас переизданы, в Америке и Японии переведены — как будто ничего. И все же осталось совестливое чувство досады, невыполненного долга.

Но знакомство с народами нам казалось нужным, важным. И несмотря ни на что мы взялись за третью книгу — о странах Латинской Америки. У Зины называлось — «родим еще одного». Четыре года напрасно добивались виз — бросили. Попытка написать об испанцах тоже не вышла — Испания виз не дала.

Тогда замахнулись на книгу «Немцы». Придумали конструкцию, собрались ехать, сидели над немецкими авторами.

За месяц до грома, который раздался среди ясного неба и работу оборвал, слышу из соседней комнаты здоровый, юный голос:

— Иди скорей. Что я нашла в письме у Гёте: «Вперед, по ту сторону могил!»

В ГДР я ездил уже без Зины. В Гарце поднимался на Броккен. Отыскивал на стене в замке Вартбург след от чернильницы, которую Лютер запустил в черта. В Лейпциге слушал хор мальчиков над гробницей Баха. На корпусе завода около города Пирна в Саксонии прочитал плакат: «Создадим нового немца!» — это могло стать темой книги.

Где-то в Тюрингии, в селе, праздновал 8 Марта — и так мне стало грустно, так я расчувствовался, что, отстранив переводчика, решился на ломаную немецкую речь: «Meine liebe Frauen!..»

В Веймаре пошел в гости к правнучатому племяннику жены Гёте — к почтенному Вольфгангу Вульпиусу. Тот рассказал: вдовец велел заколотить досками комнату Христины и никогда туда не входил.

Книга «Немцы» осталась ненаписанной.

Глава шестая

ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕОТКРЫТЫЕ ГОРЫ

Знойным летом 1930 года я уныло ходил и ходил в банк на Ирд-жарской. Ташкентское землетрясение не тронуло того деловитого дома, только полопались зеркальные стекла, за которыми много лет назад я сидел с арифмометром точно на витрине.

В прозрачный час с улиц Ташкента видны первые, еще невысокие

отроги Тянь-Шаня — летом снег на них тает, оживляя арыки и освежая тополя.

Идея Хан-Тенгри меня тогда не покидала. Напротив, она разгоралась. Накаленный коварством до отчаяния, я жаждал риска. Почему год назад не переплыли мы с Валея на льдине то зловещее озеро? Не прокрались над ним по скалам, хотя бы и отвесным?

Теперь назревал шаг решительный — пойти не по Иньльчеку, а по соседнему леднику Мушкетова, севернее. Их разгораживает Сарыджаский хребет, по высоте равный Кавказскому, и в том месте не известно ни одного перевала. Еще ни один человек не перебрался. Надо проникнуть подальше по леднику Мушкетова, взгромоздиться на хребет и затем любой ценой спуститься в неисследованную область по ту сторону озера. Оно останется сзади. Если ворота закрыты, придется лезть через забор.

Баев в том году ждал конец басмачи не унимались. Я видел, как кавалерийские эскадроны, приторочив к седлам сетки с люцерной, уходили на операции. Ибрагим-бек закончил сбор воинства и ворвался из Афганистана ночью под 9 июля, потеряв в горячем пограничном сражении почти тысячу джигитов. На подступах к Памиру гуляла шайка Ады-Ходжаева. В ущельях Кунгея на реке Чилик, где год назад пролегал наш путь за адресом в Алма-Ату, скопились басмачи Маметбая Тельтаева. Банда Джантая в закоулках массива Хан-Тенгри была неуловима.

Письмами, телеграммами я столкнулся с двумя испытанными друзьями в Москве.

Вовсе лишенный корысти и честолюбия, Валя Гусев был верным товарищем. Всегда взваливал на себя в горных экспедициях самую трудную работу, которую один и мог исполнить. Не раз спасал других от гибели.

Позвали с собой Илью Рыжова, детского писателя. Грустно-веселый Илюша был полон доброжелательности к людям и иронии к самому себе. Другим — улыбка, себе — усмешка. Однажды, помогая вытаскивать меня из провала, он сам туда свалился и, хотя рассек голову в кровь, мог бы выбраться. Но я услышал снизу:

— Илья, вылезай.

— Не полезу, пока не закрепите Николая.

— Лезь, говорят.

— Не полезу.

Вот какие они были. Были — потому что доброго, славного Илюши уже нет. Он убит в начале войны.

Заняли денег где могли. Собрали снаряжение — самодельные спальные мешки, палатку из старого выкинутого парашюта, бельевую веревку в тридцать метров, кустарные кошки для ног, темные очки автосварщиков. Не было у нас ни крючьев для скал, ни рации, ни вертолета, ни капроновых лесенок со ступеньками из дюрала, ни приманки стать мастерами спорта и похвастаться золотыми медалями. Не было чьей-либо помощи. Возможно, она и была бы, но мы не просили.

Выхлопотали отпуска. А банк как раз тогда, с 1 апреля, вводил кредитную реформу. Ту самую, что в Москве готовили на моих глазах.

В июле, когда поток новых бумаг совсем захлестнул, я по просьбе начальства бил тревогу в «Правде Востока», ташкентской газете: «Реформа сорвется, если банк не будет подкреплён дополнительными кадрами...» Читал перед ташкентцами публичную лекцию с тем же призывом. А сам покидал поле боя. Совесть смирял софизмом: ремонт географической карты тоже дело полезное и я готов заплатить за него более дорогую цену, чем за отмену векселей.

Думаю, отпустили потому, что толку от меня было чуть. Все увиде-

ли: кредит не по мне. И без того в душе разброд, а тут еще ошибка в профессии. Столько потерял времени — и нужно делать поворот: кредит менять на географию. Чтобы потом, немного поумнев, вузовскую географию менять на писания. Нелегко выпутываться из тупиков, куда сам забредаешь.

Кто же стал четвертым участником? Зина, конечно. Я уговорил ее без труда.

После мавров и бедуинов она хотела видеть рыцарей в нас. И кажется, я это понимал:

— Никаких опасностей. Мы вынесем вас на руках, если нужно.

Валя писал ей здравые письма: «Смотрите открытыми глазами. Явный риск. Ставка — жизнь. И если Вы дорожите собой, откажитесь от смертельной игры, смените ее тихими долинками, журчащими ручейками, изумрудом, лазурью и прочим».

Она не боялась. Но я-то — подумал ли, что ждет пленницу в руках басмачей, которые густо роились в ущельях Тянь-Шаня на нашем пути?

На этот раз у меня не было ни малейших колебаний. Даже храбрый Калиныч проявил трезвость. А что сказал бы осторожный Хорь? Но он далеко, меня некому было удержать.

Самый безумный, самый преступный и самый правильный поступок моей жизни.

Годы, уроки жизни, материнство, врачевание людских страданий лечили Зину от щеголеватого жеста и нарушения граней...

Тогда ей нужно было выпросить разрешение у мамы. Та потребовала, чтобы среди спутников, кроме мужчин, была еще и женщина. Не дрогнув бровью, дочь ответила:

— А как же, с нами едет Валя.

КОМПОЗИЦИЯ

25 июля мы вдвоем выезжаем из Ташкента. Миновали в поезде Арысь, где год назад была ночная пересадка. Из Фрунзе в кузове грузовика помчались сквозь тучи пыли за двести километров, в Рыбачье, пристань на Иссык-Куле. В прошлом году там был стог под самым небом.

Ждем теплохода, чтобы плыть в Каракол, где сбор и начало экспедиции.

Этот Каракол стал осью книги «Хан-Тенгри». Я хотел сломать линейное описание и после долгих поисков приема раздробил начальный отрезок пути — до Каракола — на кусочки, вставил между ними историю изучения Тянь-Шаня, тоже кусочками. Две линии сошлись в одной точке и в одно время: в Караколе при выходе в горы. В познание Тянь-Шаня вступили мы сами.

Попытка придумать каждый раз новую конструкцию не есть ли для меня средство хоть чем-то заменить вымышленный сюжет? Перешибить неспособность или нежелание создать его?

Так вот и в этой работе. Судьба литератора в чередовании поездов, взглядов, книг и утрат — она забрезжила на фоне юношеских гор поздней ночью, в час крайней усталости, когда казалось, что никакого выхода нет. Да и найден ли выход?

Не знаю про других, а я, только увидев книгу в продаже, начинаю догадываться, как следовало бы ее написать. Человек взял с прилавка, полистал, перевернул взглянуть на цену, положил обратно. Страшно. Вот когда замысел проясняется.

Заставили меня долго сидеть над конструкцией недавние книги о нашей стране. Я уже собирался за них взяться — и последним толчком было письмо от Мары Найдиса:

В Москву

«8 сентября 1963 г.

Дорогие Зина и Коля, привет вам, Миклухо-Маклаи, от друга-домоседа. Правда, мы с Лелей тоже совершили путешествие — на Ривьеру в Сочи.

К сожалению, библиотека здесь бедная. С горя перечитал «Американцев» и «Японцев».

Коля, я вижу, что о чужой стране писать трудно, зато ведь своя как материк. Ты изучал Советский Союз десятилетиями, всюду бывал, в одном Владивостоке, если не ошибаюсь, раз пять. Попробуй дать всю страну шаг за шагом, географические горизонталы перемешай с историческими вертикалями...»

В двухтомнике «Моя Россия» с трудом я отыскивал построение тома «Российские просторы». И придумал вдруг на улице. Такая конструкция, хоть она и небогата, мне в книгах не встречалась. В России одиннадцать часовых поясов, разделяющих страну, — как режут арбуз сверху вниз надольки. В каждом время отличается от соседнего на час. Часовые пояса и стали главами книги — начиная с востока, как катится солнце, «посолонь». Послышалось мне дыхание огромных пространств. «На Чукотке смеркается, в Москве рассветает».

Исторический том «Моей России» легче всего было построить без хитростей — хронологически. Но ведь я не историк, а литератор. Поразмыслив, отказался от хронологического изложения.

Придумал свою драматургию, пытался столкнуть и связать прошлое с недавним. В краткий ход войны 1941—1945 годов, набранный одним шрифтом, вставил напечатанные другим шрифтом рассказы о делах и чертах народа, как их понимаю, — по ассоциации. Скажем, идет речь о разрушении в войне культурных памятников — тут завою насколько могу разговор о культуре от киевских летописей до Прокофьева в музыке, до Гагарина в технике. Рецензент поехидничал: автор заставил читателя не по лестнице спускаться, а по перилам скатываться.

После «Моей России» решил писать книгу о всем Советском Союзе. Писал и раньше, но, думается, хуже. И устарело. Называется «По стопам исполина».

Снова задача — как построить. Измыслил не ахти что. Каждой главе о республиках предпослал — другим шрифтом — рассказ о том, как и когда там бывал. Главы разместил уже не по часовым поясам, а крест-накрест: по извилистым линиям от песчаной косы на Балтике до скал на Тихом океане, от Арктики до Кушки на афганской границе.

Слова в книге об одной стране должны быть трезвыми, без суальности. Иначе не призовешь читателя думать, не воспитаешь гражданственности. Чаадаев говорил: «Человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее».

В «Моей России» писал о таланте, доблести русского народа. Но и привел слова Ленина: «Великодержавному шовинизму объявляют войну не на живот, а на смерть». Старался показать, что хорошие качества русского народа не с небес упали, не присущи ему от века, а выкованы трудной историей, недешево оплачены. И что хорошие качества в сложном переплете классовых отношений спорили с отрицательными.

Книгой «По стопам исполина» хотел дать отзыв на труд вокруг меня. Я видел, как люди живут и работают, видел в тяжелые времена — тесное жилье, скромный обед, мозоли, натертые в жестокую зиму и в палящее лето. В книге есть словесные картины природы и городов, но не это считал главным. Целью было показать страну как арену народного хозяйства. Народное хозяйство — глубокий этот старый, уже примелькавшийся термин.

Цифр в моих книгах почти нет, но я стремился избежать речевой патетики и сильную цифру искал.

«4 и 20». Царская Россия давала примерно 4 процента мировой промышленной продукции, а Советский Союз дает почти 20. Отсюда следует, что наши люди работали напряженнее, чем отмечает цифра среднего мирового уровня, много скопили для страны.

НОВЫЕ ТРУДНОСТИ

В Москве и других городах повыходила уйма книг о краях, о республиках, и я боялся — вдруг там есть, чего не знаю. Нужно прочитать или внимательно просмотреть гору исследований, путеводителей, справочников. Не брал тексты — проверял факты, известные мне, и откапывал факты, которые новы. Книги сын и дочь таскали связками из Ленинской библиотеки — остались корешки требований. Сейчас я их пересчитал. Прежде чем сдать том «Российские просторы», ознакомился с 484 книгами. Ради одной. Не считая журнальных статей. Долгий опыт помог: переворачивая страницу, сразу вижу — где вода, где дело, что пропустить, что читать.

Факты отбирал сурово, но все же обилие их вошло в противоречие с манерой писать кратко. А затея была — громадное разнообразное пространство уложить в одну книгу. В том весь фокус.

Чего же я добился? Наверно, меня трудно читать. Один человек прислал письмо: «Вас читаешь не лежа, а сидя». Другой сказал — не знаю, с одобрением или в осуждение: «Ваши книги обезвоженные».

Вместо того чтобы расчетливо дать читателю немного попастьись на лужайке, продолжаю неразумно гнать его дальше и дальше в чащу леса — леса, если не сухостоя.

Но читать, следить за печатью — работа подсобная. Чтобы написать о стране, нужно во многих местах заново побывать. И не бросить общий взгляд, а открыть детали. Каждое утверждение должно быть подкреплено деталью, иначе оно мертво. Прилетел в Якутск, вхожу в гостиницу — ба, в окне три рамы! Без этих трех рам слова «в Якутии морозная зима» ни к чему.

Я и ездил сколько сил хватало. Сначала один, а потом с Зиной. Но у нее свое дело, наука лечения, почему же она тратила время на странствия со мной?

Поездка в Японию в 1961 году была последней, когда я еще мог не держаться за локоть. В словах «чувство локтя» для меня смысл буквальный и очень печальный.

Завидуют: какой вы счастливый, столько путешествуете. Увы, люди не всё знают. Сечатки почти не осталось, покрылась пигментом — смотрю и работаю корешком зрительного нерва. Вижу только узким лучом. В пределах луча вижу хорошо, но уж слишком он узок. Будто заглядываю в мир сквозь замочную скважину.

Не вижу вбок — потому налетаю на людей, не замечаю ступенек, порогов и притолок, попадаю под машины. Верчу головой, точно бинжом на штативе. Перейти улицу в Москве — задача непосильная.

Не бросая работы или на время ее прерывая, Зина помогала мне

ездить. Был согласован набор сигналов — и недостатка моего никто не замечал: общение с локтем жены так естественно.

Тяжелый над нею навис вопрос. Ведь лишних отпусков добиться трудно.

Из Москвы в Алма-Ату рогным

«4 апреля 1958 года.

...Совсем собралась уходить, но пришла в институт и увидела, что не уйду. Б. был внимателен и заботлив. Все улыбались. Я как-то прощалась с ними, и у меня было гадкое чувство, сознание своей подлости, непорядочности. К концу дня уже все было ясно. Никуда я не уйду.

Забота, собирается Коля через Панамский канал, очень интересно, но как он сможет один, не знаю...»

Уменьшилось поле зрения — увеличились препятствия в работе. Езжу с помощью дочери, которой выпала трудная роль Антигоны.

Когда я впервые пожаловался окулисту, он взглянул сквозь зеркальце на сетчатку и с тревожной жалостью спросил:

— Разве вы не знаете, что вас ожидает?

Прихожу домой подавленный. Но произошло то единственное, что могло меня утешить. Говорю:

— Скоро ослепну.

В ответ без запинки:

— Вот и прекрасно, милый, — ты не увидишь, какая я у тебя буду некрасивая в старости.

ЛЮДИ СИБИРИ

Вся Прибалтика зигзагом на машине. Белоруссия — звездой из Минска, кончая Брестской крепостью. Подряд три пересечения Украины: через Донбасс, по Днепру, вдоль Карпат. И еще Молдавия. Все этажи Закавказья — от моря до склонов Арагаца. Восходящий винт по Казахстану и Средней Азии: песок пустынь, хлопок предгорий, снег вершин. Но больше всего путешествовали по Сибири, год за годом.

Познакомились в сибирском городе с генералом Тарасовым — большой, волосы ежиком. Ездили с ним в якутский колхоз на «иссыгах» — праздник начала лета. Веселая душа — держал смешную речь, пел, танцевал «йохор» на лугу.

Позже далеко на Севере, среди тайги, заходим в избушку аэропорта. В табачном дыму — комиссия обкома. Ночью прислана разобрататься в аварии на золоторудном прииске. Во главе генерал Тарасов. Сам попросил его назначить.

Шли проливные дожди. Пожурил нас, что не в сапогах. Вспомнили якутский праздник, кумыс в деревянных чашах — «чоронах», состязание в беге по-заячьи.

— Якуты-то нас с вами обскакали.

Генерал вежливо пошучивал, Зине говорил любезности, а сам поглядывал в окно.

Коротко рассказал: на руднике в десять вечера разливом снесло мост. Все выбежали на аврал. Ливень, порывы ветра. В поток рухнула ферма — стегнул стальной трос, главного инженера сбросил в реку. Вертолет с утра ищет его тело.

Рассказ был прерван звонком секретаря обкома из-за тысячи километров. Взял трубку — и как на войне, в третьем лице:

— Докладывает генерал Тарасов...

И всё оборачивается к окну. Там бешеная река. Откос пустынного берега. Низкие облака, застрявшие в лиственницах.

— Летит! Наконец-то летит!

Все ринулись наружу, к посадочной полосе, но генерал не двинулся.

Вбегает пилот:

— На косе лежал, у Клюквенной. На самой бровке. Дышит!

Генерал не сказал нам, что главным инженером на руднике работал его сын.

...Наслышались мы про енисейские пороги. Срываясь ниже Кызыла в Туве с Саянского хребта, Енисей падает в узких расщелинах круто и бурно.

На Большом пороге среди лесистых гор, внизу, у дочиста отшлифованных водой и ледоходом скал вечно кипят и ревмя ревут стоячие волны. В половодье поток, добела вспененный, мчится с той же скоростью, как летит лавина автомобилей по улице Горького на перепаде от Моссовета к Телеграфу.

Кажется, совершенно невозможно, но енисейские речники провозили суда сквозь стремнины Большого порога. А плотогоня сплавляли лес там запросто.

Запросто... Моторка экспедиции черпнула на пороге и ушла ко дну со всем имуществом — как ни искали шестами и кошками, не нашли. Водоворот Чангэ, крутя пену, засосал длинный плот, разжевал в щепки. Сорвало паром — «самолет» — с якоря-мертвяка. А вот совсем удивительный случай: снимали гидрологи эхолотом профиль дна — и кривая вдруг нарисовала странный прямоугольный контур: взгляделись — очертания грузовика. Видно, когда-то свалился с баржи или плота.

Но все перекрыто вот чем. Шел плот — летел, скрипел, нырял, перетирал на перекатах гальку. Не изловчились, ударило — и двоих скинуло в реку. Один застрял в валунах, другого стало уносить.

Но не унесло: в руке у застрявшего оказалась проволока — в ней запутался тот, кого волокло течением.

Среди шумящих волн, среди брызг человек, весь в ушибах, уперся ногами в камень — и держит в руке проволоку. Держит товарища, спасает от гибели. Проволока режет палец. Перепиливает сустав. Медленно отделяет фалангу.

А он все держит. Не отпускает. Не хочет разжать кисть.

Удалось спасти обоих.

Попав в Кызыл, мы сразу направились в контору пароходства. Вошли в маленький домик на набережной, около знаменитого обелиска Центр Азии. Вошли мы в домик — там сидят и разговаривают трое. Речники-енисейцы показались нам витязями, заставой богатырской.

— Нельзя ли двоим сплыть по порогам на плотину, или как? Пока в Саянах не готова плотина, пока пороги не затоплены.

Витязи внимательно осмотрели нас, переглянулись, подумали и ответили:

— Нет. С удовольствием бы, да, знаете, никакой оказии не предвидится.

А один лукаво погрозил нам пальцем. Палец у него был короткий, без верхней фаланги.

Как же все-таки писать о встречах людях? Все в точности? Или по совету молодого Паустовского — «в легком сиянии вымысла»?

В рассказе о генерале Тарасове — все истина до последней буквы, кроме фамилии.

Сплыть по порогам мы в самом деле просились, но встречу с тем человеком без фаланги я придумал.

Единственное, что в этой книге вымышлено.

КРАЙНЯЯ ТОЧКА

Влекло нас в глушь, подальше — на зимовки, на уединенные рудники, в поисковые партии, на пограничные заставы, там дни скромнее, но ярче. Я привык к этому миру, и мне трудно жить без него.

Конечно, не забудешь никогда — пересечь в поезде кипящую, густую Ангару по плотине Братской гидростанции, но лучше было промчатся на катере к стройке Красноярской ГЭС и еще до шумного торжества перекрытия следить, как первый самосвал подкрадывается к руслу и сбрасывает туда, в летящий поток, первые камни.

Конечно, хорошо колесить в машине по целинным полям Степного Алтая, но разве не дорожке прилететь из Якутска в Усть-Неру, где Индигирка вздулась от дождей и таяния ледников, снесла паром, тащит вырванные с корнем лиственницы — и вертит твою лодку. Переправиться на другой берег в город — и увидеть тут, под вечной наледью, на «полюсе холода», во Дворце культуры зал в два света и афишу: «Мария Тюдор».

Ведь это же для души чистое золото: летишь вдоль Курильской гряды на островок, а там вся земля — подножье дымящего вулкана. Или — на вертолете с ревом в глубину Камчатки, к гейзерам, и видишь, как внизу среди шеломайника и корявых берез Эрмана, вздымаясь на дыбы и огрызаясь, медведи, бурые страшилища, разбегаются в стороны.

Изъездили страну, как сказано у Маяковского, «отсюда до Аляски». И в другом стихотворении образ повторился: «Отсюда по самый Батум». Он любил географические названия в стихах.

Добрались до Узлена на Чукотке. Сначала летели над океаном, потом плыли на угольщике. Валяются позвонки китов. Чукчи и эскимосы в косторезной мастерской вытачивают оленей и лаек из моржовых клыков зубврачебным буром.

Туда пришел за нами небольшой корабль, и мы поплыли через Берингов пролив к самой восточной точке страны — скалистому острову Ратманова, который издали похож на черный раскрытый рояль. Оттуда-то и видели Аляску.

Корабль пришел во время шторма. Валы надвигались один за другим и с грохотом дробили берег. В метаниях ветра до костей сек холодный ливень. Судно легло в дрейф. Капитаном был выслан катер. Не рассчитывая подойти к берегу, приволокли надувной плот. Море само выбросило его на камни. Матросы исполняли приказ — они и не подумали спросить, согласны ли мы лезть в ад. Помогли натянуть надувные жилеты. Они оранжевого цвета — легче отыскать среди волн, чтобы вытащить. Катер за канат продернул плот сквозь набегающий вал — ноги в ледяной воде по колена, волны через голову. Канат лопнул. Крутились в пене и брызгах. Перелезли в катер.

Я не косился на Зину. Знал, что не скажет: «Переждем». И жилет наденет. И в море прынет.

Катер с размаху било о высокий серый борт, корабль кренился,

раскачивался, но мы ухватились за веревочную лестницу — шторм-трап и взобрались наверх, Зина первая. Там торчал страшный острый брус — поняла, что он не вошел в узенький угол моего зрения и готов размогнуть череп. Свесилась с палубы, одной рукой держится, а другой вжимает мне голову в плечи. И вся команда, не поняв ничего, умирает от хохота.

Длилась настоящая жизнь.

ГОРЮЧЕЕ

В 1973 году, когда я писал эту книгу, пришло письмо из башкирского города Ишимбая:

«Уважаемый Николай Николаевич!

Отвечаем на Ваш запрос. Скважина № 702, давшая в 1932 году первую нефть в Башкирии, находится в числе действующих с суточным дебитом 100 кг нефти.

Секретарь парткома Ишимбайнефти В. Генералов».

Значит, держится, не сдается.

В первой пятилетке долго искали нефть между Волгой и Уралом, чтобы пресечь зависимость всей страны от Баку. И вдруг нашли. Первый фонтан промышленной нефти выбросила скважина № 702 около деревушки Ишимбаево, к югу от Уфы.

Помчался в Уфу. Писал письма домой.

...*Вагон под Уфой.* На рассвете у кассы была давка. Пришел товаро-пассажирский — «максим». Билетов никому не дали. Я залез в вагон и поскорей уснул. Проснулся — гляжу, едем. Сплошные нары, мухи, дынные корки, вишневые косточки. В бок упирается босая нога. Плач грудных детей.

Сейчас прошел контроль — ничего, не придрался. Поезд простаивает на полустанках по часу. Все очень хорошо, тысячи людей и жизнью.

...*Из Стерлитамака.* По Уфе бегал полдня в поисках оказии. Машин нет. Наконец уехал в грузовике.

В нем была домашняя обстановка плюс велосипед. Кроме меня, в кузов набилось 13 человек. Я ехал между комодом и матрацем на одной ноге, вывернутой пяткой вперед. Рядом под письменным столом корчился генетик из Ленинграда, он знает твоего Лобашева, тот же нислся на студентке.

Через четыре часа прибыли в Стерлитамак. Степной городишко. В соборе кино. На улицах мелкие камушки, наверно с Белой. Видны конические горы — шиханы, рифы древних морей. Нефтеразведка отсюда 18 километров. На площади плакат: «Стерлитамак — мировой нефтяной центр».

С 6 утра хожу по городу — как бы уехать на нефть. Машин нет. Если и есть, везут груз.

...*Из Ишимбаева.* Приехал в грузовике вместе с громадным чугунным насосом, в сотни две пудов. Кроме меня, в кузове были еще четверо. На каждом толчке чугунная машина ползала, качалась и прыгала, собираясь ежеминутно перекувырнуться вместе с грузовиком и всех раздавить. Мы суетились, как на палубе гибнущего корабля. Тетка (ехала тоже) вопила. Ответственный секретарь местного Осоавиахима, милый парнишка, на серьезных ухабах выпрыгивал за борт. Было очень смешно, но, ей-богу, жутко.

Возле деревни на широком поле среди холмов вразброску десятков вышек. (Среди них была та самая: № 702.)

Трава выбита и забрызгана. Всюду суставы труб.

Только что приезжал нефтяной академик Губкин, похожий на мужика. Оправдался его прогноз. Говорил, что здесь будет похлестче, чем в Баку. (И действительно, именно здесь родилось Второе Баку, которое вскоре простерлось до Камы на север, до Волги на запад. Сильно выручило во время войны.)

Нет жилищ. Над Белой строят поселок — перевозят и собирают кулацкие избы. Рабочие живут в шалашах, землянках, просто у костров. Сумбурный табор.

Я с ответственным секретарем Осавиахима обитаю в редакции, сплю в комнатухе ноги вверх. За перегородкой клуб, заселенный бабами с малыши детьми, на сцене вместо люстр висят люльки, у ребятшек коклюши и поносы, сплошной вой. На почте на столе аппарат Морзе и швейная машина.

Редактор здешней «Башкирской вышки» — изрешеченный пулями гражданской войны, хромой, полуслепой, чахоточный, весь пронизанный идеями гуманизма. Спать ему некогда.

Тогда моей задачей было огласить в московской газете ишимбаевские прорухи и тем помочь их исправить. Номер «Экономической жизни» пожух с той поры. Требую гвоздей: вышки деревянные. Требую дорог: проселки разбиты. Требую резервуаров: нефть сливают в ямы.

В 1971 году в поездке по Северу, держась за локти друзей, я достиг реки Усы около Полярного круга, в печорской синеклизе. Там рождали новый нефтяной промысел, как когда-то в деревушке Ишимбаево. Дотянулся и до прославленного Вуктыла, откуда идет газопровод «Сияние Севера» с толщиной труб больше метра.

В Вуктыл прибыл уже не в кузове попутного грузовика между комодом и матрацем, а на катере «Стрела», с кают-компанией, кухней на газе и с транзистором «Соната». На берегу Печоры меня встретили люди в белых сорочках, не пожалели времени. Я знал, что будет вежливый прием, и заранее нацепил значки. Не бегал в поисках оказии — на широкой улице, посыпанной песком, уже ждала машина. Никто не заламывал голову, чтобы поглазеть на вертолет, который по небу таскал гигантскую конструкцию, — она вращалась в воздухе.

Поехали по гладкому шоссе. Смотрели, как строят город — сразу каменный, многоэтажный. Для зданий в землю загоняли шестиметровые четырехгранные сваи. Завернули к вышке — бурят сверхглубокую: пять с половиной тысяч метров. Ознакомились с механизированным сбором газа: сложные сплетения труб, моторы, циферблаты. По сухому бетону дороги простукали каблучки лакированных туфель.

Я ко всем приставал:

— Да послушайте, нефть и газ Востока начались при мне! В Ишимбаево!

Улыбались, но впечатления никакого: погружены в свои дела.

Был дан обед. Шиллер никак не шел к рюмке коньяка, к выдержанным тостам, к самоновейшей терминологии в беседе — конденсат, газовая турбина, каротаж, емкость выветривания, коэффициент такой-то. Но все время во мне пробивались великие слова двухвековой давности:

Скажите принцу, чтоб и зрлым мужем
Былым мечтам он оставался верен.

Глава седьмая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ В НЕОТКРЫТЫЕ ГОРЫ

...В Рыбачьем мы двое дождались теплохода «Прогресс Киргизстана» и поплыли через Иссык-Куль в Каракол снаряжать экспедицию. Как море — с западного берега восточный не виден. Вершины, покрытые снегом, — будто глыбы сахара, брошенные на синюю бумагу.

В Караколе, зеленом городке, поместились в караван-сарай с рогами дикого козла на воротах. К столбам привязаны оседланные лошади: киргизы приехали с пастбищ за спичками и солью. Всадницы на коровах — у коров сквозь ноздри продето кольцо. Узбеки в чалмах мечут под язык щепотки табака. В цирюльнях бреют без мыла.

Дунгане в харчевнях едят палочками. Повар, как жонглер, вращает в воздухе комок теста, перехватывает, оно тянется пучком нитей. Удар ножом — и лапша готова.

Мы купили на базаре седла, сбрую, таган, котел, рису, лепешек и четырех лошадей. Смотрели в зубы, делая вид, что понимаем. Наняли в проводники аксакала Орусбая.

Лошадей подковали. Киргизских коней куют как на дыбе — подвешивают и опутывают веревками, чтобы не брыкались. Набили переметные сумы — курджумы.

Двое запаздывали.

Крикнув «чу!», привстав на стременах, перемахивая через арыки, мотая волосами, Зина носилась вскачь по тополевым улочкам Каракола, по дороге к горам с еловыми лесами и вечным снегом, к синей равнине Иссык-Куля.

Внимая «Шехеразаде», всегда с тех дней видел я перед собой Среднюю Азию 1930 года. Высшую пору моей жизни.

Тени от тополей, отблеск арыков. Восток в оркестре и тончайшая нить скрипки, окруженной тысячью голосов и одинокой. Но смысл финала от меня ускользал, хотя Римским-Корсаковым он обозначен: «Багдадский праздник... Корабль разбивается о скалу».

К вечеру мы поскакали на пристань встречать Валентина и Илью — до Иссык-Куля двенадцать километров. Теплоход сегодня задержался — дует санташ, восточный ветер. Я стреножил лошадей, пустил пастись на лугу.

Сначала мы сидели на пригорке, где могила Пржевальского. Орел из металла на сером граните. Распростер крылья над картой Азии, в клюве оливковая ветвь. Зина говорила о рефлексе цели из любимой книги «Двадцатилетний опыт» Павлова. Как англосак ответил на вопрос о главном условии успеха: «Наличие препятствий».

Стемнело. Теплоход придет ночью или под утро. Я сказал:

— Необходимо уснуть хотя бы ненадолго, завтра в путь, а первый день всегда самый грудной.

На сыром лугу постелил кожаную куртку — сшили в дорогу в мастерской на Воскресенском базаре, на том месте, где сейчас оперный театр. Второй курткой прикрылись. Звезды так мигали, будто гасли и вновь загорались. До утра слушал — плещется прибой и фыркают лошади.

КАК СОН

Шуршал прибой. Фыркали лошади.

Я поплыву вокруг света. Корабль покинет ленинградский порт в апреле, взламывая лед, и чайки будут выклеивать рыб из-под кор-

мы, как грачи ранней весной за плугом. Пройду по Кильскому каналу. Пересеку Атлантику, увижу Саргассово море, где вода покрыта пятнами коричневых водорослей. Разрежу Панамским каналом материк Америки.

В Тихом океане дождусь мига, единственного в жизни, — на долготе, противоположной Москве. Там разница двенадцать часов. Донесется «Пионерская зорька» на заре вечерней.

Как у героев Жюль Верна и Эдгара По, в кругосветном путешествии дни не сойдутся: перейдем линию смены дат с востока на запад и потому один день утратим. 29 июня 1958 года вычеркнется из жизни. Тот день прожит мною не будет.

Под сенью вулкана Кракатау со шлейфом дыма на вершине корабль пронизет скопление островов, названия которых звенят во мне с детства: Ява, Суматра, Борнео, Целебес. К тому времени, впрочем, они будут называться иначе. Об их жизни узнаю из повести собственной дочери.

В Индийском океане увижу над закатившимся солнцем редчайшее — зеленый луч, почти несбыточную мечту путешественников.

Пройду через Баб-эль-Мандебский пролив. Вдохну пекло Красного моря. В одном конце Суэцкого канала замечу возле обелиска каменных нубийских львов, а в другом — каблучки на постаментах взорванных колониальных памятников.

Надо льдом Финского залива увижу паруса буеров — плоский треугольник острием вверх. Встречу в Средиземном море палевые паруса праздных яхт. Увижу высокие прямоугольные ветрила Вьетнама. Будут реять передо мною паруса арабов — выпуклый треугольник острием вниз. Запомню паруса Индонезии — полотнища косой трапецией.

На стержень плавания вокруг света накрутятся и другие пути. Увижу редкости, знакомые по книгам: стену Гималаев, погасший вулкан Аконкагуа в Южной Америке, Айя-Софью в Стамбуле, вершину Фудзи, каменную голову с острова Пасхи. И многое: византийские купола Болгарии, пагоды Японии, готику Германии, волнистые аркады Румынии, квадратные домики Венгрии над Дунаем. Не забуду гранит Швеции, пески Монголии, эвкалипты Уругвая, виноградники Сан-Марино, араукарии Анд, тюльпаны Голландии, желтые тоги бонз в Пном-Пене. Войду в мавзолей Тадж-Махал в индийской Агре, в Пражский Град, в римский Пантеон, в лондонский Вестминстер, вацингтонский Капитолий, венецианский Дворец дождей, под колонны Парфенона, посмотрю на стадион Маракана в Рио-де-Жанейро, на Нью-Йорк и Сан-Пауло с наивысших небоскребов.

Обойду Лувр, Британский музей, Ватикан, Дрезденскую галерею, остров музеев в Берлине, Уффици во Флоренции, развалины Помпеи, музей Ватерлоо под Брюсселем, дом Гёте в Веймаре и Шекспира в Стратфорде, дворец богдыханов в Пекине.

Услышу посвистывание на улицах Парижа, гомон мальчишек Неаполя, крик муэдзинов в Египте, орган с почти человеческим голосом в польском городке Олива, прерванный татарской стрелой зов трубы с колокольни в Кракове, шум Ниагарского водопада, позвякивание гитар на лондонской улице Карнаби, испуганную самбу в Бразилии.

Едва не угодим в Средиземном море в бучу войны — иноземные порты будут слать сигналы: «Безопасность не гарантируем», а Москва каждый час спрашивать: «Сообщите координаты — где вы?» У Тайваня за нами будет следить перископ подводной лодки, а в Панамском канале на борт залезет взвод американской морской пехоты.

В южной части Тихого океана англичане будут взрывать в те дни

водородные бомбы, и японский институт метеорологии оповестит, что вредоносная радиоактивная пыль долетела и проливается с дождем, а мы идем как раз в пелене дождя.

В Красном море поплыву со старпомом в шлюпке к встречному судну за мореходной картой — мы приблизимся к борту, когда суда с грохотом столкнутся, один другому нанесет пробоину, едва успеем выскочить из ущелья между двумя высокими черными стенами, которые будут грозно сближаться, чтобы раздавить нас, как скорлупку.

Зайдем на Кубе в порт Сантьяго за грузом сахара. Там, у склонов Сьерры-Маэстры, нас окружают сражения революционной партизанской армии с диктатором Батистой. По горным дорогам мчатся танки, пикируют самолеты, на лафетах везут убитых, склад нашего сахара горит. У причала за судном будут следить солдаты с автоматами.

Все же я решусь съездить на автобусе в городок Мансанильо — на ура. Посмотреть страну. За окном в распаренном воздухе будут колебаться длинные листья сахарного тростника, мелькать кокосовые орехи, гроздь бананов и колючки кактусов. Конные пастухи с острыми звездочками шпор погонят горбатых коров, похожих на зебу. Ей-богу, так заманчиво — войти в салун и бросить чернокудрой хозяйке: «Буэнос диас, сеньора!»

Сердце будет екать: спросят «кто ты?» — и канешь как в воду. На дороге встретят в джипе батистовские солдаты в боевых касках. У каждого автомат и револьвер, на поясе граната. Один будет курить сигару чуть не в пол-аршина, другой чистить кинжалом и кусать ананас. Они остановят автобус и перероют у негритянок, курчавых смуглых подростков, у молодой белой женщины с тяжелыми серьгами все мешки и чемоданы до самого дна. Я в конце автобуса — до меня, слава богу, не дойдут.

В пустыне, в Центральной Азии, буду садиться в самолете на аэродром, закрытый туманом внезапной пыльной бури. Земля окажется ближе, чем думал пилот, — воткнемся в нее с сильным ударом, вдребезги поломав шасси и крылья, раскровенившись.

Именно так все и будет.

Напишу какие-то книги. Не так, как хотел бы. Хуже, чем мог бы. Каждая что-то даст. И что-то унесет.

В книгах отразится судьба: ездить, чтобы видеть, как мир в руках людей меняется. Как пространство меняется во времени.

Пройдут года — и я повторю слова царя Креонта, отца Эвридики — нимфы из мифа:

Видал: менялся лик Земли,
И жизнь прошла как сон.

А потом вольтова дуга перекалится, вспыхнет пожар, и вся цветная пленка сгорит.

Из дневника.

«...Вчера ночью светилося на западе — на Филиппинах извергаются вулканы.

Проходим глубочайшую океанскую впадину. Почти одиннадцать тысяч метров. Марианская, кажется, поглубже. Но это еще надо доказать. Пишу сейчас — будто акт составляю.

Ходил, думал, обыскал всю каюту — нечего бросить. С трудом нашел: капсула электрической батарейки, тягелая. Вложил записочку. Затолкал сухие, уже ломкие лепестки нарцисса — купил Зине на углу Невского и улицы Желябова, один стебелек оставила в каюте.

И, таясь, швырнул капсулку в море. Упала в пену у борта, и мы пронеслись. Теперь ляжет на самое глубокое место в мире. В мире! Черта с два, если еще кто-нибудь до этого додумывался!

Если капитан Качарава узнает, меня упекут в сумасшедший дом. Впрочем, Зину он видел.

Сплющенный комочек металла и пластмассы ключом идет ко дну. Сколько ему идти одиннадцать километров в сплошной воде? Что там? Ужасные рыбы из одной только пасти! Светящиеся зубастые чудовища! Непознанный, невероятный мир!

С ходу сглотнут рыбы? Не беда! И рыбы смертны. Рано или поздно молекулы моей записочки опустятся туда, откуда никому не достать.

Листок свернут в трубочку. Написано имя — не века, а мириады лет будет жить оно в самом сокровенном месте на свете.

Восточнее острова Минданао, на траверзе горы Туана, у бухты Лианга.

Океан очень тих.

6 ноября 1962 года газеты напечатали: английский корабль «Кук» в той впадине Минданао, к востоку от Филиппинских островов, нашел глубину 11 523,5 метра. Цифра оказалась ошибочной. Но этот «Кук» там шарил!

ПЕРЕВАЛ

Экспедиция собралась. Перед постоянным двором мы четверо скребем ножом исподнюю сторону потника, трем лошадиную спину рукавом, седлаем, вьючим — и караван выступает. По иссык-кульской котловине, мимо маковых полей, с компасом и с картой 1912 года, неточной. Новее не было.

В конце дня по ущелью реки Тургень углубляемся в горы.

Голубая вода прыгает с камня на камень. Ее шум меняет тона с каждым поворотом тропы. Стремена ударяются о скалы. Пахнет еловой смолой, дымом кочевий. Свистят сурки, как птицы.

Вчера — теплынь и листья... Сегодня — холод и хвоя... Завтра — мороз и мех.

К исходу пятого дня поднялись на водораздельный хребет, где перевал Чон-Ашу. Остановились. Перед нами снежный массив Хан-Тенгри. Из хаоса гор острый клык вонзается в небо.

Сердце бьется, когда смотришь отсюда. Странно подумать, что можно проникнуть в такой высокий кристальный мир. В природе нет ничего красивее снежных хребтов вдали.

Под горой по широкой обнаженной долине течет свинцовый Сарыджас. Сверху ясно видны шумные, ревущие пороги, но кругом полная тишина — так далеко они внизу.

Вон тот бугор, где мы с Валею год назад томились в плену. Как будто никого.

Спускаемся. Ночь у костра. Огонь виден издалека, виден он и басмачам...

Утром, когда меньше воды, — брод через Сарыджас. Река катит камни. Гуже подпругу. Крепче вцепиться в гриву.

Лошадь сходит в воду. Волны достигают седла. Бурлит, крутит, сносит. Конь оступается... Вдруг рывок вверх — берег. Говорят, сейчас там построен мост.

Поднимаемся вверх по долине Адыр-Тор. С ледника Мушкетова тянет холодом.

Оставляем проводника с лошадьми нас ждать и вступаем на лед.

Кошки скрипят. Где ползком, где прыжком; веером расходятся трещины. Гладкий наст — и вдруг черная щель без дна. Срез синего льда. Частокол сосулек. Сбить их ледорубом — они ломаются, летят

вниз и звенят на все лады: толстые — звоном низким, тонкие — высоким, пожалуй мелодичным. Трещина их пожирает без всякого следа. В трещине — мрак.

Ночью ручьи цепенеют. Среди тишины где-то обвал. Лопнет лед. Сорвется камень, разобьет ледяную корку на замерзшей лужице и булькнет. К утру на воротнике иней.

Направо — хребет, вереница пиков. Ветер взвивает на вершинах снежную пыль — будто курится белый пар вулкана. За хребтом — сначала озеро Мерцбахера, а потом неисследованная область.

Катим кружок бинокля по контуру хребта. Крутизна, обрывы, ледяные навесы. Тупик, тупик. Но вот тут как будто можно попробовать. Вдали, в глубине бокового ледника, усмотрели седловину.

Ранним утром — туда, вверх, сначала по льду, потом по сухому мучнистому снегу.

Прошли лавинное поле. Злой приглушенный шорох, шипенье, безудержный слепой шквал, летучие клубы снежной пыли... Сила лавин вызывает восторг вместе с ужасом.

Идем по следу лавины: взрытые глыбы снега вперемежку с камнями дорожкой на склоне донизу — здесь она легла. Может быть, вчера, может быть, час назад.

Мы идем и идем.

К вечеру — седловина. Какова же она? Ледяная стена высотой с двадцатипятиэтажный дом, с боков острые пики. Лишь наверху почти отвесный вал закругляется. Под стеной ослабилась трещина. Зина с досады бросает варежку под ноги — и та сразу укатывается далеко, в самый низ.

Высота — не только недостаток кислорода и сердцебиение. Это жуть и самодовольство, подавленный инстинкт страха: земля стоит боком, зевать нельзя.

Сказала нам:

— Довольно говорить друг другу вы.

Ночь в снегу — и на рассвете начинаем подъем. Нашелся снеговой мостик через трещину. Безрассудно-уверенный Гусев рубит ступени. Он знает, что надо ставить перед собой невыполнимые задачи.

Ледяная стена внизу выпукла, поэтому приходится вырубать не только ступеньки для ног, но и карманы для рук. Летят брызги льда. Снизу казалось, будто муха ползет по стене.

Конец веревки соскользнул вниз. Перила готовы. Я подошел к стене. Взялся за веревку, стал ногой на первую ступеньку. Зацепился сверху острием ледоруба. Полез вверх, прильнув к стене всем телом.

У меня и Рыжова кустарные шипы на ногах вчера разогнулись в стороны, пришлось кошки бросить. Без них трудно на льду.

Оглянулся. Вверху — гладкая ледяная стена уходит в небо. Внизу ее подножья не видно. Обрыв. Глубина.

Носок вдруг выскользнул из ледяной ямки. Тупые гвозди на подошвах служат плохо. Повис на веревке. Ногами нащупал ступеньку. Оперся. Полез дальше.

Веревка легла по стене два раза. Значит, шестьдесят метров. Двести ступенек.

Вспомнить страшно, но там были простые минуты. Думали не о жизни, висящей на пальцах. Злился кусочек льда, запавший в воротник. Хотелось пить.

Илья поет:

Без кого б застряли
На этом перевале?
Застряли бы без Вали.

Ко всему привыкаешь — к зиме летом, к погребу на чердаке, к стране без людей.

Наконец к вечеру все четверо взбираемся наверх. Но перевал ли это? По ту сторону туман. Вернее — мрачные тучи.

Анероид показал почти пять тысяч метров. Если он верен — выше, чем Ушба. Да, пожалуй, и немногим легче. Давление четыреста миллиметров. Половина атмосферы лежит ниже нас.

Не отступать же. Вперед и вниз.

Сначала по узкому камину, затем по отвесной скале. Полустоим, полувисим. Разрушенные сланцы отваливаются и с шумом летят вниз, в туман. Скала шелушится.

Едва спустились на пологий снежный склон. Уже темно. Мороз минус шестнадцать. Кое-как врыли палатку. Лезем в спальные мешки. Их только три — четвертый потеряли. Нам с Рыжовым один мешок. Очередь Ильи лезть первым. Влез. А я забрался лишь по пояс. На мне шерстяная рубашка, свитер, кожаная куртка.

От усталости глаза смыкаются, но как уснуть? За палаткой воеет ветер. Густой снег бьет в крышу и шуршит. Дремлю, дрожу. Потом кое-как пригрелся и заснул.

Илья пошевелился и разбудил меня. Снаружи скрежет, свист. После сна до жути холодно.

Рядом в мешке лежит Зина, прикрытая кожанкой. Если я натяну на себя кусочек ее куртки? В этом не будет ничего дурного. Я без мешка совсем замерз. Хотя бы краешек... Протягиваю руку, беру полу куртки — и чувствую частую-частую дрожь. Зина дрожит, как струна. Касаюсь лба — горит. Это лихорадка.

— Тебе холодно?

Ответила бредом:

— Как ты думаешь, кто больше съест бубенчиков?

Болного человека перетащить через отвесный перевал нельзя. Заболеет один — перевал закрыт для всех. Мышеловка захлопнется.

Прикрыл Зину еще и своей курткой. В темноте нащупал банку сухого спирта. Долго не мог зажечь — отсырели спички. Потер спичку о волосы — зажглась. Спиртовка загорелась. Между собой и Зиной поставил таганчик на снег. На снег — потому что наша палатка без пола. Наскроб в кружку из-под бока.

В рюкзаке лежал аварийный пузырек девяностоградусного спирта. Потянул. Проволочный треножник нагрелся, растопил под собою снег, и достаточно малейшего толчка, чтобы все сооружение свалилось. Пламя взвилось к потолку, разбежалось по палатке. Волосы мои опалились, затрещали. Схватил кожанку, накрыл огонь, потушил. Снова поставил таганчик, снова зажег. Нагрел четверть кружки теплой воды. Налил четверть кружки спирта. Еще нагрел. Зина выпила. Отдал ей свой свитер.

Перестала дрожать и уснула.

На часах двенадцать ночи. Огонь согрел воздух, и первое время мне не было холодно в шерстяной рубашке.

Потом ветер выдул тепло, и я стал зябнуть. Лежал, растирал замерзшие плечи и ляггал зубами. Так прошла ночь.

Буран утих. Зина проснулась здоровехонька.

Что увидели — второй раз не увидишь.

Вокруг в лучах морозного солнца громоздились осыпанные снегом горы — одна другой выше.

Мы там, где хотели быть. Вот она, неисследованная область, земля, где до этого года никто еще не был! Она видна от края до края: пик Хан-Тенгри, как клин, вогнанный в небо, внизу ледник, как

змея,— и озеро Мерцбахера. Зеркало, упавшее в снег и ярко сверкающее.

Озеро на этот раз позади!

Мы не знали в тот миг, что наш друг Суходольский, участник такой же отчаянной самодеятельной экспедиции, внизу, распластавшись, пробирается над озером по нависшим скалам и уже пробрался.

Мы не знали, что наш поступок, смелый до глупости, не будет забыт. Не могли и подумать, что горы и ледники, на которые смотрим, получат через тридцать пять лет имена первооткрывателей, включая и наши. Не знали, что снежная вершина прямо перед нами — пик Валентина Гусева, скалистый конус с плечом — пик Ильи Рыжова, белый поток, с него сползающий,— ледник Зинаиды Косенко, снежная трехвершинная гора — пик Николая Михайлова. По высоте от уровня океана эти горы лишь немногим уступают Эльбрусу.

У поэтессы Маргариты Алигер были однажды тяжелые дни, ее сильно поругали в газете. Вдруг звонок в дверь — незнакомый человек пришел утешить:

— Вы еще не знаете: на Курилах вашим именем названо озеро. А о своем леднике Зина узнать не успела.

Пришла пора возвращаться. Поднимаемся на перевал по откосу, по скалам. Но сил уже нет. Измученные бессонными ночами, высотой и голодом, мы едва плетемся.

Взобрались под вечер. Стоило показаться над перевалом, как ураган налетел на нас. Зимний шторм, пронизывающий. Будто мы на крыле аэроплана, который в высоком небе мчится сквозь пургу.

От ветра брызнули слезы, замерзая на ресницах. Мы сжимали веки, чтобы растопить колющие кристаллы в глазах.

С Илюши сдуло шапку, повязался полотенцем. Вместо потерянной варежки Зина носила на руке шерстяной носок — сняла и снегом оттирает оконеченные пальцы. Я лежу плашмя и тупо сосу снег — мучает горная болезнь. Один Валя еще бодр.

Мы разбиты неожиданным морозным ураганом, а нам предстоит сейчас самое трудное — спуск с ледяного утеса в сумерки. Вертикаль будто натерта стылым маслом.

Зина взялась за веревку, скользнула вниз. Водит рукой по стене, отыскивает ступеньки, засыпанные снегом.

Ветер свистит, снизу не долетает ни звука. Оступится — сорвет Валентина: он держит конец веревки.

Письмо Ильи Рыжова Зине в Ташкент

«Октябрьские лагеря,
26 сентября 1930 года.

Аман, аман, кызынка!

Перебираю фотографии нашей экспедиции. Почти с каждой на меня смотрит лицо смуглой горной девы. То она смеется, эта дева, опираясь на ледоруб. То она стоит на камне у бурлящей реки. Начиная припоминать — а-а-а! Верно, была с нами такая. Обещала написать письмо. Обманула, товарищи. А ведь такие правдивые глаза.

Я незлобив, пишу сам.

Не люблю нахваливать в глаза, но приятно сознавать, что со мной путешествовала женщина из высокосортного нержавеющей материала, настоящей человеческой породы.

Кош, кош!
Кызыл-мурун, басмач».

Можно следующему! Я вылез из снега, встал на ступеньку, шаг за шагом пошел вниз.

Веревка оледенела, перчатки оледенели, пальцы отморожены, ноги без кошек срываются, внизу черная трещина. Сжал пальцы изо всех сил. Чуть не зубами вцепился в веревку.

Но вот мы двое уже под стеной. Осталось пройти каких-нибудь три часа до нашего бивака на леднике Мушкетова. Там запас банок с сухим спиртом и консервы. Зина говорит:

— Чтобы им спуститься, нужно не меньше часа. Чем нам мерзнуть тут, пойдем-ка в лагерь, встретим их горячим ужином.

Пошли. Снегу нападало много. На крутом откосе мы будто плыли в нем. Быстро спускались. Но вечер спускался быстрее.

Почти в полной темноте миновали зону лавин. Путь стал более пологим. Наступила ночь, когда мы подошли к полосе трещин.

Прощупывать снег ледорубом не удавалось — острие не достигало льда. Но чем ниже по леднику, тем снега меньше. Еще шаг, еще. Вот наконец ледоруб проткнул наст насквозь и весь ушел вниз. Это трещина, занесенная снегом.

В первый день на льду, когда сил было много, с трещинами мы забавлялись. Скакали через них. Свергали туда камни.

А какой глубины здесь трещины? Конечно, это не памирский ледник Федченко, чемпион ледников, но все же. Там было метров триста.

Я благоразумно сел в снег, отдышался и сказал:

— Идти дальше, не связавшись, нельзя. Будем ждать наших. Только бы не потеряли веревку.

Вот что услышал:

— Да уж не трус ли ты?

— Безумие!

Я бросился вперед.

Мы прошли бесчисленное множество трещин — и зиявших и закрытых. Прощупав края ледорубом, можно было перешагнуть или обойти.

Внезапно снег кругом осел, зашипел, я потерял опору и шумно рухнул вниз. Наверно, тогда уже плохо видел в темноте.

Летел, закрыв глаза. Лед царапал лицо. Звенели сосульки. Снизу дохнуло холодной сыростью. Мысль молнией: глупый конец у обоих.

Вдруг резкий удар — и я застрял. Обрадовала меня не остановка в падении — я не думал, что надолго. Но шум сразу затих. Лишь далеко внизу звенели сбитые сосульки. Значит, она не летит за мной.

— Зина!

— Жив? Боже мой!

— Ты наверху?

— Да.

До голоса недалеко, метров десять.

— Очень здорово вышло! Сижу, как пробка в бутылке. Нехорошо только, что тут сквозняк. Кричи, чтобы наши тащили веревку.

Осмотрелся. Полный мрак. Левая рука свободна, но пошевелить ею опасно. Может быть, я едва вишу и сорвусь дальше при малейшем движении.

Тихо-тихо — так эквилибристы отнимают руки от предмета, поставленного в равновесие, — ощущал себя. Ничего не сломал. Правая рука держится на ледяном выступе. Пальцы сжимают ледоруб. Ноги висят в пустоте. Сзади, во что-то упираясь, меня поддерживает рюкзак.

Прислушался. Сосульки звенят едва слышно далеко внизу. Если бы не заплечный мешок, не сужение трещины, в котором заклинился, мне быть бы вместе с ними.

Зина звала на помощь.

— Отвечают?

— Нет.

Я висел в ледяном гробу. Ноги затекли. Изогнутое тело невыносимо болит. Наши на перевале запропастились. Что-то уж очень долго нет их — может, и они попали в ледяную ловушку?

До самого близкого селения сто километров, ждать помощи не от кого. Да и веревка не так уж длинна.

...Зина ставила ноги в мои следы, шла в четырех шагах позади. Вдруг я исчез.

Подбежала — черная дыра в снегу и звон обломков льда.

Донесся слабый, сдавленный, еле слышный голос — дрожащий, нарочито веселый...

Стала кричать.

Молчание. Ночь. Одна у страшной дыры.

— Скорее, скорее, он еще жив!

Я слышу: Зина плачет.

Зина, Зобеида, Зея, Замбези, Зангезур! В Москву из Ташкента я вернулся уже не один.

Вернулся другим на прежнее место — в старый домик на склоне к Яузе со скрипучими половицами, с голубыми изразцами.

Куда сразу делась душевная тоска, игра со смертью, немота? За три недели написал книгу «Хан-Тенгри». С посвящением: «Спутнику, связанному со мной горной веревкой».

Никогда не работал так быстро — ни раньше, ни позже. Все прочие книги давались с трудом, эта написалась сама. Такой свежести я уже больше никогда не смог достигнуть.

Написал — будто расквитался. Безумие гор исчерпал.

Найдис уже вел дела серьезные, государственные: в финансовом ведомстве планировал вклады и займы. Гусев чертил проекты зданий с красивым фронтоном и продолжал год за годом покорять вершины Тянь-Шаня, я без зависти провожал его на Казанском вокзале.

Летом 1931 года при переправе на плоту через Кафирниган был пойман Ибрагим-бек, а затем к пограничникам попали Джантай и Касым. 11 сентября 1931 года Погребецкий с двумя друзьями впервые взошел на вершину Хан-Тенгри. В 1932 году геодезисты с помощью Гусева и Рыжова сняли подробную карту неисследованной области, куда мы стремились.

Все равно. Другая жизнь.

Шах-и-Зинда, Зигальга, Званка, Зюльфагар!

ЧЕРСТВЫЕ ИМЕНИНЫ

Мне было двадцать пять лет. А потом мне было шестьдесят.

Жил, как всегда, впопыхах. Кончил книгу «С планетой вместе» — обо всем мире и об океанской впадине. Среди других получил поздравительное письмо от географической писательницы Ганейзер. Ответил — и изумился. Наверно, и она была поражена.

Книга за книгой. Благополучный юбиляр. Новый орден. Физиономия в «Литературке». А вырвалось: «...Мы с Вами делаем не то, совсем не то. Нужно путешествовать не вокруг себя, а в себе самом...» Галина Евгеньевна, поищите, может, завалялось среди бумаг.

Не то, не то! Снова боль по утрам. Все мои книги, быть может, внешние? А где же внутренняя?

Как всегда бывает, о чем думаешь, то и вычитываешь. Или извлекаешь из памяти. Так и лезли в глаза опровержения путешествий.

Зачем понадобилось читать книгу «Бернард Шоу» Эмриса Хьюза? Шоу возвратился из кругосветной поездки. Его спрашивают:

— Скажите, на вас что-нибудь произвело большое впечатление во время путешествия?

Шоу отвечает:

— Ничего. Одно место очень похоже на другое.

— А люди?

— Все они человеческие существа, и больше ничего.

Читаю у Генри Торо, американского моралиста прошлого века: «Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре».

А Гёте! «Чтобы понять, что небо везде синее, не надо совершать кругосветного путешествия».

А Бранд у Ибсена! «Внутри! Я понял! Внутри! Вот слово!.. Сердце — вот наш шар земной!»

Боже мой, и Козьма Прутков, родимый! «Полезнее пройти путь жизни, чем всю вселенную».

Я не целиком им поверил. Подозрительность меня удержала: что-то уж слишком настойчиво путешествия они отвергают. Видно, ценность его втайне признают. Я не вполне им поддался.

Но и не вполне их доводы отринул, как сделал бы раньше. Не отринул — потому что сомнения снова грызли душу, искали решения.

Путешествие, черт возьми, — не эгоизм ли, хоть и самый невинный?

И не слишком ли дело опошлено? В одной стране видел круглые бумажные салфеточки с дыркой, сквозь которую продевают ножку пивного бокала, чтобы пена не лилась на скатерть, — на кружочке изречение: «Путешествия дарят жизни красоту».

Судьба, слава богу, позволила мне почти всегда, хоть и не без усилий, делать то, что для меня интересно. Я ездил. И ездил дважды: по земле — и когда писал. Второе переживание по яркости у меня слабее первого, но оно радость тоже. Даже короткая справка «где что». Вожу пальцем по карте, пером по бумаге — еду, еду! Вижу, вижу все.

Вижу весь ландшафт — и как один переходит в другой. Череда мест, бесконечная цепь деталей...

В чем же я ошибался? Наверно, когда писал, не очень задумывался, путешествует ли со мной и читатель. Был слишком уверен, что он видит полноту той же картины. А видение мое и видение его, боюсь, не вполне совпадали — ведь я писал коротко и называл немногое. Хорошо, если у взявшего книгу та же страсть странствия, а вдруг нет? И правильно ли я отбирал?

Думаю, во мне Гусев и Найдис друг другу помогали — помогали воспринимать и рассудком и сердцем. Но передавал ли я такое восприятие читателю?

Вот, скажем, пишу, как плыл по Амуру. Вижу, слышу все. В протоках — «разбоях» — на лозняке клочья засохшей тины после летнего паводка. По берегам ходовые и створные знаки — справа красные, слева белые. Растопились от солнца черные черточки вара меж досок на палубе и пахнут дегтем. Киселевка, Тахта, пристань Маго... И еще я вижу вместе, слитно тысячу предметов и качеств. И наивно думаю, что читатель видит точно то же, что и я.

А до него, пожалуй, доводил я только помянутое, только отдельное. Что-то, конечно, он воссоздавал. Но доносил ли я атмосферу?

Весь этот вид? Дрожание поручней? Этот азбучный опыт: на носу ветренее, чем на корме? Запах жареного ромштекса из камбуза? Весь этот мир?

Когда-то я понял: путешествие не литература, если нет путешественника. Простая мысль, а сколько потребовалось труда, чтобы ее уразуметь и применить. Стал тогда искать свое «я» в пути. Значит, стал искать и «я» читателя.

А теперь начал думать: почему же «я» — лишь в пути?

Путешествие есть жажда пространства, но, если хотите, и одна точка — пространство. Атом пространства. Не будь точки, не ощутить бы нам просторов.

Душа-то ведь ведет свою жизнь в одном месте — в себе самой. А я мыслил территориями. Меня что-то уносило от излучин души к излучинам реки. И я и читатель удалялись в пространство, вовне.

Шел я, шел — и опять, как тогда, давно, оказался перед озером в неведомых горах. Ну же! С риском по отвесной скале. На скользкой льдышке, гребя ледорубом. Через неоткрытый перевал. Ведь кто-то перевозмог. «Да уж не трус ли ты?»

Где же в моих книгах борьба за достоинство личности? Где жизнь идеалов? Где различие средства и цели?

Возможно, поздний путник подходил к повороту дороги. Возможно, я подбирался к попытке написать что-то другое, по-иному. Кто знает — может быть, напрягши все силы, я сумел бы чего-то добиться.

Но спираль вдруг сломилась — и способность писать я утратил: Зина умерла.

Снова проник в глубину Тянь-Шаня. Снизу не видно — взобрался с нарядом пограничников на перевал Чон-Ашу. Мне нужно было взглянуть на пик Хан-Тенгри.

В ущелье реки Тургенъ, на старом нашем пути с Хан-Тенгри, с ледника, отыскал косогор, где стояла та кочевая юрта. Как войдешь в горы со стороны иссык-кульской котловины — направо. Шум воды, трава, вверху лес. Тогда с вечера посреди юрты трещал костер, снаружи было видно, как огонь мерцает за дырявой кошмой. Внутри на стенке висел мултук — кремневое ружье с раструбом. Ночью крапал дождь, сквозь незадернутый тундук он погасил угли очага. В темноте кисло пахло кумысом и сырым войлоком... Нет. Нет. Лишь тихое прикосновение пальцев к моему лицу.

«Для вас, мой бедный друг, счастье недостижимо, как Северный полюс, а я уже возвратился оттуда».

Аристуло Эчегарай.



ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ



УГОЩАЮ РЯБИНОЙ¹

Я притянула ветку
и отщипнула кисть.
И вдруг откуда-то сверху
слышу:
— Поторопись!
Выбрала самый длинный
путь —
так ступай скорей...
Угощаю рябиной,
больше нечем, ей-ей.
Нет ни водки, ни хлеба.
Понимаешь, скандал:
раньше богатым не был
и еще обеднял.
Но богатство, поверь мне,
для поэта — хомут.
Дорого только время,
всех дороже валют.
Что-то на свете вашем
эти слова не впрок.
Жил Александр Яшин —
время мотал как мог.
Что я с собой лукавил
(«Не моя, мол, вина...»),
понял,
ложась под скальпель
самого Блохина.
А душа половинной
долею не сыта.
Угощаю рябиной
я тебя неспроста:
знаю, что много тягот,
что с родными разлад.
Наломай зимних ягод —
может быть, исцелят?

¹ Так называется один из рассказов А. Яшина.

Хороши от угара,
от тоски хороши.
Не разменивай дара,
плюнь на все и пиши!.. —
Чтобы с волнением сладить,
долго держу во рту
горькую эту сладость,
красную черноту.

«УХОДЯЩИЙ ОБЪЕКТ»²

У вас первоклассный обед,
но мы к вам пришли не за этим.
Ваш гость — «уходящий объект»,
и мы его больше не встретим.

Навек завербован в бойцы,
он в войске особого рода.
И трижды на сердце рубцы
все с фронта,
все с фронта,
все с фронта.

Рубцовая ткань — как броня.
Но только поглубже не трогай:
такая стоит польнья
под этой обманчивой коркой.

А список его послужной
закроется разве что смертью...
Напрасно он спорит с женой,
бессменной сестрой милосердья.

Все правильно — правду в глаза
не режут с его-то здоровьем.
— И водки ни капли нельзя,—
твердит она голосом вдовьим.

Но, сделав привычный укол,
вдруг вспомнит:
он создан для риска!
Летавший всю жизнь высоко,
неужто он сядет так низко?

Красив он, как перед венцом,
берет и гитару к тому же,
и женщина с горьким лицом
глядит с обожаньем на мужа.

² На языке кинематографии — все то непродолжительное в жизни и природе, что надо успеть вовремя отснять.

Как жаль, что бессмертия нет.
— Прощайтесь! — морозом по коже.
Мы все — «уходящий объект»
и жизнь, если вдуматься, тоже.

Наш опыт в кино невелик,
но сладко бывает и грустно
какой-нибудь бросовый миг
возвысить до правды искусства.



О ЧИ Е Р К И И М А Ш И Н И Х Д Н Е Й

ВАСИЛИЙ КОЖУШКОВ,
*бригадир отделки стана «1220»
Челябинского ордена Ленина
трубопрокатного завода*



МЫ — ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ

Время обеда, но цех не замолкает и не пустеет: без остановок, размеренно движутся по рольгангам громадные трубы, гул катится по длинным пролетам; только людей поубавилось, хотя у нас и так обычно немногочлюдно.

Еще несколько лет назад в цехе было много рабочих, продукции выпускалось значительно меньше, работали тяжело да с остановками. А сейчас... какие там остановки! Уж на обед, казалось бы, можно остановиться. Но пауз нет, смены передаются на ходу, как эстафета, и день и ночь, из недели в неделю, месяц за месяцем тянутся трубы.

Припомним карту, на ней линии, обозначающие нефте- и газопроводы, которые пересекают страну и границы: эти тысячекилометровые магистрали начинаются здесь, у нас.

Обедаем по очереди, сменяя друг друга, и на двадцать минут оказываешься то машинистом гидропресса, то плазморезчиком, то станочником, в зависимости от того, кто ушел обедать. Необязательно, конечно, но лучше, если бригадир умеет работать на любом месте.

А меня эти сложные машины притягивают, радуюсь любому случаю узнать их поближе: новая техника всегда вызывает любопытство.

Ушел на обед плазморезчик, сажусь на его место. 20 тысяч градусов мгновенно раскаляют сталь до восковой мягкости, и струя воздуха обрезает край трубы ровно по окружности. Смотришь в визир рамки, словно стрелок в прицел. Промазать нельзя — брак.

Не знаю, как у других, — у меня появляется азарт, будто в тире. Не замечаю времени: кажется, только сел, а уже оператор с обеда вернулся. Даже сожаление появляется.

Отправляю трубу на следующую операцию, уступаю место хозяину, сам иду за трубой вдоль потока.

Я много лет работаю в цехе, вся его техника создавалась на моих глазах. Похожие на согнутые руки овальные сбрасыватели бережно подняли и уложили в пресс двенадцатиметровую четырехтонную трубу. А только отошли — трубу так же бережно и плотно обняли штампы пресса: раздался глухой удар, словно волна в берег. И действительно, хлынула и пенисто опала вода.

В гидропрессе вода под давлением в 90 атмосфер одним ударом заполняет трубу, выравнивает ее, расширяет до строго заданного диаметра, придает форму идеальной окружности — и одновременно испытывает трубу на герметичность.

Отпускаю на обед машиниста, сажусь в его вращающееся кресло. Рабочие тоже подменяют друг друга.

Помню цех совсем другим, завод помню другим, потому что работаю здесь вот уже скоро тридцать лет.

На Урал я прибыл сразу после войны, в первую осень сорок пятого: нас привезли на завод. До этого судьба изрядно помотала, горя было больше, чем радости.

Родился я в Донбассе, недалеко от Донецка. Только окончил пять классов, началась война, пришли фашисты. В четырнадцать лет угнали меня в Германию. Жил в лагерях, работал на разных заводах, посмотрелся всякого. Однажды полицейский бросил меня на землю, принялся избивать сапогами; насилие потом очутился.

Я был мальчишкой, не все осознавал, сейчас иногда вспомню, не могу понять, как выжил, как в уме своем остался.

На заводах вместе с нами работали немцы и пленные — французы, бельгийцы, голландцы... Не раз, бывало, пригонят из лагеря в цех — на станке находишь бутерброд, лежит несколько вареных картофелин. Открыто не предлагали, было опасно, а вот так, тайком, часто. Случалось, проходит мимо немецкий рабочий и невзначай бросит: «Иди к урне...» А в урне пакет с едой, в бумагу плотно обернут, шпагатом перевязан — аккуратно, по-немецки. Урны у нас вроде продуктовых тайников стали; как приходим на завод, первым делом к урнам.

Пленные из других стран тоже по возможности помогали, особенно французы. Раз в год им выдавали через Международный Красный Крест военную форму, обувь, белье. А мы постоянно мерзли — времени на сборы не дали, погнали в чем оказались. Среди нас мор шел.

Помню, перевели нас в новый лагерь, раньше там французов держали. Пришли и не поверили глазам: под всеми нарами одежда — шинели, куртки, брюки... У французов приближался срок новой одежды, они узнали, что вместо них русских пригонят, все с себя сняли, в бараках оставили.

Вот так на рабочем братстве я и выжил.

К моему совершеннолетию война закончилась. Незадолго до победы несколько человек, я в том числе, убежали из лагеря. Спрятались в подземном овощехранилище, забитом буртами гнилой капусты; она там с довоенных времен лежала, вся уже разложилась. От смрада нечем дышать, голова раскалывается. Мы в этой жиже несколько суток провели; меня потом долго тот запах преследовал.

После войны мы оказались в пункте для перемещенных лиц. Отовсюду вербовщики понаехали — из Австралии, Канады, сулили золотые горы — выбирай. Но я твердо знал: домой!

После репатриации оказался близ Челябинска. Сейчас в этом районе возле озера Смолина набережная, асфальт, современные дома, троллейбус, на берегу водные станции, пляжи — даже не верится, что здесь было пустынно, дико.

Нас привезли поздней осенью. Погода стояла холодная, беспросветные дожди, ночью — заморозки. Строительство начиналось так: голый пустырь, вокруг топь, посреди пустыря несколько старых бараков. Здесь нас и поселили.

Завод находился поблизости, маленький, чахлый; казалось, вот-вот выдохнется, станет. Бездорожье одолевало: бывало, идешь на работу, поставишь ногу в башмаке, а поднимешь босую. Не хватало ни одежды, ни еды: известное дело — послевоенные годы. Что ж, мы понимали: кроме нас, этого никто не изменит. Стали жить, работать.

Сейчас завод — огромное современное предприятие, на уровне, как говорится, мировых стандартов, знаменитое, орденоносное, работает и для страны и на экспорт. Завод чистый, просторный, весь в зелени, имеет свои базы отдыха, детские сады, ясли, даже санаторий на Кавказском побережье... Перечислять легко, приятно, но ведь все эти годы надо было прожить — изо дня в день, вынести на себе весь груз. Оттого я не люблю, когда без всякого повода бьют в литавры и проявляют неумеренные восторги. И без них цена сделанного не уменьшится.

Тогда, в сорок пятом, я начал работать муфтонарезчиком на токарном станке. Работа шла хорошо, норму выполнял, казалось бы, что беспокоиться? Но было не по себе: чувствовал, что мы много лишнего тратим — металла, труда, времени... Сначала это чувство было подспудным, неосознанным, потом определилось. Тогда я впервые набросал на бумаге один чертежик, прикинул в цифрах.

Позже, много лет спустя, разобрал интерес: что дало тогда первый толчок? То ли захотелось исправить несовершенство, то ли проснулась природная тяга к рационализаторству?

Думаю, шел от экономии денег. Я и сейчас, как возьмусь что-то переделать, перво-наперво прикину: на чем сэкономить? Когда представляю отчетливо экономический выигрыш, тут вроде бы конструкторская мысль просыпается.

Вот и тогда — крутил я свой токарный станок, а сам все голову ломал: как бы упростить, как бы ускорить эту самую нарезку? Меня даже злость разбирала — так долго и сложно приходилось возиться с каждой муфтой. Чувствую: решение есть, но в чем оно — убей, не пойму. Ходил кругом муфты, как лиса вокруг ежа, общая задача ясна, а с какой стороны подступиться — не знаю. Сказывалось отсутствие образования и опыта.

В конце концов осилил эту злополучную муфту, метод применяется до сих пор. Это было первое рационализаторское предложение, а всего нынче число их подбирается ко второй сотне.

Через два года поставили меня бригадиром. И с тех пор частенько задумываюсь, что это значит — руководить. И вот к чему пришел: настоящее руководство, считаю, когда раз наладил работу, да так, чтобы она с тех пор сама шла — каждый знает свое дело, его и выполняет. Ты людей научи, расставь, обеспечь — вот и все твое руководство. А не сумел — приходится постоянно командировать, чаще всего по принципу «стой там, иди сюда». Мне возразят: легко сказать — научи, расставь, обеспечь!.. Сказать, конечно, легко, сделать труднее, но стремиться нужно именно к этому.

Мне и самому такое руководство не просто дается. Бывало, рук не хватает, приходится успевать на нескольких станках: налажу, пушу и бегом к другому станку. Всю смену и бегал. Был молодой, выносливый.

Работали тогда много, иной раз сутками из цеха не вылезали. Вообще-то я против авралов, убытка от них часто больше, чем выгоды, но это сейчас, когда производство становится ритмичным, научно обоснованным, а тогда во всем была острая нужда, мы сами понимали — скорей надо, скорей!.. Завод расширился, мы знали: чем быстрее он станет на ноги, тем раньше наладится и наша жизнь.

К тому времени я стал семейным человеком, жена работала на заводе телефонисткой. Поженились, а жить негде. Поселили нас на территории завода в корпусе для семейных. Корпус, правда, громко сказано: такой же барак, внутри перегородки, как в вагоне, закутки вроде купе, у каждой семьи свое купе.

Скучать не приходилось: дети кричат, примусы гудят, тут же стирка, не поймешь — день ли, ночь: работа на заводе сменная, одни приходят, спать ложатся, другие встают, уходят. Потом сын и дочь родились — так в своем купе четвером и жили.

Завод набирал силу. Построили трубосварочный цех, термический, потом пустили цех труб большого диаметра, сразу шесть новых станов — от «520» до «820». Мне предложили перейти в этот новый цех. Меня и самого тянуло туда: нет-нет да и заскочишь поглядеть на монтаж. Так что перешел с охотой. Стал бригадиром участка отделки на стане «820», который тогда выпускал самые большие в стране трубы.

Особенно быстро завод стал расти с приходом в 1956 году нового директора, Якова Павловича Осадчего. Будто свежий ветер подул: производство на глазах менялось.

Осадчий директорствовал на больших заводах еще задолго до войны, потом занимал крупный пост в министерстве, но заскучал, снова попросился на производство. С тех пор вот уже без малого двадцать лет он у нас. Звание Героя Социалистического Труда заслужил, депутат Верховного Совета. На заводе много тысяч людей, и большинство из них директор знает в лицо — из кадровых, конечно. Многие помнит по фамилии, по имени-отчеству, даже обстоятельства домашней и личной жизни помнит.

Чтобы показать, как вырос наш завод, приведу один пример. Несколько лет назад возникла острая необходимость вырабатывать трубы большого диаметра

для магистральных газопроводов. Раньше такие трубы поступали из-за границы. Потом на поставки наложили эмбарго — капиталистические поставщики надеялись ударить по экономике страны. Положение и вправду сложилось острое. Таких труб нигде у нас не производили. Из-за нехватки их могли остановиться стройки. Да и многие проекты оказались под угрозой. В правительстве срочно решали: кто может взяться за выпуск новой продукции? И Осадчий сам предложил наш завод.

Собрали тогда собрание, директор обратился к нам:

— Не верю, что кто-то может, а мы нет!

Мне нравится такая постановка вопроса, задевает за живое.

Сейчас, спустя годы, та история вспоминается спокойно, без лихорадки, но все же немного волнуешься, а тогда этим жили, горели, ни о чем другом не думали. Как будто без остановки шли в наступление — вперед, вперед! — и некогда оглянуться и перевести дух.

Я где-то читал, что есть спринтеры, которые делают вдох на старте, а выдох на финише, проходят дистанцию на одном дыхании. Вот так мы прожили тогда те несколько месяцев. В общем, справились.

Кто не знает нашего дела, может сказать: что сложного, сделать большую трубу? На первый взгляд действительно просто — берут стальной лист, пресс сгибает его в полуцилиндр, два полуцилиндра свариваются по длине и образуют трубу. Просто! Да, как говорится, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Самое главное — точно составить полуцилиндры, в них по две тонны, а шов должен получиться идеальный: ровный, герметичный, должен выдерживать большое давление...

На новый стан «1220» переводили людей со всего завода. Бывший начальник цеха Игорь Михайлович Усачев предложил и мне перейти. Он меня хорошо знал: вместе жили в общежитии, вместе на свиданки бегали, на подругах женились. Я перешел. С тех пор на этом стане.

Мы давно уже работаем строго по графику, без авралов, ритмично, конвейер отлажен. В сравнении с прошлыми годами сделано много. Только я не могу сказать, что доволен без оговорок. Потому что к нашей работе отношусь с пристрастием: я — лицо заинтересованное.

Конечно, не один я такой, не исключение, скорее правило. Многие мои друзья по работе так же думают о жизни, о цехе, о своем заводе. И если больше говорю о самом себе, то не потому, что хочу собственную персону от других отделить. Просто каждое дело через душу прошло, за живое задевало и потому особенно памятно.

Идешь обычно по цеху и невольно шаршишь глазами по сторонам. Иногда взгляд зацепится за что-то, даст толчок мысли: ага, можно выгадать — во времени, в расходе металла, в удобстве, в безопасности... Пусть немного, пустяк, но если с таким умыслом озираться вокруг себя, польза выйдет немалая.

В этой мысли нет ничего нового, суть в том, чтобы следовать ей на деле. Смотришь вот так изо дня в день — в одном месте что-то подметил, в другом. Причем не только в своей бригаде. Если углядишь что-то на соседнем участке, тоже в общую копилку идет. Так же и мои товарищи: что-то у меня подметят — обязательно подскажут. Мы друг с другом постоянно соревнуемся, потому и помогаем — ведь в этом смысл социалистического соревнования, чтоб все новое применялось на каждом рабочем месте. Вроде бы неприметно, но одно к одному — изрядно набирается. Я как-то прикинул — за все годы ни одного рабочего места в цехе не осталось без изменения.

Иногда (не очень часто, но бывает) кто-то скажет про нас, рационализаторов:

— Ну почему ты затычка к любой бочке? Есть свой участок, о нем и думай!

По-человечески это понятно: новые предложения — лишние хлопоты. Что же, не предлагать? Ответить можно одно: мы — лица заинтересованные. В своей бригаде, в соседней, во всем цехе, в заводе, в стране, в том, чтобы все наши заводы досрочно выполнили пятилетний план. Просто удовольствие получаешь от кон-

структорской находки. Техника, на мой взгляд, дело веселое. Люди увидят чью-то смекалку, сами во вкус входят. Мысли взперты тесно, нередко сам ловишь себя на жадности: попадешь на другой завод и озираешься — что бы перенять или им посоветовать?

Кое-кто скажет: о чем это он поет? Видел ли он производство в глаза, если так веселится? Его бы к нам! Какое там веселье, не до жиру, быть бы живу. Стружку с тебя каждый день в семь слоев снимают! План — кровь из носа — обеспечить! У руководителя глотка луженая и валидол в кармане.

Верно. Случается еще и так. Только — я уже говорил, — по мне, идеальный руководитель тот, кто так наладил работу, что ему уж вроде и делать нечего. Он исчезнет, а этого никто не заметит, работа без него идет — плавно, ритмично. С этой меркой и оцениваю производство, его руководителя.

Один вроде бы решения принимает, указания дает, голос повысит, клич звонкий пустит или матом покроет, сам с рабочими повкалывать не гнушается, но производство у него идет через пень-колоду. Все нервничают, дергаются, план, может, и выполняют, но какой ценой!

У нас, кстати, часто забывают о цене выполнения. Не о денежной стоимости, а о моральном износе. Неплохо бы ввести такой показатель — цена выполнения...

Еще хочу сказать о цене — о цене технической идеи. Бывает, рационализатора попрекнут: мол, не зря ты, парень, суетишься — от предложений изрядный приварок к твоей зарплате выходит.

Что тут сказать?

Изобретатели и рационализаторы знают, что вознаграждение за идею часто бывает символическим. Больше здоровья и сил потратишь. Иной раз сам доплатил бы, чтобы предложение реализовать. Хотя я не верю, когда кто-то говорит, что не нужны ему деньги. У любого дела есть его материальное выражение; и план, и экономия, и прибыль измеряются в деньгах, отдельных единиц энтузиазма нет. Да и нужны ли? Если ты трудящийся человек, ты считаешь деньги — и государственные и свои. Только лодырь может не думать о деньгах. Но не в одних деньгах дело.

В нашем цехе на всех станах стояли металлические упоры, каждый по 11 тонн, всего 50 штук. Трубы шли по валкам, в конце участка их движение останавливали упоры: трубы на полном ходу втыкались в них торцами. Можете представить, какой стоял грохот? А что поделаешь — специфика производства. Терпели, терпели мы эту специфику, а потом за живое задело: неужто нельзя иначе? Вот бы вообще без упоров. На первый взгляд бессмыслица: упоры на себя трубы принимают. А что, если в том месте, где труба должна остановиться, поставить гибкий тросик, соединить его с лампочкой? Труба подошла, коснулась тросика, замкнула цепь, лампочка загорелась. Оператору издали, с пульта управления, видно: труба на месте, можно остановить валки.

Если труба проскочила вперед, есть второй, контрольный тросик, на 15—20 сантиметров впереди первого. Загорится вторая лампочка — оператор видит: труба проскочила, нужно подать назад. И удобнее станет, и шум снизится.

Предложение внедрили, заплатили мне полагающиеся деньги, а упоры оставили в земле, позже и вовсе забетонировали.

Пошли мы по начальству.

— Упоры в земле, — говорим.

— Ну и что?

— Металл, сталь... Пятьсот тонн.

— Ничего, переживем.

— Вы-то переживете. А вот пионеры лом по дворам собирают...

— Им полезно.

— А завод с колес работает. Хотя должен двухнедельный запас металла иметь. Тоже полезно?

— Слушайте, что-то непонятно... Предложение приняли. Внедрили. Ну и спите спокойно, дорогие товарищи.

Можно бы махнуть рукой, но как же оставлять металл в земле? Вот и обижаем пороги. Хотя очень это неприятно — доказывать очевидное. Пробивать что-то новое — дело иное: не все воспринимают новое сразу, некоторым нужно, чтоб оно постарело. Но когда доказываешь известное, очевидное, чувствуешь себя дураком, который ломится в открытую дверь. Не должен дефицитный металл оставаться в земле, всем это ясно, а мы доказываем с пеной у рта. Но делать нечего...

Флюс, под которым идет сварка, привозят в цех на грузовиках контейнерами. Загружают машины на складе, разгружают в цехе. Почти всю смену, пока идет погрузка и выгрузка, водитель может спать. От такой работы переутомиться легко.

Казалось бы, чего проще: гнать флюс сжатым воздухом по трубам со склада прямо на сварочные станы, пневмопочта ведь давно придумана. Как будто все очевидно.

И вот приходишь с предложением. Но начинаешь дипломатично, издалека:

— Неудобно флюс возить.

— Неудобно. Да ты о чем?

— Трубы у нас имеются? И компрессорная?

— Имеются. Ты к чему клонишь?

— А пневмопочта — дело известное?

— Известное, известное!

— Предложение есть... Что, если флюс гнать сжатым воздухом со склада прямо на станы?

Сначала пауза, потом смех:

— Какое ж это предложение?! Это давно известно!

— Тем более. Довод — за.

— Игра не стоит свеч.

И начинается волынка. А отступать нельзя — сам взялся. В таком деле напористость нужна. Вот так и удалось за последние годы уменьшить число рабочих в цехе на 60 человек. А сколько ценного предложили мои товарищи! И по увеличению производительности труда, и по сокращению рабочих рук, и по экономии материалов, и по производственному комфорту...

Много времени приходится тратить на чертежи, эскизы, расчеты. Пристрастие помогает сохранять постоянный интерес к работе, мне в цехе всегда интересно, даже текучка будней не заслоняет интереса.

У многих людей бывают увлечения, которым со страстью отдают все время. Правда, считается, что увлечения должны быть далекими от профессии, но это, как говорится, дело вкуса. У меня в обычном смысле отдых не получается. А вот когда удастся спокойно поработать над задуманным, тут я действительно отдыхаю. В последние зимы пристрастился к рыбалке: сидишь над лункой, а сам в голове разные варианты проигрываешь.

Когда думаешь над новым механизмом или устройством, пытаешься понять идею, главный смысл. Пытаешься почувствовать, в чем его новизна, а в чем совершенство. Позже думаешь уже конкретно о деталях.

Обычно первым делом стараешься найти самое незамысловатое решение. Во-первых, технически легче внедрить, дешевле, а во-вторых, не менее важна психологическая сторона: тебе сразу должны поверить. Чтобы с самого начала предложение не встретило отказа, нужно припереть всех к стене очевидностью выгоды, простотой, наглядностью. Чуть твоя мысль в сторону — предложение становится уязвимым.

Тут главное подспорье, конечно, технические книги и журналы, консультации конструкторов и инженеров, советы опытных специалистов. Газеты тоже помогают в работе: постоянно видишь, какую борьбу ведут партия, весь наш народ, весь рабочий класс за экономию, за совершенствование производства, за рост производительности труда. Понимаешь, что твоя работа необходима. Это придает силы.

И еще — я давно пристрастился к литературе о международном положении: ощущаешь жизнь мира, себя в ней, дыхание страны.

Острота этого чувства притупляется в будничной работе, в житейских хлопотах, они застят свет, сужают вокруг пространство, а такое чтение раздвигает стены, делает тебя не только жителем своей квартиры, дома, улицы, а всей страны, Земли.

Много раз — на фотографиях в центральной прессе, по телевидению, когда показывали трубопрокатные цехи, — приходилось видеть свои работы на других заводах. Испытываешь чувство, похожее на отцовство. В такие минуты ощущаешь, что живешь, а не коптишь небо. И то, что ты делаешь сегодня, сейчас, сию минуту, нужно не только тебе, бригаде, цеху, заводу, а всем людям. И хочешь, чтобы другие, кому недостает этого чувства причастности к общему делу, тоже его узнали.

Вот однажды остановился конвейер, произошла авария. Делать нечего, пришлось выключить машины; устроили перекур. Непривычно — тишина. И рабочие кучками стоят, переговариваются. Странно наш цех таким видеть. Побежал я к ремонтникам — может, помочь нужно. Бегу по цеху и слышу:

— Хозяина нет. Был бы хозяин, такого не случилось бы.

Я хоть и торопился, но не выдержал, накинулся:

— А кто тебя отстранил?! Кто тебя лишил права быть хозяином?!

Говоривший смутился, но ответил мне так:

— Пусть голова у того болит, кто за это деньги получает.

У этихких созерцателей получается, что план, экономия нужны директору, он вроде хозяин. «Общее» для таких понятие отвлеченное, а рубль в своем кармане конкретен. Понятие общего зависит от сознания. Но немало и от организации дела. Плохо, если рабочий порой слишком отдален от результатов общей работы, они не так очевидны для отдельного человека.

Приятно и польза большая, когда рабочие не только хорошо работают, но и хорошо думают. Это признак заинтересованности. Заинтересованный человек не просто исполнитель, он к работе относится творчески. Вот такую творческую заинтересованность я постоянно вижу у многих своих товарищей.

Раньше для определения качества сварки вырезали часть шва — тимплеты по 70—90 миллиметров. Их шлифовали, потом травили кислотой. В трубе оставался вырез; на эту длину трубу приходилось укорачивать. Правда, проба делалась выборочно, но все равно расход металла изрядный, а контроль недостаточный: не все трубы проверялись, дефект мог оказаться именно в непроверенной.

Один из наших лучших сварщиков Николай Петрович Андреев предложил протравливать шов прямо в трубе. Получилась большая выгода: не надо вырезать тимплеты, не надо укорачивать трубу, экономится 20—30 килограммов металла, и качество шва контролируется на всех трубах, поточно.

Смотреть, как Андреев работает на сварочном стане, одно удовольствие. Сам Николай Петрович плотный, широкоплечий, основательный, и шов у него получается основательным — ровный, без изъянов. По инструкции ему полагается варить только один внутренний шов. Андреев успевает кончить его задолго до подхода следующей трубы. Что же ему, сидеть сложа руки, ждать? Он решил по-другому: не отсылает трубу дальше по потоку, на следующий сварочный стан, а разворачивает на 180 градусов и варит второй внутренний шов.

Его ругают за нарушение инструкции. Андреев отвечает:

— Не могу я, чтобы такая машина зря простаивала, стыдно.

Здесь явно инструкция тормозит инициативу, мешает передовым методам. Видно, устарела. И пора подумать о новой — более гибкой, которая давала бы простор рабочей сметке, поддерживала бы тех, кто трудится с интересом.

Я уже писал, что на заинтересованных работников иногда смотрят как на докучливых чудаков. Сложилось мнение: такие люди постоянно пытаются всучить вечный двигатель, а если их отвергнут, они жалуются, отрывают от дел, в то время как нужно выполнять план. Правда, нынче все грамотные, понимают — дытливая мысль в конечном счете помогает производству. Но это потом, когда-

нибудь, а план нужен сейчас, и не всякий согласен отвлечься от дел нынешних ради будущего — подчас даже тогда, когда реальная выгода лежит близко, на поверхности и не требует особых затрат и хлопот.

Конечно, прогресс заметен, производство развивается, и, хочешь не хочешь, жизнь заставит совершенствоваться. Сегодня что-то новое вызывает недоверие, а завтра тебя же с ним торопят — скорей, скорей, давно пора!

Впрочем, бывает и так: человек теряет чувство меры и отстаивает уже не интересы дела, а ущемленное тщеславие. Он тоже как бы лицо заинтересованное, но его интерес — все спрашивают, с самого начала нужно ему такое внимание оказать, чтобы сомнений у него не осталось. Даже если отказать, то обоснованно, чтобы была ясна причина. А когда от него отмахиваются, он или в себе замкнется, или «ходоком» станет.

Внимание — дело серьезное, подороже денег. Но странное дело, алкоголику, лодырю, прогульщику оказывается такое внимание, что зависть берет. С ним и мастер побеседует, и профорг, и начальник цеха, и парторг, и в завкоме, и заместитель директора — все спрашивают, что мешаает да что нужно. Так, может, заинтересованному человеку разок прогулять или напиток, чтобы и у него спросили, что ему нужно?

Когда у меня тормозится серьезное дело, от которого я жду большого экономического эффекта, я иду к директору. Не было ни разу, чтобы Яков Павлович не поддержал. Расскажешь ему — смотришь, дело с мертвой точки стронулось. То бился, доказывал, а тут в минуты решилось. Осадчий понимает идею с полуслова. Он мне всегда говорит:

— Заходи со всем, что нужно.

И не забудет проверить исполнение. Потому что он — лицо заинтересованное.

Но к директору громадного завода каждый раз обращаться не будешь. Ему нужно экономической политикой предприятия руководить, о перспективе думать, он и так мелочами задержан. Я, рабочий, это понимаю, а многие службы подчас не решаются взять ответственность на себя. Жаль директорского времени! Сидишь у него и видишь, как он бьется, поставки выколачивает, как жмут его со всех сторон, на совещания без конца вызывают, тормозат по мелочам разные организации. Вот и получается, что уходишь вечером после второй смены с завода, а в окнах директорского кабинета горит свет. Думаю, тогда и идет настоящая работа директора. От меня зависело бы — директор на завод приезжал бы на три часа. Тогда бы он в текучку не погружался, голова была бы свободной, можно осмотреться, подумать.

Все вопросы бригадного уровня я стараюсь решать в самой бригаде. Правда, иногда случаются ЧП, когда без вмешательства со стороны не обойтись...

Прихожу как-то в цех и смотрю — фрезеровщик из моей бригады Миша Айзенштат выглядит измученным, едва ли не спит над станком. А он рабочий хороший, добросовестный.

— Миша, ты что?

— Не спал.

— В чем дело?!

— А-а, все равно ничего не изменить.

— Ну все-таки...

— Ты знаешь, как я живу?

— У тебя жена, ребенок, комната в двухкомнатной квартире...

— Нет, ты не знаешь.

— Расскажи.

Миша жил в одной из двух комнат общей квартиры. Комнаты были смежные, а в другую комендант отселил из общежития — с глаз долой — пятерых пьяниц. День и ночь в квартире дым коромыслом, жильцы гуляют. То и дело к Мише врываются, в драку лезут, ни жене, ни ребенку, ни самому Мише круглые сутки покоя нет.

Выслушал я рассказ, кинулся к мастеру, к начальнику цеха. После смены

отправились к Мише на квартиру — мастер, профорг и я. По дороге переговариваемся: не может быть, чтобы все правда, наверняка преувеличено.

Вошли, глазам не верим: грязь да бутылки. А в соседней комнате женщина с маленьким ребенком. Мастер только головой покачал.

— Надо будет вопрос поставить, — раздумчиво сказал профорг.

Я посмотрел и к директору побежал, без очереди, вне приема ворвался. Яков Павлович выслушал и спрашивает:

— Почему ты, а не он сам?

— Он не придет, такой человек. Но он у меня в бригаде.

Директор снял трубку. Тут началось. Такое можно увидеть в старых немых фильмах: люди носятся как угорелые, мельтешат, сшибаются в усердии. Срочно выселили Мишиных соседей, и стал Миша жить в отдельной двухкомнатной квартире со всеми удобствами. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

В бригаде 43 человека, коллектив не очень большой, но и не маленький. Обычно все вместе собираемся за пятнадцать минут до начала смены. Разбираем вчерашнюю работу, получаем информацию о новом задании. Хотя каждый рабочий выполняет одну операцию, он не должен работать вслепую; стараюсь дать представление о работе в целом.

У нас каждый знает, как он трудился вчера, что будет делать сегодня, из-за кого произошел затор в прошлой смене — проводим анализ, даем рекомендации. На таких оперативках не допускается ни одного лишнего слова: предельная ясность и, главное, конкретность.

Новый человек, как правило, поступает в бригаду без специальности. Ставим его на простую работу — подкрановым, стропильщиком. Позже, через полгода-год, если человек хорошо работает, проявляет интерес к какой-нибудь профессии, мы оформляем договор на его обучение по избранной специальности. Договор заключается между учеником и опытным рабочим, который за обучение получает от завода плату.

Подготовка идет совместно с отделом технического обучения завода — там читается теоретический курс, принимаются экзамены. Таким путем рабочие иногда приобретают по нескольку профессий. Для нас это очень желательно, производство безостановочное, сплошь и рядом требуется взаимная замена.

Как мы и надеялись когда-то, завод наш вырос, окреп, наладилась наша жизнь и быт. Вместо бараков появились новые дома, магазины, ясли. Квартиры получили тысячи рабочих. Есть и у меня свой рассказ о вселении в новую квартиру; как и вся моя жизнь, он связан с заводом.

На участке отделки труб сварщики с помощью полуавтомата исправляют брак после сварочного стана. Наружный шов починить легко, а чтобы подварить внутренний шов, приходится лезть в трубу. В трубе же, как правило, скапливается газ, им и дышал сварщик. Поработает в трубе несколько минут — еле наружу выбирается. В свое время была сделана отсасывающая вентиляция, поработала она, потом испортилась.

Обмолвился об этом на конференции в Москве председатель завкома, санитарные врачи всполошились, назначили комиссию. В цехе переполох: ремонтники, сантехники шарят, администрация, профсоюз беспокоятся. А комиссия вот-вот нагрянет.

Позвал меня начальник цеха Вавилин к себе в кабинет и говорит:

— Вася, что стряслось, ты знаешь. Вентиляция позарез нужна. Хочешь всем нос утереть?

— Да мне, в общем-то, ни к чему нос утирать.

— Проси чего хочешь. Хочешь — квартиру дам! Только пусти отсос до комиссии.

Ну, про квартиру, думаю, он зря, придет моя очередь, получу, а дело сделать надо.

— Времени мало, — говорю.

— Требуй любую помощь. Все заводы Челябинска в твоём распоряжении.

Что нужно, изготовим в кратчайший срок. Заказывай любой чертеж. Бери сколько хочешь слесарей, помощников выбирай любых. Всем им премии по окладу.

— Да ладно, — говорю, — чего уж там... Один сделаю.

Когда так разговор идет, тут гордыня тебя разбирает такая, что скромностью своей да благородством всех наповал сразить хочешь. Мне бы сказать: попробую. А я, как встарь, чуть ли шапкой об пол не ударил — сделаю! Сказал, повернулся и пошел. Потом спохватился, но поздно.

Ладно, что горевать, надо за дело браться. Посидел, подумал, потом к машине подошел, шапку в нее сунул. Ее как рванет да на крышу выбросило (там вентиляционный выход был); одни клочья остались. Я доволен: тянет — значит, хорошо, не в машине изъян.

Стал я проверять коммуникации. А с ремонтного участка трубопровод шел под бетонным полом, там не то что разогнуться — головы не поднять. Забрался я под пол, втиснулся и на животе вдоль трубы пополз. Через минуту тело окостенело, спина взмокла, пот глаза заливает. Но глаза мне там и не нужны были, я трубу пальцами ошупывал.

Не помню, сколько полз, нашел в трубе отверстие: из него воздух уходил. Вылез, взял электроды, назад полез, заварил. Потом дальше вдоль трубы пополз. Еще одно отверстие заварил. Когда третье отверстие нашел, понял, что мне этот трубопровод весь придется на животе под полом проползти.

Все отверстия, какие нашел, я заварил, некоторые трубы вообще заменил. Тянуть стало лучше, но еще слабо. В цехе тем временем каждый день полно людей. Как на стадионе. Волнуются, судачат, ждут результата. Чуть ли не пари заключают: успею или не успею до комиссии.

О комиссии я уже не думал, мне хотя бы причину найти. Ночами не сплю, отсос в глазах стоит. Снова и снова под пол лазил, добрался до резинового шланга, он был с трубой соединен. Шланг толстый, большого сечения. В местах сгибов спичку приложишь, она на стенке остается — притягивало. Ясно, пропускает.

Снял толстый шланг, потребовал тонкий. Напряжение, как в детективе, растет: заработает отсос или не заработает?

Принесли тонкий шланг, он гнется легко, стенки воздух не пропускают, к тому же сечение уменьшилось, тяга усилилась, но до настоящей еще далеко. Тут многие разочаровались, как будто они на меня ставки, как на ипподроме, делали. Начальство в унынии: весь трубопровод проверен, а причина не найдена, газ по-прежнему в трубах скапливается. Хоть и меньше, чем раньше. А сам я устал до крайности.

Сантиметр за сантиметром добрался до сопла. Проверил, тянет сильно, но газ только возле отверстия втягивается, а по всей трубе остается. Тут сообщили: комиссия выехала.

Ночь напролет думал, как захватывать газ. Утром прибежал в цех, насадил на сопле венчик — вот тут-то потянуло. Сварщик не то что дышать газом перестал — запаха не чувствовал. Газ прямо с электродов уносило.

Ну вот, победа вроде. Я побрел отсыпаться...

Год кончается, квартиры распределяют. Вавилин встретил меня как-то, встрепенулся:

— Вася, все помню. С квартирой будет как обещал. Только, видишь ли, у нас травмы были, надо людям помочь. Можешь два месяца подождать?

— Конечно, могу, о чем речь, — обрадовался я.

Выходит, и в самом деле скоро квартиру дадут.

Прошло два месяца. Люди опять квартиры получают, а обо мне нет разговора. Вот тут уж я, сказать честно, обиделся. Обещал ведь всерьез, значит, должен слово держать.

Газ как-то цех обходит директор. Увидел меня:

— Как живешь, как дела?

Я в ответ что-то буркнул и ушел в другой конец участка. Осадчий у рабочих спрашивает:

— Что это с бригадиром стряслось?

Ну, ребята ему и рассказали про вавилинское обещание. Директор в ответ:

— Скажите Кожушкову, пусть сегодня же ко мне зайдет.

Пришел я к нему после ночной смены, выложил всю историю. Ох и рассветел Осадчий! Сам он человек обязательный, точный. Потом успокоился, спрашивает:

— Ты следующую смену как работаешь?

— В ночь.

— Ладно, иди отдыхай.

Пришел я к себе, не успел лечь — стук в дверь: начальник жилищно-квартирного отдела ключи принес...

Недавно у нас в цехе побывал один писатель. Прошел весь конвейер — от поступления листовой стали до сдачи готовых труб, осмотрел все дотошно, целый день провел. Сам когда-то рабочим был. Потом откровенно признался:

— Не знаю, что еще улучшать...

Я засмеялся:

— Многое можно.

Тогда он спрашивает:

— А вы можете представить, что вам здесь нечего улучшать?

Вопрос интересный, пришлось задуматься.

— Трудно представить, — говорю. — Но вообще к этому идет. Каждое предложение сегодня означает уменьшение предложений в будущем.

— А чего ждете от будущего?

— Полной автоматизации цеха. Несколько операторов и ремонтники. Позже и операторы исчезнут. Работой будет управлять электроника.

— Это реально?

— Вполне. Постепенно к этому продвигаемся. В прошлом году, например, удалось перевести на автоматику несколько транспортных рольгангов. Это сократило четырех операторов, ликвидировало один пульт. Полная автоматизация — тоже вещь реальная. К тому же в будущем исчезнут отходы металла.

Он удивился:

— Как, вообще?!

Я ему конкретно показал...

— Так что и полная автоматика, — говорю, — и отсутствие отходов металла — дело реальное. Но, конечно, не завтра.

Тогда он спрашивает:

— А что завтра?

— Завтра? Есть у меня на примете одна мысль, дома вечером прикину...



В. А. СУХОМЛИНСКИЙ

★

СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

(Воспитание элементарной моральной культуры. Афоризмы)

Иа одном из совещаний мне посоветовали обязательно познакомиться с блестящим, умным, эрудированным и сердечным человеком — учителем истории в девятом классе. Побеседовав с ним и посетив его уроки, я убедилась, что оценка его педагогического мастерства совершенно точная. Более того, у меня вызвала глубокую симпатию манера, с которой этот учитель обращается к своим ученикам. В этой манере соединились глубокое уважение к их личному достоинству, к их способности приобретать новые знания и какая-то своеобразная ирония в оценке этих последних. Эта ирония не убивала, а, наоборот, разжигала желание молодых людей знать больше и иметь собственное мнение. После урока, восхищенная его темпераментом, живой энергией и тем доверием, с которым он обращался к ученикам, я, вполне естественно, задав кучу вопросов, спросила его и о том, как он относится к Сухомлинскому. Ставя этот вопрос, я почти была уверена в положительном ответе, но меня интересовала аргументация. И вдруг — удивление: я услышала, что относится он к Сухомлинскому отрицательно.

— Почему же? — спросила я.

— Нет, конечно, не совсем отрицательно, — пояснил мой новый знакомый. — Но я не мыслю себе воспитания без наказания и не верю в это.

Тогда, обидевшись за Сухомлинского, я довольно-таки язвительно спросила:

— Не принадлежите ли вы к той «школе» педагогов, для которых наказание является одним из основных методов воспитания?

— Нет, не принадлежу, — улыбнулся мой собеседник. — Я только хочу сказать, что его личным опытом трудно воспользоваться. Надо прежде всего обладать его личным обаянием, его подвижничеством. Но ведь это же редчайшее качество.

Разговоры о педагогическом опыте и наследии Сухомлинского в учительской среде (да, пожалуй, и не только в ней, а всюду, где воспитание подрастающего поколения — вопрос глубоко волнующий) — явление сейчас обычное, будоражащее, находящее самый живой отклик.

Время и Сухомлинский слились. Слились не в плоском понимании, а очень специфично, своеобразно и противоречиво. И все-таки что же значит «время и человек слились, время и человек созвучны»? Это многими понимается разное. Иные пишут так: «В век научно-технической революции...» И в эту формулу вставляют затем мысли, которые им кажутся правильными, созвучными эпохе. А если вдуматься, то оказывается, что эти мысли оборачиваются подчас лишь модой, прикрывающей старое, косное, обветшалое, рутинное. Некоторым представляется естественным, что в век научно-технической революции человек обязательно становится рационалистом, и они тут же торопятся «освободить» его от каких-либо сомнений, угрызений совести. Например, вдруг читаешь: «Совесьть — естественный и великолепный судья в тех пределах, где человек не сталкивается с трудностями, требующими рационального анализа...»

От этих слов веет холодом. Как можно забыть, что наш XX век — век не только Великого Октября, но и самых жестоких империалистических войн, стоящих человеку миллионов жертв, век фашистского фанатизма, век, который вызвал к жизни средства огромной разрушительной силы, век смертельных противоречий и страшных катаклизмов, а стало быть, век, который видит жизненную потребность в том, чтобы у людей появились гарантии от последствий «образованного», «рационалистического» вандализма!

Время реализации таких гарантий ложится на самого человека. Весь вопрос в том, справится ли он со своей ношей.

И вот тут-то выходят на историческую арену люди типа Сухомлинского, люди, которые по-другому, по-новому слились с эпохой, люди, подлинно созвучные ей, которые отвечают: справится, но если в век научно-технической революции стоять не на платформе «жизнестойкого рационалиста», а на платформе человека с чистой совестью, с горячим сердцем, с пламенной страстью оставить в людях свою доброту и щедрость души, человека с развитой способностью чувствовать горе и радость другого. Вот за такого человека отдал всю свою жизнь, все свои помыслы сельский учитель, подвижник и просто хороший человек В. А. Сухомлинский.

Споры вокруг педагогического наследия Сухомлинского не стихают. Возникнут они, видимо, и вокруг тезисов Сухомлинского к его еще не изданной книге «Беседы по этике», написанной им в нормативно-императивной форме, в виде афоризмов (мы их сгруппировали под определенные рубрики). Афоризмы предполагают внутреннюю систему, живую логику размышлений человека, страстно заинтересованного в воспитании культуры нравственного чувства, культуры нравственной ответственности и морального сознания.

I. Нравственная сущность человека. Тайна счастья и смысл жизни

Источником счастья человеческого бытия является прежде всего то, что каждый человек создает и оставляет после себя значительно больше, чем нужно ему на пропитание, на то, чтобы иметь кров над головой и прикрыть свою наготу.

Истинно человеческое началось в каждой человеческой личности с той поры, как она стала работать на другого человека. Но с этого началось и горе человеческого бытия — угнетение человека человеком.

Человек поднялся над миром всего животного прежде всего потому, что горе других стало его личным горем.

На твоём человеческом пути — камни, которые ты должен убрать, чтобы идущим за тобой было легче. Если за свою жизнь ты не увидел ни одного камня и не убрал его — ты не человек.

Почему человек должен? Весь смысл нашей жизни заключается в том, что мы должны. Может ли быть по-другому?

Что было бы, если бы человек делал только то, что ему захочется? Мог ли быть человек счастливым? Смогло ли вообще существовать человеческое общество?

Если наедине с собой ты делаешь что-то предосудительное, не думай, что об этом никто не узнает. Привычка скрывать от людей плохое наложит на тебя неизгладимый отпечаток: люди все равно будут знать твою истинную сущность.

Самое дорогое, ни с чем не сопоставимое в мире — ЧЕЛОВЕК.

У каждого человека — право на счастье, достоинство, свободу, выражение своей неповторимой личности, творческий труд, продолжение рода человеческого.

Что такое счастье бытия? Человек не замечает рук своих, если они у него есть, так и мы не замечаем счастья, пользуясь им.

Только тот, кто лишился зрения, по-настоящему понимает, что такое зрение. Высшая мудрость жизни заключается в том, чтобы, не лишившись счастья, понимать, что такое счастье.

Чем раньше ты начинаешь отдавать долг старшим, тем спокойнее будет твоя совесть и счастливее люди вокруг тебя.

Самые прекрасные и в то же время самые счастливые люди — те, кто прожил свою жизнь, заботясь о счастье других.

Если ты в детстве счастлив, это значит: кто-то ни на минуту не забывает о том, что он должен.

Жить среди людей и быть счастливым — это значит прежде всего долженствовать, уметь выполнять свой долг.

Если ты будешь думать, что тебе все обязаны, и никогда не подумаешь, что ты обязан людям, ты вырастешь хамом и нахлебником.

Хамство начинается с того маленького неведения, когда человек забывает о том, что он должен. А вершины своей хамство достигает тогда, когда человек перестает быть должным.

Счастье немислимо без свободы, свобода — без долга и обязанности. Повседневные обязанности — это капли, из которых сливается море человеческого долга.

Умей чувствовать рядом с собой человека; умей читать его душу, видеть в его глазах его духовный мир — радость, беду, несчастье, горе.

Думай, как твои поступки отражаются на душевных переживаниях другого человека.

Умей поддержать, помочь, подбодрить человека, у которого беда; страдание, горе. Помни, что такие же беда, страдание и горе могут быть и у тебя. Избавлять от страданий, предотвращать страдания — высший долг человека.

Будь участником и не будь равнодушным. Равнодушие — одереvenение и окостенение сердца. Оно ведет к индивидуализму. Равнодушие — ядовитые семена человеконенавистничества.

Человек рождается не для того, чтобы исчезнуть безвестной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить после себя след — на земле, в мыслях, в сердцах других людей.

Человек оставляет себя в человеке. В этом — человеческое бессмертие.

Все мы живем для того, чтобы оставить себя в человеке. Это не просто продолжение рода. В этом высшее счастье и смысл жизни. Самый трудный, самый сложный, самый радостный долг каждого человека — воспитать своих детей.

В шестнадцать лет, оглянувшись назад, ты уже должен увидеть плоды своего труда, сделать первый итог своей жизни.

Самое большое горе человеческое — смерть. Она противна самому существованию человека.

Если ты слышишь, как звонит колокол, не спрашивай, по ком он звонит, он звонит по тебе. ТЫ — частица человечества (Джон Донн).

II. Устон нравственных отношений между людьми и людей к обществу.

Патриотизм

Нельзя смешивать человеческие слабости и зло. Против зла надо бороться. Зло нетерпимо. Примириться со злом — значит самому стать безнравственным человеком.

Твое активное отношение к злу — это прежде всего твоя ненависть к нему. Уже то, что ты ненавидишь зло, это борьба с ним.

Большое зло — лицемерие, двуличие, угодничество, приспособленчество. Умей распознавать это многоликое зло, будь нетерпим и непримирим к нему.

Первое движение твоей души — самое благородное. Не раздумывая, как поступить, увидев зло, — бороться против него или, закрыв глаза, пройти мимо. Делай так, как велит сердце, совесть. Благородные чувства — верный страж совести.

Невежество, убогость ума и чувств становится в наши дни моральным пороком.

Человеческая воспитанность немыслима без человеческой благодарности. Если у человека нет чувства благодарности, он холодный, бездушный эгоист.

Умейте благодарить и быть благодарным. Прежде всего благодарите мать и отца — за то, что они дают вам счастье бытия, материальные и духовные блага.

Долг и долженствование немыслимы без отношений благодарности, как зеленая листва дерева немыслима без корней, уходящих в почву.

Умей благодарить старших, вообще старых людей за то, что они поучают тебя. Услышал похвалу — благодари и обещаешь жить по-человечески. Услышал упрек или укоризну, неодобрение — благодари за то, что тебя учат жить по-человечески.

Думай, как твои поступки оцениваются людьми, окружающими тебя. Не все, что приятно и желательно тебе, приятно и желательно другим.

Недопустимо нарушать покой и тишину в присутствии других, особенно там, где тишина — главное условие труда и отдыха. Не забывай, что рядом с тобой — мысли и чувства людей.

У незнакомого или знакомого человека надо спрашивать разрешения обратиться к нему. Надо уметь чувствовать, тактичным или бестактным будет твое обращение.

Неприлично, бестактно носить с собой радиоприемник и включать его в присутствии людей. Это дремучее невежество и хамство.

Береги, щади неприкосновенность, уязвимость, ранимость другого человека. Не причиняй людям зла, обиды, боли, тревоги, беспокойства.

Если ты поступил бестактно, причинил зло, обиду, боль, тревогу, беспокойство другому человеку, умей принести извинение.

Чувство вины — благородное чувство воспитанного человека. Не переживает вины только дурак и дремучий нравственный невежда.

Чувство вины — не самобичевание, а угрызения совести, стремление к нравственной незапятнанности и порядочности.

Важнейшая школа воспитания эмоциональной чуткости и эмоциональной памяти — твое отношение к матери, к девушке, к женщине. Отношение к женщине — тончайший измеритель чести, совести, порядочности, благородства.

Будьте тактичными и чуткими с людьми, имеющими физические недостатки.

Огромное зло — «жить в собственной брюхо» (Достоевский), быть эгоистом, не видеть ничего дальше своего носа, не болеть болями общества.

Предателю не подают руки, его не приглашают в компанию, с ним не садятся за один стол, его презируют.

Большое зло — равнодушие. Равнодушный человек легко становится предателем.

Если ты видишь зло (в школе, в колхозе), если убежден, что старший поступает несправедливо или аморально, говори об этом откровенно и мужественно. Говори прежде всего учителю. Учитель должен быть совестью народа.

Мужественный человек скорее на смерть пойдет, чем предаст свои убеждения.

Пьянство — гнусное унижение человека. Пьяница уподобляется скоту, низводит себя к положению животного.

Огромное зло — лень, нерадивость, стремление к легкой жизни некоторых наших граждан. Будь непримирим к этому злу!

Большое зло — корыстолюбие. Корыстолюбивый не может быть ни правдивым, ни принципиальным, ни мужественным, ни верным своему долгу. С малых лет учись жить бескорыстно.

Бойся стремления обладать вещами! Подлинное богатство человека не в вещах, а в разуме, в духовных ценностях.

С малых лет возненавидь приобретательство, жадность к вещам, скупость.

Дорогим для тебя должно быть не мое, а наше, то есть ценности, принадлежащие всему обществу, созданные обществом для счастья и радости всех, каждой личности.

Большое зло — зависть. Не завидуй, а радуйся тому, что твой товарищ достиг успехов, но, радуясь его успехам, стремись обогнать его.

Живи гражданскими интересами. Будь настоящим мужчиной. «Мужчина, не одушевленный гражданскими интересами, лишь существо мужского пола, бреющее усы и бороду» (Н. Г. Чернышевский).

«Патриотизм — чувство самое стыдливое» (Л. Н. Толстой). Береги святыне слова и дорожи ими. Не кричи о любви к Родине, а трудись во имя ее блага, счастья, могущества.

В каком бы краю вдали от Родины ты ни очутился, выполняя свой долг, помни, что ты сын социалистического Отечества. По тому, как ты ведешь себя, как трудишься, люди судят о том, какая наша Родина, какой наш народ.

Родина — твой дом, твоя колыбель. В родном доме не все гладко и не все хорошо. Есть у нас свои беды и горечи. Говоря о них, помни: ты говоришь о бедах и горечах своего родного дома.

Для того чтобы иметь моральное право один раз сказать о бедах и горечах своей Родины, надо десять раз что-то сделать для ее возвышения и укрепления.

Кричать о недостатках — для этого большого ума не надо. Презирай демагогию и пустозвонство. Думай и делай все для того, чтобы торжествовали добро и справедливость.

Не бросай слова на ветер. Не давай легкомысленных обещаний. Будь хозяином своего слова.

Уважай законы Советского государства. Закон — это концентрация многовековой мудрости и многовекового добра. Закон защищает и оберегает прежде всего тебя, твою семью, твое счастье, будущее твоих детей.

Нарушать закон — это все равно что рубить сук, на котором мы сидим.

Умей подчиняться закону, дисциплине, порядку, нормам социалистического общежития. Умение подчиняться самым гуманным в мире законам — высшее выражение свободы.

Не будь безмолвным наблюдателем нарушения закона. «Если ты раз кроешь глаза на что-нибудь, ты привыкнешь закрывать глаза на все» (изречение, приписываемое Г. С. Сковороде).

Мировоззрение вырабатывается лишь тогда, когда рядом с тобой или в мыслях твоих есть что-то дорогое для тебя, к творению чего причастны твои руки, твой ум, твоя душа.

Без горения сердца для создания и укрепления святынь советского Отечества самые правильные истины останутся для тебя мертвыми и холодными буквами. Их можно прочитать и сложить в слова, но они не зажигают.

В шестнадцать лет ты должен уже сознательно поставить перед собой вопрос — для чего я живу на свете, и дать на него ответ гражданина.

Ты не только будущий труженик, но и воин. С малых лет готовь себя к военной службе, будь выносливым и терпеливым, не бойся трудностей.

С малых лет учись быть верным слову, присяге. Верность слову — твоя личная честь.

«Россия без меня обойтись может, я же без России — ничто» (И. С. Тургенев).

Сам погибай, а товарища выручай. Глубокий нравственный смысл этого правила в народной морали.

Посвятить свою жизнь труду по защите Отечества — высший долг и высшая честь советского юноши.

«Богатство потеряешь — не много потеряешь. Достоинство потеряешь — много потеряешь. Мужество потеряешь — все потеряешь, лучше бы тебе совсем не родиться» (Гёте). Воспитывай в себе бесстрашие.

«Что самое отвратительное на свете? — Мужчина, дрожащий от страха. — А что еще более отвратительно? — Мужчина, дрожащий от страха» (дагестанская мудрость).

Самое трудное — мужество повседневного, многолетнего труда. Найди себе идеал этого мужества и неотступно следуй ему.

Не хнычь перед трудностями. Мужественного человека можно убить, можно сжечь, но победить невозможно.

III. Отношения в семье. Культура любви

Жизнь в браке, в семье — это не сладость вечерних свиданий. Это большое умение на каждом шагу утверждать свое человеческое достоинство, доказывая, что счастлив, создавая счастье любимому человеку.

Жить в браке значит прежде всего взять на себя ответственность за другого человека, взять на всю жизнь.

Вступая в брак, ты возлагаешь на себя ответственность за то, что человек, которого ты родишь, будет счастливым.

Став мужем, ты стал гражданином вдвойне. Семья — тонкий корень, питающий дерево, имя которому — социалистическое общество.

Прежде чем создавать семью, проверь себя, готов ли ты к этому: 1) нет ли в тебе эгоизма, бессердечности, лени души; 2) обеспечишь ли ты семью материально (потому что жена может длительное время не работать — она воспитатель твоих детей).

Главный смысл и цель в семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания детей — это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери.

Семейная жизнь не может быть и никогда не бывает сплошным праздником. Умей делить не только радости, но и горе, беду, несчастье.

«Женщина стала рабой раньше, чем появился раб» (Август Бебель). Умей предотвратить гнусное домашнее рабство; как огня бойся своего тиранства.

В семейной жизни надо уметь считаться с мыслями, убеждениями и чувствами другого человека. Надо уметь уступать друг другу.

Умей мужественно бороться с горем, несчастьем, которое может свалиться на твою семью.

Равнодушие в семье — само по себе большая беда. Его порождают и сердечная глухота, и инстинктивная, не облагороженная мудростью любовь родителей.

Храни и почитай память об умерших. У кого нет в душе прошлого, не может быть и будущего.

Иди на кладбище в день поминовения предков. Даже если у тебя никто там не похоронен из близких, иди, чтобы, научившись хранить в сердце славу и муд-

рость предков, постигнуть ту великую истину, что понятия н а р о д и и с т о р и я ничего не говорили бы нам, если бы не эти древние холмики.

Дорожи здоровьем бабушки. У нее — сумерки жизни, ей осталось мало жить. Уже из-за одного этого к ней надо относиться с большой сердечностью и участливостью.

Дедушкам и бабушкам — самое почетное место в доме. Прислушайся, как относятся старые люди к окружающему миру, что они одобряют и что порицают. Их разум — это мудрость и опыт народа.

Старые люди имеют право поучать, советовать. Умей уважать это моральное право.

Большое зло — уменьшать достоинство человека, считать себя личностью, заслуживающей уважения, а другого человека — «мелкой пылинкой».

Предатель в дружбе, в отцовстве и материнстве, в супружестве — гнусный негодяй.

Любовь — самое интимное и неприкосновенное чувство. Береги тайны любви. Дорожи честью девушки.

Нравственное невежество и дикость в сфере любви приносят нашему обществу огромный вред. Тот, кто считает любовь только удовольствием, рождает горе, несчастье, слезы.

Уважай девушку. Оберегай ее честь, достоинство, человеческую гордость. Девушка, которая влечет тебя, — это твоя будущая жена, мать детей твоих; она повторяет тебя.

Человеческая душа цельна и неисчерпаема. Любовь — это огромный труд, требующий «дьявольского напряжения сил». Эти силы можно растратить по мелочам. Не забывай об этом.

Любить — это не значит быть только в физической близости. Если ты думаешь, что брак и долготелая жизнь в супружестве могут держаться только на этом, ты невежда в нравственном отношении, а в жизни можешь стать подлецом.

Для того чтобы быть верным любимому человеку всю жизнь, надо всю жизнь творить его красоту, отдавать ему свои духовные силы, вкладывать в него силы своей души. Надо иметь что отдавать — вот в чем смысл счастливой любви.

Береги честь смолоду. Не разбрасывай по мелочам силы своей души. Если будешь разбрасывать ее в ранней юности, если будешь без конца увлекаться — вступишь в зрелую жизнь человеком с пустой душой.

Твоя любовь к жене, твоя любовь к мужу — это сфера тончайшей духовной жизни. Самая прочная и благородная любовь у человека тогда, когда она единственная на всю жизнь.

Быть верным, преданным своей любви — это значит оставить частицу себя в любимом человеке. Изменить ей — значит разрушить богатство и красоту, созданные силами твоей души.

Влюбленный в себя не может быть способным на подлинную любовь. Эгоизм — это страшный порок, отравляющий любовь.

Чувство любви испытывается временем. Знай, что твоя молодая жена-красавица станет старухой, как и ты станешь стариком. Настоящая любовь — это умение и способность любить до гроба, любить и тогда, когда человек умер. Любить память о человеке. «То, что мы любим, мы любим и тогда, когда умираем» (М. Горький).

Если ты любишь свою жену, не может быть для тебя женщины красивее твоей жены, потому что человеческая красота неповторима и индивидуальна. Сравнить красоту двух женщин так же бессмысленно, как сравнивать красоту двух радуг: каждая по-своему прекрасна.

Не выставляй напоказ интимное, сокровенное (если ты обнимаешь девушку на глазах у людей, значит, ты не дорожишь ее честью).

Слова о любви в человеческих устах должны быть только возвышенными и благородными, но и этих слов — поменьше. Если ты произнес пошлые, грязные слова о самой прекрасной сфере человеческой жизни, ты оскорбил, унизил свою мать.

Не надо устраивать диспутов и споров о любви. Не надо объявлять во всеуслышание о своих сомнениях и недоумении по интимным, сокровенным вопросам. Берегите неприкосновенность любви.

Там, где есть строгость и требовательность женщины — девушки, юноша становится настоящим мужчиной.

В бережливом, нежном отношении юноши — мужчины к женственности женщины — главный корень мужественности мужчины.

Не верь басням, что «с милым и в шалаше рай». Брак — не только духовный союз, но и материальная основа. Если вы создаете семью, подумайте, сможете ли вы быть материально независимыми.

Девушке для того, чтобы быть любимой, нужно быть духовно богатой, умной.

IV. Отношение родителей к детям

Мы воспитываем своих детей не столько тем, что мы им говорим и чему учим, сколько тем, какие мы люди, какие у нас мысли, чувства, желания, что для нас добро и что зло.

Вы будете воспитывать своих детей каждым своим шагом, каждым поступком; будете воспитывать даже тогда, когда вас не будет дома.

Отец должен знать, что важнейшая сфера его общественной деятельности, его патриотического служения Родине — это воспитание своих детей.

Любого работника — от сторожа до министра — можно заменить таким же или еще более способным работником. Хорошего же отца заменить таким же хорошим отцом — невозможно.

С того времени, как вы услышите крик своего ребенка, начнется ваша исключительно тонкая общественная деятельность.

Если люди говорят плохое о твоих детях — это значит они говорят плохое о тебе.

Если ты равнодушен, бессердечен со своей матерью, отцом — такими же будут и твои дети. В нравственных отношениях все «повторяется сначала».

Самое дорогое и самое трудное счастье, которое ты должен дать своим детям, — это счастье труда для людей.

В вашей семье должны царствовать уважение к человеку и к труду.

Ты — будущая мать. Природой и обществом на тебя возложена огромная ответственность. Ты женщина, а подлинная женственность — это слияние нежности и строгости, ласки и непоколебимости.

Помни, что твоя мудрость, сдержанность, требовательность — главные воспитатели юности. Мудрость и несгибаемость женщины воспитывают честность мужчины.

V. Отношение детей к родным, старшим

Если бабушка, бабушка после смерти оставили дорогие их сердцу, памятные вещи — свято береги их, передавай своим детям и внукам.

Помни, что и ты будешь стариком — слабым, немощным, дряхлым. Если ты не умеешь уважать человеческую старость как горе — помни, что твое неуважение передается твоим детям и внукам.

Старость не может быть счастьем, радостью. Это невежды выдумали слова счастливая старость. Старость может быть покоем или горем. Покоем она становится тогда, когда ее уважают. Горем ее делают забвение и одиночество. Не превращай в горе старости бабушки и бабушки, матери и отца.

Если люди считают тебя плохим человеком, это большое горе для твоей матери и твоего отца. По-настоящему любить мать и отца — это значит приносить в дом счастье.

Умей чувствовать сердце матери, умей видеть в ее глазах мир и покой, счастье и радость, тревогу и беспокойство, смятение и огорчение. Если ты в детстве не научился видеть в глазах матери ее душу, ты на всю жизнь останешься нравственным невеждой.

Не требуй от родителей невозможного. Вообще ты не имеешь права требовать от родителей. Они дают тебе все, что в их силах.

Умей чувствовать тончайшие движения души отца. Его неудачи и неприятности на работе — твоя беда. Его болезнь — твое горе.

Если в семье горе, несчастье, неприятность — твоя ответственность за благополучие семьи возрастает. Только своим настойчивым трудом ты сможешь облегчить душу родителей.

«Три бедствия есть у человека — смерть, старость и плохие дети», — говорит украинская народная мудрость. Старость неотвратима, смерть неумолима — перед ними никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей дом можно уберечь, как от огня. И это зависит не только от родителей, но и от самих детей.

Быть хорошим человеком, принести счастье матери и отцу, не допустить, чтобы старость их стала их горем, — пусть все это станет желаниями всей твоей жизни.

Жить для людей — это значит прежде всего быть настоящим сыном своего отца, настоящей дочерью. Умей жить для людей. Это умение не заучивается по учебнику. Оно постигается всей жизнью.

Быть послушным сыном, послушной дочерью — это не значит потерять свое лицо; уважение родителей — не безропотное подчинение. К сожалению, в жизни, как исключение, бывают отцы и матери, не имеющие морального права повелевать, не заслуживающие ни уважения, ни повиновения. Если тебе выпала судьба быть сыном такого человека, умей бороться за правду, умей утверждать свое человеческое достоинство, быть несгибаемым.

В годы детства, отрочества и юности умей проявлять душевное мужество, душевную доблесть. Будь принципиальным, верным истине, несгибаемым, непоколебимым.

Нарушение слова, данного матери, отцу, первый урок вероломства. Опасайся таких уроков! Они могут сделать из тебя подлеца и изменника. Если не можешь дать слова, не давай его. Готовь себя к тому, чтобы уметь дать слово.

Дав слово матери, отцу — заставляй себя делать то, что необходимо, должно. Это самое яркое выражение твоей чести в годы детства, отрочества, ранней юности.

Дети, брошенные родителями; дети, не знающие своих отцов; дети, родители которых не рады, что их дети появились на свет, — это плоды дремучего невежества в сфере того, что должно быть самым благородным.

Умейте быть снисходительными к человеческим слабостям стариков. Умейте не замечать отдельных слабостей. Человек — сложный мир.

Умей тактично возражать, но еще большего такта требуется от тебя в умении слушать возражения старших.

VI. Отношение к соседям

«Любить человечество легче, чем сделать добро соседу, — писал наш мудрый учитель Григорий Сковорода. — Умей делать добро соседу».

Умей быть добрым к людям, заслуживающим добра.

В каких случаях твоя просьба, с которой ты обращаешься к человеку, может быть для него неуместной, может быть обидой, огорчением и даже дикостью?

В каких случаях неуместно, бестактно, дико делиться с человеком своей радостью или приглашать его к увеселению?

Какими своими радостями бывает бестактно делиться с товарищами?

Щадите чужое горе, чужие переживания. Как быть чутким, бережливым, осторожным с человеческим горем?

У вашего одноклассника тяжело заболела мать, ее жизнь в опасности, а вы наметили увеселительную прогулку. Не отменить эту прогулку значит проявить нравственную дикость. Не будь дикарем и дремучим невеждой в нравственных отношениях.

Умей выразить сочувствие своему ближнему (товарищу, другу) в его беде. Но сочувствовать надо не только словом, а и делом, поведением — это главное.

В каких случаях надо воздерживаться от слова сочувствия, потому что оно может быть бестактным?

Умей вложить силы духа в человека, который, казалось бы, чужой для тебя. Пусть беспокойным будет твое сердце оттого, что рядом с тобой человек страдает.

Умей отличить горе от мелочного брюзжания, недостойного человека.

Сочувствие, если за ним нет никакого движения души, хуже равнодушия.

Если ты живешь в селе, посади яблоню для одинокого человека. Созрели плоды — отнеси их к одинокому человеку. Принося радость другим, ты возвышаешь себя.

Если ты не научишься заставлять себя делать так, как должно, ты не сможешь стать дисциплинированным гражданином, волевым человеком.

VII. Отношение к учителю и школе

Не забудь дня рождения своего учителя. Пусть в его Праздник Рождения напоминают ему о себе как можно больше его питомцев. Не должно быть близких для тебя людей, которые бы чувствовали, что они доживают свой век в одиночестве.

Умей благодарить учителя. Выслушав слова одобрения, благодари за науку. Выслушав самые горькие, самые строгие слова, тоже благодари за науку.

Знания — оружие в борьбе за коммунизм. Без высокой образованности всех граждан в наше время невозможно быть сильным, независимым государством.

Овладевая математикой, физикой, химией, биологией, ты готовишься служить Отечеству своими знаниями, своим умом.

Слабоволие, лень, нерадивость в учении — это значит, что ты можешь стать тунеядцем, паразитом в зрелые годы.

Будь мужчиной в учении, юноша! Твое достоинство — учиться в полную меру своих сил. Достоинство мужчины — не быть паразитом, нахлебником. Презирай лень мысли!

Самое бесценное богатство, которое добывается в годы детства, отрочества, ранней юности, — это знания.

День без мысли, без чтения, без умственного напряжения — напрасно прожитый день. Не допускай расточительности времени!

Из всех народов первым всегда будет тот, который опередит другие в области мысли и умственной деятельности (Л. Пастер). Что значит быть деятельной частицей своего народа?

Главным источником знаний, главным источником твоего духовного богатства является книга. Создавай свою библиотеку. Не только читай, но и перечитывай книги.

Чтение — это труд, творчество, напряжение духовных сил.

VIII. Нравственное самовоспитание. Воспитание правдой

Живи в мире мыслей, постигай идеи, воспитывай в себе собственную позицию, убеждения, взгляды. «Всякий, кто удаляется от идеи, в конце концов остается при одних ощущениях» (Гёте).

Стремись сделать больше, чем тебе задают. Ставь перед собой задачи и задания сам.

Никогда не откладывай работу на завтра. Заставь себя сделать сегодня часть того, что предусмотрено сделать завтра.

Cogito, ergo sum (мыслю — значит, существую). Жить без мысли значит прозябать, влачить жалкое существование.

Дорожи именем, честью, достоинством своих отцов.

Ты — соотечественник В. И. Ленина, одного из великих людей, которых знает история человечества. Быть гражданином того государства, которое основал Ленин, — великая честь.

Наша страна — многонациональная. К какому бы народу ни принадлежал любой твой соотечественник — трудящийся, — он твой друг.

Повелевать самому себе, властвовать над собой учись с малого. Заставляй себя делать то, чего не хочется, но надо. Долженствование — главный источник воли.

Подавляй в себе малейшие признаки слабости — капризность, обидчивость, раздражительность, слезливость, болезненное самолюбие. Из этих семян вырастает индивидуализм.

Если ты умеешь быть только послушным, ты вырастешь бледной тенью человека. Человек — это прежде всего сила духа, умение приказывать себе, заставлять себя. Духовная несгибаемость — это всадник, мчащийся на коне, имя которому — сила воли.

Ты станешь настоящим человеком лишь тогда, когда узнаешь, что такое трудно. Если в детстве, отрочестве, ранней юности тебе все легко, ты можешь вырасти безвольной тряпкой.

Не иди самым легким путем. Выбирай всегда путь самый трудный. Преодоление трудности возвышает человека. Тот, кому невыносимо трудно и кто преодолел трудность, похож на альпиниста, достигшего высочайшей вершины.

Не научишься в годы отрочества и ранней юности сознательно идти на преодоление трудностей — никто не сможет заставить тебя быть дисциплинированным, настойчивым, трудолюбивым.

В годы детства, отрочества и юности умей проявлять душевное мужество, душевную доблесть. Будь принципиальным, верным истине, несгибаемым, непоколебимым.

Поставь над тобой и сто учителей — они окажутся бессильными, если ты не можешь сам заставлять себя и сам требовать от себя.

Если человека заставляют трудиться другие, заставляют учиться другие, заставляют быть хорошим сыном своих родителей и хорошим отцом своих детей другие — такой человек опасен для общества.

КОНКРЕТНЫЙ ГУМАНИЗМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В. А. СУХОМЛИНСКОГО

Жизнь, полная подвижности, всегда волнует, в особенности когда это жизнь современника. Иногда кажется, что самоотверженность, полная погруженность в дело, которому отданы все силы без остатка, — образы книжные, умозрительные, отодвинутые десятилетиями, а потому и романтические. И вдруг — в мое время, рядом со мной живет, трудится, страдает, ищет живой, реально существующий человек, сумевший пройти свой жизненный путь не так, как другие, лучше многих. Дело жизни такого человека становится предметом пристального и заинтересованного отношения. Размышляют представители старших поколений, высказывается молодежь. У нее мнение двойственное — привлекает жар души, самоотверженность, благородство и настояжывает... приемлет ли сегодняшняя жизнь этот поиск, этот вид благородства. Девушка семнадцати лет сомневается, будут ли воспитанники Сухомлинского практически подготовлены к выходу из школы. Она считает, что после школы их ожидает суровый конкурс аттестатов и строгих знаний, а не испытание на хорошего или дурного человека. Юноши же и девушки, воспитанные Сухомлинским, по ее мнению, к конкурсу аттестатов не готовы.

А самого Сухомлинского волнует, каким человеком станет отличник Андрейка и почему при его несомненных успехах в учебе дети не желают разделить с ним в походе миску и одеяло. Сам же Андрейка очень огорчен этим обстоятельством, и Василий Александрович предлагает ему свою дружбу, желая этим выправить душу и сердце мальчика. Сухомлинского волнует душа и сердце человека в первую очередь, а многих других педагогов — знания, их добротность в лучшем случае, а иногда лишь их соответствие требованиям программы, сетке учебных часов и другим методическим инструкциям. Бывает и такое.

Вот и другая, сугубо «современная» картинка: взволнованный папа звонит на работу бабушке и тревожно сообщает, что ее внука сегодня на уроке вместо ожидаемой пятёрки по математике получила всего-навсего четвёрку. Бабушку же за последнее время тревожит другое: появляющийся у внуки тон категоричности в отношении с близкими, ее нежелание считаться с их настроением или простая грубость, но папа неумолим... его волнует четвёрка.

Проблема старая — обучение и воспитание. Кажется, она уже давно решена. Но ведь в педагогике, как и в поэзии, вновь возвращаются к одним и тем же вопросам. Однако возвращаются по-разному, некоторые — чтобы повторить зады, когда это требуется, другие же — своевременно и поэтому открывают в старом новое.

Четко усвоив, что в нашей педагогике основной принцип — единство обучения и воспитания, практики и теории (более точно — многие из них) успокоились, так как с их точки зрения все предметы, в особенности гуманитарные, сами воспитывают.

Все согласны, что надо воспитывать. Однако попробуйте вставить в сетку учебных часов, хотя бы для старшеклассников предмет, где школьники систематически получали бы знания по этике, и вы обнаружите, что даже сорока пяти минут в неделю никто, начиная от министерства и кончая директором школы, вам на это не выделит. Более того, даже в школе будущего, когда ее планируют, исходя из сегодняшнего уровня мышления, не находится места для данного предмета. Опять же ссылка на то, что все предметы воспитывают.

И вдруг тревога, голос в защиту именно воспитания как мастерства, как искусства пробуждать в человеке человека. Может быть, это надуманная тревога? Может быть, это повторение старого? Известно, еще В. Г. Белинский писал: «Есть много родов образования и развития, и каждое из них важно само по себе, но всех их выше должно стоять образование нравственное. Одно образование делает вас человеком ученым, другое — человеком светским, третье — административным, военным, политическим и т. д. Но нравственное образование делает вас просто человеком».

Читая статьи и книги Сухомлинского, убеждаешься, что это не повторение старого, — это новое.

Конечно, новое заключается не в том, что никто, кроме него, не пишет сейчас о

воспитании, о его коммунистических принципах. У нас большая педагогическая литература. Есть и хорошие книги. И среди них книги и рукописи В. А. Сухомлинского.

Его угол зрения — воспитание культуры нравственного сознания и чувства. Без этой культуры для него нет подлинно гуманного человека, а без последнего нет просто человека, может быть хороший специалист, знаток того или иного конкретного дела, а вот человека нет.

Беспокойство охватывает не только Василия Александровича — всех людей, которых ранит равнодушие, черствость, невоспитанность юношей и девушек, даже если это характерно не для всех представителей этого поколения, а только для небольшой части. Но ведь эта-то часть не в тоннах, метрах и киловаттах исчисляется, а в человеческих единицах, каждая из которых может быть взвешена лишь одними весами — радостью или горем всего человечества.

Многим из нас знакомы прекрасные слова, рождающие гордость за человека, который может объять весь мир, сопереживать и сочувствовать со всеми. Напомним себе их еще раз: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также если смоем край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе» (Джон Донн) — эти слова выбрал эпиграфом к своему прекрасному роману Э. Хемингуэй.

Именно таково было мироощущение Василия Александровича. Без этого вряд ли может быть педагог по призванию. А вместе с тем, оказывается, многим это еще не ясно. Вспомните хороший документальный фильм, выпущенный совсем недавно: социологи проводили в одной школе анкету среди родителей, прося их ответить на вопрос: «Какими качествами хотели бы Вы, чтобы обладали Ваши дети?» Родители подчеркивали слова, обозначающие разные качества (умный, здоровый, образованный, честный, культурный и пр.), но вот качеству «добрый» никак не везло. Очевидно, эти родители полагали, что доброта — качество ненужное, лишнее в век научно-технической революции, не подозревая, что такое равнодушие к доброте оборачивается бумерангом прежде всего против них самих. В такой семье вырастают подчас дети образованные и даже внешне культурные, галантные, с «тонкими» манерами, хорошо знающие, что им от жизни надо, увлекающиеся искусством (знающие, что такое импрессионизм, экспрессионизм, абстракционизм и пр., стоящие, может быть, по несколько часов в очереди, чтобы посмотреть «Даму с горностаем», что само по себе весьма похвально), но... жесткие, черствые, бездушные, равнодушные к чужой беде (в том числе и к собственным родителям), технократы, «жизнестойкие рационалисты», презирающие «лирику и мораль». И получается так, как сказано в водевиле Чехова: «Посмотришь... кисея, эфир, полубогиня... а заглянешь в душу — обыкновеннейший крокодил...»

Вот над чем мучительно задумывался Сухомлинский, вот что его тревожило больше всего, вот против чего направлена его педагогическая система — и в этом его простое величие.

Да, Сухомлинский говорил о простых вещах, но почему-то это «простое» часто упускают из виду, не подозревая, что глобальное начинается именно с него. Сухомлинский как раз и поднимает на принципиальную высоту ту «простую» истину, что нельзя быть преданным делу коммунизма, интернационалистом, коллективистом, подлинным патриотом, если сначала не «научишься» быть элементарно добрым, чутким, отзывчивым человеком, человеком, сочувствующим чужой беде, человеком, у которого вскипает гнев при виде явлений какой бы то ни было несправедливости.

Стало быть, самые якобы банальные вещи, о которых говорит Сухомлинский (надо любить маму, жалеть бабушку, уважать педагога), имеют прямое отношение к кодексу коммунистической морали. Коммунист, революционер, интернационалист и начинается с обыкновенной человеческой доброты, с возмущения по поводу несправедливости. Как может человек быть интернационалистом, уважать, любить людей другой нации, если он собственную мать уважать еще не научился, если у него нет элементарной эмоциональной и нравственной культуры? И нужна нравственная чистота и смелость Сухомлинского, чтобы не побояться «вдруг» идти с детьми на кладбище и вспоминать

предков, поскольку нельзя уважать себя, живых, не уважая мертвых, поскольку это способствует воспитанию нравственной культуры, доброты, сердечности.

Доброту к людям следует, по Сухомлинскому, воспитывать через заботу о матери, женщине, детях. А отсюда «рукой подать» до формирования коммунистической гражданственности. Доброта и есть, выражаясь по-философски, еще не рефлектирующее на себя наполнение личного интереса общественным содержанием, выраженным вначале в интересе других, отдельных людей. А затем это трансформируется в добродейние для всего общества.

С добротой как нежной заботой о женщине, матери, детях связана и красота любви: «Познание красоты любви становится возможным лишь тогда, когда человек обожествляет самое чистое и самое сокровенное в том мире, о котором писал К. Маркс,— женщину, мать, рождение человека».

И разве возможна коммунистическая мораль без этих нравственных начал? Да, с обыкновенной любви, уважения, жалости к матери, к человеку, к ребенку, к старику начинается подлинно революционная, подлинно коммунистическая мораль (хотя она этим, конечно, не кончается).

Поэтому-то Сухомлинский в отличие от многих других педагогов начинал коммунистическое воспитание не с громких слов, а с формирования элементарной культуры чувств. Поэтому-то придает он особое значение таким «мелочам», как купил ли, например, ученик Данько с первого заработка подарок своей матери: ведь тут начало всего! И если педагог, говоря о великих принципах кодекса морали строителя коммунизма, забывает напоминать своим питомцам о подобных «мелочах», то ему приходится часто, разводя руками, недоумевать, почему же он не может достичь своей воспитательной цели (вину же за свои неудачи он сваливает на... воспитанников: «Ах, какие дети нынче! Ах, что за скверная молодежь в наше время...»).

Гражданственность начинает формироваться не с повторения общих мест, известных лозунгов, а с заботы обо всем окружающем: о дубочке, на который кто-то наступил ногой, о молодом жаворонке с перебитым крылом и только что посаженной яблоне. Гражданские чувства являются главным источником моральной чистоты человека, ибо «то, что, казалось бы, не касается его личности, входит в его душу как личное». При этом Сухомлинский подчеркивает, что «есть большая разница между... элементарной порядочностью и коммунистической убежденностью... честностью в быту, в повседневной жизни и высокой гражданской честью». Подняться от уровня элементарной порядочности до уровня коммунистической гражданственности (которая сохраняет и углубляет первую, а не отбрасывает ее)— в этом и заключен смысл коммунистического воспитания и самовоспитания, смысл формирования коммунистической морали.

Чем ближе человек в ходе своей практической жизни принимает к сердцу все, что совершается вокруг, тем больше у него растет интерес к окружающему миру в целом, тем «тоньше чувствительность, восприимчивость его души к слову воспитателя, к моральному поучению, к словесному выражению моральной идеи». Моральное же равнодушие имеет своими корнями эмоциональное равнодушие. Человек дорожит священным только тогда, когда он сам пережил, перестрадал, ощутил глубину идей, принципов, истин.

Детское сердце, говорит Василий Александрович, должно быть кому-то, чему-то предано. Если маленький человек не оставил частицы своего сердца в кукле, лошадке, плюшевом медвежонке, птичке, нежном и беззащитном цветке, дереве, в любимой книге, для него недоступно глубокое чувство человеческой дружбы, верности, преданности, привязанности. А именно подобное «оставление частицы» и обеспечивает человеку бессмертие, поскольку с этого и начинается объективация себя в другом. Здесь и следует искать истоки подлинной нравственности.

В книге «Рождение гражданина» приводится пример, как духовное общение с больным мальчиком, дошкольником Петриком, «стало своеобразной школой эмоционального воспитания». Василий Александрович хотел, чтобы «каждый мальчик, каждая девочка представляли себя на месте больного. С этого и начинается сопереживание... Желание творить добро охватило в эти минуты все юные сердца».

Размышления о житейских вещах, нет, далеко не о мелочах, а о жизни, ее тревогах, реальной практике в школах дополняются у Василия Александровича часами напряженной работы по теории воспитания, по теории морали, ибо в ней он видит ядро, вокруг которого формируется личность человека.

Василий Александрович делает интересную попытку раскрыть тот принцип, который можно положить в основу объяснения вопроса о генезисе и сущности нравственности. Он связывает ее возникновение с началом производства прибавочного продукта. Пока первобытный человек не производил больше, чем требовалось для простого воспроизводства его жизни, нельзя, с точки зрения Сухомлинского, говорить об истинно человеческом. Истинно человеческое, нравственность в собственном смысле слова как сознательно-намеренная забота о других стала возможной лишь с тех пор, когда человек начал производить именно прибавочный продукт: до этой поры он не мог полностью выйти из животного состояния. Оставляя своей деятельностью после себя то, что сам не потребил, — с этого момента и появляется возможность подлинно человеческого смысла жизни и счастья. Однако история человечества сложна. Производство прибавочного продукта было источником не только счастья, но и несчастья: оно заключало в себе возможность насильственного отчуждения труда, то есть эксплуатации человека человеком, становления социальных антагонизмов.

Сам же по себе прибавочный продукт без этого неизбежно исторического наслоения — фактор счастья, человеческого смысла жизни, подлинно человеческой нравственности, то есть условие и возможность добровольной заботы о других.

Часто в этической литературе мораль сводят к нормам поведения, к нормам-рамкам, к различным запретам (табу), к понуждению со стороны общественного мнения или самопонуждению, самопожертвованию, к пожертвованию своими радостями ради чего-то общего, которое якобы вне личных радостей, — то есть мораль здесь опосредованная ценность, а не самоценность. Сухомлинский же, как мы видим, смотрит на нравственность как на внутреннее добровольное добродейание, добродейание ради него самого как источник собственной радости. Доброта, добрые дела, забота о других, приносящая удовлетворение, — не самопонуждение делать то, чего бы не хотелось, но что надо делать, а результат собственной свободы, внутренней свободы, то есть не самопожертвование тем, что составляет смысл жизни личности, а, наоборот, осуществление этого смысла жизни, не самопринуждение, а внутренняя потребность, а поэтому и источник личной радости.

Нравственность в таком понимании входит в самую общественно-историческую сущность человека. Только человек — существо нравственное, так как только он располагает возможностью делать что-либо для другого. В этом красота человека, в этом его продолжение в другом, в этом его земное бессмертие. Внутренняя, то есть духовная красота человека, его доброта, его гуманность, то есть его забота о других, а не только универсально-преобразующая деятельность самосознающего, целеполагающего существа — вот что необходимо, с точки зрения Сухомлинского, чтобы быть подлинным человеком. Василий Александрович за то, чтобы взглянуть на нравственность шире. Для него она не только норма регуляции поведения личности, но и ее духовное богатство. И это богатство должно быть действительно богатством, должно вмещать в себя широту души человеческой, ее заботы, ее красоту. Еще Ф. М. Достоевский страдал от того, что человек слишком широк, и ему казалось, что последнего надо сузить. «...широк человек, слишком даже широк, я бы сузил», — восклицает Дмитрий Карамзов. Достоевский хочет освободить человека от мистических пут и вместе с тем боится, что тогда все будет «дозволено», что свобода эта может обернуться и аморализмом. Он ищет спасения на пути добровольного религиозного смирения и, как известно, так и не находит выхода.

Этика же Сухомлинского выступает за богатого в своих возможностях и добродетелях человека, за широту человеческой души и сердца. Человек чувствует, если еде и не сознает (это сознание должны «внести» педагог, мать, отец), что он рожден не для того, чтобы исчезнуть безвестной пылинкой, а чтобы оставить после себя по возможности максимальный след на земле (в виде произведений материальной и духовной культуры), в мыслях и сердцах других людей, чем раньше человек начинает «отдавать» долг, тем счастливее люди вокруг и он сам.

Итак, если с точки зрения одних мораль как форма нормативной регуляции отношений между людьми так же стара, как и само человечество (то есть возникает вместе с ним), а с точки зрения других она появляется с возникновением социальных антагонизмов, то Сухомлинский ставит вопрос по-иному. Он говорит о нравственности не просто как о форме регуляции (не как о нормах, авторитарно навязанных человеку извне — то ли системой табу, то ли общественным мнением), а как о внутренне свободной заботе о других, ставшей личным интересом. Подлинно человеческое, подлинно нравственное пробивает себе дорогу в ходе истории в огромных муках через толщу классовой морали, выступая в чистом виде лишь в обществе, освободившемся от пороков старого мира, то есть при коммунизме. Это находится в полном соответствии с тезисом В. И. Ленина: «Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации труда».

Такое понимание нравственного приводит Сухомлинского к глубокому философскому осмыслению сущности воспитания. В этом отношении надо отметить: его труды отвечают потребностям педагогической науки, не оставляют без внимания ее теоретических основ, о настоятельной необходимости разработки которых недавно писал президент АПН СССР академик Столетов.

Отдавать себя другим не значит оставлять им только прибавочный продукт в виде произведений материальной и духовной культуры, но это означает также продолжать самого себя, свое «я» в других, воплотить в них «избыток» самого себя, свой дух, свое сознание, свою культуру, свое духовное приобретение, способности, таланты, сущностные силы. В этом заключена суть воспитания. Воспитание есть формирование человека, общественно-исторического человека.

В этой же связи Сухомлинский в рукописи «Как воспитывать настоящего человека» пишет: «Почитай, уважай учителя... учитель творит человека; эти же слова можно сказать только о матери и отце. Знай, что великое счастье учителя — это то, что ты стал таким, каким создал тебя в своем представлении учитель как свой идеал... никого так часто не посещает чувство недовольства, как учителя... ткач уже через час видит плоды, а учителю нужны годы и годы... да, учителю часто бывает некогда подумать о себе, так как он вынужден думать о других, — и это для него не самопожертвование, не безропотное подчинение судьбе, а подлинное счастье личной жизни» (разрядка моя. — Т. С.). Здесь перемежаются две важные мысли: 1) подлинная нравственность — не самоподчинение, не самопонижение, не самопожертвование личным (счастьем) ради общественного, эгоистичным ради альтруистичного, а, наоборот, ощущение, переживание личного счастья от заботы о другом, общественном, от деятельности для других, от наполнения этой заботой своей будничной жизни; 2) воспитание есть созидание человека, творение его. Человек создается в процессе его социально-практической деятельности, в общении с другими людьми, с помощью воспитания. Воспитание — средство передачи социально-культурной «наследственности», которая передается совершенно иным путем, чем биологически-генетическая наследственность. Воспитание — процесс передачи культурной эстафеты, без которой невозможна сама история человечества.

Но как, какими средствами? Что греха таить, мы до сих пор путаемся в элементарном вопросе — что есть цель, а что есть средство воспитания. Дисциплина для многих педагогов становится целью, вместо того чтобы понять, что она лишь средство. Притом такое, при котором наиважнейшим вопросом становится — какая дисциплина: сознательная, добровольная или дисциплина того «послушника», для которого важно не быть, а казаться.

Вспоминается статья Пирогова именно на эту тему — «Быть и казаться», где он самым решительным образом выступает против таких видов детской деятельности (театральные выступления, маскарады, балы), где ребенку надо представляться не тем, кем он является. Его заботило, не породит ли это в юной и неокрепшей душе девочки или мальчика раздвоенности личности, стремления к лжи и лицемерию.

Другой пример: учитель поощряет пятерки и негодует против двоек и дети также во что бы то ни стало хотят получить пятерки и всячески избегают двоек. Что же, все правильно. Оценки — свидетельство успехов и неудач. Но вот когда и для учителя и

для учеников оценки становятся самоцелью учения, то первые часто просто избегают ставить двойки, тогда как их поставить необходимо, а ученики, в особенности способные, лично получая пятерки, перестают делать что-либо за рамками учебных требований. Какой же выход — не ставить, что ли, оценок? Да, некоторые педагоги так и поступают, в особенности в младших классах. Они стараются применить к ребенку не кнут в виде оценки, а выработать у него глубоко индивидуальный, личный стимул, личную заинтересованность в знаниях, любознательность, развивать способности у всех детей, не гасить их у детей способных. Правда, все знают, что это задача трудная и в школе часто учитель не в состоянии ее решать именно потому, что у него в классе по 40 человек.

Эта проблема жизненно важная, она, конечно, затрагивает многие стороны учебно-воспитательной деятельности школы, но жизнь ее поставила.

В школе много и других проблем. Многие дети приходят в школу хорошо подготовленными, другие подготовлены средне, и есть такие, которые отстают в своем развитии. Как быть? На кого ориентироваться? Вопрос не простой. Он не снимается и в средних и в старших классах.

Часто учитель, руководствуясь лишь здравым смыслом, ориентируется на среднего ученика. В результате он упускает часто отстающих и почти всегда способных учеников. Это приводит к затормаживанию развития последних, и вместе с тем общий уровень развития в данном детском коллективе (классе) снижается. Поощрение яркого индивидуального развития способных детей крайне необходимо не только в интересах данного ребенка, но и в интересах всех — общий уровень развития поднимается, когда в классе есть одаренные дети и когда педагог с ними умеет работать. Есть здесь и другая проблема — дети теперь развиваются быстро не только под влиянием школы, учителя, родителей, но и благодаря другим средствам информации (радио, телевидение, кино и т. д.). А учитель? В такой ли степени интенсивности идет совершенствование мастерства, знаний и средств подготовки современного учителя к деятельности, в какой развиваются дети?

А если подготовка современного учителя отстает от запросов современного школьника, то страдает авторитет учителя. В связи с этим учитель не в состоянии выполнить роль воспитателя. Может быть, настало время, когда, используя в обучении более решительно новые средства — кино, радио, телевидение, — мы освободим учителя от какой-то части затрат времени, энергии для того, чтобы он мог посвятить себя в большей степени решению чисто воспитательных задач. Ведь опыт Василия Александровича показывает, что современной школе и теперешнему школьнику воспитатель нужен не меньше, чем прежде, а может быть, и больше. Готов ли наш учитель к такой миссии, вооружен ли он для этого достаточными знаниями, опытом, мастерством? На этот вопрос ответить только положительно трудно. Приведу один пример. Учитель — воспитатель, наставник в нравственном развитии детей, а вот этику, теорию нравственности, к сожалению, не каждый теперешний учитель изучал. Парадокс, но нет в наших педагогических вузах кафедр этики, не всегда, а лучше сказать крайне редко и чисто случайно, на кафедрах по философии в педагогических вузах можно встретить специалиста по этике. Лекционный курс по этой дисциплине, как правило, в педагогических вузах не читается.

Вот и получается, что «сапожник без сапог». Поэтому не удивительно, что до сих пор и учитель и родители путаются в вопросах о цели и средствах. А это не безобидная путаница, ее результаты тяжелы для общества и конкретных людей, и спор этот не абстрактно-теоретический.

Еще вопрос — очень большой. Правильно ли в обучении и воспитании преследовать чисто утилитарные цели — подготовить к конкурсу аттестатов, к поступлению в такой-то вуз, к такому-то роду деятельности и т. д.? Родители часто обвиняют школу в том, что она недостаточно хорошо выполняет эти задачи, берут своим детям репетиторов. Но удивительно: родителей мало (или, по крайней мере, гораздо реже) волнует другое — а делает ли школа или они сами все возможное, чтобы воспитать в ребенке настоящего человека, хорошего гражданина, развивая у него его лучшие задатки? Об этом часто вспоминают лишь тогда, когда в дом приходит беда.

И опять вопрос, по которому спорят жизнь и теория. Жизнь создает коллизию,

когда ученик, окончивая школу, имеет знания, желание их применять на практике и потребности самой практики, но не обладает умением, как это делать. Как проявить умение, выработать личную потребность, научить достойно жить?

Одни говорят — нужно создавать ситуации, решая которые ребенок приобретает свой опыт, так как слово, нравоучительные беседы часто остаются без ответа в душе человека. Другие резонно замечают, что обучать, в том числе и нравственности, без словесных форм нельзя, просто невозможно. Василий Александрович умело использует воспитательные возможности ситуации, тем самым накапливая у воспитанника его личный опыт. Он зорко следит за борьбой мотивов в условиях драматической ситуации, направляя ее так, чтобы мальчик или девочка сами приняли правильное решение. Вспоминается такой случай: время послевоенное, трудности с продовольствием, дети, с которыми он пошел в поход, щедро делятся друг с другом тем малым, что им могли дать дома. Вдруг он замечает, один мальчик выложил из своих запасов не все, как другие, оставив самое вкусное только для себя. Как поступить ему, воспитателю, наставнику? Можно пристыдить мальчика — но не будет ли его достоинство столь уязвлено, что останется на всю жизнь незаживающим рубцом и обернется недоверием к людям, обидой на них? Но можно и другое — помочь мальчику самому принять правильное решение. Василий Александрович щедро и настойчиво угощает школьника припасами других, вызвав тем самым у него угрызения совести. Оставив его после трапезы сжечь мусор, Василий Александрович радуется, наблюдая, как мальчик потихоньку сжигает и припрятанные лакомства. Сохранено и приумножено достоинство, одержана победа над собой — самая грандиозная победа в человеческой душе.

И вместе с тем разве В. А. Сухомлинский отказывается от воспитательных возможностей слова?

Слово может быть формальным, пустым, казенным, и слово может стать выразительным, умным, будоражащим мысли и чувства человека.

Василия Александровича порой упрекают, что слишком большое внимание он придает авторитету воспитателя, и некоторым даже кажется, что здесь имеется недооценка воспитательной роли коллектива. Это какое-то недоразумение. В работах Василия Александровича, в его опыте очень важную роль играет правильная организация детского коллектива, использование его как важного средства развития яркой личности коллективистского (то есть подлинно нравственного) плана. Ведь для него сама-то нравственность содержит в себе способность человека делать добро другим людям, то есть умение жить в коллективе, богатую эмоциональную культуру общения с другими людьми.

В педагогических кругах как только речь заходит о воспитании в коллективе, вполне естественно вспоминают А. С. Макаренко. И некоторые вдруг как-то с робостью рядом с этим именем ставят какое-либо другое. Кажется, будто это может умалять роль и значение опыта Макаренко. Удивительно, но в этой робости — элемент догматизма, боязнь научного авторитета. А сам Макаренко глубоко уважал тех, кто развивает, расширяет и совершенствует педагогическое мастерство и теорию.

Макаренко воспитывал коллективизм в коллективе и коллективом, через коллектив. Сухомлинский же добавляет, восполняет: «Без ярко выраженных личностей нет коллектива». Этим он не только не противопоставляет свою воспитательную систему коллективистской системе Макаренко, а, наоборот, развивает ее, поднимает ее на высшую ступень, на уровень личного коллективизма (или коллективистской личности).

«Трудовое лицо коллектива,— пишет Сухомлинский,— это не какая-то безликая масса, действующая по приказу или команде... Воспитание коллектива я видел прежде всего в том, чтобы в каждом подростке раскрылась его живинка, пробудился талант... Речь идет об интеллектуальном, творческом, эмоциональном углублении в тонкости работы...» Нельзя сказать, что сам А. С. Макаренко не придавал значения личности индивидуальности, но В. А. Сухомлинский поднял это на новую высоту, придал вопросу развития сущностных сил личности, личной инициативе, умению самостоятельно мыслить, творчеству каждой личности новое звучание. «Помочь каждому найти себя» — в этом, по словам Сухомлинского, «альфа и омега индивидуального подхода, воспитания личности и коллектива». Цель коммунистического воспитания, подчеркивает он, состоит в том, что «в обществе не должно быть ни одного бесцветного человека».

Любопытно, молодежь сейчас и сама стремится к ярким формам проявления своей самобытности. Часто это принимает формы наивные — длинные волосы, яркие краски в одежде, шумные реакции в выражении своих чувств и т. д. и т. п. Иногда это стремление так и остается на уровне внешней формы, более того, форма становится единственной страстью и порождает вещный характер в мотивации поведения личности. А здесь уже кроется серьезная педагогическая проблема. Человек, освобожденный от забот о материальном достатке, нуждается в воспитании высоких духовных запросов не менее, а более.

Отсутствие высоких духовных запросов у некоторой части людей — рассадник чуждых социализму по своей сути социальных болячек: недобросовестного отношения к труду, расхлябанности, недисциплинированности, стяжательства, различных форм нарушения норм социалистического общежития — грубости, хамства, хулиганства и т. д. и т. п.

Выступая в ряде пунктов против корыстолюбия, приобретательства, Сухомлинский ориентирует своих питомцев против самой основы частнособственнической, докоммунистической морали. Воспитывая презрение к стяжательству, к стремлению обладать вещами, утверждая, что подлинное богатство человека не в вещах, а в его духовности, он ополчается на самую основу предысторического жизневоззрения, на мораль вещных отношений. Говоря о том, что дорогим должно быть не «мое», а «наше», то есть ценности, принадлежащие всему обществу, Сухомлинский раскрывает самый смысл коммунистической морали, самую основу подлинно конкретного гуманизма.

Однако это не следует понимать упрощенно — будто Сухомлинский, говоря о «моем» и «нашем», выступает против личного интереса, за игнорирование его, ущемление или растворение его в общественном, за мораль аскета. Нет, Сухомлинского надо брать в контексте: из совокупности же его произведений следует, что он как раз отстаивает личный момент, но он стоит за такой личный интерес, который обогащается общественным содержанием, за насыщение личного интереса деятельностью, борьбой, трудом для людей, для других, для общества в целом.

Говоря о необходимости подчиняться добровольно принятой дисциплине, разумно введенному порядку, Сухомлинский вместе с тем упорно подчеркивает и необходимость поднять личностный момент в социалистическом воспитании.

Василий Александрович смотрел на соотношение личного и общественного интересов не примитивно, то есть не полагал, что суть коммунистической морали — в принципе слепого подчинения первого последнему, а усматривал эту суть в наполнении первого последним. Об этом у него написано черным по белому: «Труд во имя общего блага не означает самоотречения и обособления человека. Радость труда для людей имеет в своей основе глубоко личное чувство гордости, собственного достоинства» (разрядка моя. — Т. С.). Принципы жизни коммунистического, нового человека состоят не в том, чтобы жертвовать личным ради общественного (которое якобы по ту сторону личного), и не в том, чтобы подчинять ему личное, чтобы отречься от личного во имя общественного или унижать личное, растаптывать его, а, наоборот, в том, чтобы в самом общественном, в борьбе за общественное видеть основное личное удовлетворение, личную радость, внутреннюю личную потребность. Поэтому задача заключается ныне не в том, чтобы глушить, тормозить личное ради общественного, а в том, чтобы развивать личное, всемерно обогащать его, но обогащать именно общественным, то есть самое общественное делать личным, основой личного, — вот в чем смысл коммунистического воспитания, коммунистической морали.

Сухомлинский говорит о «работе для людей», о труде как «творении радости», о том, что «настоящее счастье — служить людям», что эту идею он «старался провести через все, о чем думали и что делали» его воспитанники, но так, чтобы все это они воспринимали не как навязанное им кем-то, не как пришедшее извне, а как свое кровное, личное, внутреннее, как потребность своего собственного «я». Все это и есть идея насыщения общественным содержанием личного интереса, а не идея подчинения последнего общественно-внешнему. Поэтому-то Сухомлинский стремился «втянуть мальчиков и девочек в работу, которую они переживали как исследование, как открытие истины», иначе бы наступила, как он говорил, «внутренняя опустошенность».

Сухомлинский настаивает на том, что следует формировать личное отношение к моральной истине, принципу. «В человеке,— читаем в его книге «Рождение гражданина»,— начинается гражданин, когда сфера его личных интересов расширяется, включая в себя интересы многих людей» и далее — всего общества. И еще более определенно: «Моральные отношения индивида с людьми пусть выражаются именно в том, чтобы интересы других людей становились для подростков личными» (разрядка моя.— Т. С.).

Идея «личной ответственности за все» может стать моральным приобретением каждого, утверждает Сухомлинский, «лишь при условии, если в его душе утвердятся глубоко личное отношение к этой идее». Этого никак не могут понять те, кто не в силах оторваться от филистерской платформы противопоставления личного и общественного как двух противостоящих друг другу, субстанционально существующих данностей, могущих быть якобы лишь в отношении подчинения друг другу (это не что иное, как все та же позиция Канта, противопоставляющего счастье, личное, личный интерес, радость смыслу жизни, моральному общественному долгу, глобальному нравственному закону).

Известные установки о том, что без величия общественных целей не может быть и личного счастья, Сухомлинский дополняет утверждением: без личного счастья, без полноты его, без заботы о нем не может быть и величия общественных целей. Мысль Сухомлинского о том, что богатство коллектива зависит от духовного богатства каждой личности (а не только богатство личности зависит от богатства коллектива), находится в полном соответствии с великим положением Маркса и Энгельса «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»,— это положение, как известно, содержится в «Коммунистическом манифесте».

В связи с этим Сухомлинский пишет: «Если вы хотите, чтобы духовная жизнь коллектива была богатой и полноценной, создавайте личную жизнь, богатую чистыми, возвышенными чувствами, жизнь, которая давала бы личное счастье, жизнь, в которую никто бы не вмешивался. Это один из очень тонких моментов воспитания». Не ясно ли, что Сухомлинский здесь развивает коллективистическую педагогику Макаренко (именно развивает, а не повторяет, равно как и не отрицает)!

Сухомлинский подчеркивает, что учителя его школы полагались на внутренние духовные силы человека, «не стояли у него над душой, не держали его за руку, а предоставляли ему свободу выбора. и он выбирал как раз то, что мы от него ждали: напрягал волевые усилия, преодолевал трудности, переживая при этом уважение к самому себе». Василий Александрович требует обращаться уже к подросткам на вы: подросток чувствует, что в нем уважают личность, «я», творческую индивидуальность. «Мы даем понять,— пишет автор «Рождения гражданина»,— почувствовать, пережить важнейшую истину: мы видим Вас, молодой человек... не только таким, каким Вы есть сегодня, но и таким, каким Вы станете в будущем. Мы уважаем в Вас не только то, что Вы уже с нашей помощью достигли, но и то, чего Вы достигнете. А достигнете Вы высшей ступени духовного развития только при большой своей настойчивости и при нашей помощи».

Подход Сухомлинского к воспитаннику как становящейся личности, как к субъекту, «я», а не как к «*tabula rasa*», на которой педагог может писать все что угодно, соответствует помыслам Ленина, высказанным им на III съезде комсомола, о том, что наша школа должна давать молодежи умение вырабатывать самими коммунистические взгляды, о том, что школа не должна быть школой «муштры». На II съезде учителей-интернационалистов он говорил, что надо «школу сделать орудием воспитания человеческой личности» (разрядка моя.— Т. С.).

Из всего сказанного совершенно очевидно следует, что В. А. Сухомлинский углубленно использует опыт и идеи Макаренко в решении вопроса о воспитании коллективиста. Нельзя педагогике Сухомлинского противопоставлять педагогику Макаренко, такой подход несостоятелен и надуман. Для Сухомлинского богатство коллективистского воспитания обеспечивается тем, что школьник не только получает навыки организованного, дисциплинированного поведения, не только становится способным действовать совместно с другими, но коллектив является условием и стимулом самобытного, коллективистски индивидуального развития личности. Педагогика Сухомлинского стражует

учителя от подмены подлинно коллективистского воспитания воспитанием у ученика слепых, бездушных конформных форм поведения. Это очень важно, так как на практике такие ошибки часто встречаются. Коллективное воспринимается в предельно упрощенных посылах «как все, так и я», «коллектив всегда прав, ошибаются лишь отдельные люди».

Коллективистское воспитание по Сухомлинскому — это в то же время воспитание гуманистической культуры коллективных действий, ощущения богатства и полноты единства целей и воли, культуры сопереживания, сочувствия, соподчинения ценностей в мотивации поступка, в котором личность не растворяется, личное достоинство не игнорируется, а получает наиболее богатые и полные формы своего выражения. Все это, как известно, есть педагогическая реализация идеи К. Маркса о том, что только в коллективе индивид получает возможность для своего гармонического развития.

Говоря о подлинно коммунистическом воспитании, следует подчеркнуть, что оно не является простым повторением своего «я» в другом «я», а есть формирование в другом «я» способности идти дальше, выше моего «я», способности преодолеть мое «я» («я» воспитателя). Идея о воплощении своего «я» в другом «я», об отдаче себя другому, о деятельности для другого (не в плане альтруизма, а в плане единства личного и общественного) проходит красной нитью через всю этико-педагогическую систему Сухомлинского: в этом истоки подлинно человеческого бессмертия, нравственности, счастья, смысла жизни; в этом и суть воспитания, в этом же и основа подлинной семьи — давать счастье другому, любимому человеку.

А отсюда вытекают и устои подлинно нравственных отношений между людьми и людей к обществу, их конкретного поведения. И здесь прежде всего прорисовывается необходимость бороться со злом: невозможны добрые деяния, забота о других без ненависти ко злу. Поэтому «примириться со злом — значит, самому стать безнравственным человеком». Как видим, Сухомлинский выступает как конкретный гуманист, как гуманист активный! Если абстрактный гуманизм полон призывов к всепрощению, непротивлению злу, то Сухомлинский заявляет, что подобное непротивление равносильно безнравственности.

Совершенно очевидно, что если бы кто-либо попытался, вырвав из контекста отдельные высказывания, «узреть» в педагогической системе Сухомлинского абстрактный гуманизм, то это могло бы произойти лишь в результате невежества. Сухомлинский не останавливается на простой констатации необходимости борьбы со злом: он идет дальше. Он требует бороться со злом без оглядки, самозабвенно, иначе зло не победить! «Не раздумывай, как поступить, увидев зло,— бороться против него или, закрыв глаза, пройти мимо». Как это противоположно тому, что пишут уже упомянутые радетели за «жизнестойкого рационалиста». Последние, по сути дела, рагуют за то, чтобы проходить мимо зла, если нельзя рассчитывать в борьбе с ним на легкий успех. Но это означает не что иное, как на новый лад перетолковывать старую-престарую формулу «моя хата с краю, я ничего не знаю», или, как говорил о психологии подобных рационалистов В. И. Ленин: это «...человек, который заботится только о том, чтобы иметь свое, а до другого ему дела нет».

В противоположность логике «расчета, выгоды, оглядки», которая может привести к примирению с пороками, с предательством, коль скоро этого-де «требуется арифметика», Сухомлинский заявляет: «предателю не подадут руки... его презирают», как презирают и любителей наветов, доносчиков. «Большое зло — равнодушие. Равнодушный человек легко становится предателем». Равнодушными являются не только те, кто молчит: можно бить себя в грудь, крича с трибуны о своем равнодушии, а на деле быть глубоко равнодушным и витийствовать о своем равнодушии только из-за... собственной выгоды. Везде и во всем призывает Василий Александрович видеть саму суть, конкретное содержание поступка, а не форму, за которой подчас кроется старый-престарый эгоист.

Главный же этико-педагогический принцип Сухомлинского — уважение личности воспитанника, отношение к нему как к субъекту, а не просто как к объекту воспитания. Воспитанник должен чувствовать себя хозяином в собственном духовном мире, педагог же, по существу, должен быть руководителем — катализатором в процессе его (воспитанника) самовоспитания.

Воспитательную систему Сухомлинского можно бы назвать синтетической: воспитание красотой действует лишь в синтезе с воспитанием правдой, справедливостью; воспитание добром, добротой действует в синтезе с воспитанием ненависти ко злу; воспитание сочувствием действует в синтезе с воспитанием борьбой. Педагогика Сухомлинского — это педагогика конкретной, коммунистической доброты, правды, красоты, культуры чувств и мышления, преодоления отчужденного сознания, преодоления частичности, фрагментарности человека, короче, это синтетическая педагогика становления Человека. Воспитывать в процессе предметной деятельности правдой, добром и красотой — педагогические устои Сухомлинского.

И вот что пишет Василий Александрович в конце книги «Рождение гражданина»: «Июньским днем мы пришли в лес. Устроились на своей любимой солнечной поляне. Завтра все мои воспитанники получат свидетельство об окончании восьмилетней школы.

Я был рад: они приобрели прочные знания, полюбили науку и книгу, научились мыслить и понимать окружающий мир и самих себя. Каждый из них нашел себя — полюбил труд, пережил радость успеха в любимом деле, стал мастером, творцом. Настоящим человеком. В каждом юном сердце утвердилось чувство к радостям и беде других людей. Все, что происходит в окружающем мире, глубоко волнует, тревожит юное сердце. переживается как личное. Сердца моих воспитанников стали непримиримыми ко злу. Добро, правда, человечность радуют, одухотворяют благородными чувствами, а зло, неправда, лицемерие возмущают, пробуждают волю к борьбе.

Мои воспитанники чувствительны к красоте, и прежде всего к красоте в человеке. Я убежден, что никто из них не обидит человека, не унизит его достоинство. Но человечество любить легче, чем по-настоящему любить одного человека. Труднее помочь ближнему, чем твердить: «Я люблю людей». Высшей наградой за труд, за тревожные дни и бессонные ночи является для меня то, что воспитанники мои стали настоящими сыновьями своей Родины: они знают, какой дорогой ценой досталось их поколению счастье труда, материальные и духовные блага социализма. Им дорог каждый стебелек на родной земле. они готовы отдать жизнь за социалистическую Отчизну».

Спрашивается: чего же больше может желать педагог от своих питомцев, кончивших восьмилетку! О, если бы каждая школа могла то же сказать о своих выпускниках! Питомцы Сухомлинского — воинствующие борцы с социальным злом, несправедливостью, им претит непотворение злу, примирение с какой бы то ни было обывательщиной, с каким бы то ни было пороком, со всеми мерзостями старого, отжившего мира. Все это органически связано с тем, что они обладают высокой культурой чувств, разума и воли. Они цельные натуры, внутренне свободные люди, люди, свободные от отчужденного сознания, от конформизма, от каких бы то ни было предрассудков. Они умеют подчиняться дисциплине, свободно принятой ими, но это не значит, что они подчиняются ей слепо, они воспринимают общественное, глобальное как свое кровно-личное; им вообще чужда позиция противопоставления личного и общественного, они не мыслят себе общественное как стоящее по ту сторону личного, как нечто, которому остается только подчиниться, — ведь таково мироощущение всего-навсего филистера.

Слов нет, у Сухомлинского есть много спорного (есть даже порой и наивное), как и у всех оригинально мыслящих авторов, но суть не в этом: мы здесь хотели показать главное в его системе нравственного воспитания. И это главное — Человек.

Т. САМСОНОВА,
кандидат философских наук.



ИСКУССТВО

Н. МОЛЕВА

★

И СНОВА МЕДНЫЙ ВСАДНИК...

Желтый лист слетает на круп коня. Липнет к чепраку. Срывается. Густые струи текут по плащу всадника, заливают лицо. Копыта бьют по льющейся воде. Подойти, всмотреться... Зачем?

Есть памятники прославленные. Знаменитые. Знакомые настолько, что понятия «знаешь — не знаешь», «помнишь — не помнишь» к ним уже невозможно применить. Разве здесь есть место для открытий, хотя бы взгляда заново, как в Медном всаднике, где все известно и заучено, где каждое обстоятельство истории памятника давно напечатано и повторено бесчисленным множеством тиражей. Кто не знает Медного всадника!

Все так. Но странное ощущение, растущее год от года, от встречи к встрече на развороте Сенатской площади, — почему же в действительности ничто не хотело сдвинуться: замысел Фальконе, его планы, свершения и отклик на памятник ближайших потомков — Пушкина, Мицкевича, декабристов? Что видели в Медном всаднике современники и что живет в нем для нас? Единства не было, но скульптура тревожила остротой внутренних противоречий, обойденных вниманием историков, исследователей.

Чем больше возникало недоумений, чем определенной они становились, тем очевидней было и другое. Ответ — полный, частичный, всякий — можно было надеяться найти, только прочитав заново историю Медного всадника. Через новые документы — насколько удастся их в архивах открыть, через уже известные — если круг их расширить, подвергнуть новому сопоставлению и анализу. Работа на годы, в которой бесконечно медленно начинал вставать, казалось бы, все тот же знакомый, но теперь уже и совсем по-новому узнанный образ.

Шел дождь, Укрывшись под одним плащом,
Стояли двое в сумраке ночном.
Один, гонимый царским произволом,
Сын Запада, безвестный был пришлец;
Другой был русский, вольности певец,
Вудивший Север пламенным глаголом...
Гость молча озирает Петров колосс,
И русский гений тихо произнес...

А. Мицкевич, «Дядя». 1832.

Первый день в Петербурге. Как освобождение и как приговор. После волглых стен камеры-кельи в виленском монастыре бернардинцев. После семи месяцев заключения и допросов: славившийся «железной рукой» Новосильцев именем наместника Царства Польского искал участников студенческих обществ. Адам Мицкевич уже вы-

В статье использованы материалы фондов Центрального государственного архива древних актов (Москва), Центрального государственного исторического архива (Ленинград), рукописного отдела Музея в Нанси (Франция).

шел из университетских стен. Только спасло его не это — упорное молчание товарищей.

Следствие оказалось в тупике: по всем показаниям непричастен, по духу (тут будущий граф, будущий председатель Государственного совета Российской империи Новосильцев не ошибался никогда!) — виновен без снисхождения. Выход — срочная отправка в Петербург за назначением «по ведомству народного просвещения». В столице могли сами определить место и род ссылки гимназического учителя Мицкевича.

Семьсот пятьдесят верст. Без отдыха. В зябкой осенней поземке. И созвучием вихрю перебаламученных чувств, бессильных сожалений, тоски по потерянной краю — человеческая трагедия на невских берегах 24 октября 1824 года... Первый день Мицкевича в Петербурге. Первый день Петербурга после наводнения. Крошево лачуг, заборов, немудреного скарба нищеты. Вереницы погребальных дрог. И надо всем, в свинцовом мареве готовых рухнуть на мостовые туч — взлетевший на скалу всадник. Торжествующий. Непреклонный. Неукротимый.

Потом будет другой Петербург. Другие встречи. Откровенность дружбы. Восторги перед поэтическим даром. Полнота гражданского сочувствия. Общность мыслей и чувств приведет Мицкевича и Пушкина в промозглых, захлестанных дождем сумерках к тому же всаднику. В пушкинских бумагах сохранятся тексты стихов Мицкевича — фрагменты третьей, оставшейся незаконченной части «Дзядов»: «Друзьям-москалям», «Олешкевичу», «Памятник Петру Великому»... Они увидят (смогут увидеть) свет только в 1832 году, только в далеком Париже. И тень петербургского памятника ляжет отсветом на их строки. Отсветом строгим и точным: смысл самодержавия, судьбы России, Европы, человечества:

И русский гений тихо произнес:
«...Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметает все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел.
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
Но век прошел — стоит он, как стоял.
Так водопад из недр гранитных скал
Исторгнется и, скованный морозом,
Висит над бездной, обратившись в лед.
Но если солнце вольности блеснет
И с Запада весна придет к России —
Что станет с водопадом тирании?»

А. Мицкевич, «Дзяды». 1832.

Для литературоведов в этих строках важны кавычки — прямая пушкинская речь. В них зерно споров о взглядах Мицкевича, его оценке и переоценке Петра. Мицкевича? Только почему бы пришло на ум поэту приписать свои мысли тому, кого он с первой встречи назвал «русским гением», и тем самым уйти от собственного суда и приговора? Почему в закавыченной речи здесь литературный прием — не знак единомыслия, за которым живой Пушкин? Пушкин накануне событий на Сенатской площади, полный чувствами тех, кому в самом близком будущем предстояло на нее выйти.

И еще — памятник. Что он здесь — повод для размышлений, случайный образ, слитностью с мыслями обоих поэтов превращенный в символ? О нем никто из исследователей в этой связи не обмолвился ни словом.

От ночи под одним плащом до «Медного всадника» — поэмы пройдет без малого десять лет. Между встанут декабристы, неудача польского восстания. Суд Пушкина не сможет не измениться. Между символом самодержавия в лице Петра и исторической необходимостью петровских реформ для поэта ляжет острая грань — грань объективности. Она не останется незамеченной.

Николай I в роли единственного цензора запретит публикацию поэмы. «Медный всадник» будет напечатан только после смерти поэта. А ведь в нем совсем новый (по сравнению с Мицкевичем) поворот темы: противоборство маленького человека не делу Петра — памятнику. Может, точнее — человеческому образу, его единственным,

подчас так трудно воспринимаемым поворотам. Они поразят в первой встрече воображение Мицкевича и неотступно пойдут за Пушкиным — непостижимым путем проникшие в бронзу императорского монумента живые черты живого человека.

Да, загадка Медного всадника. Не всегда осознанная, не всеми понятая и все равно задевающая каждого остротой неожиданности, взлетом слишком откровенных страстей. Памятник, который нельзя забыть. Разгадка — она, конечно же, существует. Но как к ней подойти?..

Я ограничусь статуей героя и его изображу не в качестве великого полководца и победителя, хотя, конечно, он был и тем и другим. Гораздо выше личность создателя, законодателя, благодетеля своей страны. Ее-то и надо показать.

Э. М. Фальконе — Д. Дидро. 1766.

Смысл и обстоятельства — как и для чего сооружался Медный всадник, — может, начинать надо с них?

Конный памятник монарху. Формула прославления, слишком давно потерявшая личный характер. Со времен Рима — вообще полководец, вообще триумфатор, властелин, и в этом качестве очередное утверждение очередного имени. Титул, претворенный в бронзу и камень. Лучший пример — сам Петр.

Для полноты торжества на невских берегах ему нужен памятник самому себе. Конечно, в «римских» одеждах. Конечно, на коне. Из Франции вызывается известный своими монументами Карло Растрелли. Почти закончена отливка статуи. Но Петр умирает. Колеблется с ее установкой Екатерина I. Тем более не спешит окружение сына царевича Алексея — Петра II. Анна Иоанновна и вовсе надежно прячет опоздавший монумент: поставленный, он будет работать против нее. И только Павел, которому надо утвердиться в своих правах на престол (будет ли конец разговорам, что подменили его при рождении!), отыщет затерянную в сараях отливку. Она встанет перед его дворцом с надписью — вызовом всем сомневающимся: «Прадеду — правнук». Пусть читают, видят, посмеют спорить!

В задуманном монументе тому же Петру Екатерина II не искала ничего нового. Наоборот — для нее важен примелькавшийся штамп. Как всегда, как у всех — единственный смысл обременительной затеи. И, само собой, разговоры: чем больше, тем лучше.

Узурпация власти, убийство двух коронованных предшественников, и среди них собственного мужа, расхватанная толпой фаворитов страна — на престоле за это не приходится отвечать. И все же лучше прикрыться высоким стремлением, оправдаться народными интересами. Тем более если ни по каким законам твои права невозможно доказать.

Екатерина располагала слишком немногим. Даже в наскоро сочиненных дневниковых записях она могла привести только нежелание Елизаветы Петровны видеть Петра III преемником да намекнуть о неких разговорах (не Елизаветы!) в свою пользу. К тому же наряду с этими разговорами существовали и другие — о высылке ее с сыном из России. Приходилось вспоминать слова одного из придворных, «что если б большой императрице представили, чтоб мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может...». Признание тяжелое, но за отсутствием иных посылок, вероятно, неизбежное. Что было, то было.

Оставались придуманные доказательства правоты, и одним из первых — памятник самому могучему, популярному, неоспоримому из предшественников. Как утверждаемая в вечности связь: «Петру I — Екатерина II». Но одного этого мало. В принятой на себя роли просвещенной монархини (чем не выгодный контраст относительно солдафонских и к тому же прусских увлечений Петра III или бездумного веселья елизаветинского двора!) Екатерине нужно совместить действительную цель с декорацией — разговорами об идеалах государственности и народной пользе. Это развитие темы ее знаменитой переписки с французскими философами. Поставить готовый памятник, не-

когда выполненный Растрелли, значило лишиться подобной возможности. Старый монумент остался незамеченным.

И вот летят собственноручные письма к Дидро, Вольтеру. Просьбы о советах, увлеченные дебаты, и в 1766 году почти восторженное согласие новоявленной русской императрицы на предложенную философами (самыми просвещенными, самыми свободомыслящими!) кандидатуру — руководитель скульптурной части Севрской королевской фарфоровой мануфактуры Этьенн Морис Фальконе.

Но все-таки выбор был странным. По меньшей мере странным. Конечно, рекомендации Дидро и Вольтера. Но философы ценили и знали ход мыслей Фальконе, его убеждения и взгляды на искусство, Екатерина — только работы. А ведь среди них нет ни одного памятника, ни одной просто монументальной по характеру скульптуры, разве что несколько фигур святых для приходской церкви святого Роха в Париже. Но так или иначе Фальконе получает приглашение из России заняться памятником Петру.

Соблазн создания первого в жизни художника монумента, конечно, заманчив. Условия, предложенные русской императрицей, великолепны. Напутствия друзей полны самых радостных надежд. А эскиз будущего памятника уже покорила Париж — Фальконе поспешил его широко показать. Как раз то, что нужно, и так, как нужно: скала, могучий, вздыбившийся на краю стремнины конь и невозмутимо повелевающий его порывом всадник.

Сила. Уверенность. Спокойная благожелательность. Все определено в замысле скульптора: «Я ограничусь статуей героя... личность создателя, законодателя, благодетеля своей страны, ее-то и надо показать...» Фальконе меньше всего задумывался над живым Петром, тем человеком, который когда-то существовал в действительности. Идеальный монарх — а речь идет только о нем — не вправе быть иным. Таково утверждение художника и его назидание монархам.

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!

А. С. Пушкин, «Медный всадник». 1833.

Урок монархам? Екатерина не имела ничего против. Слишком старательно и самоуверенно создавала видимость «золотого века» «богоподобная царица Киргиз-Кайсацкая орды», как назовет ее Г. Р. Державин. И к тому же этот далеко не молодой скульптор от мадам де Помпадур, в какие формы он сумеет в действительности облечь свои пусть даже и слишком высокие мысли?

Да, Фальконе пятьдесят. Совсем немного для наших временных измерений, слишком много для жизненных масштабов XVIII столетия. Полвека нелегких и невероятных.

Сын швейцарского ремесленника, он смеясь отзывается на русское обращение «ваше высокородие»: ему действительно довелось родиться и жить выше всех — на чердаке. В двадцать лет полуграмотный скульпторный подмастерье, в сорок он автор перевода и комментариев к Плинию Старшему — лучшего перевода, по кайризмому мнению самого Вольтера. Еще увлеченный в своих скульптурах непринужденной игрой рокайльных форм, где так осторожно, но упрямо начинает звучать эмоциональный ключ — намек на человеческое чувство, он размышляет над задачами скульптуры, над свойствами ее воздействия на человека, и в этих теоретических рассуждениях, трактатах, письмах значительная часть его творческого наследия.

С ним трудно — никто не знает, каким настроением вспыхнет Фальконе, от чего возмутится, чем увлечется. И с ним легко — так подвижен его ум, отзывчиво чувство, остер язык. «Жан-Жак Руссо от скульптуры», как называют его друзья. Дидро скажет больше и точнее: «Вот человек, наделенный гениальностью и всеми качествами, совместимыми и несовместимыми с гениальностью... Сколько в нем тонкости, вкуса, изящества, какой он неотесанный и учтивый, приветливый и резкий, нежный и суровый, как это он успевает работать в глине и мраморе, читать и размышлять, какой он милый и язвительный, серьезный и шуточный, как он философичен — ни во что не верит и твердо знает почему».

Петербургский заказ — дело не материального расчета. Слава давно избавила Фальконе от нужды, а скопидомством он не отличался никогда. Речь идет о смысле прожитых лет. «Мне пятьдесят, и я не создал ничего, заслуживающего упоминания» — строки из письма к Дидро.

Можно отказаться от положения, должностей, высокопоставленных заказчиков, привычных условий и уехать в неизвестную страну на целых восемь лет — таковы условия русского контракта, — чтобы попробовать силы в новом и неизвестном. За восемь лет Фальконе брался разработать модель памятника и подготовить ее к отливке. Срок большой, но в этих щедрых отмеренных годах вся мера ответственности и величина жизненной ставки художника. Монумент должен удался! Лишь бы хватило времени, лишь бы ничто не помешало в каждой мелочи добиться вымечтанного совершенства. Кому как не хлопотущему о контракте Дидро понять скульптора. «Помни, Фальконе, ты должен или умереть за работой, или создать нечто великое» — его напутствие другу.

Писем много. Очень много. Восторженных. Нетерпеливых. Радостных. Настойчивых. Раздраженных. Разных. Часть их сохранили наши архивы. Часть — в государственных архивах Франции. Кое-что вошло в издания эпистолярного наследия знаменитых современников скульптора. Фальконе любил писать, не умел оставить про себя ни одной мелочи своих переживаний. Пусть сегодня эту россыпь трудно свести воедино — подчас получить фотокопии из Музея в Нанси оказывается проще, чем найти время для поездки в знакомый каждому исследователю Центральный государственный исторический архив в Ленинграде или разобраться в нескончаемых описях дел личной царской канцелярии, так называемого императорского Кабинета. Все равно смысл происходившего можно восстановить.

Октябрь 1766 года. Петербург. После оживленной переписки между Петербургом и Парижем, неумных восторгов и широких жестов Екатерины холодящая непреклонность придворного церемониала. Все напоминало спектакль. Рядом дворец, императрица. Но вместо встреч, разговоров снова многословные строки писем. Екатерина и тут предпочитала тратить время на переписку: так выгоднее смотрелись ее мысли, продуманная ловкость оборотов.

Вместо обещанного императрицей «родства душ» дистанция положений, все более откровенного равнодушия. Памятник делается, просвещенная Европа об этом знает — чего же еще? Чем дальше, тем явственнее: скульптор докладывает — Екатерина приказывает, теряя небрежно его письма, неделями затягивая неотложный ответ.

В Париже эскиз памятника вызывал восторги. В Петербурге восторгов почему-то нет. Наоборот, возникают разговоры о других вариантах (отчего бы скульптору о них не подумать?), о возможных оригиналах для подражания (отчего бы их прямо не повторить?). Разве не великолепен, например, римский памятник императору Марку Аврелию: торжественно шествующий конь и так же торжественно восседающий на нем всадник, словно благословляющий зрителей свитком законов в широко простертой руке. Порыв фальконетовского коня, крутизна скалы, фронтальность обстоятельствам всадника — не слишком ли они многозначительны, сложны для толкования, попросту неуместны?

Правда, это почти всегда голос И. И. Бецкого, надоедливового старика, не должностного и не титулованного, приставленного неизвестно зачем к строительству памятника. У Бецкого нет прямых административных прав, на него вполне можно жаловаться императрице. Фальконе жалуется. Екатерина соглашается. А толки идут своим чередом, назойливые, неотступные, унижительные. В бесконечном каждодневном споре Фальконе не успевает толком разобраться, кто же он все-таки такой, этот злосчастный Бецкий.

Конечно, слухи. Только слухи. Но как упорно будут они возвращаться к матери Екатерины II, ее давнишней ссоре с мужем, принцем Ангальт-Цербским, не созданным, по-видимому, для семейных отношений, и к слишком тесной дружбе в Париже с молодым русским — Иваном Ивановичем Бецким. Дружба была прервана рождением будущей Екатерины. Принцессе пришлось вернуться к мужу. Бецкий заторопился в Петербург.

Что было во всем этом правдой — многое или ничего? Но с появлением Екатерины на престоле незаконнорожденный отпрыск семьи Трубецких, Бецкий, оказывается осыпанным царскими милостями. Не чинами и титулами — баснословными деньгами. Бецкому предоставляется на досуге заниматься вопросами просвещения, искусствами, и подчинен он не каким-нибудь там ведомствам — самой императрице.

Кстати, безжалостные взгляды современников успевают подметить и другое: Екатерина избегает появляться рядом с Бецким на официальных приемах. Не потому ли, что слишком похожа на него чертами лица?

И если Бецкому, и никому другому, поручалось наблюдение за Фальконе, значит, дело было особенно важным, а в нудных замечаниях старика оживала воля императрицы. Просто никаких открытых нажимов Екатерина не хотела: слишком тесно были связаны с постановкой памятника ее французские корреспонденты-философы.

И снова смысл спора Фальконе — Бецкий. В нем стоит подробнее разобраться. Фальконе спорит до бешенства, до отчаяния. Для него дело не в самом Марке Аврелии. Как раз этот император как нельзя больше отвечает представлению французских просветителей об идеальном монархе. Но памятник, сам по себе памятник! Как можно обращаться к его формам, скованным, в глазах Фальконе, мертвой формулой логики и расчета: ни естественного движения, ни намека на чувство, настроение. Но Бецкий и те, кто за ним, не собираются спорить о тонкостях изобразительного языка. Для них все решается гораздо проще. Марк Аврелий — давно признанный идеальный монарх. Так почему бы Петру всем своим видом не напоминать именно его? Внешнее подобие неизбежно наводит на мысль о подобии внутреннем: раз похож — похож во всем. Да, Фальконе спорит об одних формах. Но из этих форм — неужели он не отдает себе отчета! — рождается иной образ, в конечном счете отвергающий всякое сходство с римским законодателем.

И ведь бецкие не ошибались. Это подтвердят, пусть много позже, спустя полвека, записанные Мицкевичем слова Пушкина:

Нет, Марк Аврелий в Риме не таков,
Народа друг, любимец легионов,
Средь подданных не ведал он врагов...
И вот он с миром едет в Капитолий.

Но даже бецкие не предполагали возможности другой метаморфозы — метаморфозы памятника во времени. Что случилось с ним в глазах новых поколений, если одного взгляда на «лик Петра» стало достаточно, чтобы пушкинский Евгений из поэмы лишился рассудка? Что стояло за этим — фантазия поэта или способность человека иной эпохи прочесть то, что все-таки было заложено в образе?

Стефан Фальконе парижанин сочинил и изваял, Мари Анн Колло парижанка императору сходство сообщила, Антон Лосенко нарисовал в год 1770.

Фальконе. Надпись для предполагавшейся гравюры памятника Петру I.

Новые клады архивных дел — теперь уже история создания Медного всадника. Суммы ассигнованные, истраченные, невыплаченные. Наем рабочих, помощников. Перипетии с оборудованием мастерской. Пуды глины, гипса. Пробы бронзы. Бесконечная в своей повседневности бухгалтерия. И дразги — мелочные, вьедливые, вросшие в каждый день. Помимо раздраженного надзирательства Бецкого, бессмысленных споров о Марке Аврелии, не прочитанных и забытых Екатериной писем.

Творчество! Даже в оригиналах, с которых предстояло скульптору работать, он не был ни свободен, ни предоставлен самому себе. Какой там богатейший выбор прижизненных портретов Петра, на котором настаивают все истории искусства! Достаточно одного, и то не разысканного самим Фальконе, а выданного ему как предписание: Петр должен быть таким, и только таким. Всякая фантазия, самостоятельные выводы художника заранее признавались неуместными.

Впрочем, по-настоящему это уже не имело отношения к Фальконе. Каждый справочник скажет, что голову памятника лепила Мари Анн Колло, ученица Фальконе, скульптор-портретист. Так было задумано с самого начала. Но странно — никто не задался вопросом, почему так могло быть задумано.

Может быть, Фальконе вообще не лепил портретов? Но в списке работ, который он сам старательно составлял, портреты есть, и их не так мало. Может быть, Колло была здесь опычнее учителя? И снова нет. В момент приезда в Россию ей всего семнадцать лет, из которых она только два года училась скульптуре. Может, все-таки Фальконе не уверен в себе? Но на это нет ни малейшего намека и в его письмах. Напротив. Он готов все исполнить сам, да и как могло бы быть иначе. Значит, остается непредвиденное.

И непредвиденное действительно случилось, хотя обнаружить его сегодня, спустя двести лет, совсем не легко. Где-то неохотно, словно через силу роняет несколько скупых слов Фальконе в своих оставшихся неопубликованными записках. Где-то еще скуперее оговариваются современники, и чуть подробнее рассказывает в своих воспоминаниях внучка скульптора.

Три раза лепил голову памятника Фальконе, три раза наталкивался на неодобрение Екатерины. Нет, никаких объяснений по этому поводу нет. Просто не нравилось, просто не подходило. И вот тогда-то впервые в связи с будущим Медным всадником появляется имя Мари Анн Колло. Появляется, чтобы остаться навсегда.

Просто ученица большого скульптора? Конечно, и это, но только ли это? Перед отъездом Фальконе в Россию Дидро позирует ему в парижской мастерской. Старые друзья, убежденные единомышленники. Фальконе слишком хорошо и давно знает Дидро. Дидро дорого увидит себя изображенным рукой близкого человека. И когда уже сделаны последние штрихи, гневно брошенный молоток превращает портрет в россыпь осколков: Фальконе сравнил свою работу с бюстом, сделанным одновременно и с той же модели Мари Анн. Победа семнадцатилетней девочки слишком очевидна. Фальконе тут же дает слово никогда не браться за портреты: не его дело, не его призвание. И Дидро осторожно обходит молчанием вспышку друга. Редкая заслуга критика — он умеет оставаться объективным и с близкими людьми. От отсутствия Фальконе-портретиста искусство действительно не могло проиграть, талант же «маленькой Колло» был по-настоящему любопытен. Пусть всего год назад она бог весть какими путями («Обстоятельства рождения и детства не выяснены», — туманно откликаются биографы) оказалась в мастерской скульптора.

Через год наступает отъезд в Петербург — вместе с Мари Анн. Родители, родственники, покровители — были ли они у Колло? Если и были (через много лет она будет ссылаться на необходимость поездки из Петербурга в Париж «по семейным делам»), для Мари Анн все слилось в учителя. С ним она без тени колебания оставляет Францию, Париж.

Рассчитывал ли в действительности Фальконе на сотрудничество Колло в памятнике? Ни в коей мере. Контракт касается одного Фальконе. Имени Мари Анн в нем нет, как нет с ней никакого договора вообще. Разве что туманное обещание русского посла, личного друга Фальконе и Дидро Д. А. Голицына найти в будущем способ оформить ее пребывание в Петербурге.

Петербург. 15 октября 1766 года. Некая Анастасия Соколова одному из своих зарубежных корреспондентов: «...Господин Фальконе приехал в наш город, наша государыня пригласила его, чтобы сделать статую Петра Великого. Он привез с собой свою воспитанницу 18 лет, это феномен. Не уступая ни одной из представительниц нашего пола, она преимущественно обращена к скульптуре. Они должны начать делать мой бюст...»

И вот Фальконе — шумный, нетерпеливый, стремящийся одним махом обрывать нити всех придворных интриг. И тень Мари Анн. В каждом письме скульптора к Екатерине упоминания: госпожа Колло кончила один бюст и готова начать другой; госпожа Колло уже может показать в мраморе медальон и начать работать над фигурой в рост; госпожу Колло задерживает отсутствие нужного материала. Анастасия Соколова, Генрих IV, великий князь Павел Петрович и его жена, Сюлли, Дидро, Даламбер,

медаль в честь Григория Орлова, пресловутого спасителя Москвы от чумы 1771 года, бюсты Екатерины и среди них один в подарок самому фернейскому патриарху — Вольтеру, портрет Фальконе... Портретов множество, портретам нет конца. В ответ на шутивно-покровительственный тон учителя по отношению к ученице полные уважительности письма Екатерины. Она всегда рада видеть госпожу Колло, всегда найдет для нее новую работу. И ни одной строчки рукой самой Колло. Потому ли, что не знала придворного обхождения, потому ли, что им тяготилась, или просто, как и потом всю жизнь, уступала место учителю.

О Мари Анн говорят. В глазах современников она хороша собой — гибкая фигурка в глухом, плотно перехваченном косынкой платье и простом чепце на гладко зачесанных волосах. Прямой тонкий нос, высокий лоб и сосредоточенно-испытующий взгляд больших темных глаз, без тени улыбки, почти тяжелый в своей пристальности. Двор удивлен трудолюбием Колло. Художников поражает редкая сосредоточенность и профессионализм. Окружающие привыкли к спокойной интонации и невозмутимой сдержанности. Она словно отстраняет от себя все, что не касается работы, и она одна способна смягчать взрывы доводимого до отчаяния учителя.

«Мне кажется, я знаю, чего хотят от вас. Разрешите мне сделать попытку со своей стороны... Может быть, мне удастся» — слова Колло, с которых началась работа над головой Петра. И, кстати сказать, единственные слова Мари Анн, сохраненные памятью близких. Все привыкли слушать и запоминать одного Фальконе.

Ночь за работой — и Фальконе везет во дворец голову, вылепленную Колло. На этот раз «апробация» была полной; ничего не менять, все перенести самым точным образом в памятник.

Случайный успех? Плоды откровенной симпатии Екатерины к Мари Анн? Или, судя по остальным работам Колло, совсем иное. Для Фальконе в образе идеального монарха портретность, точнее характер, значения иметь не могла. Идея монумента воплощалась прежде всего в композиции, ее внутреннем расчете и динамике. Таково наследие рокайля. Но для Колло живой человек, характер — необходим. И дело не только в том, что она портретист по призванию. Это то стремление, которое приносит с собой классицизм, он порождает и целый разряд скульпторов, занимающихся только портретом. Знамение времени, но в России за ним стояла к тому же традиция интереса к живому человеку — портретному изображению. Рядом с бюстами Федота Шубина, полотнами Рокотова и Левицкого некий абстрактный «Петр для монумента» попросту не воспринимался. Не мог быть воспринят.

Но какие бы восторги ни вызывал первый набросок головы, он не удовлетворил Колло. У нее сложилось собственное представление о Петре, но она слишком близко знала и замысел памятника. «Апробация!» Сколько месяцев и с какой настойчивостью Мари Анн будет искать равновесие: памятник — портрет. «Что мне известно об этом таланте, так это то, что он около года мучит меня моделью конной статуи, и весьма будет он счастлив, если сделает из нее что-либо не совсем дрянное; но надо всякому дать жить» — из письма Фальконе Екатерине от 10 октября 1775 года.

Может быть, следовало отозваться об усилиях Колло немного серьезней, может быть, хоть чуть уважительней. Но независимо от того, оказалось ли задетым самолюбие Фальконе или нет, он и здесь сохранил верность своей безоговорочной объективности: «Стефан Фальконе парижанин сочинил и изваял, Мари Анн Колло парижанка императору сходство сообщила...»

...Виденный мною портрет Петра Великого кажется мне хорошим, приходите на него посмотреть: перемещать его мне бы теперь не хотелось.

Екатерина II — Э. М. Фальконе. 1775.

И все-таки какой же портрет непосредственно подсказал Колло ее решение? Известно, что он находился в мастерской Фальконе. Известно, что был для него единственным. Музейных экспозиций еще не существовало. Даже полотна, развешанные в дворцовых залах, никто не давал разрешения скульптору специально рассматривать. Бу-

маги нансийского Музея больше никаких указаний не содержали. Ничего не удавалось найти и в петербургских Дворцовых описях: когда и что именно было выдано для пользования скульптору. Тем досадней, что никаких иных оригиналов, как утверждают документы, вплоть до самой отливки Колло предоставлено не было. И здесь же один не совсем понятный эпизод.

В конце мая 1773 года до Фальконе доходят слухи об обнаруженном в кладовых дворца портрете Петра. «Подлинном», что на языке художника означает несомненно написанном с натуры. Екатерина не думает ему об этом сообщать, и Фальконе пишет: «На днях узнал я, что ваше императорское величество нашли недавн портрет Петра Великого более схожий, чем имевшийся доселе. Если бы вам угодно было прислать мне его, то, быть может, сходство это можно было бы передать конной статуе, и госпожа Колло воспользовалась бы этим указанием...»

Екатерина не отрицает находки, но и не выражает желания предоставить ее скульптору. Он может посмотреть холст, но нет и речи о том, чтобы удовлетворить его требование — привезти портрет в мастерскую: «Перемещать его теперь мне бы не хотелось». Фальконе настаивает, но дело кончается ничем. Новое изображение остается и для него и для Колло недоступным.

Правда, сделать в это время можно было уже слишком мало. Разве кое-где тронуть детали. Модель памятника закончена и показана публике еще в 1770 году. Тогда же состоялась доставка с Лахты его будущего постамент, знаменитого Камня-Грома,— событие, увековеченное выпуском специальной медали с надписью: «Державению подобно». Оставалось последнее — отливка. К ней Колло не имела отношения, как не должен был иметь отношения и Фальконе. Участие скульптора в этом заключительном этапе работ контрактом не предусматривалось. Обстоятельства решили иначе.

В целой Европе не нашлось литейщика, который бы согласился удовлетворить требования Фальконе: не составная — цельная отливка и вдвое более тонкая, чем принято, толщина стенок. Первое давало гарантию наиболее точного соответствия памятника модели и, главное, без швов и соединений отдельно отлитых кусков. Второе было обязательным, по расчетам скульптора, услavimo, чтобы фигура вздыбленного коня удержала равновесие и не отломилась.

Если литейщики с сомнением относились к первому требованию, то от второго категорически отказывались. У Фальконе оставался единственный выход — взяться за отливку самому. Постановка памятника тем самым отодвигалась на годы. Скульптору предстояло сначала изучить литейное дело и добиться первых удовлетворительных проб.

Приступить к окончательной отливке Фальконе решился только в 1775 году. И здесь после исключительно удачного начала, когда работа была близка к концу, произошло непоправимое. Заснул ночью дежуривший у печи литейщик, огонь разгорелся и уничтожил верхнюю часть памятника: фигуру Петра, голову коня. В начавшемся пожаре Фальконе был ранен, потерял сознание. И только невозмутимое мужество артиллерийского литейщика Хайлова позволило спасти от уничтожения нижнюю часть памятника.

Все надо было начинать заново. Вернее, не все. Для самого Фальконе — отдельные детали, для Колло — всю некогда проделанную работу.

Повторить старое? Для настоящего художника это невозможно. За годы работы накапливалось недовольство собой, своим решением, претензии к отдельным деталям. Но самое удивительное, что не столько Фальконе, сколько Колло спешит воспользоваться возможностью переделки.

«Ноги всадника совсем иные, чем были в форме. Протянутая рука поставлена иначе, чем в гипсовой модели, а следовательно, и в форме. Голова героя лучше, чем в модели и форме», — напишет Фальконе год спустя Екатерине. Но он не преминет пожаловаться, как достался ему этот год. Госпожа Колло истощила бы терпение всякого: еще год ночных бдений у скульптурного станка. Фальконе не может отказать в уважении усилиям своей ученицы, но и не скрывает, как докучает порой ее упорство, неудовлетворенность.

Впрочем, упорство Мари Анн известно Удивительно другое. После бесконечного

и непрерывного реестра работ Колло (Фальконе по-прежнему ставит в известность Екатерину о каждой из них) — пустота. Имя художницы исчезает из писем. На протяжении года ничего нового. «Конный монумент», и он один,— это может прискучить любому корреспонденту.

Но в письмах есть и иная черта. Мари Анн словно досадливо отбрасывает все, что ей может помешать. Скульптуры Павла и его только что обвенчанной жены? Конечно же, они будут сделаны. Потом. Со временем. Бюст Даламбера (Екатерина все еще играет в поклонницу французских энциклопедистов)? Она не может приняться за него сейчас. Потом. Когда-нибудь. Когда разыщет оригиналы. Другие заказы? Мари Анн не хлопочет о них. Больше того. Она начинает говорить о намерении отправиться в Париж — нехитрая уловка, чтобы все отнести ко времени своего возвращения оттуда.

Правда, Екатерина и не настаивает. Ведь это 1775 год. Неотремевшие раскаты пугачевских событий. Усилия Кучук-Кайнарджийского мира с турками, неотложного, спешного, лишь бы развязать руки для внутренних дел. И эта княжна Тараканова — подлинная ли, мнимая ли дочь Елизаветы Петровны, вполне законная претендентка на русский престол в глазах доброй половины европейских монархов. Игра в меценатство становится для русской императрицы слишком обременительной. А Колло ей не только не способствует. Она старается остаться в тени. Додумать. Доделать на свободе. Уйти в себя и в свой замысел.

Да, письма, одни и те же письма могут иметь для исследователя очень разный смысл — каждое в отдельности, в сопоставлении, в общем ряду или точно пересчитанные по дням. И вот именно тогда Колло по-настоящему входит в историю Медного всадника.

«Госпожа Колло, изображая имевшуюся у нее модель, сделанную шесть лет тому назад, присоединила все, что могла вспомнить из различных черт лица, движений, впечатлений, составляющих физиономию оригинала. Итак, я думаю, что портрет похож» — это Фальконе о портрете Дидро. Но это же и метод, которому, единожды его приняв, художник не в силах изменить никогда.

Петр I Мари Анн Колло. Сочетание необузданной воли и болезненной напряженности, силы и внутреннего противоборства, усилия во что бы то ни стало победить и глубокой усталости, властности и ума — не пресловутой мудрости, с которой приходят к человеку покой и умиротворенность. Петр весь в кипении страстей. От этого человека можно ожидать всего: великодушия, жестокости, прозрения, слепоты. Он способен на все, но какой для самого себя и других ценой!

Так можно прочесть живого человека — все дело в мере таланта портретиста. Но живого человека не было. И жадный порыв Колло к работе от иного прозрения. Неотразимый своей суровой красотой город — Петр его создавал. Ритм жизни — он его навязал. Размах дел — Петр стоял у их истоков. Люди, которые почти сами видели, почти сами запомнили,— сорок лет со дня смерти не срок, чтобы потерять ощущение человека, жившего рядом, тем более Петра.

И небольшая подробность. На этот раз в спешке восстановления едва не погибшего памятника Екатерина не могла отказать Фальконе в найденном два года назад портрете. Вопреки первой, высокомерно-раздраженной интонации отказа портрет Петра, именно тот, о котором шла речь, был отправлен в мастерскую обоих скульпторов. Нам оставалось его только найти.

Получа сие письмо, скажи Ивану Никитину, чтобы он взял с собою краски и инструменты, также и полотно, на чем ему писать персону государеву, приехал сюда немедля.

Кабинет-секретарь Петра I — И. А. Черкасову. 31 июля 1721.

Всего только найти... Конечно, есть указания для поиска. Несомненно принадлежность к дворцовым собраниям: трудно себе представить, чтобы такого рода царский портрет оказался в частных руках. Несомненно портрет прижизненный — написанный до 1725 года. К тому же отмеченный редким сходством, которое в отношении Петра

давалось художникам достаточно трудно, — значит, написанный кем-то из близко знавших его мастеров. Все так, но как эти соображения практически применить?

Сотни полотен в десятках собраний. Портреты в рост и по грудь, в отливающих вороненой сталью латах и в бархатных камзолах, в сияющих белизной горностае мантиях и в суконных «полевых» офицерских мундирах, в жестяном сплетении лавровых ветвей и в путанице редущих, но все еще смоляных волос — изображения Петра бесконечны в своем разнообразии. Что-то было сделано при жизни Петра, большинство позже. Много позже. Но холст XVIII века обманывает историка однообразием своего плетения — «зерна», красочный слой — глубиной и замысловатостью трещин на нем — кракелюр, манера письма — ошибками: то ли ранний по времени художник, то ли недоучка. И едва ли не единственный принятый пока способ классификации — типы. Типы по их подражанию доподлинно установленным оригиналам известных по именам мастеров — француза Каравака, голландца Таиннауера, англичанина Кнеллера, других. «Своим» не повезло. Оригиналы русских художников остаются невыясненными, а вместе с ними и ряд подражаний им. А разве не интересно, кто, когда, почему получал превосходство, больше привлекал для повторений? Ведь это как волны в прибое менявшихся эстетических представлений, человеческого — общественного сознания. Так какой же из оригиналов, типов?

Еще раз знакомый мундир бомбардирской роты Преображенского полка — он до конца оставался любимым у Петра. Густо-зеленое сукно. Золотой позумент. Складки высокого воротничка сорочки, сколотого булавкой с изумрудом. И лицо. Нервное, в мелких отечных мешочках, готовое перекошиться тиком, взорваться безудержным гневом, бурным восторгом. Подвижные, будто подрагивающие под ниткой усов губы. Разлет напряженно поднятых бровей. Взгляд выжидающе-настороженный, недоверчивый, почти враждебный в нетерпеливом повороте головы. Слишком человек, чтобы его представить себе монархом. И не в этом ли незадачливая судьба портрета? Он почти никогда не воспроизводился, почти никогда не оказывался в залах Русского музея.

А между тем это Иван Никитин. Любимец Петра. Первый и непревзойденный в глазах современников «персонных дел мастер». Не чьи-нибудь — только никитинские работы Петр хотел видеть в Европе непременно, любым путем, «чтобы знали, что есть и из нашего народа добрые мастера». И только о нем, единственном из русских художников, достоверно известно, что писал Петра с натуры много раз и даже в какие именно дни и часы.

Все в этом холсте заучено на память, но... На обороте подрамника затертая до черноты старого дерева бумажная наклейка, еле уловимый, точный рисунок французской скорописи. В переводе: «Петр I император России лично написанный с натуры происходит из Кабинета скульптур 954». И чуть ниже на другом листке: «Возвращен от мадам Фальконе 954». «Мадам Фальконе» — несостоявшаяся страница личной жизни Мари Анн...

В 1773 году без предупреждения и переписки в Петербурге появляется сын Фальконе, Пьер. Странные взаимоотношения, странный приезд. Пьер — живописец, но отец незнаком с его мастерством. Фальконе готов просить о внимании к нему Екатерины, но открыто признается, что не знает, заслуживает ли его Пьер. Да и откуда ему знать — Пьер слишком долго жил в Англии, слишком молодым туда уехал. Награды Салона, восторги модных английских дам для Фальконе-отца не значат ничего. И как проба — портрет Колло, который Фальконе-отец просит разрешения представить во дворец.

Екатерина не в восторге, но и не отказывает. Пусть Пьер при желании попробует силы в ее собственном портрете. Само собой разумеется, позировать ему она не станет. Достаточно, если он увидит императрицу с галереи во время бала.

Опыт оказался бесполезным. Портрет не понравился, как не понравились и все остальные работы Фальконе-сына. Делать в Петербурге Пьеру было решительно нечего.

Спустя два года Мари Анн направляется в Париж под предлогом устройства неких семейных дел. Под предлогом, потому что настоящая цель поездки — публикация гравюры памятника, о которой мечтает Фальконе. Скульптор пишет, что вместе с ней

едет на родину и Пьер. Состоялась ли эта совместная поездка или Пьер продолжал безуспешные попытки задержаться в России, найти заказчиков, признание? Во всяком случае, по возвращении Мари Анн он в Петербурге. И в 1777 году совсем незаметно, без празднования и огласки происходит их свадьба. Свадьба, которая должна была соединить и которая навсегда разделила двух самых близких Фальконе людей.

Через два месяца после венчания Пьер стремительно оставляет Петербург. Мари Анн остается. Она придет в Париж много позже, одна, когда Пьер навсегда переедет в Англию. Больше они не будут искать встреч.

И вот «мадам Фальконе»... Значит, полученный из дворца портрет Петра оставался в мастерской Фальконе — Колло по крайней мере до конца 1777 года, когда художница приняла фамилию мужа. Значит, это и есть тот самый последний портрет, которому суждено было претвориться в образ Медного всадника. Достоверность наклеек — ее-то совсем нетрудно проверить.

Характер бумаги, характер почерков, как точная подпись лет: 1770—1780 годы. Так писали именно тогда — дробной россыпью хорошо читаемых букв. И то же с бумагой. Ее сорт — плотный, с кажущимся рифлением, лишь кое-где тронутым разводами водяных знаков. Он начал изготавливаться в начале века, но характерный зеленоватый оттенок приобрел именно в эти годы. И другое — чему могли вообще служить совсем необычные наклейки?

В дворцовых кладовых встречались заменявшие инвентарные номера записи, в том числе и на французском языке. Но кто бы из хранителей или писарей стал подробно объяснять, что — Петр, император России, что данный портрет написан с натуры и к тому же происходит из некоего мифического «Кабинета скульптур». Вернее предположить другое.

Подобное объяснение на французском языке, что это как раз и есть тот наиболее ценный и «схожий» портрет, могло быть сделано для Фальконе или, вернее, для самой Колло. А «Кабинет скульптур» — под ним в неточном французском переводе могло подразумеваться все: и раздел дворцового собрания, и собрание Академии художеств, и даже коллекция петровской Кунсткамеры. Так было понятнее (внушительнее?) для иностранки Мари Анн. И соответственно вторая наклейка — о возврате: мадам Фальконе вернула портрет перед самым своим отъездом из России.

Так вот откуда этот мучительный и так долго не разрешавшийся процесс узнавания! То же чуть тронутое одутловатостью лицо, заострившийся рисунок скул, отчужденная пристальность усталого взгляда. Конечно, они разные — никитинский портрет и портрет Колло, и они удивительно близки ощущением живого человека, пережитого художником. Никитин бесконечно опередил здесь свое время. Прозрение Никитина — прозрение настоящей духовной близости, бесконечного восхищения человеком и сочувствия ему. Они не могли оставить равнодушной Колло, и, осветив для нее образ Петра неожиданно живым, взволнованным чувством, остались жить в совсем иначе и по-иному задуманном монументе.

Вторичная отливка створенных частей Медного всадника в 1778 году завершена. Все прошло благополучно. Но ждать установки памятника Фальконе не в состоянии: напряженные отношения с Бецким, пренебрежительная холодность Екатерины достигли апогея. Теперь нужды в беспокойном художнике не оставалось. И как завершение затянувшихся на двенадцать лет перипетий с памятником, как открытая издевка над скульптором — акварель неизвестного художника «Екатерина II выслушивает И. И. Бецкого у памятника Петру I». Да, да, не Фальконе и не Колло, а именно Бецкого.

Приземистый брюхатый старик в шубе и парике разглагольствует перед Екатериной, закутанной в сало и капор. Почти семейная сценка, которую не нарушают несколько переговаривающихся между собой спутников. Припорошенный снежной пылью Медный всадник. Очертания корабельных мачт на Неве. Неприютный зимний Петербург.

Уезжает в Гаагу Фальконе. И вслед за ним без сожаления, без прощальных слов оставляет Петербург мадам Мари Анн Фальконе-Колло, действительный член петербургской Академии художеств. Так сообщает равнодушная и безликая хроника отъезжающих в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Кругом подножия кумира
 Безумец бедный обошел
 И взоры дикие навел
 На лик державца полумира.

А. С. Пушкин, «Медный всадник». 1833.

«Мари Анн Колло императору сходство сообщила...» Об этом не думали в ту промозглую ночь ни Мицкевич, ни Пушкин. В их разговорах, письмах, стихах не промелькнет памяти ни о давно забытом «персонных дел мастере», ни о Мари Анн. А ведь Колло — их современница. Еще при ее жизни Пушкин напишет «Руслана и Людмилу», «Кавказского пленника». И не станет Мари Анн всего за три года до встречи поэтов. Но Медный всадник кажется Мицкевичу и Пушкину простоявшим века — образ, рожденный дыханием России, истории, Петербурга. Забвение художника — здесь оно обернулось для Колло похвалой. Впрочем, Мари Анн сделала все, чтобы ее забыли.

Перед лицом писем, которых нет, слов, которых не удосужилась сохранить память современников, поступков, о которых упоминают лишь безразличные строки официальных документов, и, наконец, работ — вот их действительно берегут Эрмитаж и Лувр — возникает удивительный образ женщины-скульптора. Мари Анн Колло — мастер, одинаково далекий и честолюбия и корыстолюбия, которая не знала расчетов в искусстве и всегда делала в жизни то, к чему ее влекло душевное призвание художника, человека. Прежде всего человека.

После Медного всадника Фальконе не берется больше за резец. Сказалось и перенапряжение, сказала и горечь разочарования: после стольких лет трудов и усилий любимое детище так и не удалось довести до конца. Фальконе занят изданием своих теоретических трудов, благо ему приходит на помощь все тот же старый друг Д. А. Голицын. Потом пытается путешествиями наверстать полугодную нищую юность, перегруженные работой годы. Мари Анн все время рядом. Парижская мастерская нужна теперь только ей. Она продолжает работать, и это ее все новые и новые портреты помогают обоим художникам выходить из материальных затруднений.

Она около Фальконе и в тот майский день 1783 года, когда, возбужденный наконец-то наступающим отъездом в Италию, старый скульптор падает, разбитый параличом. Впереди восемь лет в постели — без движения, без возможности покинуть одну и ту же комнату. Восемь лет наедине с Мари Анн. Теперь тем более лепить, работать может в свободные от ухода за больным минуты только она одна. Вернее, с помощью Машеньки, воспитанницы, привезенной ею из России.

1791 год — не стало Фальконе. Двамя месяцами позже не станет и его сына, чье имя носит Мари Анн. Все так же невозмутимо мадам Фальконе складывает инструменты, фартуки, собирает рисунки, эскизы, записки. Теперь она оставляет скульптуру, а вместе с ней и Париж, чтобы навсегда закрыться в Марильон — маленьком поместье в Лотарингии, которое удается купить на оставшиеся от Медного всадника деньги. Мари Анн исполнилось сорок три года. Знакомые уверяют, она мало чем изменилась со времен своего ученичества: хрупкая молчаливая женщина — высокочтимая мадам Фальконе-Колло, теперь уже член и парижской Академии.

Мадемуазель Виктоар (мадемуазель Победа, как называли ее в дружеском кругу Вольтер и Дидро) — одна среди писем, сочинений, рисунков, скульптур Фальконе. Годы в Марильон проходят словно около нее, ничем не задевая, не возрождая желаний, попыток взяться за резец. О чем думает, чем занимается бесконечно долгие тридцать лет одиночества Мари Анн? На это нет ответа.

Никто не поинтересовался биографией Колло, не попытался ее восстановить. В истории искусства Мари Анн существует в годы работы около Фальконе — с шестнадцати до сорока трех лет, не больше. То, что художница умерла семидесяти трех лет, ничего не меняет для историков в этой схеме. И редкие статьи о ней — в конце концов, статьи о Фальконе.

Попытаться разорвать этот замкнутый круг? Ведь при всем одиночестве Мари Анн около нее оставались люди, которые могли волей-неволей сберечь память о ней. Машенька... Таинственная Машенька, приехавшая из России и занимавшаяся скульптурой, — ее следы, кажется, нарочно истреблены в семейном архиве. Во всяком случае,

их нет. Зато есть дочь Мари Анн и Пьера Фальконе, единственная законная наследница документов семьи. Она рано выходит замуж. Мари Анн безразлична к титулам, но младшей Фальконе явно льстит стать супругой барона Янковича.

Родственники-художники никак не устраивали новоявленную баронессу. Она может вспомнить о них только ради красивого жеста, о котором заговорит Версаль: Александр II получил от нее в подарок письма Екатерины Фальконе. Все остальное не представляло в глазах баронессы ценности. В 1865 году архив Фальконе-Колло поступит по завещанию в ближайший от бывшего места жительства Мари Анн музей — в Нанси. Сколько при этом будет утеряно, не собрано, уничтожено, теперь не определить.

Годы... Ровно двести лет, которые прошли с начала работы Колло над головой Медного всадника. Два столетия. Декабристы, залп «Авроры», блокада Ленинграда — все около него и с ним. И по-прежнему в промозглых сумерках ленинградской осени кто-то останавливается у подножья Камня-Грома, замороженный рывком коня, летящей фигурой всадника, его лицом, суровым и мягким, жестоким и сильным, увлеченным и непреклонным. Лицом, которое каждому раскрывается иными чертами, иным звучанием характера Петра. Голова Медного всадника — работа Мари Анн Колло.

Впрочем, одной ли Колло? Сомнения Мицкевича, горькие раздумья писателей пушкинской поры, разочарования Достоевского — они входят в тот же образ гранями наших чувств, нашего отклика на памятник, как неотделимой от него стала страстная пережитость пушкинских строк, навсегда подарившая Медному всаднику его имя.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АННА ЗЕГЕРС



ПОЗИЦИИ СОЦИАЛИЗМА ОБЕСПЕЧИВАЮТ САМЫЙ ШИРОКИЙ КРУГОЗОР

Я попытаюсь привести к общему знаменателю некоторые свои мысли, касающиеся работы писателя в Германской Демократической Республике. Прежде всего надлежит разрешить два отправных вопроса: почему человек пишет и почему он избирает данную конкретную тему?

Я говорю о писателях, которые рассматривают действительность с социалистических позиций и обладают способностью отражать ее каждый в своей, только ему присущей манере. Произведение такого писателя, роман, стихотворение, пьеса станет затем составной частью непрерывно меняющейся действительности, какой бы она ни была — радостной или печальной, дойдет до множества трудящихся — иногда лишь до какой-то определенной группы трудящихся, ибо ни один писатель не способен создавать свои произведения для всех и обо всем. Может случиться и так, что разные читатели по-разному прочтут одну и ту же книгу и каждый увидит в ней свое.

Разумеется, я не говорю здесь о тех, кто пишет, не испытывая в том истинной потребности, не выработав собственной формы, пишет лишь потому, что ждет от этого занятия каких-то благ, жизненных удобств, денег и т. п.

Нет, писать трудно — слова даются нелегко. Допустим, писатель надумал изобразить отдельных людей или многих, их поступки и чувства, изобразить за работой у станка или в поле, в любви, в борьбе, в настоящем или в прошлом, здесь или в других странах, допустим, он вдоволь насо-

В основу статьи легло выступление А. Зегерс на VII съезде писателей ГДР.

ветовался с друзьями, с коллективом, тем не менее для него рано или поздно наступит та минута — об этом давным-давно сказал здесь, в Берлине, Симонов, — когда он останется один. Когда писатель находит наконец нужное выражение и записывает его, он бывает один, и вся тяжесть ответственности лежит на нем одном.

Талант — удивительное и незаменимое свойство

Почему же человек берет на себя такую ответственность? Потому что у него есть горячее желание разъяснить себе и своим ближним нечто, в чем сам он глубоко убежден. Он может быть молодым и старым, иметь другую профессию или быть только писателем, все равно это желание должно стать мучительным, как голод или жажда.

В этом году я получила письмо от одной школьницы, учительница которой отговаривала ее писать стихи. Все, что сейчас происходит в мире, волнует эту девушку, и лишь выразив свои мысли и чувства, она может облегченно вздохнуть.

Чтобы не один, а многие могли облегченно вздохнуть при свете слова, потребен талант — удивительное и незаменимое свойство. Губить его — преступление, ибо талант в природе редок, как редки драгоценные камни.

Никакие достижения в области науки, никакое умение разрешать сложнейшие технические задачи не могут заменить искусства. Ибо наука ставит перед собой иные цели. Однако я полагаю, что человеку не следует писательства ради слишком поспешно отказываться от своей технической

профессии. Вот Гранин, к примеру, от нее не отказался. Да и рабочий не должен слишком легко бросать свой завод, как ни удачлив он на писательском поприще. Никогда впредь ему уже не соприкоснуться так близко с этой частью действительности.

Талант губит не только невозможность опубликоваться, но и молчание, на которое обрекает писателя ошибочная критика. Зато на дружескую, заинтересованную критику писатель не должен сердиться, такая критика не может помешать его работе. Мое собственное писательство всегда вызвало острую критику, порой дружескую, порой не очень. Если бы это остановило меня после первых же рассказов, я так и не начала бы писать романы.

Не следует забывать мысль Гегеля, что одно и то же в разные периоды не есть одно и то же.

Трудно переоценить значение критики как литературной профессии. Критика бесспорно составляет часть писательского труда, но в определенном смысле. Она занимается тем, что уже было написано. И как от писателя нельзя требовать, чтобы он писал решительно про все, его окружающее, так и от профессионального критика нельзя требовать, чтобы он, может быть по чьей-то указке, подвергал критическому разбору каждую вышедшую книгу. Подобно писателю, критик должен ощущать свою связь с тем или иным, в данном случае уже избранным материалом. Не цензором ему следует быть, а связующим звеном между произведением и читателем. Если он находит в произведении какие-то ошибки, он должен прямо заявить о них, но при этом выступить как советчик, который подкрепляет свою мысль деловыми предложениями и примерами из литературы.

Аннемари Ауэр в адресованном мне письме выразила мысль о роли критики так ясно, что ясней не скажешь: «Критик должен быть наделен чутьем, чтобы воспринимать новое и не пугаться, а, напротив, проводить его ценность. Однако для осуществления этой задачи критику необходим характер, дабы он мог в полной мере отвечать за все, что увидел, чего хочет, к чему призывает. Лишь тогда писатель сможет на него положиться».

Когда где-нибудь заходит речь на тему «Литература и читатель», не следует забывать также и о профессии редактора, ибо его советы по времени значительно опережают советы критика.

Но как приходит к своей теме писатель, которого наличие истинного дарования, можно сказать, принудило к писательскому труду? Что побудило его избрать именно этот материал, и никакой другой?

В каждом отдельном случае здесь взаимодействуют два фактора: эмоции и целенаправленный поиск. О себе лично я могу сказать, что часто находила в немецкой и мировой литературе, а также в исторических событиях внешне очень отдаленные явления, которые мне хотелось перенести в действительность. Обычно меня интересовал такой вопрос: как этот человек действовал бы сегодня?

Даже создавая образы людей, появившихся впервые в истории, людей, чей труд и реакция на те или иные события нам совершенно внове, мы можем при построении сюжета использовать элементы старой литературы и минувших событий.

Когда я говорю «сегодня» и «мы», я подразумеваю людей, которые либо вступили, либо собираются вступить на путь социализма. Это не Дон Кихот, не разбойник Моор, не Раскольников, хотя подобный тип может встретиться в книге.

Социализм обозначает не сужение, а постоянное расширение горизонта, ибо ты избрал позицию, которая обеспечивает тебе самый широкий кругозор. В понятие социализма входит и тот факт, что, испытывая скорбь о нашем брате Пабло Неруде, мы испытываем и гнев, что мы ощущаем — это и называется солидарностью — свою кровную связь со всеми, кого преследуют и угнетают. Многие из народов едва вступили на путь развития культуры, у них еще нет такого Неруды, который поведает о своем народе и обо всем своем континенте. Советский Союз привел к расцвету немало народов, о которых мы почти ничего не знали, пока не пришел, например, Ауэзов и не показал нам, что происходило в кибитках его кочевого народа.

Мы были при этом, мы передаем это вам

Я назвала Неруду — вы, верно, уже заметили, что я не злоупотребляю именами, но ради преклонения перед его памятью мне хотелось бы ответить на вопросы, которые нам так часто задают. И мой ответ, а правильнее сказать — встречный вопрос, затронет одновременно несколько проблем.

Среди более молодых поколений, а особенно среди самых молодых, тех, кто ро-

дился при социализме, часто раздаются голоса, утверждающие, что их не занимают вопросы, над которыми ломаем голову мы, старшие. Построение социализма — дело решенное. Всем уже давно ясен наш путь. Теперь можно бы оглянуться на счастливые и трудные периоды и оценить их с исторической точки зрения, как уже сложившуюся традицию.

Даже если отвлечься от того, что далеко не все способны понять социализм на основе чисто научного описания отдельных его периодов с их победами и неудачами, разве молодые или самые молодые не испытывают потребности узнать, как именно шло развитие социализма в минувшие десятилетия, какие победы он одерживал, какие затруднения встречал?

И всего полнее может удовлетворить эту потребность видение художника, сочетающее в себе и знание и чувство. Мы были при этом, мы передаем это вам. Тогда самые молодые, услышав об этом от тех, кто там был, в свою очередь начнут передавать это дальше. Не будь такой эстафеты, нас бы сегодня здесь тоже не было.

Мы услышали не только шелест могучей кроны, который дошел до нас на языке чилийских деревьев, прозвучавшем в поэме Неруды «Пусть пробудится лесоруб», мы увидели весь могучий ствол и поняли, сколь глубоко проникли в толщу земли его корни.

Мы здесь живем, мы здесь пишем, чтобы впредь нигде и никогда ни под какой личной не торжествовала военная хунта, чтобы всюду царил мир. В своей работе мы наталкиваемся на тайные и явные трудности, и мы готовы бесстрашно поведать о них, ибо они мешают упрочению мира и социализма. Должны ли мы немедленно разрешать все возникающие проблемы на страницах книги? Не думаю. И, напротив, считаю достаточной заслугой писателя, когда тот вскрывает и доводит до человеческого сознания наличие реально существующей, но не до конца осознанной трудности. От писателя мы вправе требовать только одного: разрешение проблемы должно предприниматься с позиций социализма.

Все наше мировосприятие побуждает нас ближе узнавать другие народы, их сегодняшнюю жизнь, их происхождение, их предания. Молодые, только выходящие на арену истории народы обладают раскованной фантазией. Мы часто получаем наш материал из вторых рук, столетие спустя. Мечта, игра фантазии, однажды порожденная

какой-то частицей действительности и вышедшая из нее, вновь возвращается в действительность, если ей удалось взволновать читателя. И тогда она вновь становится частицей действительности. Писатель должен следовать за полетом своей фантазии. Разумеется, он не станет всю жизнь изображать одни мечты и дразнить читателя фантастическими выдумками. Многие читатели разделяют его тягу к сказке, остальные загорятся любопытством. Он умножит в них радость жизни. Ибо даже в окружении сказочно прекрасных цветов писатель не забудет нагнуться за скромной травкой, которая зовется «факт» и о которой говорил Лихтенберг¹. Я всегда помню, что наша собственная трудная действительность изобилует элементами привлекательными и волнующими, как самая волнующая сказка, помню я и о том, что ваши и мои мечты есть частица действительности.

За двадцать пять лет литература ГДР тоже приложила руку к формированию нового человека

В нашей литературе, литературе ГДР, уже можно выделить различные фазы. Скоро нашей республике исполнится двадцать пять лет. Это, в свою очередь, значит, что мы имеем право оглянуться на двадцатипятилетний путь развития литературы ГДР, тоже приложившей руку к формированию нового человека. Давным-давно отзвучал упрек, который нам чаще всего приходилось слышать за границей, а именно — что у нас нет настоящей литературы. Сегодня мы окидываем взглядом нашу литературу, формирующую человека, пробуждающую его. Само собой, на этом пути встречались периоды подъема и спада. Сейчас для нас настал период, когда художник, выступающий с социалистических позиций, находит поддержку, получает стимул. Каким бы нам ни показался при ретроспективном взгляде тот или иной период — периодом подъема или спада, мы при всех обстоятельствах хранили традиции Бехера, Брехта, Арнольда Цвейга, Узе и многих других. Традиции Берлинского ансамбля и Комической оперы, Государственной оперы и Немецкого театра.

В периоды подъема, как и в периоды спада, возникали произведения, которые

¹ Г. Х. Лихтенберг — немецкий писатель эпохи Просвещения, известен как автор афоризмов.

сохранят свою ценность и много лет спустя будут рассказывать о непрерывном развитии нашей жизни. Многое, о чем сегодня спорят горячо и серьезно, в 40-е и 50-е годы отскакивало от людей, не находя в них понимания.

Как-то на собрании я спросила, доводилось ли кому из читателей испытать на себе непосредственное воздействие литературы. Один читатель рассказал: «Дело было вскоре после окончания войны. Я вернулся из армии. Меня воспитали нацистом. И вот однажды хмурым зимним вечером я, замерзший и голодный, отправился в театр, надеясь, что там, по крайней мере, тепло и светло. Давали «Натана Мудрого». Меня всего перевернуло. И я, воспитанный нацизмом, начал размышлять».

А вот это рассказала одна женщина: «У меня была очень плохая учительница. Я с великой неохотой ходила в школу. Случайно мне попал в руки том Макаренко. И я решила стать учительницей, чтобы показать, как нужно учить».

Итак, поначалу, может быть, чисто случайно людям помогала либо какая-то частица культурного наследия, либо новое стихотворение, либо книги других народов. Они начинали понимать что к чему, делали шаг вперед благодаря таким книгам, как «О тех, кто с нами»², или как стихотворение Кубы «За войнами настал этап соревнований, а он для нас началом послужил». Позднее родилась новая тема — «Расколотое небо»³. Я случайно выхватываю тот или иной пример из множества писательских опытов, чтобы показать трудное начало, показать то, что Брехт называл «трудностями ровного» со всеми его заботами и верой в будущее. Порой, когда окинешь взглядом все, что сделано нашей литературой, прошлое сверкнет на миг веселой искрой из романов Канта, Штриматтера, Брезана.

Возникли народные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы, рабоче-крестьянские факультеты. Когда писатели молчали, они осмысливали драматические события, которые изображали лишь много спустя, ибо не существует закона, предписывающего автору немедленно отражать то, что еще находится в процессе становления. Становление означает развитие, и зачастую через противоречия. Недаром в человече-

ском языке существуют оба слова — «быть» и «стать».

Наша литература довела до сознания читателя все процессы, происходящие в нашем обществе, со всеми их особенностями. Отныне наш Союз получает имя Союз писателей Германской Демократической Республики.

Сегодня новое, родившееся уже в ГДР поколение без обиняков задает нам вопрос: правильно ли делалось то или другое? Не следует ли по-новому браться за решение той или другой проблемы? Поскольку им предстоит в самом непродолжительном времени лично взяться за решение той или другой проблемы, признаем за ними право ломать не только собственную голову, но и от нас требовать того же...

Хоть я и неполно знаю современную литературу, мне хочется сказать в заключение: за последние годы создано немало значительных произведений. Мне, например, по душе, что многие представители молодежи стремятся, отбросив неестественность и манерность, заговорить собственным, не унаследованным и не заученным языком.

Своей работой мы участвуем в строительстве нашего государства. Двадцать пять лет существования нашего государства, столько раз навлекавшего на себя брань и клевету и наконец признанного во всем мире, мы, писатели, отмечаем своим трудом.

Несмотря на критические возражения, которые приходилось выслушивать почти каждому из нас, на любом этапе развития Республики возникали книги, где встречались герои, характерные именно для данного периода. Благодаря этим книгам узнаешь, как из людей косных, лишенных какой бы то ни было перспективы, вырастают деятели, мечтающие изменить жизнь своими поисками истины. А истина — это одновременно и справедливость. Справедливость есть первое, что постигает человек в шкале моральных ценностей. Социалистическое искусство пробуждает тягу к миру и к справедливости.

Вот что должно звучать в наших книгах, как бы ни разнились они по творческой манере и подбору материала. Приняв за основу это положение, можно дальше спорить о том, помогает ли та или иная творческая манера, та или иная тема стать обществу таким, каким мы хотим его видеть.

Перевела с немецкого С. ФРИДЛЯНД.

² Книга немецкого писателя Э. Клаудиуса.

³ Книга немецкой писательницы К. Вольф.

В. КАМЯНОВ

★

ДОВЕРИЕ К СЛОЖНОСТИ

Заметки о молодой прозе минувшего года

Прозаик Валерий Алексеев вооружил критику очень удобной в обращении формулой — «большая черная работа». Формулу можно использовать как межевой знак: по ту сторону лежит памятная полоса, когда молодой герой страдал комплексом личной исключительности и, заявляя о себе миру, стремился взять ноту повыше, по эту — относительный порядок: герой поскромнел и взялся за работу, «большую, черную».

Но простота и наглядность формулы В. Алексеева обманчивы. Для записного скромника его «чернорабочий» герой, библиотекарь Николай Николаевич из повести «Кот — золотой хвост», слишком внимателен к собственной скромности. Она, скромность, если угодно, его «звездный билет». Говорю это не в укор герою. Он утверждает себя там, где нет давки, — на поприще скромном и незаметном. Здесь он заметнее. Все вполне естественно: скромность помыслов и жизненной установки — бесспорная добродетель в глазах строгих моралистов. Здоровая молодость в эту сторону обычно и не смотрит. Если же смотрит, то не резонно ли допустить, что скромный путь сегодня чем-то выигрышней других?

По мнению профессора Б. Д. Парыгина, специалиста в области социальной психологии, в эпоху НТР «возрастает потребность более глубоко выразить свое «я»... стремление к наиболее полному самовыражению»¹. И не станем думать, что у приверженцев «большой черной работы» притуплена потребность в самораскрытии. Просто она осуществляется в обход примелькавшихся, скомпрометированных форм. А ском-

прометировано сегодня все «показушное», любые способы саморекламы, назойливые попытки работать «на публику».

Алла Марченко, резюмируя свои наблюдения над молодой прозой («Время искать себя»), приходит к заключению, что ее герой, освободившись от бывшего эгоцентризма, «не отрицает огульно «чужой опыт», но пытается соотнести его со своим духовным и социальным опытом»². Прозаические публикации молодых, появившиеся в 1973 году, заставляют усилить вывод: герой решительным образом повернулся к «чужому опыту». Более того, освоение опыта, стремление строить свою личность на твердом фундаменте исторических, нравственных, общекультурных традиций во многих случаях выступает как страсть, внутреннее «надо!», «обязан!».

Можно сказать, что дело самовоспитания, или самостроительства, все чаще воспринимается личностью в общем ряду с ударными задачами дня, которые не просто подлежат решению, но от которых еще и грех отворачиваться, если ты молод и хочешь, чтобы тебе жилось в полный накал души. Да, речь идет о естественном романтизме юности, у которого появилась весьма тонкая внутренняя работа, требующая, кстати, на всех ее фазах трезвого реализма.

Не станем, однако, забегать вперед и обратимся за разъяснением всплывающих «как» и «почему» к молодой прозе минувшего литературного года.

1

Герой молодого писателя С. Родионова
следователь по уголовным делам Рябнин

¹ «Литературная газета», 12 сентября 1973 года.

² «Новый мир», 1972, № 10.

(повесть «Расследование мотива»³) в одной из напряженных точек сюжета так формулирует свою заветную мысль: «В наше стремительное время надо раз в неделю закрываться на вечер в комнате... и читать Достоевского, Блока, Паустовского, читать о человеке и природе, а потом долго сидеть в тишине и думать... Самый прекрасный специалист должен быть тронут чем-то гуманным...» Конечно, декларации — что декорации, большого доверия не возбуждают и порой колеблются от практических шагов героя. Разве, к примеру, эксцентричные мальчишки из достопамятных повестей рубежа 50—60-х годов не были «насквозь интеллектуальны»? Не сыпали на нас пригоршнями звонкие имена? Но ведь и декларации бывают разные. Герой С. Родионова высказывается в пользу несуетной сосредоточенности. И это по-своему симптоматично, даже если призывы героя в чем-то расходятся с его личной практикой (к этому нам еще предстоит вернуться).

Сегодня вряд ли подлежит сомнению, что тип интеллектуального бездельника сошел с литературных подмостков. Кто именно у молодых авторов пользуется репутацией если не умника, то человека ищущей мысли? Все народ сугубо деловой, не просто продвигающийся по той или иной профессиональной колее, но кровно сроднившийся с делом. У С. Родионова это молодой следователь Рябинин, у Е. Гущина (повесть «Правая сторона»⁴) — работник лесохозяйства Иван Рытов, в повести Б. Романова «Мурманск—199»⁵ — капитан траулера Меркулов, у А. Черноусова (повесть «Практикант»⁶) — студент политехнического института, проходящий практику в сборочном цехе, Андрей Скворцов... Праздной игре ума этим людям предаваться попросту недосуг. В сферу отвлеченных категорий они навеваются по делу, побуждаемые потребностью найти или пусть уточнить свое место и место своего труда в широкой системе связей — исторических, социальных, нравственных, даже экологических.

«Есть на свете люди,— размышляет автор «Мурманска—199», как бы подключаясь к течению мыслей своего героя капитана Меркулова,— чьей профессией является пропускание... через руки ли, через ум или

душу неисчислимого множества элементов безликой стихии, земли, песка, воды, слов, математических символов, для того чтобы найти нечто, оправдывающее все затраченные при этом усилия». Согласно вахтенному журналу, в такой-то час на палубу поднят счастливый трал; согласно внутреннему самочувствию капитана, его команда, занятая, казалось бы, прозаическим делом рыбодобычи, осуществила примерно такую же осмысленную операцию отбора («пропускания через руки, через ум...»), что и старатель, горняк, поэт, изводящий «единого слова ради...». Не станем выписывать капитану Меркулову патент на философское открытие. Отметим лишь упорство его синтетической мысли, его стремление охватить сознанием наиболее общие значения своего труда. Сочетание воли к действию и внутренней сосредоточенности, вкус к постижению сокровенного все чаще определяют лицо героя молодой прозы.

Человек практической складки и самоуглубленный правдоискатель — эти давние антиподы (нередко и антагонисты), что называется, смыкают фронт. Есть взгляд, согласно которому мы имеем дело с ответной реакцией духовности, которая-де вынуждена активизироваться (попутно пройдя утилитарную выучку), дабы сохранить себя в мире поточных линий и знаковых систем (вспомним в этой связи совет героя С. Родионова запереться с Блоком и долго сидеть в тишине). Подобное объяснение было бы столь же неполным, как и умозрительным.

Технический прогресс, нуждающийся в услугах со стороны духовности, отзвучает ей добром на добро. Успехи астрономии, ядерной физики, космонавтики, существенно меняя традиционную картину мира, подсказывают новые рабочие аспекты нравственно-философскому сознанию, новые ракурсы воображению. Энергия научно-технической мысли, проложившая человеку путь в космос, предстала перед нами в целом ряде превращенных форм. И среди них в форме «космического» удивления малости «шарика» и «космической» ностальгии землянина, ощутившего планету как «милую родину», глядящую на него из бескрайней черноты.

По словам летчика-космонавта Виталия Севастьянова (см. запись его беседы с журналистом А. Самойловым в «Авроре», 1973, № 7), выход в космос привил нашему мышлению «планетарную масштабность», заста-

³ «Аврора», 1973, №№ 1, 2.

⁴ Западно-Сибирское книжное издательство. 1973.

⁵ «Север», 1973, № 4.

⁶ «Сибирские огни», 1973, № 1.

вил современного человека «обостренное, тревожнее, тоньше думать о земле — о человеке, его душе, его эмоциональном мире». Речь, разумеется, идет о мышлении не только прямых покорителей космоса. Героя сегодняшней прозы мы все чаще застаем за работой по «собираанию» мира как живого единства, открытого или готового открыться сознанию в своих сокровенных связях.

Искомое единство предполагает не только сопряженность различных сфер общественного бытия в границах идущего времени, но и отчетливую переключку современности с минувшим, высокую культуру взаимодействия человека с природной средой.

2

Инженер-проектировщик Игорь Сычев из повести В. Тублина «Доказательства»⁷ делится выношенной мыслью: «Я хочу узнать, чего я стою, истинную свою цену. Узнать ее я могу только одним путем — дойти до предела». Но что считать «пределом»? Где эталон контрольной ситуации, подводящей черту под серией вопросов типа «так какая же мне цена?». Для Сычева особенно авторитетен опыт военного поколения.

...Игорь Сычев плохо помнит войну: в ту пору он был совсем еще мал. События детских лет отпечатались в его памяти мгновенными вспышками, резкими сигналами душевных возбуждений: застеленные, «синеватые от света ночника» постели товарищей по детдому, которых на субботу и воскресенье забирали родные, «сложный запах вина, табака и одеколона, исходивший от дежурной няни». Совсем не случайно в центр повести поставлен бывший детдомовец, круглый сирота, для которого «детское» прошлое замерло, остановилось, не длится, ни единой осязаемой нитью не вращает в его сегодняшний уклад. Теперешний, взрослый Сычев по-прежнему одинок: ни жены, ни детей, ни старших в доме. Никаких забот об «очаге». Никаких сердечных затрат на поддержание в нем тепла. Так Сычеву легче. Нет, не жить легче, а самоопределяться в обход быта, зондируя сферу «проклятых» вопросов.

Ситуация экспериментальна? Отчасти так. Но каково авторское «задание на эксперимент»? Перевести не очень-то расторопного героя, которому трудно пересиливать инер-

цию «рассеянного» мышления, на интенсивный режим поисков, помочь его неясным порывам, общему томлению духа перерасти в серьезное «обдумывание житья». Такое задание само по себе примечательно. Так вот, взыскующий истины Игорь Сычев, испытывая нужду в мудром советчике, решает поделиться назревшими «зачем» и «почему» со своим старшим товарищем — участником войны Николаем Семеновичем. «Ты верный и надежный друг, — размышляет о Николае Семеновиче Игорь, — видит бог, одно это уже значит в наше время так много; тогда, в холодном Ленинграде, в декабре, ты шел навстречу мигающим огонькам, и руки твои, как последний доступный тебе довод, сжимали застывшее дерево винтовки. Я люблю тебя за то, что, пройдя немало жизненных ступеней, ты не стерся, как долго обращавшаяся монета, и не утратил доверчивой способности к удивлению. И за то, что ты нашел в себе мужество: в тот момент, когда и тебе пригрезились зеленые Шервудские леса, ты поднялся и пошел навстречу зову...» В приведенных строках совсем не случайно встретились такая весомая, внятная подробность, как «застывшее дерево винтовки» в напряженных руках солдата, и экзотические Шервудские леса. Зыбкий, струящийся образ Шервудских лесов — романтическая, гриновской окраски фантазия Игоря Сычева, уходящая корнями в старинные предания о Робине Гуде, «вольном стрелке из лука», а кроной, так сказать, простертая в сферу его возвышенной мечты о таких формах мироустройства, при которых «единственным оружием на земле» останутся спортивные луки и стрелы.

Своим «шервудским» видениям Сычев находит практический эквивалент: подобно Николаю Семеновичу, он становится «лучником». И всякий раз, сжимая рукоять спортивного лука, Сычев ощущает его как «довод», надежное подтверждение, что и вправду жил на земле веселый Робин, знал цену минутам, напряженным словно тетива; а после, спустя годы и годы, шел по блокадному Ленинграду, сжимая винтовку, молодой солдат и сейчас идет «навстречу зову», так как по-прежнему близок его душе момент безоглядной самоотдачи.

Читатель, конечно, вправе поинтересоваться: почему столь резко завышена у В. Тублина разрешающая способность спорта, который здесь выступает как главное средство «подхвата» и перенесения на се-

⁷ «Звезда», 1973, № 6.

годняшнюю почву, скажем так, «робингудовских» состояний духа? С ответом на этот вопрос пока повременим. Но точности ради заметим, что стремление испытать себя на пределе, склонность форсировать свою волю наблюдались у Сычева и до увлечения спортом, а сказкам Шервудских лесов предшествовала в его практике весьма суровая проза. Например, ему запомнилась бескрайняя топь где-то на русском Севере: Сычев, тогда начальник изыскательского отряда, был «единственный, быть может, на земле человек, прошедший сквозь это болото». Причем скрытыми ходами мотивировок ранняя полоса сычевских самоиспытаний тоже сообщается с опытом старших (для кого винтовка была «последним доступным доводом»), взятым за эталон, начало отсчета при выяснении вопроса «какая же мне цена?».

Вскоре после выхода журнала с повестью В. Тублина еженедельник «Литературная Россия» под рубрикой «Представляем молодых» поместил о ней доброжелательную рецензию Юрия Нагибина «В поисках доказательств», где есть одно, на мой взгляд, неточное утверждение. «Он долго работал в тайге в тяжелых условиях,— пишет Ю. Нагибин о герое повести,— и вовсе не романтики ради — для этого он слишком серьезен...» Подозреваю, что, разводя по разным полюсам «романтику» и «серьезность», Ю. Нагибин оговорился, употребил слово «романтика» вместо «лжеромантика». Вряд ли можно отказать в сугубой серьезности классическим романтикам, у которых, как известно, легкомыслие было не в чести.

Что же до «романтики» Игоря Сычева (и того слоя молодежи, который он представляет), то мера ее серьезности вполне согласуется с мерой ответственности героя за свою позицию в жизни. Романтика в наши дни идет рука об руку с внутренней сосредоточенностью, серьезной заботой личности об усвоении «чужого опыта», в частности опыта старших. Что сегодня такого рода заботой захвачены даже подростки, хорошо показала А. Драбкина в новой повести «...И чуть впереди»⁸. Героиня А. Драбкиной пионервожатая Маша напоминает своим питомцам о судьбе Аркадия Гайдара. Отнюдь не в порядке «воспитательного мероприятия». Просто оказалась под рукой хорошая книга, подоспел удобный момент. Она стала читать вслух: «Он учил солдат

стрельбе, дисциплине, формируя отряды, которые тут же отправлялись на фронт под Кронштадт, где начался мятеж, на Тамбовщину, где восстали банды Антонова. А в июне двадцать первого на Тамбовщину послали его самого...» «Читать такие вещи кажется Маше жестоким. Сидят, завистливо облизывая сухие губы». И реплики ребячьи простые, как вздох, отчетливые в полной своей слитности с авторским словом «завистливо»: «Мы бы тоже в то время», «Конечно, в то время и я бы...», «Я бы тоже пошел». Прямая и сильная эмоция, объявляющая себя целиком. Но вот ребячий запал охлаждают вопросы вожатой: «А ты думаешь, ты бы знал, за что воевать?.. Это сейчас ясно, а тогда, думаешь, разобрался бы?» Всем памятно хрестоматийное: «Но и без чтения мы разбирались в том, в каком идти, в каком сражаться стане». «Без чтения...» — это о поколении Гайдара, которое действовало на крутом переломе истории, в пору резкой поляризации классовых сил. «Ты, в сущности, почти неграмотный!» — замечает сегодня пионервожатая мальчишке-мечтателю, возвращая его из временных далей на твердую почву реальности, где «без чтения» шагу не шагнешь. Быть может, слова вожатой вызвали досаду, эмоциональный протест? Совсем нет. Просто все эти напористые «я бы тоже», «мы бы» как-то иссякают, тонут в паузе-раздумье. Встретились две правды: та, что осознана героиней, и та, что смутно тревожит ребячий ум. Даже не две — одна правда. О времени, которое формирует наш облик, правда о том, что преемственность поколений не есть их тождество и вступающим в жизнь предстоит равняться на образцы, но не копировать их.

Можно сказать, что на уровне детского или подросткового сознания А. Драбкина очень зорко разглядела ранние симптомы той нравственной заботы, которая в развитом виде заявит о себе жесткими максимами Игоря Сычева об «истинной своей цене», достижении «предела» и чуткости к «зову».

3

Стремление юности равняться на высокие образцы сегодня все чаще находит для себя недемонстративные, как бы опосредованные формы (отмеченные печатью внутренних поисков, углубленного самоконтроля), что, естественно, принимается в расчет и «молодежной» беллетристкой...

⁸ «Звезда», 1973, № 3.

Опорная конструкция повести Е. Борисова «Чудачка»⁹ принадлежит к числу давно испытанных и уже изрядно «уставших». Ступени сюжета образуют у Е. Борисова весьма наглядную «лестницу славы», по которой без видимых усилий, как бы не касаясь перил, взбегает молодая героиня. Впрочем, дабы не утомлять читателя подробным пересказом, сошлемся хотя бы на повесть Б. Бедного «Девчата» (лет десять назад фигурировавшую почти во всех литературных обзорах), черты которой легко различимы в «Чудачке». Здесь тоже есть свой увалень и циник, подлежащий моральному преображению посредством нечаянной любви к существу юному и чистому; есть соперница из породы «оторви да брось», сдающая позиции почти без боя; есть люди неустроенной судьбы, познавшие сердечность героини и поближе к концу объясняющие, кто она среди них: «Вся ты такая... родниковая», «Легкая да скорая на доброту». На сей раз, однако, вместо леспромхоза — бригада транспортников, сооружающих электролинии. И героиня — не сирота, прибившаяся к коллективу, а вполне благополучная мамина дочь. К тому же прочными узами связанная с родной деревней, ее настоящим и прошлым. Мотив прошлого в «Чудачке» — он одновременно и важен и как бы не предусмотрен готовой конструкцией. Пока героиня являет миру свою «родниковость», все идет по знакомым рельсам. Но там, где ее взгляду открывается или должен открыться опыт предшественников, конструкция дает некий скос. Рука повествователя словно теряет уверенность. Задумав плодотворную в принципе параллель между молодежью 70-х годов и поколением Корчагиных (в частности, перенося на современную почву отдельные черты знаменитого эпизода из «Как закалялась сталь» — строительство узкоколейки), автор как бы раздваивается: с одной стороны, им правит инерция иллюстративности, навык «тезисного» построения сюжета, с другой — вполне очевидна угроза, что демонстративность, внешний характер приема снимет, исключит из ситуации оттенок личного интереса героини к опыту предшественников. И автор, явно колеблясь, пользуется то линейкой, то лекалом, на самой последней черте удерживается от соскальзывания в риторику, прибегает к «смягчающему» юмору, дабы рацио-

нально заданная схема не вся была наверху. Сегодня даже локальная литературная задача, не слишком далеко выходящая за рамки одной производственной ситуации или житейского казуса, подвергается заметному воздействию со стороны все тех же нравственных веяний.

...Рассказ «Рабочий день»¹⁰ (первая журнальная публикация Олега Базунова), если подходить к нему с привычной меркой, скорее материал или заготовка к рассказу. Автору либо не далась организация вещи, либо, когда настал момент поведать, форма еще не вполне сложилась, а выношенное, назревшее уже просилось из рук. Второе верней. Но как раз тем и располагает к себе «Рабочий день», что есть в нем особая теплота, родственность авторского обращения с фактом, который словно бы от сердца оторван, и автор теперь потихоньку обмирает над ним: как бы при передаче в другие руки правда из него не ушла, оттенок важный не был упущен. Поворачивая факт одной, другой гранью, автор настолько прикован к нему, что над планировкой целого едва успевает подумать. Шаг за шагом, час за часом воспроизводится день молодого рабочего из бригады строителей — Николая. День рядовой, «что с тыщей дней в родне»: ни острых конфликтов, ни особенной «запарки», ни моральных сомнений. Любовь и та прошла по краю сюжета в облике пригожей подавальщицы из рабочей столовой, прошла и канула без следа в длинной череде дневных впечатлений.

Герой рассказа не речист (даже внутренняя речь его предельно скупа, а при обмене репликами с другими персонажами на его долю за все время едва ли выпадает десяток слов), но приметлив. Словно при сильном увеличении, он видит, как «сбитый по краям тяжелый прямоугольник молота, оставляя конопатины, будто со злостью вбивается в железо», как «шершавая изморозь» оседает на стеклах автобуса, «пуговицами вырастая на шурупах обшивки», как в металлических зубах бригадира «блестящими точками отражается костер». Правда, О. Базунов нигде не объявляет Николая прямым наблюдателем происходящего, который-де заметил и то, и другое, и третье. Но внешняя реальность здесь так активно поглощается внутренней — реальностью нравственного самочувствия героя, — что ве-

⁹ «Юность», 1973. № 1.

¹⁰ «Аврора», 1973. № 7.

ществленные подробности все равно включены в его кругозор. Сам ход дневных дел и порядок работ запечатлены автором как бы преломленно, не в ритме, подсказанном сменным заданием, командами прораба или «музыкой» моторов, а в ритме душевного восприятия и запоминания — «каким было все и каким был я...». Конечно, в «Рабочем дне» совсем не просто вычленил единый путь, общую картину нравственного самоопределения личности. И тем не менее... Как ни тесно сомкнут у О. Базунова вроде бы перечислительный ряд подробностей, в нем есть просветы. Вот напарник Николая Сашок заводит речь о родной деревне, на месте которой встанут здания ГЭС, оглядывается на минувшее, доверительно делится планами, как устроится здесь же в штате: «Город-то будет»; вот взгляд Николая падает на изгиб реки, охватившей полукольцом гору; «По всей длине в лед замурована, а все равно течет», — произносит он задумчиво. «Сотни лет течет», — поддерживает тему другой монтажник. И третий: «А мы ей еще работы добавляем». Во время перекура, пока отогревались у костра, пожилой бригадир Антоныч совсем вскользь, как бы дивясь на свою судьбу, заметил, что всю жизнь он кочует со стройки на стройку, с самого еще Днепрогэса...

Работа реки, бегущей от дальних истоков, вчера и завтра почти незнакомой деревни, внезапно вспыхнувшее имя «Днепрогэс» (а с ним — одна к одной — яркие вехи в истории страны), беглые мысли о Ленинграде («Вот бы сейчас ленинградские меня увидели»), о предстоящем студенчестве — все это не просто мерцает за чертой ближайших забот, не просто глядит в просветы между самыми «верхними» впечатлениями, но втягивается в пределы минуты, далеко раздвигая их. Отчего так? В силу того эмоционального диктата, которому послушен повествовательный строй «Рабочего дня». А он послушен сердечному упорству героя (сохранить, удержать в себе черты бегущего дня!), активным запросам его души, жадно вбирающей впечатления. В «Рабочем дне» нет ни медитаций, ни открытых формулировок. Есть просто день. Одна рабочая смена. День проходит. День остается в духовном опыте героя как ступень его нравственного возмужания.

В рассказе Б. Шустрова «Иванов стих»¹¹, как и в «Рабочем дне», вроде бы нет пря-

¹¹ Альманах «Мы — молодые». «Молодая гвардия». 1973.

мой трактовки занимающих нас проблем. Он откровенно традиционен и, в общем-то, неприязнителен. Для молодого автора, конечно, не секрет, что рассказы, организованные вокруг мужественного поступка, совершенного в «аварийной» ситуации, писались и до него. И явно не посягая на первооткрытие, он вступает в давно промеренное русло, что называется, скромной стопой. Не для того, чтобы углубить его или расширить, а для того, чтобы по нему пройти. И нет в рассказе той атмосферы душевной сосредоточенности, упорного интереса к подспудному (как, например, у О. Базунова), которая способна работать «сквозь» сюжет. Рассказ, повторяю, прост. Центр его приходится на тот эпизод, где рабочий нефтепромыслов Иван Буторин, рискуя собой, спасает новенький вездеход, который, примерно как в случае с владимовским Пронякиным («Большая руда»), потерял управление и стал соскальзывать под уклон. Ситуация вполне «открытая». С тем большим интересом мы отмечаем такие «внефабульные» подробности, как тяга Ивана к поэтическому самовыражению, посетившая его на сорок третьем году жизни, мысль о неповторимости встреченных им за время скитаний людей («Что ни человек — история»), желание найти точное слово, способное продлить их присутствие среди нас («Неужели никто никогда не узнает их имена?!»). «Богатство действительных отношений» Ивана Буторина (вспомним формулу Маркса: «...действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений»¹²) стало настойчиво требовать своей духовной реализации. И поскольку в характере героя пусть всего лишь приоткрылся уровень серьезных «переговоров» с собой, повествование Б. Шустрова оказывается шире своих фабульных рамок.

Конечно, среди публикаций молодых прозаиков встречаются и «глухие» к тем нравственным поискам, о которых у нас идет речь. Хотя внешним атрибутам «поиска» может быть отдана самая щедрая дань. Открыв, к примеру, повесть Н. Студеникина «Небо»¹³, вы уже через несколько страниц встретите характерный вопрос героя к самому себе: «Кто я такой? Восемнадцать лет, полком не командовал, не то время...» — вслед затем узнаете, что ему «вдруг страст-

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 36.

¹³ «Юность». 1973. № 7.

но захотелось совершить что-то невероятное, чтобы все ходили, качая от удивления головами, и говорили друг другу: «Это же Володька, вот дает парёны! А мы и не подозревали, что он такой. Мы думали, что обыкновенный». Но эти знаки романтического беспокойства не у никаких причин принимать всерьёз, ибо герой повести, успевший за время действия подойти к рубежу тридцатилетия, живет в мире плотно пригнанных очевидностей и о таких случаях, как недовольство человека собой, нравственные поиски, если и знает, то понаслышке. Что же касается автора, он любовно следит за героем, радуется его служебным успехам и всей логикой, общим тоном повествования подбуждает в нем уютную бездумность. Отрекомендованный нам как военный летчик, приехавший погостить к родным после присвоения капитанского звания, герой повести занят в основном тем, что кушается в лучах своей популярности: принимает поздравления военкома, чуточку внемлет отцовским восклицаниям типа «в люди... вышел», не без торжества поглядывает на подругу школьных лет, отдавную предпочтение другому и теперь готовую, как говорится, локти кусать... Иными словами, весьма элементарный герой автору не по хорошему мил, а по милу хорош.

Теме армейских будней (присутствующей у Н. Студеникина на втором плане) не слишком повезло и в обширном повествовании А. Чупрова «Зима — лето»¹⁴, представляющем собой монотонную хронику «прохождения службы» солдатом Сергеем Сметаниным, где за подробным реестром очередных и внеочередных нарядов, учений на плацу и в поле, отрадных минут в гарнизонной столовой, тайных вздыханий о командирской жене Нине Васильевне — за всем этим встает человек абсолютно свой в мире вещей и поведенческих стандартов, но, увы, неразличим, его воспользоваться словами Горького, «человек миропонимания».

А. Пинчук, издавший книгу повестей о военных летчиках «Потому что люблю»¹⁵, в профессиональном смысле, пожалуй, превосходит двух своих собратьев по армейской теме. Но, к сожалению, его слишком влечет торный путь беллетристической гладкописи. Своих героев он прочно держит в рамках, так сказать, общей «респектабельности», предлагая им решать задачи по

классической схеме «соблазн — преодоление», «оплошность — исправление», «проблема — немного смекалки и... решение», «женская незащищенность — великодушное покровительство». Удел героев книги, в общем-то, беспечален: пройти проверку и не быть при этом озадаченными. Не удивительно, что избыток эмоциональной уравновешенности сплошь и рядом разрешается здесь романсовыми всплесками, чувствительными пассажами типа: «Какой-нибудь лучик запутался в челке и никак не может пробраться к глазам, разбудить».

Конечно, к произведениям трех молодых авторов можно было бы отнестись снисходительней, подобрать какие-то смягчающие формулировки, если бы не тон спокойного всеведения, царящий в этих повестях, где круг ответов намного шире круга вопросов. Сама легкость, с какой повествователи распределяют между персонажами награды и пени, есть весьма печальный знак исчерпанности человеческих проблем и самого человека в тесных пределах сюжета. И не удивительно, что в этих пределах нет и слуха о серьезных, глубоко позитивных нравственных процессах, замеченных сегодняшней прозой, хотя если вести речь об исторической памяти нашего современника, то герою повестей об армии (где опыт прошлого почти буквально в строю), казалось бы, все карты в руки.

4

Андре Стиль, выступивший не так давно на страницах «Правды» со статьей о современном состоянии советской литературы¹⁶, выделив ряд плодотворных направлений в работе наших писателей, при этом специально остановился на «литературе о взаимной связи человека и природы, о том, чем человек обязан природе, что он может ожидать от нее». Факт весьма примечательный. Как видно, острый интерес наших художников к проблеме «человек и природа» стал явлением совсем иной значимости, нежели чья-то индивидуальная склонность или признак творческого сходства группы мастеров, отозвался качественным сдвигом в масштабах общелитературных. Это и не удивительно, если взять в расчет «сопутствующие» явления материального прогресса, о которых говорится и пишется предостаточно и которые нет нужды перечислять.

Не забудем, кроме того, что в мир «рав-

¹⁴ «Юность», 1973. №№ 2, 3.

¹⁵ Издательство «Молодая гвардия». 1973.

¹⁶ «Когда глядят в глаза друг другу». «Правда», 8 сентября 1973 года.

нодушной» природы художники всех времен входили с капитальнейшим для искусства вопросом: «Что есть красота и гармония?» — неизменно поручали ей роль своеобразного арбитра в людских делах и раздорах. И, как мы догадываемся, в нынешних условиях для «консультации» художника с природой есть ничуть не меньше оснований, чем прежде. Но за последние годы в нашей многонациональной прозе стала крепнуть не совсем обычная тенденция, восходящая скорей к опыту стихотворных жанров, нежели «чистого» эпоса. Можно сказать точнее: одна из высоких традиций русской поэзии, наиболее полно представленная именами Баратынского, Тютчева, Заболоцкого, сегодня дала ответвление в прозу. Герои этой прозы (укажем для примера «Бремя нашей доброты» И. Друцэ, «Буйволицу» Г. Матевосяна, «Огонь в синеве» Вл. Гусева, «Второе путешествие Каипа» Т. Пулатова) независимо от их образовательного «ценза» тяготеют к лирико-философскому мировосприятию. Это своего рода «очарованные практики», которые посреди самых неотложных будничных дел не теряют чувства горизонта. Душой они всегда в курсе переменчивых состояний окрестного мира. И природа в этом случае не «внешняя среда», не место растроганного паломничества, но внутреннее достояние, которое всегда при тебе, конечно, если ты в движении и не ленишься работать душой. То есть мы вновь имеем дело с одной из граней того нравственного процесса, который критики обозначают как «собрание личностью себя», «поиски внутренней гармонии» и «присвоение опыта».

Теперь войдем в положение начинающего литератора, который загорелся этой темой (условно — «человек и природа»), знает ее классические решения, видит, как высока культура пейзажного письма у современных советских прозаиков (достаточно просто назвать имена Л. Леонова, С. Антонова, Ю. Казакова, В. Распутина, В. Белова, Г. Семенова, Ю. Нагибина), как объемный образный мир сегодняшней лирико-философской прозы, видит и, еще не овладев (духовно) собственным опытом, старается идти вровень с сегодняшней трактовкой темы.

Что же в итоге? Если и достижения, то, как правило, частные. Не по всему фронту темы, а на отдельных ее участках. Будь не так строг лимит журнальной площади, можно было бы, прибегнув к выпискам, продемонстрировать отличные образцы лириче-

ских (а также романтических, лирико-философских и т. д.) пейзажей в работах начинающих прозаиков. Помимо общего уровня письма, такие извлечения открыли бы нам и другое: «безлюдная» живопись, условно скажем, фенологического плана сегодня почти не встречается. Не слишком много примеров и «камерной живописи», проникнутой самочувствием уединенного «я». Зато есть тенденция доверять пейзажной картине чувство преодоленной замкнутости, слитное переживание повествователя и его персонажей либо одного персонажа, но как бы принявшего в себя и проецирующего волне состояние других.

Рассказ Руслана Киреева «Вечернее солнце»¹⁷ — несколько крупных планов человеческой души, взятой в момент колебания и невеселых самонаблюдений. Природа выступает здесь в достаточно традиционной роли избавительницы от сердечной смуты... Был осенний вечер, и солнечный диск уже коснулся линии горизонта. «Волнистая тонкая дымка облаков как бы разделяла светило на сегменты». Наблюдение это принадлежит герою рассказа плановику Крамову, которого в тот вечер угнетало «осеннее ощущение однообразия и скуки». Если мы теперь добавим, что зрелище заходящего солнца вернуло герою бодрость, а сверх того осознание «внутренней стройности» «этого внешне неуютного, бестолкового, холодного мира», это будет лишь формальной правдой, ибо ситуация тут же замкнется. А в ней важно еще одно лицо — пятилетняя Лена, дочь захандрившего героя.

Упоминание (в этой сюжетной связи) о маленькой дочери способно поставить под вопрос самостоятельность замысла «Вечернего солнца». Осведомленный читатель тут же может отослать нас к широко обсуждавшейся «Дачной местности» Андрея Битова, напомнив, что в этой повести тоже было душевное бесприютство героя, и вечернее небо, и внезапное — вспышкой — постижение внутренней стройности мира, и кроха сын, своим присутствием что-то важное подсказавший отцу. Да, такая параллель соедем не беспочвенна, тем более что в самой интонации «Вечернего солнца» слышны битовские нотки. Тем примечательней для нас момент, где сходство с Битовым кончается. Герой «Дачной местности» был занят уточнением своего духовного статуса и упорно смотрел в себя я. Маленькому сыну досталась при нем роль психологической

¹⁷ Альманах «Мы — молодые».

«выручалочки»: при взгляде на сына отец постигал мудрость наивного первооткрытия вещей. Герой Р. Киреева смотрит и из себя. Ему важно найти отклик или пусть отголосок в ком-то другом. И переменной в настроении он обязан не одной лишь игре закатных красок. Обязан еще и неожиданной для него чуткости пятилетней дочери, которая очень старается разгадать и подхватить сердечное движение отца. «Неожиданно для себя, — говорится в конце рассказа, — Крамов подумал, что если он умрет вдруг — сегодня, сейчас, то теперь это не так страшно, потому что дочь уже не забудет его». Сентиментально? Мелодраматично? При выборочном цитировании такое впечатление не исключено. В контексте — иначе. Контекст заставляет видеть в крамовском «дочь не забудет» особый смысловой план: «...удержит в памяти то движение, которое выразило лучшее и очень личное в нем».

Заметьте этот оттенок, он достаточно важен для последующего изложения: чувство природы, если оно подхвачено, с кем-то разделено, выводит за собой надежду на память о тебе, точнее — о лучшем в тебе (и разве знаменитое «Нет, весь я не умру...», помимо всего прочего, не выражает момент общечеловеческого сознания: если тебе удалось открыться людям лучшей стороной твоего духовного «я» — твоей внутренней поэзией, — это очень веский залог людской памяти?).

В интересном рассказе Ильи Кашафутдинова «Прекрасный май»¹⁸, где на переднем плане группа молодых парней — нефтеразведчиков и где авторский голос то отделяется от бригадного «хора», то сливается с ним, состояние окрестного мира передается, например, так: «День был ясный, с прозрачными, легкими дымками на спадах холмов. Из села, из яблоневых садов, цедились к реке настоявшаяся за ночь сырость. Там, в селе, тоже было тихо. Был час, когда случается редкое, особенное: собрались, сидят вместе, думает каждый в одиночку, и все ждут одного. И всему, что есть вокруг, ждётся». Подробности «ясного дня» и общий тон лирического самочувствия в кругу притяжных ребят здесь, как видим, свободно проникают друг в друга. Было бы, конечно, нелепо утверждать, будто о подобного рода явлениях поэтического синтеза наш читатель и слыхом не слыхивал. Нет, речь о другом: природа, становясь «действующим

лицом» в повествовательных структурах, сегодня все чаще вовлекается в ситуацию общения, помогает человеку выговорить не только чувство своей отдельности, но и чувство включенности в круг духовных связей.

«Чувство включенности» приобретает нередко и «вселенские» масштабы. Как, например, у преподавателя техникума Мити Ваганова из рассказа Г. Баженова «Пространство и время»¹⁹. Мы, конечно, уловили недвусмысленную «крупность» заголовка и теперь читаемся в один характерный абзац: «Затем мир, что окружал его, ожил для него, он расслышал, как тонкий ветер шумит далеко вверху, в кронах старых лип, и ему думалось, что, возможно, этот же шум среди этих же или подобных лип слышал Петр Первый, когда приезжал сюда, в Кузьминки, посмотреть своих коней в отменных конюшнях... Воистину думаешь так, хотя бы и было в прошлом иное; томибельно, но и радостно знать, что все, с чем общаешься ты, некогда окружало далеких твоих предков, и взлетная мысль о бесконечном общении людей в природе, через природу так тревожна, так хороша в тебе...» Здесь, на этих весьма выразительных (и в рамках сегодняшней молодой прозы, я бы сказал, «опознавательных») медитациях Мити Ваганова, нам пора сделать остановку, воздержавшись от новых примеров того же плана, и честно сказать читателю, что приведенные фрагменты (из рассказов Р. Киреева, И. Кашафутдинова, Г. Баженова) все-таки льются целому. Подлинный масштаб этих интересных, даже талантливых вещей никак не отвечает размаху «взлетных мыслей» того же Мити Ваганова. Слушая его рассуждения о «бесконечном общении людей», невольно вспоминаешь далекого Митиново предтечу Ивана Великопольского из чеховского «Студента» и с волнением ждешь: что же дальше? А дальше Мите словно не хватает воздуха на той высоте «сопряжения всего», куда он как-то взобрался. Его главным уделом становятся моральные тревоги ближнего, так сказать, радиуса. Примерно то же наблюдается и в структуре этих рассказов. Лирико-философская масштабность здесь скорее качество абзацев или страниц, чем повествования в целом.

Естественно, что молодой прозе не так-то просто удержать в руках общие аспек-

¹⁸ «Литературная Россия», 21 сентября 1973 года.

¹⁹ «Молодая гвардия». 1973. № 1.

ты многосложных проблем и ход ее гораздо ровней на твердой почве повседневных практических представлений. Только там, где ход ровней, совсем не обязателен пресловутый «реализм на подножном корму» или механическое следование готовым схемам. Среди публикаций минувшего года мы вообще вряд ли отыщем хоть одну, где идея защиты природы стала бы предметом ремесленных упражнений. Пишут ли наши авторы о «профессиональной» близости человека с природной средой (труд лесоводов, зоологов, рыбаков и т. д.), о попытках горожанина обновить полузабытые связи с ней или, напротив, о полном пренебрежении к этим связям — кровный интерес авторов к теме вне всяких сомнений. И традиционность литературных решений в этом случае еще не показатель авторской бесстрастности.

...Сюжет повести Е. Гуцина «Правая сторона»²⁰ не слишком затейлив и без труда укладывается в схему нравственной закалки вчерашнего школяра. Центральное лицо повести студент Артем Стригунов бросает институт и устраивается, нет, не в изыскательскую партию, не матросом на сейнер и не в бригаду монтажников (как многие из его старших литературных собратьев), а помощником лесничего в один из сибирских заповедников. Между начальным разворотом действия, когда Артем лишь примеривается к новому поприщу, и заключительной главой, где его моральная закалка дает наглядные плоды, пролегает полоса испытаний. Порой сугубо психологического свойства. Лесничий Иван Рыгов (уже упомянутый в начале статьи) — лицо особенно близкое автору — предлагает неокрепшей Артемовой душе романтическую задачу дальнего прицела и высокого напряжения (загорится ли, осилит ли масштаб?): «Представь: вся наша страна — заповедник, и мы — лесники — охраняем самое святое... И кто нарушает это наше святое, тот браконьер... От них (браконьеров.— В. К.) не прятаться надо, а ловить... Ловить. В городе, в деревне, в тайге — везде не давать им плодиться». Артем «загорелся», что, собственно, и позволило нам получить запомнить его лицо. И хотя понятие «Ловить» наша проза уже не раз подавала в резком, порой символическом укрупнении (вспомним «Поголю» Ю. Нагибина, где главным «браконьером» оказывается юридически неуязвимый

²⁰ Западно-Сибирское книжное издательство. 1973.

«Хряк» Буренков), непосредственность душевного порыва молодых героев Е. Гуцина сомнений не вызывает.

Правда, если будешь дотошен и примешься логически развивать эту декларацию, станет как-то не по себе: что, если наши мечтатели войдут во вкус «ловли»? Долго ли в горячке обознаться? Кто «браконьер», кто «лесник» — не всегда сразу видно... К счастью, герои Е. Гуцина о крестовом походе на «браконьеров» рассуждают предположительно и в своей служебной практике не выходят за рамки закона.

Однако мы неспроста подвергли рытговскую декларацию особому досмотру. Дело в том, что ее горячность находит отклик в работах других авторов. Например, Ю. Пахомов (рассказ «Когда дует бора»²¹) судит осквернителей красоты без малейшей проволочки, опознавая их по нескольким типовым признакам вроде развинченной походки и новомодных крестиков на груди. Кто они? Что за племя? Выясняется: курортные пижоны, профанирующие (самим фактом своего присутствия) красоту Черноморского побережья. Каково же решение автора? Предать «крестоносцев» исполнительной силе стихий. Конкретно — могучему ветру бора. Пусть тот сметает их с берега вместе с «яблочными огрызками и арбузными корками». Приобщиться к этим бурным эмоциям нам, однако, совсем не просто. Хотя бы потому, что за фигурой негодующего автора никак не разглядишь предмет его гнева.

На столь же высокой ноте ведется защита красоты в рассказе А. Проханова «Лось»²², где охота на лося осуждается при помощи весьма натянутых аналогий со зверствами карателей («И опять выводили на снег разутых людей, крутили им руки за спины, тыкали в затылок наганом»), разгулом кровавых усобиц («Схватились земля в топоры, лязгала по роцам железом») и т. д.

Не станем объяснять молодым авторам, что любое дело требует чувства меры, в том числе защита природной красоты, которая, собственно, и есть надежный эталон внутренней соразмерности. Не станем оценивать их успехи или неудачи в балах. Здесь важно другое — как выглядит соотношение «задача — способ решения» на обозримом участке молодой прозы. Задача уловить принципиальную сопряженность мира

²¹ «Звезда», 1973, № 4.

²² Альманах «Мы — молодые».

современного человека и мира природы осознается нашими авторами вполне отчетливо. Заветный уровень мастеров, давших (и дающих) образцы поэтического и гражданского воплощения темы, у них перед глазами и, что называется, заставляет «тянуться». В активе у многих — чуткость к сокровенной жизни природы, острота психологического зрения, пластика речи. Отличная база для широких художественных решений, уже как бы предугаданных, исчисленных умом, но пока неподвластных творческой воле, которая все-таки больше расходуется на отдалку частных, чем на организацию целого.

Вернемся еще раз к сюжету Р. Киреева об отце с маленькой дочерью, наблюдавших необычный закат. Как уже было отмечено, автор сумел здесь не только уловить сложные оттенки чувств, но и важный момент умонастроения героя. Что же все-таки автору важнее — понять своего Крамова в главном или запечатлеть одно из мимолетных состояний его души? Вот небольшой отрывок, где авторские акценты особенно отчетливы: «Крамов... посмотрел на дочь. В ее глазах и на красных, слегка приоткрытых губах влажно горело уходящее солнце. Крамов глядел на эти блестящие островки и видел по ним, как все ниже опускается желтый шар, как редеет, слабеет исходящий от него свет. И вот уже губы погасли, но глаза еще несколько секунд удерживали золотистый исчезающий луч». После этого оптического аттракциона папа Крамов, снимающий живописные показания с дочкиных губок, нам уже не кажется столь озабоченным проблемой духовных контактов, а сам Р. Киреев — «общей идеей» своего создания. За частными хлопотами — о тонкой нюансировке настроений, необычности ракурса — идея оказалась полузабытой. Случай достаточно характерный для многих «вступающих в тему». Ее фронт, как правило, слышком широк для них. И активные действия они ведут на сравнительно узких участках (старательно прописывая подробности, создавая лирический фон или... чиня крутую расправу над осквернителями красоты). Широкий и сопряженный подход к теме пока остается привилегией более зрелых мастеров.

Как известно, совсем еще недавно защита «природного начала», «естественных основ жизни» под пером некоторых повествователей оборачивалась апологией нетронутой сельской старины. Тенденция эта по-

степенно сходит на нет. Само понятие «деревенская проза» становится теперь все более условным. «Работа современных писателей, в том числе и тех, материалом творчества которых... служит деревня, вырвалась из тех «деревенских» рамок, которые за ними закрепила критика», — справедливо пишет Г. Беляя²³. Отсюда вовсе не следует, что центростремительная сила (сердечной озабоченности, умственных пристрастий, личного опыта и т. п.), завлекавшая повествователей в «деревенские рамки», а порой на замкнутое пространство патриархальных традиций, перестала действовать.

Читатель, конечно, помнит популярную в недавнем прошлом сюжетную схему: некто городской, открыв для себя островок «старинного уклада», разбивает на этом островке бивак и принимается слагать в честь окружающей «простоты» проникновенные гимны такого примерно свойства: «Люди, живущие в тесном общении с природой, на вольной волюшке, где можно во весь дух и смеяться и плакать... и пить-пить глазами зыбучие просторы отчего края... — люди в таких местах в большинстве своем необыкновенно чистые, доверчивые, добрые, как внешнее тепло, несуетные и святые даже в своих грехах, справедливые в любых своих поступках». Приведенные строки, увидевшие свет в минувшем году, воспринимаются теперь как не очень остроумная пародия. Автор их между тем, вовсе не помышляя о пародийном жанре, с полной истовостью живописует патриархальный уклад островитян (отнодь не индизказательных) — «несуетных», «святых» и т. п.

Года два-три назад кто-то из критиков (имея в виду прежде всего идеализацию «истоков») упрекнул нашу молодую прозу в потере чувства иронии. Сегодняшняя проза в этом смысле, пожалуй, несколько реабилитировала себя. Тем резче выделяется на ее фоне возвышенный речитатив о слезах и смехе «во весь дух». Автору не до иронии. «Здесь человек сгорел». Или вот-вот сгорит. От близости прекрасной островитянки. Под ее взором заезжий герой (он же повествователь) вынужден, опять-таки вне всяких индизказаний, спастись «от жара» и остужать себя енисейской водой наружно и внутренне. Жители этого заповедника «святости», открытого героем посреди Енисея, как и приняты в рамках «жан-

²³ «Искусство есть смысл». «Вопросы литературы», 1973, № 7.

ра», не по-доброму говорят про «суетную жись горожанскую», про «дикарей горожанских» и являют собой в глазах автора идеальный пример природных нравов и природной красоты.

Авторскую версию красоты мы легко узнаём по портрету, вернее — деталям портрета уже упомянутой чудо-девицы. Коса у нее — «лиловая молния», «голос, что струя енисейская», в «глазах будто... сполохи зарри». Окружающая флора щедро одаряет деву своими красками. Она попеременно то «весенняя ромашка», то «черемуха в цвету», то «березонька в тихую погоду». К пылкому повествователю дева прилетает «белой птицей — лебедем»... Впрочем, о стилистических красотах, которыми изобилует повесть С. Пестунова «Белая птица — лебедь»²⁴ (да будет наконец назван цитируемый источник), достаточно подробно писал О. Салынский в статье «О канонах романтики и «приятной щекотке»²⁵. И мы воздержимся от новых примеров. Повторим лишь, что этот пароксизм умиления «природностью», эта «лебединая» символика, равно как и повесть в целом, где современность столь аляповато стилизована под лубок, — запоздалый рецидив уже отшумевших явлений. И нет нужды ломиться в открытую дверь, объясняя автору давно объясненное. Тем более что очень многое автор отлично понимает сам.

Ему, в частности, ясно, что островную «цивилизацию» нельзя сохранить под защитным коллаком. «И этот Молчаливый остров уже гудит ветрами современной жизни, что, завихряясь, залетают сюда, как ласточки-касатки в свое гнездо», — сообщает С. Пестунов. Не станем уточнять прозаическое значение «ветров» и «ласточек-касаток»: житейская конкретика перемен обозначена в повести беглым перечнем и общей погодой не меняет. Отметим другое: о вторжении «современной жизни» здесь говорится с таким же голосовым напором, как и о «святости» гостеприимных островитян. Кроме того, совершившееся в финале превращение чудо-девицы в капитана «крылатого белоснежного корабля» опять же по дано в характерной для автора экзотической манере. Но как уживаются рядом две страсти — «поступательная» и попятная? Весьма просто: Между ними очередность. Вторая — разумеется, главная, — стягиваю-

щая к себе основной запас красок и восклицаний, отработав свое, уступает место первой, которая призвана ее уравновесить. Грех идеализации (нетронутых нравов) так незаметно сменяется «покаянием», что, сохраняя свою сладость, может считаться вроде бы несостоявшимся. Как видим, проповедь патриархальных нравов сегодня приходится обставлять оговорками и уравнивать кое-какой «индустриальностью» («крылатый корабль»). Приходится, ибо открытая защита надуманных и узких доктрин в нынешней духовной атмосфере — занятие почти безнадежное.

5

Два года назад М. Чудакова в статье «Заметки о языке современной прозы»²⁶ весьма убедительно писала о распространенной среди повествователей слабости к «проповеданию едва постигнутых истин». Слова эти относились прежде всего к молодым авторам и, как о том говорит опыт иных весьма темпераментных неопитов идеи «красоты», не утратили силы и сегодня. И все же новое пополнение молодой прозы явно озабочено основательностью своих построений и считает нужным заглядывать за ближайший поворот развиваемой мысли — нет ли там тупика.

В нашей критике немало сказано о принципиальной важности установившейся связи «литература — НТР». О глубине и прочности ее линий. Уровень ребячливых восторгов или, напротив, панических «чур меня!» в литературных откликах на развернувшийся властный процесс был с самого начала практически исключен. Литература занялась капитальным исследованием как живой динамики процесса, так и скрытых его ресурсов. Примерно то же можно сказать и о нынешней молодой прозе, хотя согласимся: пафос научно-технических преобразований способен ненароком и ослепить чье-то сознание, падкое до «новизны». Но даже А. Черноусов (повесть «Практикант»), чей голос особенно часто поднимается до высоких регистров, когда речь идет о сегодня и завтра технического прогресса, и чьи напористые интонации порой заглушают сложную полифонию жизни, даже Черноусов ставит перед своим героем задачи общегуманитарного свойства.

Но если А. Черноусова прежде всего ин-

²⁴ «Молодая гвардия», 1973, № 2.

²⁵ «Литературная газета», 24 октября 1973 года.

²⁶ «Новый мир», 1972, № 1, стр. 229.

тесует круг согласия «человек — мир современной техники и современных знаний», то взгляд других авторов чаще смещается к границам «крута», опасному краю, где самозабвенного профессионала подстерегают каверзы и сюрпризы однобокой «технизации».

Расследование, которым занят герой повести С. Родионова, приводит его к открытию, далеко выходящему (и далеко выводимому героем) за рамки единичного «дела». Оказывается, искомый «мотив» лежал в сфере профессиональных навыков подследственного — талантливого инженера, который настолько прочно уверовал в безотказность математической логики, что, забыв азы правовой и нравственной грамоты, скатился к преступлению. «Все дело в рациональности, которая была моим богом», — признается инженер. И еще: «Может быть, я был и хороший специалист, но в чем-то узковат... Сам не пойму в чем». После такого признания следователю, а равно автору остается лишь поставить несколько недостающих точек над «и».

Менее обнаженную (чем у С. Родионова) структуру отношений и мотивировок находим в рассказе Анатолия Кима «Шиповник Мёко»²⁷, опубликованном в тесном соседстве с «Расследованием мотива». Завязка «Шиповника» обманчиво традиционна и настраивает на благодушное скольжение взглядом по четкому следу «восходящего» героя. Начальной точкой подъема оказывается чуть ли не общинно-родовой уклад двух корейских семей с Сахалина, дружно продвигавших к «большой грамоте» мальчика Ри Гичена, «у которого такая светлая к наукам голова». Совместные труды не пропали даром: Ри Гичен поступил в МГУ и начал подавать серьезные надежды. На этой стадии сюжета всякому благодушию приходит конец, ибо выясняется, что молодого Ри гложет «затаенная несокрушимая... гордость». Он так усердно промеривал мысленным взором пройденный им путь от родных пенатов к храму науки, что позабыл о человеческих обязательствах перед другими. Например, не поехал к умирающей жене. А позднее его «не покидало постоянное, бессознательное, неотвязное чувство тайного облегчения — чувство, что свершилось нечто закономерное, будто решено наконец давно и потаенно мучившее его уравнение».

²⁷ «Аврора», 1973, № 1.

Как видим, помимо журнальной площадки, двух молодых авторов «Авроры» объединил бдительный подход к принципу «рациональности», который из сферы чисто прикладной имеет тенденцию проникать в область нравственных представлений человека, особенно если тот, говоря словами Родионова, «в чем-то узковат». Пожару, опасность одностороннего развития специалиста в «Шиповнике» схвачена острее, ибо автора заинтересовал не только сам факт односторонности (с вытекающими последствиями), но и скрытый путь, длинный разгон «элементарных частиц» тцеславия, своего рода драма первоначального умственного капитала, когда развитие способности не подстраховано нравственной культурой, опытом социального общения.

В искусстве, как известно, действуют сторожевые, охранные силы жизни. И если те или иные ускоренные процессы времени (скажем, бурный рост городов, информационный «взрыв», техническое перевооружение) грозят человеку крайностями специализации, искусство тут же бьет тревогу, заботясь о сохранении баланса в сфере духовной деятельности. Выполнение искусством такой «предупредительной» миссии обычно признак его зрелости. И потому весьма радует объемный подход наших молодых авторов к нравственным аспектам научно-технического прогресса. Особенно пристальный интерес к соотношению «комбинирующий разум — моральная чуткость» отличает Г. Баженова. Интерес этот, выйдя за рамки рассказа, а еще большей резкостью объявил себя в первой повести Г. Баженова «Братья»²⁸, построенной на материале по преимуществу «семейном».

...Среди персонажей «Братьев» встречаются и плоские рационалисты, мастера подменять простую порядочность сугубо «экономическими» выкладками. Один из них не рискнул защитить любимую девушку от местных хулиганов, ибо те в порядке воспитательной меры показали ему кастет («Очень простая ситуация, — рассуждал он, — или быть избитым и остаться ни с чем, или не быть избитым и тоже остаться ни с чем»); другой в предвидении призыва на действительную службу оперативно женился, но невинность юной супруги оставил при ней. «Никуда, — думал он, — теперь не денешься, милая. Ждать придется... Даже и

²⁸ «Наш современник», 1973, № 6.

захочешь изменить — не сможешь...» От таких гримас «рациональности» недолго ринуться в иную крайность — «ум — лукавый советчик, сердце — вещун». Но и здесь, на обратном полюсе от всяких «расчетов», у Баженова стоит целый набор предостерегающих знаков: герои стихийного склада, послушные порыву, сердечной причуде, плутают по лабиринту непредвиденных последствий, стоном стонут от капризов собственной интуиции и к сфере авторского «примемлю!» стоят ненамного ближе заядлых рационалистов.

Где же выход? Сказать трудно: автор так упорно избегает однозначности, что многозначность у него порой не слишком вычуждена. Зато мы отлично видим, где нет выхода — на обоих концах противостояния «рассудок — интуиция».

Как раз вот этим твердым императивом исключенной узости (при выборе жизненных ориентиров) примечательны многие литературные дебюты года. И нет ли здесь работы все того же процесса, о котором критика говорит как о целенаправленном «освоении опыта»? В данном случае речь идет прежде всего об опыте социально-психологическом, закрепленном в формах коллективного сознания. Опыт учит не увлекаться ближайшей приманкой, не шараться в крайности и не погрязать в хитроумных расчетах. Капитану Меркулову («Мурманск — 199») он подсказывает, что куркуль и деляга тралмейстер должен быть списан с корабля, так как, несмотря на сугубую полезность для «плана», он своим рвачеством «пацанву уродует». Следователя Рябинина тот же опыт заставляет конфликтовать с прокурором, предлагавшим подойти к закону «творчески», то есть не отдавать под суд «нужного производству» инженера; лесников из «Правой стороны» заставляет противостоять администратору, возмечтавшему о показательном отлове браконьеров... Все это примеры практической этики молодого героя, которая сложилась на базе освоенного им социального опыта и заявляет о себе в форме бескомпромиссного поступка.

Как уже говорилось, сегодняшний «герой переживания» (чаще всего одно лицо с «героем поступка») даже в тонких, интимных своих проявлениях повернут к «чужому опыту». И сейчас имеет смысл, ненадолго оставив его, оглянуться на близкое прошлое.

6

Примерно лет семь-восемь назад в нашей прозе (даже, пожалуй, шире — в искусстве) дружно заявил о себе тип неприкаянного интеллектуала, обладателя обостренной совести, но только работавшей на холостом ходу. Он не был ни белоручкой, ни фрондирующим краснобаем и порой, как, допустим, прораб Лобышев из битовской «Пенелопы», совсем неплохо вписывался в инженерную среду или, как журналист Алексей Осенин из повести В. Гусева «Душа-Наташа», в круг гуманитариев. Вписывался неплохо, ибо от дела не бегал, профессиональной хваткой обладал, кодекс компанейства чтил. И при этом никому никем не доводился — ни возлюбленным, ни другом, ни братом. Всем примерно в равной степени — посторонним. И время от времени кого-то предавал с попутным самоистязанием, рефлексией и вместе — вторым или третьим планом — любованием собственной сложностью. Причем, предавая, обычно оставался вне подозрений. Ввиду особого артистизма и заманчивой сложности своей натуры. «Ты-то никогда мне не будешь скучен, да и никому тоже. В тебе есть то, что нельзя потрогать и к чему всегда поэтому будешь стремиться... Ты человек... который всегда мечтает о покое и так его и не найдет, и в этом твое и наказание, и счастье». Таков портрет Алексея Осенина, отретушированный воображением Наташи — героини повести. На искусствоведа Сашу из рассказа В. Гусева «Экскурсия» (близкого Осенину по духу) взирает растроганно, даже с оттенком «общественной» гордости («Такие не подведут!») его благодушный патрон, директор музея Ростислав Ипполитович; Лобышев вызвал прилив доверия (ведь он «такой симпатичный», «с такими-то глазами») у памятной нам горемычной девицы, чьи манеры в свое время шокировали строгих критиков «Пенелопы».

Окружающие смотрели на этого героя как бы сквозь мечтательную дымку, угадывая в нем завидные совершенства, видели за каждым его поступком четкий жизненный курс. Но курс, увы, отсутствовал. Естественным состоянием героя был свободный дрейф. И в этом состоянии он откровенно тяготился своей непрошеной популярностью.

Отступим еще немного в глубь нашей истории. Четыре десятилетия назад зренбургский Володя Сафонов из «Дня второ-

го» чувствовал себя изгоем в стане пламенных романтиков и энтузиастов ударной стройки, склонных мыслить категорически «да» или «нет» и очень мало ценивших интеллигентскую щепетильность, страсть к самоанализу и прочие атрибуты утонченной духовности. Но прошли десятилетия — и при усложнившемся производстве даже сафононский скептицизм в определенном смысле оказался рентабелен, так как способен вовремя осадить разгулявшееся прожектерство. Перед обществом все острее вставала проблема личной культуры работника, который, быть может, не слишком расторопен в авральных условиях, но при котором резко падает вероятность авралов.

Отсюда, разумеется, не следует, что наконец-то пробил час Володи Сафонова. Не следует по очень простой причине: Сафонов — человек без «своего» часа. Он слишком сросся с ролью изгоя, чтобы вдруг повернуться к новой, пусть даже близкой ему общественной потребности. Так что с Сафоновым все более или менее ясно: это не «герой».

С лобышевскими такой ясности не было. В самом деле, весь или почти весь духовный актив Володи Сафонова у них налицо. С другой стороны, не в пример Сафонову это люди от мира сего, работники, а не издерганные страстотерпцы. И вместе с тем нет, «не герои». Отчего так? Рискну утверждать, что в пору «Пенелопы» и «Души-Наташи» осенинско-лобышевский тип был изучен авторами скорей эмпирически, чем в общей сумме своих значений. Совсем не случайно в смежных (с теми, что названы) произведениях Битова и Гусева исследовались, по сути, модификации все того же характера, но освещенного менее жестко, порой даже несущего на себе печать авторского самоанализа. И пожалуй, только после «Уроков Армении» Битова, когда лобышевский тип стал виден с расстояния, проявилась его общая природа.

На одном из первых мест в лобышевском «комплексе» было удивление. Удивленная, даже заинтригованная собой «сложность» выискивала вокруг все новые доказательства уникальности своего бытия. Окружающий мир становился как бы «зеркальным», исправно возвращая герою его отражение. Естественные вопросы «что же делать с собой?», «к чему пристроить собственную уникальность?» упирались в незнание сферы «не я», в нелюбопытство к стране «за-

зеркалья». Нужен был резкий сдвиг, поворот, выход из этого столбняка самосозерцания. Сдвиг наконец настал. Духовные ориентиры отодвинулись от границ неповторимого «я». Но параллельно состоялось как бы «закрытие» типа, то есть его консервация во времени. Уже отошедшем.

Нечто подобное этим сдвигам и метаморфозам можно обнаружить в поэтических, точнее — стихотворных, системах, для которых весьма закономерен момент переключения лирического интереса в широкий и всеобщий план или переход сокровенной темы с одного голоса на голоса. Вспомните хотя бы гениальное лермонтовское «Не верь себе». С первых же повторов «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой» здесь звучит и ширится мелодия горькой укоризны «толпе», погруженной в суету, глухой к признаниям поэта. И вдруг, когда движение стиха, казалось бы, полностью определилось и серия жалоб-укоров готова достигнуть кульминации, лирическое внимание поэта переносится к сфере «они», «толпа»: «А между тем из них едва ли есть один, тяжелой пыткой неизмятый, до преждевременных добравшийся морщин без преступленья иль утраты!» Резкий перелом всей поэтической логики! Горизонт понимания расширился. Личное право быть услышанным словно растворилось в праве каждого, личная боль стала частицей неисчислимых болей.

Этот момент, когда лирический герой, как бы оторвавшись от себя, поворачивается лицом к миру людей, не просто эстетический феномен, но закономерная фаза в духовном становлении личности. И пример из Лермонтова нам удобен наглядностью запечатленной в нем фазы, обещание которой есть в самом ритме роста человека, поэта, литературы.

Приблизительно на той же фазе роста мы застаем таких героев сегодняшней «молодой» прозы, как Игорь Сычев и Митя Ваганов, которые пристрастием к нравственной самооглядке напоминают Лобышева и Осенина. Вот строки о Мите Ваганове, находящиеся под особенно сильным смысловым ударением: «...потянулся он к чужим людям. И вновь увидел в них то притягательное и общее, что словно бы оправдывало его размышления. Тайна, которая была в каждом человеке то одной, то двумя, а то и несколькими чертами, эта тайна была так сильна, что всей душой своей он не мог не потянуться к ней». Об Игоре Сы-

чеве: «Тайна — вот что всегда манит нас, и нет ничего интересней, чем отгадывание загадок, которые тебе даже не задают... Здесь правомерен вопрос — зачем? Зачем одному человеку знать, что творится в душе другого? Затем, наверное, — и Сычев не видел другого ответа, — что только так мы можем почувствовать нашу общность с другими. И понять самих себя».

В мире Осенина и Лобышева, перенаселенном их собственными отражениями, не оставалось места ни для «тайн», ни для «души другого». И без того был перебор по части душевных сложностей, открываемых в себе, неповторимом. Чужая жизнь если и вызвала интерес, то либо потребительский (обещание приятного партнерства), либо «экспериментальный»: что нового я открою в себе, соприкоснувшись с другим? Все это означало свободу от обязательств, общих интересов, а заодно и от интереса к общему. Но, повторяем, постолюю свободу.

Не в пример лобышевым герои В. Тублина, Г. Баженова, Б. Романова и других молодых прозаиков, обращенные духовным своим строем, энергией поиска вовне, не помышляют рвать связей и выламываться из условий согласия. И все же моральная ситуация здесь не столь уж однозначна...

На пятом году относительно ровного супружества баженовский Митя Ваганов вдруг удостоился аттестации — «предатель». От жены Лены. Вроде бы в порядке лукавой «подначки». Но сам Митя «знал, что жена вовсе не шутила, а высказала какое-то тайное раздумье о нем, своем муже». В чем же, собственно, было дело? В гурманстве. Вернее — легком налете интеллектуального гурманства, который угадывался в Митином подходе к миру и людям, близким в том числе. Митя немножко «смаковал», эстетизировал отношения, любил их с приятностью «обмечтать». Та же самая наклонность, только выраженная гораздо резче, водилась за героями «Пенелопы», «Души-Наташи», «Экскурсии». Но от титула «предатель» бог их миловал, ибо у окружающих они были в фаворе (такие развитые, такие тонкие и вместе — сама деловитость). Теперь же фавор кончился, видимо, вместе с острым дефицитом самого соединения «развитость — деловитость».

Митина супруга в раннюю пору их знакомства решила: «...если он посвятил жизнь науке, то она должна, обязана посвятить

жизнь ему». И от такой-то смиренности, готовой взирать на мир из-под мужниной руки, получить «предателя»! За что? За легкий оттенок невнимания? Но что делать, если популярность формулы «я человек маленький, прими мою жизнь в дар» практически сошла на нет и никто не желает числить себя вторым сортом... И наши авторы, при всем сочувствии к своим взыскующим героям, живо приструнивают их «тонкость», если та начинает испрашивать для себя особых льгот. Впрочем, и сами герои не склонны слишком выпячивать собственную неповторимость.

Игорь Сычев, например, убежден в своей обыкновенности: «...ничто в его жизни не позволяло ни ему, ни другим думать иначе, ничто не давало ему повода или предлога выделять себя из дюжины или сотни». Мы даже располагаем признанием В. Тублина, что «будь автор посмелее — он назвал бы свой рассказ «Повестью об обыкновенном человеке». Все это близко к памятного нам пафосу повести «Кот — золотой хвост» В. Алексеева, где «скромный» вариант гордости проходил под девизом «большая черная работа». Близко именно к пафосу, а не только к прямым декларациям «скромного» героя.

Можно вообще заметить, что в сегодняшней прозе между определениями «обыкновенный» и «ординарный» резко увеличился семантический разрыв. «Обыкновенность» стала синонимом свободы от дешевой амбиции, обозначением готовности к упорной и строгой работе без расталкивания соседей, без видов на шумный триумф. Что же до заурядности или ординарности, то в качестве самохарактеристики эти слова по-прежнему непопулярны.

В рассказе Вольдемара Бааля «Ветка сирени на шапочке»²⁹ представлен небольшой приятельский синклит заводских конструкторов и их жен, охваченный моральным брожением вокруг все того же вопроса — как избежать духовного простоя и неполной самореализации? «Я застоялся, — признается один из них. — Застоялся, потерял интерес... Я чувствовал, что могу дать больше...» «Она, средняя, протестовала против этой своей средности, — сказано о другой героине. Подобных знаков личностной неутоленности, охоты «дойти до предела» (В. Тублин) у В. Бааля — щедрая россыпь. И, разумеется, не только у него. Причем:

²⁹ «Аврора», 1973, № 9.

для большинства случаев скромность запросов алексеевского библиотекаря может вполне сойти за исходную норму, отклонения от которой малосущественны. Претензии здесь просты: найти, выявить себя через личное сверхздание, предполагающее общезначимый эффект, но... как следствие выполненного долга перед собой.

7

Диапазон личных сверхзаданий, нацеленных на результат вещественный и зримый, у наших героев достаточно широк. Андрей Скворцов («Практикант») мечтает искоренить производственные авралы; путеец Паршин («Чудачка» Е. Борисова) — перевести все железные дороги страны на электротягу; герои романа А. Шелудякова «Из племени кедр»³⁰ — развернуть в сибирской тайге широкую сеть высокорентабельных зверопитомников... Герои, разумеется, не просто мечтают — заботятся о претворении мечты, не давая себе застояться. Но параллельно энергия творческой самореализации устремляется по каналам духовных связей (с людьми, природой, историей). Чувство натяжения, живости этих связей, в которые ты включен, тем надежнее удерживает от нетерпеливых рынков (из ряда вон!), чем оно глубже, и, заостряясь против непризнания или недооценки, нередко оборачивается пафосом «обыкновенности».

Но оглядите «обыкновенных». Помимо стремления выявить себя через дело, они всерьез озабочены расширением своих духовных границ. И не случайно Игорь Сычев активно осваивает как ближайший опыт истории, так и сквозные, «межэпохальные» сюжеты и традиции; неспроста завтрашний инженер Андрей Скворцов штудирует Платона, а Митя Ваганов предается «взлетным мыслям» о глубине мироздания и «бесконечном общении людей в природе».

Разумеется, вокруг «глубины мироздания» сегодня есть некое завихрение литературной моды. Подчас герой так же привычно выходит в «бесконечность», как персонажи дворянского романа — в старинный парк с липовыми аллеями. К мировому пространству адресуются совсем по-свойски, с такими, например, амикошонскими интонациями: «Мы стояли с Лариской, как две бесполезные косточки на дне кастрюли миро-

здания» (В. Токарева, «Рарака»³¹). И все же по сути своей (если не брать в расчет литературных забав) эти мысленные рейды за видимый горизонт, а равно к далеким и близким пластам истории — очень характерная черта той внутренней работы, которую сегодня выполняет личность, раздвигая свои духовные границы. Естественный процесс самоутверждения личности смещается вглубь, высывая наверх такие знаки или сигналы своего «смещения», как «Большая черная работа» и «считайте меня обычным».

Звучание этих формул, повторяю, обманчиво. У нас уже были случаи убедиться: герои молодых писателей не только с упорством «собирают», шлифуют свою личность, но не менее настойчиво ищут отклика на свою неповторимость, ищут контактов, дающих чувство глубокой включенности в общую жизнь, в непрерывный поток исторического времени. «Самое трудное для него было, — сказано у В. Тублина об Игоре Сычеве, — примириться с заданной ограниченностью его существования». Приблизительно то же чувствовали Крамов из «Вечернего солнца» и Митя Ваганов. Не станем множить однотипные примеры. Дело не в их числе. Такого рода «бытийные» мысли могут и не всплывать в открытом тексте. Даже чаще всего не всплывают. Но речь наша не о произнесенных словах — о состоянии. О глубине мироощущения молодого героя, который, определяя способ самореализации, характер и уровень общения с другими, держит в предмете и «заданную ограниченность» как веский резон для добавочной мобилизации сил.

Сам процесс разрушения барьеров поверхностного, прагматического общения талантливо показан Ниной Бичуя в рассказе «Шальные деньги»³² (перевод с украинского Вл. Россельса). Его героиня, начинающий педагог, согласилась временно поработать на подготовительных курсах в технический вуз. Характер у нее компанейский, легкий, отношение к временным обязанностям отчасти гастролерское. Не случайно зачин и финал рассказа, образовав кольцо, выдвигают вперед обстоятельство почти демонстративно «несерьезное»: заработанные на курсах деньги были потрачены без оглядки в один-единственный «славный день» при деятельном участии «добрых друзей».

Значит, шальным деньгам — шальная

³⁰ «Роман-газета», 1973, № 3. Ранее опубликован в «Молодой гвардии», 1972, №№ 9—11.

³¹ «Юность», 1973, № 7.

³² «Знамя», 1973, № 7.

судьба, компания лихо «завихрилась» и... Не к этой ли точке стягнута вся история месячного «курса на курсах»? Нет, конечно. Однако неспроста героиня с такой мягкой грацией ускользает от прямой трактовки «вопросов» и спешит принять рассеянное выражение. Она тоже человек «о б ы к н о в е н н ы й» и к престижу равнодушна. «Все вышло само собой, я ни о чем таком не хлопотала» — вот что внушает нам ее бойкая манера и эпикурейские упоминания о развешенных по ветру деньгах. А что же именно вышло?.. На одном занятии героиня прочитала слушателям «Новость» Василя Стефаника. Прочитала так, что кафедру с аудиторией соединила живая нить поэтического слова. И здесь, в этой точке повествования, обнаруживает себя главный «персонаж», способный сорвать с душ пелену забытовленности, — сила разбуженной общности. Искусство молодой писательницы проявилось прежде всего в том, что сокровенный закон п о н и м а н и я у нее работает сам, без авторского нажима. Перед его лицом все участники действия равны. Центр тяжести происходящего словно сам собой смещается к сущностной сфере отношений. И когда один из слушателей принялся с горячностью отстаивать приоритет техники перед фантазией художника, героиня уклонилась от дискуссии, так как чувствовала: сам спорщик не очень-то верит себе, логика «или — или» — просто знак его растерянности перед той правдой о б щ е г о, которая вдруг открылась ему, но еще не освоена душой. Причем в контексте рассказа терпимость героини к чужим «неверным» словам, ее нежелание опровергать уже поколебленную «узость» собеседника тоже подчинена возникшей атмосфере п о н и м а н и я и укрепляет ее.

В сегодняшней прозе личность «исчерпанная» (авторским познанием) все больше отступает перед личностью неисчерпаемой. Застывшим репутациям свойственно словно бы оттаивать, обнаруживая психологическую подпочву, где отложился и хранится (быть может, неведомо для обладателя) многосложный опыт людского общения. Интерес к этой подпочве нередко придает новую окраску вполне традиционным повествовательным формам.

Критикой уже была отмечена повесть Ю. Додолева «На Шаболовке, в ту осень...»³³, где память героя-рассказчика как

бы реставрирует обстоятельства его военной юности. С такого рода экскурсами в пережитое, но все еще не пережитое мы, разумеется, встречались не раз. Но вот авторская интонация, крупные планы эпизодических лиц, данные словно с «замедлением», словно с подчеркиванием их особой, неброской выразительности, заставляют прочесть «Шаболовку» как произведение самых последних лет.

Целостный мир Шаболовки конца 30-х — начала 40-х у Ю. Додолева как бы распадается надвое. Две близкие временные полосы, разделенные интервалом в несколько месяцев, — срок пребывания героя на фронте. В различии между Шаболовкой до и после — мера его возмужания. Вернувшийся герой пересматривает многое в своих прежних представлениях и оценках, а главным образом дофронтное обыкновение судить о человеке, не заглядывая за его броскую «характерность». Впрочем, умудренность повествователя явно вобрала в себя, помимо фронтového, другой, новейший нравственный опыт. Во всяком случае, герой «Шаболовки» проходит примерно ту же школу постижения «внутреннего человека», что Митя Ваганов или Игорь Сычев.

По замечанию одного критика, писавшего несколько лет назад о молодой прозе, ее авторами был утрачен интерес к подробностям, к пристальному разглядыванию вещей. Причем эта потеря интереса связывалась критиком с общей дряблостью, размагниченной медитативностью авторского слова. Брать ли эти упреки врозь или вместе, к новому пополнению прозаиков они вряд ли относятся.

Мир вещественный... Подтверждая его полноправие в том или ином прозаическом создании, мы рискуем сбиться на инвентарную опись. И потому, лишь бегло коснувшись вопроса «что» (изображено), отдадим предпочтение вопросу «зачем».

Возвращаясь к уже сказанному, можно сослаться на «Рабочий день» О. Базунова, где вообще нет никакой инертной материи, никакой прикрепленной к месту «недвижимости» и где предметные подробности — как бы в пути от обычной четкой трехмерности к о б р а з у, запечатленному памяти, подлежащему хранению и душевной обработке. А вот характерный пример из В. Гублина: «...руки Николая Семеновича делают, между тем, свое дело... большие, чуть потемневшие от табака пальцы с плос-

³³ «Юность», 1973. № 5.

кими чистыми ногтями крадутся вдоль стрелы, нащупывают неровность, давят, вертят, поднимают, опускают, снова катят — ну вот, готово, следующая...» Как нетрудно догадаться, внешне бесхитростная картинка (предусмотрительный спортсмен готовит «снасть» к соревнованиям) дана через восприятие Игоря Сычева. И это пристальное разглядывание рук Николая Семеновича, любование его сноровкой, чувством материала есть лишь минутная стрелка душевного состояния центрального героя. Двигается она вместе с «часовой». Переводя взгляд на «часовую», мы вновь приобщаемся к сычевским мыслям о связи времен и понимаем, что ловкие пальцы «лучника», колдующие над стрелами, незримо лепят, слагают нужный Сычеву образ пути, пройденного тем молодым солдатом 1941 года. «Материальное» попадает у В. Тублина в духовный ореол личности, становится опознавательным знаком ее включенности в систему временных связей. Молодой прозе последнего призыва нельзя отказать ни в интересе к разглядыванию вещей, ни в энергии нравственного поиска, питающей этот интерес, — энергии, повторяю, во многом романтического свойства.

Романтический порыв, как известно, своенравен и требует со стороны самого романтика крепкой нравственно-философской узды. О том, что таковая находится не всегда, у нас уже шла речь. Теперь настал срок поставить вопрос об «узде» пошире...

В повести Е. Гуцина «Правая сторона» есть любопытный штрих: романтически настроенный Артем подался в «лесники», надеясь обрести на этом поприще некий абсолют «голубых» отношений между людьми (з кругу которых, по его словам, все «честно, без обмана»). И хотя вместо стерильной простоты ему открылась реальная сложность, он все же с полной готовностью подхватил притчу о великом походе «лесников» против «браконьеров». Наклонность к идеальным структурам и неподвижным антитезам, разумеется не столь явно, как у Артема, проглядывает порой и в самом подходе авторов к своему материалу.

Мы уже говорили, что к «расследованию мотива» герой повести С. Родионова пытается подойти с весьма широких гражданских и социально-психологических позиций. Но его попыткам мешает одно обстоятельство, пожалуй и самым автором не слишком принятое в расчет: чрезмерная склон-

ность к философско-этическим выкладкам в ущерб непосредственному этическому чутью. «Рябинину почему-то виделась некая закономерность в том, что погибла красивая женщина, а не дурнушка, которой даже закономерность не интересовалась», — сказано у С. Родионова. Установив, таким образом, умственную короткость между собой и разборчивой «закономерностью», следователь принимается оперировать «логарифмами» судеб. И среди прочих — судьбой «красивой женщины». В итоге супруга подсудственного, изобретательно спроваженная им на тот свет, присутствует в повести как отвлеченная величина, подвергшаяся «вычитанию» (из суммы живых), вроде бы даже заслуженному ею. В уста мужа-преступника вложен вдохновенный монолог — инвектива против мещанской косности, олицетворением которой признана покойная (она «была примитивна, причем худшим видом примитивности — стандартом»). Гуманисту «широкого профиля» Рябинину даже в голову не приходит поинтересоваться, не тревожат ли подсудственного посреди его пылких речей хоть проблески сожаления о чужой загубленной жизни или, позволим себе такую парафразу, — мещаночки кровавые в глазах. Нет, следователь (он, естественно, враг мещанства) не без приятности внемлет оратору. Внемлет, ибо его «гуманизм» соткан из логически весомых, четких представлений. «Тонкая материя» непосредственного опыта души проходит эту сеть насквозь, ничуть не поколебав ее. Поколебленным оказывается другое — цитированные в начале призывы к современнику слушать в чуткой тишине голоса Блока и Достоевского...

О В. Тублине уже говорилось выше, что во имя чистоты, четкой структурности своих моральных посылок он кое в чем урезает живую сложность обстоятельств, в частности создает для Игоря Сычева особый, как бы «санаторный» режим поисков.

Задержимся ненадолго на рельефном противостоянии возможностей, которое вырисовывается перед самым финалом «Доказательства». Игорь Сычев на распутье: тянуть ли ему дальше служебную лямку на поприще если не вовсе чуждом, то полуинтересном либо, использовав «единственный в жизни шанс», добиться полной самореализации в спорте. Варианты взвешены. Избран спорт. Что ж, нет ни жалоб, ни расслабленных мечтаний. Есть решительный шаг. Поступок. Такое вчуже бодрит, распола-

гает к герою, и даже хочется как-то приструнить непрошенные возражения вроде: «Больно ему, бесемейному, начинать все набело» — или: «Ведь в стрельбе из лука он опять всего себя не проявит». В конце концов, не всегда уместны доводы житейской трезвости. Есть общий пафос происходящего, на нем и стоит сосредоточить внимание. Хорошо. Только, сосредоточившись на пафосе, опять улавливаешь некое неблагополучие...

Выбор Сычева подан автором на интонационном подъеме, выделен структурно и воспринимается как своего рода «запуск», ввод в действие принципиальной модели. Но достаточно ли строго она сконструирована? Вправе ли спорт, то есть, в свою очередь, идеальная модель (самораскрытия каждого в полной гармонии со всеми), на равных конкурировать с производственной средой, где отношения текучи и не поддаются идеальной регламентации? В голосе Игоря Сычева, сделавшего свой выбор, слышатся удовлетворенные нотки. «Каждому из нас рано или поздно придется подыскивать доказательства того, что мы не напрасно жили на земле», — заявляет он, явно подпад под обаяние собственного поступка, который, однако, не дает искомым «доказательствам». Ведь если вести разговор в предлагаемых героем высоких категориях, его поступок не очень спортивен. Ибо спорт не только «игра по правилам», но также наглядное торжество правил, своего рода «идеальная действительность», где правила демонстративно торжествуют. Примерно как и Артем из повести Е. Гуцина (мечтавший внедриться в идеальную среду), Сычев намерен спрямить путь своих романтических поисков, уходя в область условленной, чистой гармонии...

Говорю все это не затем, чтобы упрекнуть автора (или авторов) в просчете. Просчета в обычном «техническом» смысле, пожалуй, и нет. Есть «отдача» (как при стрельбе) на систему образных связей, определяемая силой романтического «заряда», заложенного в авторском замысле, определяемая авторским нетерпением поскорей перевести ситуацию личного самоопределения (либо, как у С. Родионова, картину

борьбы «гуманиста» с «технократом») в обобщенный, даже глобальный план.

«Горячая» мысль, желая выразить себя разом и крупно, не успевает «выслушать» возражения, идущие из глубины материала, из еще не освоенных ею пластов нравственного опыта. Такова, если угодно, диалектика романтически напряженных систем, в особенности когда ими, по существу, открываются творческие биографии.

Свое недавнее выступление, посвященное теме «Литература и НТР», Сергей Залыгин закончил словами о «мыслящем герое, необходимом нашей литературе», который «должен обладать жизнелюбием, если понимать под этим его природность, умение и назначение — осуществлять связь времен»³⁴. Характерно, что эти слова С. Залыгина прозвучали как бы «синхронно» с усилиями молодых авторов именно такого героя найти и запечатлеть.

Сегодняшняя молодая проза не просто в поиске. Она учится поиску. Ее ближайшие наставники — видные мастера советской литературы. Ее главные ориентиры — испытанные временем критерии гражданственности, моральной бескомпромиссности, деятельного гуманизма. Именно с этих позиций она и стремится решать свои аналитические задачи. И факт тесного единомыслия молодых авторов с одним из маститых наших прозаиков по-своему симптоматичен — как показатель объективной потребности времени, осознаваемой на разных уровнях социального и художественного опыта. Удивительно ли, что при остроте запроса авторская рекомендация героя нередко звучит романтически? Кстати, романтический способ рекомендации в одном, по крайней мере, отношении глубоко реалистичен. Он доносит до читателя энергию самоорганизации, собирания личностных сил, которая таятся за демонстративной скромностью формулы «обыкновенный человек». Доносит энергию внутренней работы современника, сознающего — воспользуемся словами С. Залыгина — свое назначение осуществлять связь времен.

³⁴ С. Залыгин. Размышления и догадки. «Дружба народов», 1973, № 10, стр. 257.

А.Л. МИХАЙЛОВ

★

ВООРУЖЕННОСТЬ КРИТИКА

Полемические заметки

Первые самостоятельные шаги советская литературно-художественная критика делала, опираясь на ленинские работы. Партийность стала краеугольным камнем новой методологии. Она выражала теоретическое самосознание советской литературной критики и ее политическую ориентацию. Партийность означала сознательное служение идеалам социализма и коммунизма и — в этом аспекте — поддержку тех явлений литературы и искусства, которые обогащают человечество идейно, нравственно, эстетически.

Преодолевая формалистические и вульгарно-социологические наслоения, литературная критика закрепила на научной марксистско-ленинской основе и немало сделала для теоретической разработки и утверждения метода советской литературы и искусства — социалистического реализма. Литературоведение и критика стали необходимой органической частью общелитературного дела, без них невозможно себе представить художественное развитие общества. Центральный Комитет КПСС, два года назад приняв специальное постановление «О литературно-художественной критике», подчеркнул этим ее важную роль в процессе коммунистического воспитания народа.

В постановлении ЦК КПСС дана всесторонняя и объективная оценка состояния критики, раскрыта ее роль не только в литературном процессе, но и — шире — в духовной жизни общества. Упрек в том, что уровень критики пока не отвечает в полной мере требованиям, которые определяются возрастающей ролью художественной культуры в коммунистическом строительстве — при всех заслугах критики в прошлом и настоящем, — был вполне справедлив и свое-

времен. И это обязывает нас снова и снова обращаться к коренным проблемам науки о литературе, и в частности к проблеме проблем — методологии. Именно здесь, в методологии, корень многих ошибок и недостатков критики. На некоторых из них мне и хотелось бы сосредоточить внимание в этих заметках.

Литературная критика развивается в тесной связи с литературоведением, неотделима от него, так же как современная литература неотделима от истории литературы, ее традиций, она является продолжением литературы классической, новым этапом историко-литературного процесса. При всем том и критика и литературоведение, естественно, имеют свой предмет, свои задачи и вытекающие отсюда свои специфические особенности анализа. Общая методологическая основа и общие главные идейно-эстетические принципы скрепляют союз литературоведения и критики, специфику же того и другого определяют конкретные задачи научного исследования историко-литературного и современного литературного процесса.

В статье «„Открывать красоты“, „изучать открытое“»¹ А. Курилов справедливо пишет, что «любой текущий, современный критикам и критике литературный процесс по самой своей сущности всегда был, есть и будет процессом историко-литературным».

Но каковы же по отношению к нему задачи критики и литературоведения, каковы специфические особенности подхода к его изучению, анализу и обобщению? Здесь А. Курилов видит принципиальную

¹ «Литературная газета», 19 сентября 1973 года.

разницу научных задач, предмета критики и литературоведения. По его мнению, она заключается в том, что критика открывает красоты и недостатки в произведениях художественной литературы, а литературоведение изучает, исследует уже открытые красоты и недостатки в них. При этом автор статьи ссылается на известные слова Пушкина: «Критика — наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы».

На свой лад развивая пушкинский тезис, А. Курилов отводит литературоведению «вторичную» роль по сравнению с критикой, замечая при этом, что литературоведение начинается там, где «прекращается поиск новых красот».

Правда, А. Курилов делает оговорку насчет того, что «литературоведение если и не может открывать новые красоты и недостатки, то частенько поправляет критику». Но как в таком случае совместить неумение открывать красоты и недостатки с умением «поправлять» критику, если в этой доступной только ей области она совершает ошибки? Чтобы «поправлять» критику, надо, следуя логике А. Курилова, уметь делать то, что делает она, и делать это не хуже критики. Ссылка на «категоричность» оценок здесь ничего не объясняет.

А далее А. Курилов обнаруживает уж совсем какой-то ведомственно-бюрократический подход к разделению функций критики и литературоведения, заявляя, что литературоведение ставит все точки над «и», «окончательно утверждая подлинную ценность вновь открытых критикой красот». Критик открыл, эксперт-литературовед определял годность, оценил, оприходовал, занес в амбарную книгу, поставил штамп и подпись... Как в конторе заготовить сырье.

Наделяя литературоведение функциями ОТК, А. Курилов в то же время отказывает литературоведам в способности находить верные критерии оценки современных произведений искусства. По его убеждению, «литературоведы на современную им литературу... смотрят как бы из прошлого, предлагая для выявления степени... художественности шкалу ценностей, уже как бы прожитую человечеством».

Далекоидущие выводы относительно литературоведения сделал А. Курилов из пушкинских слов о критике! Если придать им значение методологического принципа (а именно ради этого написана статья «„Открывать красоты“, „изучать открытое“»), то

нетрудно себе представить в скором времени полную ведомственно-бюрократическую разобщенность критиков и литературоведов при сугубо утилитарном, оценочном подходе к литературе.

Не знаю, надо ли всерьез опровергать столь легковесное суждение о литературоведении как о подсобной критике, несамостоятельной науке, беспомощной перед явлениями современного искусства... Надо ли ссылаться, скажем, на тот факт, что вот наше самое крупное научное учреждение в области литературоведения — Институт мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР — дает наглядный пример непосредственного вторжения в современный литературный процесс; и в то же время многие, очень многие наши активно работающие в литературе критики являются и литературоведами, прошли хорошую теоретическую, литературоведческую подготовку — без этого вообще невозможно себе представить глубокого и образованного современного критика...

Словом, вряд ли есть предмет для серьезной дискуссии по поводу взглядов Курилова на литературоведение.

А что же критика, какой она представляется автору статьи в «Литературной газете»? Ее задачи, по А. Курилову, целиком исчерпываются пушкинским определением. Оказывается, за полтора столетия функции критики ничем не обогатились.

Да ведь определение критики уточнялось и развивалось великим поэтом в целом ряде литературно-критических работ и писем. Пушкин-критик не упускал из поля зрения вопроса о деятельном наблюдении современной жизни, не раз высказывался о народности литературы, о реализме и художественной типизации, внес большой вклад в теорию драмы.

И уж само собою разумеется, при Белинском критика не ограничивалась открытием красот и недостатков в произведениях литературы и искусства — она стала подлинной трибуной общественной мысли. Революционные демократы пользовались оружием критики в борьбе с крепостничеством и самодержавием на политической арене с поборниками «чистого искусства» — на литературной.

Белинский считал, что критика есть сознание действительности. В статье «Речь о критике... А. Никитенко» он писал, что искусство и критика вышли «из

одного общего духа времени. То и другое — равно сознание эпохи; но критика есть сознание философское, а искусство — сознание непосредственное». И дальше: «В критике нашего времени более, чем в чем-нибудь другом, выразился дух времени».

Величайшей заслугой революционно-демократической критики и ее выдающихся представителей Чернышевского, Добролюбова, Писарева была теоретическая разработка основных принципов реалистического метода в литературе и искусстве. Теоретические аспекты их критической деятельности охватывали не только чисто эстетическую, но и философскую и социальную стороны художественного творчества.

Первые русские критики-марксисты, следуя и развивая традиции революционно-демократической критики, вели решительную борьбу с реакционными течениями в литературе, разоблачали декадентские, либерально-буржуазные и прочие теории, имевшие хождение в то время, поддерживали ростки нового, социалистического искусства. Русская литература давала критике немало прекрасных поводов к широкому эстетическим, философским и политическим обобщениям.

Критик идет по горячим следам литературы, активно вмешивается в литературный процесс, оказывает на него формирующее влияние, смотрит на литературу не только с позиций современника, но и — здесь совершенно прав А. Курилов — «уже как бы из будущего, выдвигая, вырабатывая новые критерии красоты... которые диктуются задачами, поставленными перед литературой его времени всем ходом общественного и художественного развития человечества».

К концу своей статьи, словно спохватившись, А. Курилов делает беглую оговорку насчет того, что-де критика должна владеть «искусством борьбы» за новые красоты. Верно. Должна. И все же речь необходимо вести о несравненно более серьезном. Оставаясь наукой открывания красот и недостатков в произведениях литературы и владея искусством борьбы за новые красоты, критика этим далеко не исчерпает своих задач. Подлинные ее задачи на нынешнем этапе художественного развития сформулированы в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» в тех его положениях, которые говорят нам: «Долг критики — глубоко анализировать явления, тенденции и законо-

мерности современного художественного процесса, всемерно содействовать укреплению ленинских принципов партийности и народности, бороться за высокий идейно-эстетический уровень советского искусства, последовательно выступать против буржуазной идеологии. Литературно-художественная критика призвана способствовать расширению идейного кругозора художника и совершенствованию его мастерства. Развивая традиции марксистско-ленинской эстетики, советская литературно-художественная критика должна сочетать точность идейных оценок, глубину социального анализа с эстетической взыскательностью, бережным отношением к таланту, к плодотворным творческим поискам».

Здесь содержатся важнейшие методологические принципы современной критики, ориентирующие ее на активное вмешательство в литературный процесс, на то, чтобы оказывать формирующее идейно-эстетическое воздействие на литературу. Критик-регистратор, критик-оценщик неинтересен ни писателям, о которых он пишет, ни читателям, которым он адресует свои писания. Критик в современной литературе — это мыслитель и теоретик, идейный борец, тонкий ценитель прекрасного. В таком качестве он полноправный участник литературного процесса, писатель, представитель своего жанра в литературе.

И тем более огорчительно, что среди писателей — прозаиков, поэтов и драматургов, в особенности молодых, еще мало искушенных в литературном деле, проskalьзывает иногда пренебрежительный взгляд на критику как на нечто состоящее «при них» и «для них».

Расскажу об одном случае. Руководя семинаром поэтов в Литературном институте имени А. М. Горького, как мне думается, я помог творческому определению нескольких одаренных молодых людей. Имена их уже известны любителям поэзии. И естественно, что дружеская и творческая связь педагога с учениками сохраняется и после окончания ими института.

Все это, как говорится, в порядке вещей, так ведется, по-видимому, все сорок лет существования Литинститута. Длительное общение учителей с учениками, которые уже и сами впоследствии учат молодых, укрепляет взаимопонимание и дружбу поко-

лений, творчески обогащает обе стороны. Так мне казалось всегда. Так кажется и теперь, несмотря на первое разочарование.

А произошло вот что. По просьбе своей бывшей студентки, способной, но еще недостаточно уверенно владеющей культурой письма поэтессы, я написал вступительную заметку к сборнику ее стихов. Заметка была весьма благожелательной, но сдержанной в оценках. В личном письме я позволил себе высказаться о том, что молодая поэтесса не продвигается вперед, не любит работать над строкой, над словом.

В ответ на статью и письмо я получил раздраженную, резкую отповедь, где моя бывшая ученица недвусмысленно намекнула на то, что критик-де не создает сам духовных ценностей, а только удостаивается чести популяризировать их...

Разумеется, не надо делать широких обобщений, в моей педагогической практике это случай, единичный, исключительный, думаю, что и вообще снобистское отношение к критике, утилитарный взгляд на нее не имеют сколь-нибудь широкого распространения. Однако о проявлениях подобных взглядов надо помнить и надо постоянно воспитывать у молодежи уважительное отношение к критике как равноправной части общелитературного дела.

Воспользовавшись этим поводом, хочу еще раз повторить, что критика наша не лишена недостатков, и это одна из причин негативного или чисто утилитарного, корыстного отношения к ней.

Методологические реликты в теории и критике — тяжелое последствие ошибок и заблуждений прошлых лет. И чем решительнее мы освободимся от них, тем скорее наша теория и критика смогут выполнять задачи, поставленные перед ними Центральным Комитетом КПСС.

Именно поэтому я хочу вернуться к проблеме, возникшей в связи с некоторыми критическими выступлениями последнего времени, выступлениями, как бы обострившими наши общие размышления о критической методологии самым радикальным образом. Конечно, это гораздо менее приятно, чем констатация успехов и достижений в литературно-критической деятельности, но раз уж я настроился на полемический лад, то и примеры выбираю, соответствующие общему пафосу статьи.

За последнее время дважды выступил со

статьями о поэзии В. Друзин². Активное включение литератора старшего поколения в текущую критику можно только приветствовать, так как за последние десятилетия В. Друзин лишь небольшими рецензиями изредка напоминал о себе читателям.

Увы, уже первая из этих статей вызвала довольно резкую критику в печати. Отмечалось, что В. Друзин, не утруждая себя доказательствами, анализом явлений, произвел деление советской поэзии на реалистическую и... декадентскую, или, ближе к авторскому тексту, такую, в которой обнаруживается нечто изначально присущее декадентству и чуждое традициям реализма.

Не удивительно, что такая схема развития современной поэзии показалась оппонентам В. Друзина, мягко говоря, неточной и дала основание одному из них упрекнуть критику «в беспомощности анализа, в попытках заменить анализ жупелом»³. В докладе Г. Маркова на совещании главных редакторов литературно-художественных журналов и газет было сказано по поводу статьи В. Друзина, что ее выводы «совсем не соответствуют реальному состоянию нашей поэзии»⁴.

Вторая статья В. Друзина — «Надо это видеть» — продолжает первую, является как бы ответом на критику первой, уточняет позиции автора и, самое главное, развертывает аргументацию.

В обеих статьях, и особенно во второй, большое внимание уделено персоне автора настоящих заметок. Однако у меня не возникло желания отвечать на полемические выпады В. Друзина, так как они целиком связаны с его методологическими принципами в анализе поэтического развития. О методологии и пойдет речь.

В. Друзин предъявляет обвинение «некоторым критикам», которые, как он считает, не хотят видеть в поэзии «рецидивы... декадентских течений, уводящие поэтов с верного пути», включают в понятие многообразия «явно чуждые творческие принципы, проникающие к нам с Запада». Собственно, это повторение того же, что было в его первой статье. Но на этот раз он берется аналитически доказать и на деле показать «благодушным» критикам, как надо выяв-

² «Проблема концепций» («Октябрь», 1972, № 4), «Надо это видеть» («Октябрь», 1973, № 8).

³ С. Григорьев. О «концепциях» и чувстве времени. «Юность», 1972, № 7.

⁴ «Вопросы литературы», 1973, № 3, стр. 19.

лять эти самые рецидивы «декадентских течений» и «чуждые творческие принципы».

Надо ли говорить, что вопрос поставлен серьезный, идеологический. Естественно, что и теоретическое и методологическое обоснование подобных претензий к поэзии и критике должно быть на уровне современной теории и методологии.

Обратимся к статье В. Друзина, посмотрим, чем обогащаются анализ и аргументация его предыдущей статьи:

«В прошлом году в статье «Проблема концепций» (см. «Октябрь», № 4 за 1972 г.), говоря о недостатках поэзии Андрея Вознесенского, я писал об удивительном пристрастии поэта к разным «унитазам», «писсуарам», «ночным горшкам» и прочему из той же сферы представлений. Прошло всего несколько месяцев, и вот в «Комсомольской правде» (11 ноября 1972 года) читатель мог прочесть новые строчки Андрея Вознесенского:

Душа — совмещенный санузел,
Где прах и озноб душевой...
Омылась душа, опросталась
Чего хваталась от вас.

Пристрастие остается прежним».

Я прерываю здесь цитату, чтобы обратить внимание читателей, насколько обогатил критик свои наблюдения. В самом деле, не в этом ли с таким тщанием коллекционируемом В. Друзиным наборе деталей, промелькнувших в стихах Вознесенского, и скрывается его декадентская сущность? И не прав ли критик, найдя именно эти детали в пестром и многообразном вещном мире поэзии Вознесенского и именно в них почуявший «рецидивы» этого буржуазного по своей сущности течения в литературе?.. А может быть, это дело вкуса?.. Не будем говорить здесь о стихах Вознесенского, сейчас дело не в них, и продолжим цитату:

«Писал я и о том, что эти образы, воплотившиеся (?) теперь в собирательный (?) «совмещенный санузел», встречались еще у ранних футуристов. Задолго до революции Давид Бурлюк мотивировал свое воспевание «писсуаров» и тому подобных вещей «новым эстетическим кодексом»:

Душа — кабак, а небо — рвань,
Поэзия — истрепанная девка,
А красота — кощунственная дрянь.

У Давида Бурлюка все было одно к одному в его антиэстетическом мышлении! Ну, а как обстоит дело в наше время? Не следует

ли определить стихи о «сантехнике» как рецидивы декадентства?»

Для цитаты это несколько длинно, но зато для критического разбора кратко: в трех десятках журнальных строк дан разбор стихов, установлен генезис современного декадентства и сделан вывод!

Кое-где понаставленные кавычки не объясняют, каким это образом процитированные стишки Бурлюка «мотивируют» воспевание «писсуаров», поскольку критик обнаружил эту деталь не у Бурлюка, а у Вознесенского. Но все это, очевидно, надо отнести за счет вольностей друзинской методологии.

Я не собираюсь, конечно, брать под защиту разухабистые стишки Бурлюка. Ясно также, что к поэзии Вознесенского они никакого отношения не имеют. Но... что получится, если методологию В. Друзина распространить на изучение творчества других поэтов, например Есенина и Маяковского?

«Душа — кабак...» — писал «ранний футурист» Бурлюк. А у зрелого Есенина есть целый цикл стихов о Москве кабацкой. Истерзанный тоскою по Руси уходящей и не в силах еще со всею полнотою ощутить величие и красоту Руси советской, поэт как бы нарочно вооружал против себя критиков-надзирателей, называя себя и хулиганом, и пропойцей, и бог знает кем еще. Он как бы нарочно дразнил их, оскорбляя эстетическое чувство и дерзко заявляя о своем намерении «из окошка луну...» (какие уж тут «писсуары!»).

А некоторые критики легко клевали прежде всего на эту приманку и провозглашали Есенина кабацким поэтом. Их примитивная методология основывалась на чисто внешнем, выборочном принципе анализа, без учета всех сложностей и противоречий в развитии поэта, без учета глубинного течения в его поэзии.

Понадобились годы, десятилетия, чтобы снять вульгарно-социологические наслоения в критической оценке творчества великого поэта, дать его всесторонний научный анализ, учитывающий и сложности пути, и противоречия в мировоззрении Есенина.

Перед методологией В. Друзина не устоял бы и сам Маяковский — не «ранний футурист» (какое там!), а классик поэзии социалистического реализма. Развивая систему доказательств, возьмю на вооружение В. Друзиным, он вполне мог бы (если бы не был классиком!) рассчитывать на жесткие классификации. Ведь у дореволюционного Бурлюка «поэзия — истрепанная девка», ну,

а чем лучше, с точки зрения В. Друзина, поэзия — «баба капризная», как у Маяковского во вступлении к поэме о пятилетке «Во весь голос? Тут уже не в вопросительной форме могли бы прозвучать грозные слова о рецидивах декадентства!

В том же вступлении в поэму есть еще и харкающий туберкулез и «б... с хулиганом да сифилис». Уже этого вполне достаточно для определения «состава преступления», для установления родства с декадентством. Карта к карте раскладываются пасьянсы поэтических школ по внешней масти...

В задачу этих заметок не входит разбирать и оценивать стихи А. Вознесенского, это сделано в книге о нем⁵. Все дело в том, что свою методологию критического анализа В. Друзин распространяет и на других поэтов. В «Дне поэзии. 1972» он находит стихи Владимира Бурича «без точек и запятых, как у ранних футуристов («ранние футуристы» — это неизменно точка отсчета в поэзии у В. Друзина.— А. М.), без ритма, как у современных западных формалистов».

«Разбору» стихов Бурича предпослано обобщение: «...у нас появляются иногда стихи, в которых заметны явные отступления от принципов социалистического реализма».

Надеюсь, читатель по достоинству оценит методологическое новаторство В. Друзина: отныне верность принципам социалистического реализма можно безошибочно определять по наличию точек и запятых в стихах.

Что касается скромного маленького стихотворения Бурича, то, процитировав, В. Друзин постарался уничтожить его как стихотворение, вогнав строки верлибра в прозу. Стихи без знаков препинания, со своеобразной, имеющей в данном случае принципиальное смысловое значение графикой и разбивкой на строфы, стихи со своею ритмикой (ее надо услышать!) так цитировать нельзя, этого не допускает элементарная добросовестность критика по отношению к поэту.

Еще один пример «отступления от принципов социалистического реализма» обнаруживает В. Друзин в «Дне поэзии. 1972», теперь уже несмотря на наличие знаков препинания. Это стихотворение Петра Вегина «Прошу тебя, придумай что-нибудь...». Стихотворение о любви. Криминал, который нашел критик, заключается в том, что поэт

сослался на строку Аполлинера: «Я уже ничего не умею и только люблю». Вывод себя не заставил ждать: «Это — сознательное эпигонство».

И никаких больше доказательств!

Опровергать в данном случае В. Друзина значит приводить бесконечное множество примеров таких (не только явных, точных и со ссылкой, как у Вегина, но и раскавыченных, поэтически преобразованных) цитаций у величайших поэтов России, значит сводить полемику до уровня азбучных истин.

На этом конкретный анализ стихов, в которых В. Друзин обнаружил «рецидивы декадентских течений», в статье исчерпан. Хотя автор и говорит, что «примеры подобных чужеродных влияний можно увеличить».

Любопытно, что в «Дне поэзии. 1972» он, кроме того, выявляет «еще не законченное и самоопределившееся декадентство» (очевидно, в отличие от Вознесенского, Бурича и Вегина), но тем не менее обнаруживающее «явное отступление» от творческих принципов социалистического реализма. Под эту рубрику попадают стихи А. Богучарова, Е. Аксельрод, В. Гнеушева и Н. Зиновьева, а также стихи «о сновидениях» Л. Завальнюка, Т. Жирмунской и Е. Николаевской. Последние трое попали в этот список на том основании, что о сновидениях писали «старшие символисты, младшие символисты, акмеисты, футуристы (на этот раз не только ранние.— А. М.), имажинисты». Интересно знать, куда отнести в этом случае Пушкина, у которого Татьяна тоже видит сон и в этом сне тоже есть «фантастические видения, утраченный душевный покой», что, по В. Друзину, как раз и характеризует стихи всех перечисленных «истов» и их незаконченных и несопоставившихся последователей в «Дне поэзии. 1972»?

Читатель, хотя бы бегло знакомый со стихами названных выше поэтов, улыбнется, прочитав, что они назначены В. Друзиным «кандидатами» в декаденты. Стихи у иных из них не ахти какие, да и представлен каждый в альманахе в основном одним-единственным стихотворением — право же, надо обладать богатой фантазией, чтобы обнаружить на подобной почве «еще не законченное и самоопределившееся декадентство».

Таким образом, очень серьезное обвинение, брошенное поэтам и критикам, допустившим, по словам В. Друзина, срывы и отступления «от правильного пути», не по-

⁵ См. кн.: А. Л. Михайлов. Андрей Вознесенский. Этюды. М. «Художественная литература». 1970.

лучило в его статье какой-либо теоретической и методологически обоснованной аргументации. Бездоказательные квалификации, основанные на вольных, чисто внешних, искусственно притянутых аналогиях, легко обнаруживают свою демагогическую сущность и научную несостоятельность.

Есть в статье и позитивные примеры, приведен перечень поэтов, книги которых в разное время рецензировались автором, даны попутно и ссылки на свои рецензии, в которых В. Друзин, по его же словам, показал «своеобразие этих поэтов, их тесную творческую связь... с современностью». Можно бы продемонстрировать особенности методологии критика и на положительных примерах, то есть попытаться понять, как показывал он эту «тесную творческую связь... с современностью». Но едва ли стоит это делать, выносить на широкое рассмотрение, ибо в рецензиях, о которых идет речь, анализ ограничивается, как правило, самой общей «квалификационной» фразеологией, беглыми оценками, только, разумеется, со знаком плюс.

Надо называть вещи своими именами: методология В. Друзина безнадежно устарела. Это сегодня анахронизм, это как раз то, о чем писал А. Бушмин: «Догматическое перенесение правильного общего положения литературной теории на методику конкретного изучения произведений порождает унылый шаблон»⁶.

«Надо это видеть», — императивно внушает В. Друзин уже самим названием статьи. Видеть опасность декадентских влияний, проникающих в нашу литературу. Не будем закрывать глаза — опасность таких влияний есть, ее приуменьшать нельзя. Но — продолжим мысль В. Друзина — чтобы видеть ее, надо вооружиться современной критической методологией. Ярлыки и жупелы, которыми охотно подменяли конкретный анализ вульгарные социологи и их более поздние последователи, явно не годятся в наше время. Особенно когда при этом мы встречаемся с устаревшей, несвоевременной трактовкой некоторых важных теоретических проблем.

В. Друзин пишет в статье, о которой идет речь: «Структура образного мышления зависит от мировоззрения поэта. При одном мировоззрении поэт отличается сумбурностью мышления, тягой к парадоксальной мозаичности метафор, оторванностью от

конкретных жизненных представлений. При другом мировоззрении все выглядит иначе — и внутренний мир поэта, и структура образного мышления.

Исходя из этого различия мировоззрений, нужно решать вопрос новаторства в его соотношении с наследованием традиций».

Скажем прямо: простовато для теоретического обобщения. Заметим также, что В. Друзин упорно отстаивает тезис о «незыблемом следовании традициям». Правда, он тут же совершает подмену тезиса, уже говоря о необходимости «опираться на лучшие традиции», но весь пафос его высказываний говорит о застывшем, статическом понимании традиций.

Известно, что В. И. Ленин видел в традициях «исходный пункт» для развития «действительно нового, великого коммунистического искусства, которое создаст форму соответственно своему содержанию»⁷. Развивая марксистско-ленинское учение о традициях и новаторстве, современная эстетическая наука учитывает диалектику их взаимоотношений, которая нашла отражение в важнейшем партийном документе — Программе КПСС: «В искусстве социалистического реализма, основанном на принципах народности и партийности, смелое новаторство в художественном изображении жизни сочетается с использованием и развитием всех прогрессивных традиций мировой культуры».

Этот широкий марксистский взгляд на развитие искусства убедительнее всего опровергает тезис о «незыблемом» следовании традициям.

Современная критика утверждает свой авторитет многими серьезными, теоретически оснащенными работами. При всех недостатках и упущениях, свойственных критике наших дней, читатели видят в ней главное — видят своеобразный барометр, на котором отражаются все изменения в атмосфере литературной жизни. Не зря Пушкин считал, что состояние критики показывает степень образованности всей литературы.

Существенно, что в роли критиков и даже теоретиков литературы в последнее время охотно выступают прозаики, поэты и драматурги. Работы Сергея Антонова, например, обобщающие историю и эволюцию рассказа, являются серьезным вкладом в теорию этого жанра. Вышедшая в 1973 году книга Да-

⁶ А. С. Бушмин. Методологические вопросы литературоведческих исследований. Л. «Наука». 1969, стр. 116.

⁷ «Ленин о культуре и искусстве». М. «Искусство». 1956, стр. 520, 522—523.

вида Самойлова о русской рифме не может быть обойдена ни одним новым теоретическим исследованием на эту тему. Можно привести и немало других примеров успешной разработки конкретных проблем теории литературы ее практиками. А что касается эпизодического участия в критической деятельности, рецензирования новых произведений, например, то тут надо называть чуть ли не всех писателей.

Критические выступления прозаиков и поэтов, может быть, тем и хороши (помимо, конечно, встречающихся в них верных и тонких суждений о произведении), что раскрывают взгляд на литературу их автора, его эстетическую концепцию. При этом их подход к литературе, как мне кажется, гораздо более избирателен и субъективен, нежели у критиков. Критик в силу своей профессии не имеет права замыкаться в кругу собственных пристрастий. Он не может быть критиком вообще, если неспособен создать объективной картины современного ему литературного развития. Поэт или прозаик обычно откликается на появление книги близкого ему по духу, по творческим принципам писателя. Крайне редко он берется анализировать и объяснять то, что ему не близко, а если и берется, то отнюдь не всегда добивается успеха.

Читая статью Станислава Куняева «Упорствующий до предела»⁸, видишь, что он создал для себя некую идеальную схему, идеальный образ лирического поэта, и как поэт С. Куняева можно понять. В конце концов, у каждого пишущего стихи есть такой идеал. Сколько поэтов — столько же, вероятно, и идеалов. Однако «свой» идеальный образ поэта — это, конечно, не мера ГОСТа, под которую подводят всех других: подходят — не подходят. Нет ничего более обманчивого и иллюзорного для понимания творческой личности, чем созданная в собственном воображении идеальная схема.

Почти все рецензенты и критики, писавшие о Евгении Винокурове, заметили строки: «В казарме, густо побеленной, я честно красоту искал». Искреннее признание молодого тогда поэта, бывшего солдата, никто не обратил против него. Ясно было, что это не ограниченность, а опыт фронтового поколения. И вот через много лет пришел критик, который сделал вид, будто и не было у Винокурова реально армейской фронтовой службы, прерванной молодости, в результа-

те чего семнадцатилетний юноша с несложившимися взглядами на мир, на искусство оказался в казарме, а потом на фронте, где вся его жизнь была подчинена приказам и уставам.

Теперь критик делает вывод о «преувеличенно развившихся казарменных представлениях», о «дисциплинарной эстетике», якобы выражающих мировоззрение Винокурова.

Можно, конечно, рассматривать этот выпад лишь с этической точки зрения, но дальше мы увидим, что он самым непосредственным образом относится и к методологии критического анализа. Существо претензий, предъявляемых поэтом С. Куняевым поэту Винокурову, сводится к «лирической недостаточности». Эпос, изображение, сюжетность, картинность относятся к «грубым средствам».

Противопоставление лирики эпосу, лирических форм эпическим — явный методологический просчет, если не сказать больше. Но ведь это исходная позиция критика! Утвердившись на ней, С. Куняев подводит под стихи Винокурова мины едкой иронии: он же «все добывает тот же радий, вместо того чтобы излучать радиоактивные волны». Автор статьи, конечно, целит не только в Винокурова, по его мнению, этакого черно-рабочего от литературы, крота, копающего землю и не поднимающегося к высотам духа. Иронический заряд целит еще и в крепость Маяковского, в мысль о том, что «поэзия — та же добыча радия» (С. Куняев цитирует Маяковского неточно: вместо «та же» — «это», что придает иной оттенок, огрубляет стих).

Собственная эстетическая позиция С. Куняева по-особому проясняется в отношении к традициям. Критик элегически вздыхает о том, что тютчевское представление о муках самовыражения («Молчи, скрывайся и тай и чувства и мечты свои») «чуждо человеку нашего века». Он вздыхает о том, что «эта прекрасная традиция великой русской поэзии, как ни печально, видимо, принадлежит прошлому».

Для объективности все-таки стоило бы заметить, что традиции русской поэзии отнюдь не исчерпываются тютчевским стихотворением «Silentium!». Гражданская лирика Пушкина, Лермонтова, Некрасова ближе современной поэзии. Но признание разрыва с традицией «Silentium!» не возбудило в С. Куняеве желания осмыслить этот факт, понять характер нового времени,

⁸ «Наш современник», 1969, № 6.

сформировавшего иное понимание творчества, иной тип поэта. Признавая неизбежное, он как бы отвергает его закономерность. Именно по этой линии С. Куняев направляет свою иронию, едко критикуя поэта, чей творческий облик расходится с его идеалом. Между делом С. Куняев бросает: «...он поэт крайне современный» (это о Винокурове). Нетрудно догадаться, что «крайне» значит плохо. Это опять «радий», расчет, дисциплинированная служба современности. Сколько снобизма в этом ироническом отношении к иному типу поэта!

Желание и стремление понять поэта, о котором пишешь, составляет нравственную основу критического анализа, но оно также является и методологическим принципом. Биография поэта, духовные истоки его творчества, мировоззрение, законы искусства, которые он сам для себя создал, — все это не может не приниматься в расчет при разборе стихов. Разве не могло бы многое объясниться в характере и творческом поведении Винокурова, в его поэтическом облике таковое стихотворение:

Мне грозный ангел лиры не вручал,
Рукоположен не был я в пророки,
Я робок был, и из других начал
Моей подспудной музыки истоки.

В переключке с Пушкиным нет желания спорить с великим предшественником, его возвышенными строками о поэте и поэзии. Винокуров обращает внимание на свои истоки, открывает сокровенное, рассказывает о том, как «больной» лежал он «в поле на войне» и как первым поводом «к появлению слова» стало рыданье, вызванное болью. В другом стихотворении передано состояние человека, который «выжил», который преодолел «страданье, что огромным было».

Как тень стоял я, еле-еле...
Душа, где ты была дотоль?
Ее я чуял ясно в теле,
Как хлеб в мешке, как в тряпке соль.

Это к вопросу о традициях и истоках.

А теперь обратимся к собственно теоретической части статьи, где, обещая избежать «всякой расплывчатости в разговоре о том, что такое лирическое начало», С. Куняев дает ему следующее определение: «В сущности, лирика — это поиск и нахождение истока. Когда сделан последний выдох — стихотворение закончено». Нельзя сказать, что бы это был крупный вклад в теорию стиха.

Метафорический смысл формулы «вдох — выдох» мало что прибавляет к нашим представлениям о лирике из-за своей тривийности (кто только не пользовался стереотипом: стихи написаны на одном дыхании!). Но определение узаконено С. Куняевым, и его раздражает то обстоятельство, что Винокуров «не подчиняется законам дыхания», он, видите ли, «бросает вызов основному закону поэзии, гласящему, что предмет лирики — это душа самого поэта».

Каким образом все это объясняется?

А вот каким: «Винокуров хочет понять механизм страстей человеческих, своеобразие и загадки натур, первопричины чувств и в то же время остаться очевидцем, свидетелем, «человеком в себе»...»

Обратимся к рассматриваемому поэту. Каково же в его представлении соотношение прототипа и образа, поэта и лирического героя?

Для понимания эстетической концепции Винокурова представляет интерес стихотворение «Артистизм». Оно не только об искусстве перевоплощения, но и о внутренней отдаче артиста и о восприятии искусства. И самое главное — о том, что искусство по своей внутренней сути трагично.

Если фетовское: «Там человек сгорел» — основывается не только на подлинности переживаний художника, но и на полном растворении его в искусстве, то Винокуров переводит мысль о самосжигании человека искусства в иную плоскость. Он не скрывает, что «я» в лирике — образ поэта, но не сам поэт. Он не скрывает, что актер на сцене играет, перевоплощается, но не забывает себя, помнит о себе, ищет в себе черты образа, воплощаемого на сцене. Это театральность вахтанговской школы, которую он переносит в поэзию и видит ее «на немисляемой грани, где сходится правда и ложь». Значит, и поэт в самых искренних лирических стихах тоже в какой-то мере остается актером, то есть он создает условный образ, обобщенный образ, типизирует явление, переживает, дает его сжатый, эмоционально насыщенный образный эквивалент.

Было бы неверно проводить прямые аналогии между сценическим и поэтическим искусством, в частности лирикой. Актер играет на сцене роль, созданную воображением драматурга, он вживается в уже кем-то созданный образ, дает ему сценическое воплощение. Лирический поэт передает в образе собственные мысли и чувства в есте-

ственных или вымышленных обстоятельствах. Он воссоздает их языком искусства, то есть в условной форме. Так возникает понятие лирический герой. По Пришвину, это «я» сотворенное. Очень точное определение.

В этом смысле и существует некая общность между сценическим воплощением образа и его поэтическим воссозданием. Актерское «я» на сцене — это «я» сотворенное. Артист не растворяется в нем, при всем искусстве перевоплощения все-таки оставаясь артистом, исполнителем роли, а не персонажем Б. или Д. Но ведь и «я» в лирике — это тоже лишь условный знак поэта, это не сам поэт, а «я» сотворенное, типичный образ, поскольку в нем есть общее, характерное для других. На этом поэт настаивает, и с этим нельзя не согласиться, признавая искусство за условность. Ему претит вульгарное отождествление поэта и лирического героя, ибо тогда что же такое искусство и какое отношение к нему имеет лирика, если в ней поэт предстает самим собою, с непреобразованной речью, с необязательными, несущественными, нехарактерными мыслями и чувствами, то есть предстает голая натура? Почему в лирике возможно то, что невозможно ни в каком другом виде искусства?

Теперь можно яснее понять, почему данный поэт «не подчиняется» законам дыхания, установленным С. Куняевым, — у него, как, впрочем, у всякого крупного художника, свои внутренние законы, своя поэтика. С. Куняев пренебрегает одним из основных методологических принципов — судить о творчестве писателя по этим законам.

Нечто подобное случилось с критиком Еленой Ермиловой, которая в статье «Обыденная речь или поэтическое слово?»⁹ пишет о «неосуществившемся синтезе идеала и быта» в поэзии Винокурова и на этом основании отказывает ей в высокой поэтичности (эстетические симпатии здесь не обнажены, как у С. Куняева, но нетрудно уловить их сходство).

Но ведь синтез в поэзии не есть нечто сразу и навсегда обретенное, он — идеал, цель. Поэт идет к этой цели, и уже сам путь его поучителен и представляет собою поэтический прецедент. Е. Ермилова корит его за строки: «Мне нравится обыденная речь. Слова простые: хлеб, вода, поленья...» Она напоминает, что «в поэзии

нет простых слов», рассматривая «простое» как «прямое» слово и совершенно не считаясь с тем, что эпитет «простые» тоже имеет поэтический смысл. Схема и здесь подводит критика, мешает ему понять поэта изнутри.

Как бы ни была идеальна схема, она всегда, во-первых, опрокидывается живым опытом творчества, индивидуальностью художника, она, во-вторых, не может предусмотреть всех возможных «параметров» творческой личности.

Одна из сравнительно недавних писательских работ теоретического характера — статья Владимира Тендрякова «Плоть искусства»¹⁰. Автор ее попытался ответить на вопрос вопросов эстетической науки — что такое искусство? Согласитесь, что методологическая оснащенность такой статьи должна быть особенно высока. Задача исследователя нелегкая, но необычайно увлекательная, если учесть, как признает В. Тендряков, что споры об этом идут «на протяжении многих веков».

Разочаровывающее впечатление производит отказ автора «вникать в эти споры». Сразу же возникает каверзный вопрос: раз так сложна проблема, что специальному изучению ее «пришлось бы посвятить жизнь целиком», то можно ли, не делая этого, игнорируя, по сути, опыт предшественников, как говорится, с ходу решить ее?

В. Тендряков обещает разобраться в ней, «исходя лишь из собственного опыта», то есть, можно было бы предположить, творческого опыта. Это, конечно, представило бы интерес: ощущение искусства «изнутри», в сознании и опыте его творца, но не теоретика.

На самом же деле «собственный опыт», как видно из статьи, целиком относится к области теории, и в этом случае игнорирование опыта предшественников, чего и следовало ожидать, сыграло с В. Тендряковым злую шутку.

Чтобы упростить полемику (а без полемики какая же статья на столь важную тему), автор вообразил себе некоего абстрактного оппонента (он же Читатель), с языка которого вот-вот готово сорваться возражение, замечание, вопрос, но В. Тендряков ментально предугадывает его вопрос или реплику, обычно легкую для опровержения, не каверзную, и торжествующе рассеивает все его сомнения.

⁹ «Литературная газета», 1 августа 1973 года.

¹⁰ «Наш современник», 1973, № 9.

Справедливости ради надо отметить, что возникают в статье и серьезные оппоненты — Л. Толстой, Пикассо, Философский словарь... Инерция, заданная в полемике с безмянным оппонентом, помогает автору не менее свободно опровергать и тех, кого я только что назвал.

К сожалению, не избегает В. Тендряков и такого скомпрометировавшего себя методологического реликта, как безадресная критика. «Примерно в том же смысле,— пишет он,— употребляют «типичное» и в искусстве — индивидуальное, несущее в себе общие для данной группы индивидуальностей признаки, а никак не исключительные, не отклоняющиеся от общей нормы».

Кто здесь скрывается за неопределенной формой «употребляют»? Кто столь догматически трактует понятие типического? Для кого автор статьи в «Нашем современнике» развертывает свою аргументацию, придумывая эксперимент с горой (как бы «трезвый ученый и эмоциональный художник» выбрали «наглядный образец» горы?), и кого он убеждает, что «типизация в искусстве — это характерное, доведенное до исключительности»?

Еще Аристотель считал, что искусство отражает вероятное, возможное. Не содержится ли в этой посылке условие для отображения характерного, доведенного до исключительного?

Определение типического, взятое из Философского словаря, В. Тендрякову не понравилось («Мудро и невнятно!»). Но ведь есть большая литература по этому вопросу, и наряду с неполными и неточными определениями типического наукой найдены и верные, когда типизацию понимают менее односторонне, чем В. Тендряков, но с учетом того, что он выдвигает в качестве единственного признака типического. Наука рассматривает типизацию в этом плане как развертывание, доведение до конца тех возможностей, которые художник усмотрел в реальных людях и обстоятельствах (не есть ли это как раз доведение характерного до исключительного?). Но при этом не исключается художественное обобщение, о котором говорится в Философском словаре и которое игнорирует В. Тендряков. Ведь Пушкин, например, признавался, что в Пимене он собрал черты, пленившие его в старых русских летописях. А мало ли других свидетельств, когда художественные типы возникают как синтез характерного, наблюдаемого во множестве?

Иногда кажется, что автор ощущает элементарность и системы доказательств и выводов в своей статье. «К чему же мы пришли? — спрашивает он у своего молчаливого и со всем согласного собеседника после длинного рассуждения о соотношении содержания и формы и тут же отвечает: — Да к общеизвестному, к тому, что стало притчей во языцех,— соответствию содержания и формы».

Так для чего же написана статья, если в ней нет обещанного «собственного опыта», а есть лишь несколько конкретных схем-примеров для иллюстрации общих положений?

Ее, пожалуй, можно принять как популярную лекцию на тему «Что такое искусство?» в массовой аудитории, но и для просветительской деятельности предполагается более широкое знакомство с современными научными работами и взглядами по данному вопросу. Учитывая разнородность массовых аудиторий в лекционных залах, необходимо все-таки заслугу открытия некоторых общих законов искусства делить с предшественниками.

Надо сказать, что в некоторых разделах статьи В. Тендряков находит верную методологическую основу для популярной лекции. Не претендуя на научные открытия, не вступая в полемику, он популярно объясняет общие законы искусства, иллюстрируя их простыми и доходчивыми примерами и ссылаясь на авторитет предшественников.

Увы, В. Тендряков часто сбивается с верного тона, очень ему хочется опровергнуть Толстого, уязвить Философский словарь, а может быть, и удивить своею парадоксальностью. Рассуждая о современной живописи и в то же время скромно признаваясь в нежелании быть парадоксальным, он тем не менее делает «парадоксальный вывод»: конкретное искусство — абстрактно, абстрактное — конкретно.

Вероятно, этот тезис заинтересует эстетиков и искусствоведов, в настоящих заметках нет возможности всесторонне рассмотреть его. Тут важно было указать на основной методологический просчет в подходе к искусству, в выяснении его коренных особенностей, а он заключается в невнимании к теоретической разработке вопроса предшественниками.

В. Тендряков не включает в свою статью творческий опыт современников, не предпринимает — на основе своих суждений и

выводов об искусстве — попыток анализа их произведений. Что бы из этого получить, предугадать трудно.

Свои полемические заметки мне бы хотелось закончить на оптимистической ноте. Совершенно конкретная цель — обратить внимание на методологические реликты в теории и критике — не должна ослаблять в читателе ощущения тех немалых достижений, которые действительно имеет современная критика, достижений, говорящих о зрелости и научной вооруженности критики и литературоведения, о наличии своей, советской филологической школы в подготовке квалифицированных кадров.

Сотни газет и журналов, выходящих на всех языках народов СССР, отводят место рецензиям на новые книги, статьям о литературе, дискуссиям по актуальным вопросам ее развития. Критика не только активно влияет на этот процесс, но она воспитывает вкусы читателя, помогает ему выработать критерии идейно-эстетической оценки произведений литературы.

Обо всем этом много говорилось на всесоюзном совещании критиков, проходившем в Москве в январе 1974 года. В докладах А. Новиченко и Б. Сучкова, в выступлениях ораторов неоднократно подчеркивалось, что за два года, прошедшие после постановления ЦК КПСС, в литературно-художественной критике произошли заметные перемены, усилились ее теоретическая и методологи-

ческая вооруженность, активность, авторитет и влияние в общем процессе литературного развития.

Отмечалось, что критика не только заметно расширила свой всесоюзный «кругозор», но и обнаружила стремление выявить некоторые типологические черты и своеобразие в развитии литературы социалистических стран.

Интерес, который был проявлен к совещанию критиков, единодушье, с которым его участники подошли к решению основополагающих вопросов в развитии литературы, дают все основания для оптимистического вывода о возросшей общественной роли критики, влияющей на международный авторитет всего советского искусства. Именно об этом говорил на совещании Б. Сучков:

«Метод социалистического реализма рождается в художественной практике. Для его развития определяющими стали те процессы, которые идут в жизни и общественном сознании, находя выражение в художественном творчестве. Опыт нашей литературы стал основополагающим для всей эстетической системы искусства социалистического реализма. Главные проблемы, которые волнуют нашу литературу, имели и имеют не только национальное, но и международное значение».

Сознание этого факта одухотворяет деятельность нашей критики.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Соловьева, В. Шитова. Свои люди — сочтемся.— **У. Гуральник.** О Достоевском — новое. — **А. Марченко.** Под сводами мастерской.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Владимир Шубкин. Читая Робера Мерля. — **Ю. Завадский.** В Доме актера.

Литература и искусство

СВОИ ЛЮДИ — СОЧТЕМЯ

Василий Шукшин. Харантеры. Рассказы. М. «Современник». 1973. 222 стр.

Рассказы Василия Шукшина хорошо читать вслух — не с эстрады, а дома друг другу, так, как теперь, кажется, и нечасто читают. Сразу выступает самая природа рассказчика, голосовой строй его прозы; читая, ты невольно угадываешь ритм, время и место, угадываешь мизансцену, которую выбрало для себя авторское «я»... А впрочем, слова «мизансцена», «авторское «я» тут вроде бы и не годятся — просто слышишь этого рассказчика, как он объявляет, про что поведет речь: «К старухе приехал проведать, отдохнуть сын», «Веня крупно поскандалил дома с женой и тещей»... Ритм и интонация словно бы заданы кратковременностью и легкостью знакомства, которое завязывается, допустим, на вокзале в ожидании поезда, или в вагоне этого самого поезда, когда он уже побежал в свой недалекий, на часок, путь, или в бытовке где-нибудь на строительстве, или в пельменной, облубованной шоферами какой-то трассы. Слушают рассказчика люди, ему незнакомые, но, что называется, свои. Отсюда, от краткости времени и от простоты контакта, отсутствие нужды в долгом приступе к предмету: сразу быка за рога и без всяких там «где, когда» (понятно, что «здесь» и «теперь», и каждый слушатель это «здесь» и «теперь» сам отлично себе представляет).

Рассказывается случай, так, как оно и

бывает в подобных коротких мужских поделках (уж точно что мужских, где тема жены и тещи проходит вечным фоном, почти музыкально — этакая несмолкающая зудящая струна, которая, впрочем, держит весь лад жизни). Сюжеты — из числа постоянных, повторяющихся (как калека красивую полюбил, как у одного пенька жена с офицером сбежала), а герои по возможности люди, чем-то примечательные: кто-то пустит себе пулю в сердце от любви и обиды, кто-то бежит из тюрьмы. Да и персонажи рассказов потешных выбираются такие, что поступают чудачески, неожиданно, — скажем, пришедший получать свою трудовую книжку увольняющийся шофер Колька Скалкин, не успев подумать, что он хочет сделать, обливает чернилами зануду из кадров: «...плеснул — так вышло». Но все чрезвычайно-трагическое и чрезвычайное-комедийное хранит для Шукшина свое свойство быть случаем из жизни, то есть частью жизни, ее сгустком, из нее самой взявшимся. Странное, страшное и занимательное, о чем Шукшин рассказывает, ему самому занимательно, но не странно и не страшно. Он все это поразительно хорошо и просто понимает.

Здесь напрашивается еще и слово «кровно» — что Шукшин понимает свой материал кровно... Впрочем, о том, что Василий Шукшин родом из алтайской деревни и человек

бывалый, о том, как лихо он поступил во ВГИК на режиссерский, раззадорив сам себя, а заодно пленив приемную комиссию тем, что до тех пор слыхом не слыхал о существовании такой профессии — режиссер, — обо всем этом публику осведомлял чутью чаще, чем полагалось бы, журнальные интервью (Шукшин давал их чутью чаще, чем следовало. Впрочем, как не давать, если обращаются).

Расспрашивали его прежде всего как киноактера, а тем, что он еще и пишет, восхищались попутно: и играет, и ставит, и рассказы сочиняет. В контексте настоячивых упоминаний о шукшинских деревенских корнях в сознании читателя этих интервью возникал какой-то современный вариант мастера на все руки, который тебе и печку сложит, и гармонь починит, и на той гармонии сыграет.

Можно удивиться, до чего у нас любят поражать воображение публики вестями о чьем-то «простом происхождении», как будто все кругом родились от графов и тайных советников. Но если говорить серьезно, то в природе одаренности Шукшина и вправду многое близко одаренности, так сказать, житейской, готовой раствориться в быту, в человеческом общении, придавая ему соль, краску, игру.

Задним числом оглядывая данности и готовности, с которыми Шукшин десять лет назад (именно тогда вышел его первый сборник «Сельские жители») вступал в писательство, можно сказать, что данности и готовности эти были пестры, имели в себе для начинающего соблазна — из них же ни одного Шукшин не избежал. Об этих соблазнах можно сегодня говорить тем откровеннее, что в своей зрелой и набравшей вес прозе Шукшин изживал их и, кажется, изжил.

Был соблазн остаться при достаточно обаятельной актерской, этюдной природе ранних рассказов. В них была и прелесть на лету схваченного сходства точь-в-точь и радость игры, но был и слишком дающий себя знать прикладной, приблизительный характер сюжета (так на уроках актерского мастерства предлагают обстоятельства: «В студенческое общежитие к сыну приехал отец. Вы — сын, вы — отец, давайте действуйте», «Вы — хозяин дома, пенсионер, а вы — квартирант-восьмиклассник. Один мается с похмелья, другой учит уроки — давайте выдумывайте дальше, действуйте!»). А еще давала тут себя знать какая-то обес-

кураживающе улыбочивая, чистосердечная уверенность, что не боги горшки обжигают и что не такое уж хитрое дело — сочинять.

Был соблазн, рождаемый естественным даром переимчивости. Что-то от самочувствия человека, которому весело браться за любое дело в сознании, что оно выйдет у него не хуже, чем у прочих. Когда читаешь роман «Любовины», кажется: Шукшин писал эту вещь по образцу всем знакомого «сибирского романа», сибирского романа вообще, где все кряжистые и звероватые и все кругом закуржавело. Не так ли тот самый веселый умелец, мастер на все руки, может на пари или всерьез полгода убить на то, чтобы сделать шкаф — не отличить от десятка тех, полированных, которые завезли в областной мебельный.

Был, наконец, соблазн превратить в ходкую тему свое положение человека, променявшего «цветущие степи» «на светские цепи и блеск утомительный бала», и нести перед собой, как иные, комплекс вины преуспевающего сына перед сирым отчим кровом. Так, в рассказе «И разыгрались же кони в поле» герой напоказ стыдился выбранной им «славной, нарядной судьбы артиста» и вздыхал: «Охота стала домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра... Притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься». Той же популярной теме угрызений сыновней совести Шукшин отдал дань в «Двух письмах», в «Змеином яде». Но и в этих рассказах юмор и чувство реального осаживают сюжет, не дают ему вконец набухнуть патетической слезой. К тому же у Шукшина есть органический нравственный такт, и он не мог не чувствовать: не его это дело, да и не дело вообще заниматься темой «корней», темой прощаний и встреч с отчим домом на уровне противопоставления замшевой куртки стеганому ватнику или сигареты с фильтром — махорочке из киста деда Фоки...

Минька из рассказа «И разыгрались же кони в поле» очевидно автобиографичен. Шукшинский наблюдательный юмор — в том, как Минька видит отца, видит его неумелую, в чем-то ухарскую, в чем-то трогательную щедрость в московском магазине, когда Кондрат берет подряд все заведомо дорогое, не важно, вкусное ли; шукшинская точность — в том, что Кондрат вышел в рассказе мужиком, что называется, вхожим и пробойным, способным так выдрать золотую медаль для своего любимца коня и написать кляззу на элитного красавчика, с

его, Кондрата, точки зрения зря занимающего чужое место в деннике на ВДНХ. Но в отношении Миньки к отцу «как к натуре» есть и что-то нехорошее, от чего сам Шукшин сегодня свободен. Наблюдательность Миньки слишком практична; он ухватывает в натуре прежде всего то, что сходно со штампом и годно стать штампом. Так, взгляд Миньки фиксирует толстый, прокуренный, заскорузлый палец отца, листающего гладкие страницы иностранного журнала с картинками (рабочая рука — и глиняная заграничная дрянь: понимаешь, старик, тут весь ключ к образу!).

Наверное, не очень-то хорошо, если прозаик ли, актер ли имеет привычку глядеться в близких впрок. Да и вообще опасная это штука — прямиком, в лоб исполнять совет «изучайте жизнь, завязывайте себе на память узелки — авось пригодится». Негоже тащить что-то живое к себе в произведение живьем. Но уж вовсе дурно तो ропливо печатывать с этого живого штампа.

Шукшин неровен — в «Характерах» тоже есть рассказы, с остальными несоизмеримые: скажем, новелла «Верую!» безвкусна в своей нарочитой красочности и нарочитой же значительности. На его ошибках легко строить критические концепции, по ним определять его причастность к тому или другому литературному течению. Но вообще-то путь у Шукшина свой. У него есть дар отбора. Дар вторичного и более глубокого обдумывания им же сказанного. Речь не о том, что он дает вторые, усовершенствованные редакции текстов, хотя и об этом стоило бы поразмыслить на примере рассказов «Сураз» и «Даешь сердце!», заново прописанных им для сборника «Характеры». Речь о том, что можно бы назвать второй редакцией темы, вторым — и на этот раз истинным — толкованием жизненного предмета. Вот был рассказ «Охота жить», а через несколько лет появился рассказ «Степка» (он же стал основой для фильма «Ваш сын и брат»). Опять побег из заключения. Но бежит не «бродяга с Сахалина», не насквозь литературно-фольклорный «блатной», который в первом рассказе действовал в выстроенной для него таежной декорации, где он пел, пил, философствовал и потом убивал приютившего его праведного старика, а вот этот Степка, «ваш сын и брат». С какой-то щемлящей дуршавностью его побега за три месяца до окончания совсем небольшого срока. С суетливой и щедрой домовитостью застолья, ко-

торое сейчас устраивается в избе точно так же, как если бы Степан вернулся из армии. С расспросами, шибко ли было тяжело, и с ответами, звучащими точно так, как если бы Степка ездил на Крайний Север по вербовке...

Казалось бы, все снижается: там — философский спор о смысле жизни, о свободе, все на высокий лад, а здесь — странность одна, случай дурацкий, анекдот какой-то, заканчивающийся приходом недоумевающего и расстроенного участкового: «Милиционер долго с любопытством смотрел на него. Сказал:

— А по лицу не скажешь, что дурак.— И продолжал сочинять протокол».

Но чудо рассказа и киноновеллы, где Степку с пронзительной легкостью сыграл Леонид Куравлев, в том, что тут-то, в нелепом анекдоте жизни, кроется подлинно высокий лад. Кроется тоскующая музыкальность звучания той самой темы «охота жить». Она растворена в весеннем воздухе, в апрельской неразберихе природы, в очевидной бессмыслице и столь же безусловном смысле побега — на волю, домой. В просьбе к участковому не говорить о побеге домашним: «Сегодня не надо — пусть погуляют». В той задумчивой улыбке, с какой Степан, идя по деревне под конвоем, узнает в сумраке знакомые избы, ворота, прясла...

Рассказ «Степка» входил в два сборника — «Там, вдали» и «Земляки», хотя вообще-то Шукшин не любит перетаскивать свои вещи из книги в книгу. По-видимому, он нужен для общего строя одного и другого сборника и нужен также для уяснения авторского хода от книги к книге.

Особенность работы Шукшина в том, что этот художник, которому заведомо не дается крупная форма (это видно не только по «Любавиным», но и по кинороману о Разине), — этот художник в то же время умеет изящно настроить особое «магнитное поле» того или иного сборника. Под током общей темы маленькие рассказы группируются и словно бы движутся один относительно другого, подсвечивая, подыгрывая друг другу. И сами книги — небольшие томики, от раза к разу становящиеся тоньше, — тоже как-то подыгрывают одна другой, подхватывают, поворачивают, меняют контекст однажды возникших забот писателя.

Движение можно уловить даже и по главам трех последних сборников: «Там, вдали» — «Земляки» — «Характеры». Нараста-

ет приближение. Меняется оптика рассматривания. Объектив наводится на резкость.

В «Характерах» есть рассказ «Петя». Среди остальных его выделяет начало: гостиница в провинции, «воскресенье. Делать нечего, я сижу спиной к дверям и наблюдаю за Петей...». И дальше идут прямые записи того, что человек, присевший у окна, видит во дворе напротив. Идет новелла наблюдений, новелла записной книжки.

Равно взято из жизни и то, как там, во дворе, напоказ перед соседями воркует над молодым жирненьким мужем какая-то немолодая Лялька, и то, как, примостясь у окна, вглядывается в эту пару и старается понять что к чему досужий человек. Читая эту новеллу, вдруг для себя открываешь, что ведь неправильно ты до сих пор думал, скажем, о той старухе, которая у себя в окне на третьем этаже нашего клееного дома-башни силится из-под руки разглядеть, что происходит во дворе; напрасно злиться на нее — опять выставилась, сплетни собирает. Уж так ли непременно сплетни? А может быть, ее любопытство сродни и чему-то иному? Вот, к примеру, в воспоминаниях сестры Станиславского Зинаиды Сергеевны чудесно рассказано, как она с братьями могла часами сидеть у окна их дома возле Красных ворот и стараться понять уличные сцены. Не из таких ли часов, проведенных у окна, как в какой-то театральной ложе, возникло у Станиславского навеки дарованное ему ощущение сценизма жизни, эстетической цены ее прямых подробностей, ее характеристического богатства?..

Есть такое ощущение «сценизма жизни» и у Шукшина. Но сама эта мизансцена «смотрю — пишу» для Шукшина редка. Меньше всего новеллы «Характеров» — новеллы с натуры. У автора совсем иной ход.

Натуру-то он знает прекрасно. За любым рассказом угадывается прорва виденного и слышанного. В той среде, о которой пишет Шукшин, люди вообще много видят других людей, охотно с ними сходятся: сквозь жизнь каждого, оставаясь в ней, проходят множества. И за прозой Шукшина стоит то же богатство встреч, то же ощущение людей своими.

Однако нажитым, богатым знанием людей Шукшин распоряжается вольно и парадоксально. Парадоксально, как всю эту пестроту он подчиняет достаточно жесткому вроде бы и сухому заданию изучения типов — русских типов, какими они складывались десятилетиями и какими они живут сего-

дня. Творческая работа представляется идущей примерно так: из пестроты реальностей уясняются типы; потом в голове возникает персонаж; сочиняется и рассказывается, разыгрывается анекдот. Такой способ сочинения равно сродни и устному творчеству, и тому, как актеры в своем кругу любят показывать — сценку ли из жизни или кого-то, всем знакомого. Цена таких показов, когда они талантливы, не в передразнивании, а в постижении человека через анекдот о нем. Анекдот тут понимается как выжимка, как комическое действенное объяснение сути типа или личности.

Подобную методику обращения с материалом можно найти нерасчетливой: как, в итоге всего лишь анекдот? Но анекдот с подобным жизненным и художественным обеспечением обретает то, что можно бы назвать силой обратного развертывания.

О прозе «Характеров» никак не скажешь, что свойство ее — сжатость, концентрированность. Напротив, она выглядит написанной легко, в одно касание... Но емкость шукшинского рассказа, кажется, может как угодно расширяться, наполняясь воздухом знакомой всем нам жизни.

По-видимому, таково общее свойство русского анекдота, который в своем классическом варианте всегда есть анекдот проявления характеров. Не забавность положения, не словесная острота, а именно зерна характеров, чудных, но равно и постоянных — вот русский анекдот, каким его выработала устная культура народа и восприняло русское искусство.

И еще. Анекдот есть ежедневно действующая форма национальной самокритики, комедийного кратчайшего самоанализа. Само собой, лестного тут о себе не говорят, но смеются, себя не обижая. Возвышаются над собой, смеясь.

Итак, зачины житейского рассказа: «К старухе Агафье Журавлевой приехал проведать, отдохнуть сын» — это рассказ «Срезал». «Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет» — это рассказ «Ноль-ноль целых». «К Андрею Кочуганову приехали гости: женаина сестра с мужем» — это рассказ «Своак Сергей Сергеевич». «Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким каким-то прозвищем — „Дебил“», «Сашку Ермолаева обидели» — это первые строки рассказов «Дебил» и «Обида». Как и положено в рассказе такого рода — без подробностей времени и места, без описаний, кто как выглядел,—

сразу к сути дела. Живо, коротко развертывающееся действие, его взрыв и концовка.

Но от простой наблюдательности того рассказчика «из бытовки», позу и ритм которого вроде бы перенял Шукшин, шукшинская наблюдательность рознится сильно; она, как стали теперь говорить, «порядком выше». Или даже «двумя порядками выше».

Если бы у рассказа «Обида» был, как в театре, реквизитор, текст подсказал бы ему очень мало предметов: пустые бутылки из-под молока, которые в субботу утром собирает Сашка, идя в магазин, да еще тот хороший молоток, который лежит у Сашки в прихожей, и пачка сигарет, из которой Сашка в конце вытаскивает одну дрожжащими пальцами. Всё. Декоратору тоже всего два слова: магазин и девятиэтажная башня напротив. Костюмеру и вовсе одно: тот пожилой из очереди, с кем так бестолково и настойчиво захочет выяснить отношения Сашка,— тот пожилой в плаще. И все. А остальное вы знаете сами. Ну зачем вам подробно описывать Сашкин микрорайон и магазин, за сплошными стеклами которого вы каждый день видите, как люди берут свиное рагу, вермут и «Памир», хорошую капусту (на балконах отлично встали те деревенские кадушки, о которых препирались при переезде — куда их в новую-то квартиру), откуда все несут вдруг то трехлитровые банки с нарядно красненькими помидорами, то большие ломкие гроздья зеленых бананов. Да и самого Сашку надо ли описывать — вы по голосу узнали его, молодого, едва ли лет под тридцать; ничего не стоит дорисовать его квартиру, которую он получил, сразу после армии женившись (тогда — чудо, а теперь тесновато, двое детей), дорисовать, кем и где, в каком «почтовом ящике» он работает, как он смотрит по телевизору хоккей, как жена волнуется, нет ли у него язвы — нервничает, ест всухомятку и изо рта сигареты не выпускает...

Повторим: весь этот быт в рассказах Шукшина не пишется, но предлагается к домысливанию и доигрыванию. Доигрывание автор поручает нам. В сиюминутных персонажах он изучает современное состояние постоянно действующих лиц народной жизни. Например, в таком списке издавна имеется деревенский красобай и книгочий. «Деревенский красобай, начитанный и ехидный» — так и представлен нам Глеб Капустин, герой рассказа «Срезал». В том же списке действующих лиц — провинциаль-

ные мечтатели, упорствующие в своих трудах, которые должны перевернуть и ослепить мир, хуже пропойц разорительные для дома в тратах на сооружение вечного двигателя и на перепечатку общих тетрадок с трактатами о совершенном устройстве жизни; и вот они если не в «Характерах», то в рассказах, к этому сборнику внутренне причастных,— «Упорный» и «Штрихи к портрету. Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина». В списке действующих лиц — нервный правдолюб, почти комический защитник истины, на крик недоумевающий: люди хорошие, да что же вы это делаете, да как же так можно! У Шукшина это Сашка из «Обиды», в котором все дрожит и болеет не только потому, что его обидели, приняв за пьяного, вчера скандалившего в магазине после восьми, но и по причине, серьезной, наверное, и для нас с вами... Как он вправду прожил свою жизнь, этот человек из очереди в прорезиненном плаще, с чего он так спешит подхалимски поддакивать продавщице; с чего он, в плаще, наперед убежден, что права непременно Роза, микроначальство за прилавком, а не тот парень, который стоит рядом с ним и слов не находит, чтобы защитить свое достоинство (ведь, в конце концов, ему, Сашке, одно и надо — защитить собственное достоинство да еще все-таки понять, куда свое-то задевал тот пожилой человек, чего он перед Розой старается...)

Но в то же время «Характеры» Шукшина менее всего следует видеть как утверждение неизменности каких-то постоянных психологических генотипов. Напротив того, здесь исследуется их сегодняшняя формовка. Свой среди своих, Василий Шукшин никого не идеализирует и никого не боится.

Не идеализирует тех, кто заведомо дорог ему и хорош, как дорог ему тот старик, который готовится умирать, не страшась и не хорохорясь: умирает, как жил, стараясь никому не оказаться в тягость. Хорош и дорог Шукшину тот сосед старика, который приходит с мороза и, прежде чем перенести больного с печки на кровать, хочет маленько обогреться: «...а то застужу», — чего ж такого Егора идеализировать, просто спасибо, что он есть такой в доме рядом. И что есть Чудик, восторженно-приветливый и конфузливо-деликатный, — тоже спасибо, потому что приятно видеть человека, до которого ввек не дойдет поганая мудрость, будто неудобно только штаны через голову снимать.

Ни «Как помирал старик», ни «Чудик» в сборник «Характеры» не вошли, но войти могли бы — могли бы уж по тому одному, что в жизни такой Егор или такой Чудик живут на одной улице и с «крепким мужиком» Шурыгиным, и с тем белоглазым Синельниковым Вэ Эм, который выматывает душу увольняющемуся шоферу («Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно»).

Тут анекдот, оставаясь сам собою, храня свою игру и выдумку, оказывается еще и штудией — нравственной, социальной. Ведь Николай Сергеевич Шурыгин не сдаур и не спяну сваливает церковь, долго служившую складом, а теперь пустующую. «Постоял перед ней, подумал... Подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил, еще подумал». Разрешения добился. Хозяйственное упрямство человека, решившего, что лучшего стройматериала не найдешь? Давний запал активиста-безбожника? Желание сделать в пику всему селу? Да, все это. Но сверх того еще и блаженство ощутить себя деятелем, и вот уже Шурыгин становится начальственно некриклив, «перестал материться и не смотрел на людей». И еще сверх того — какой-то категорический императив: раз стоит — значит, надо свалить. И еще: в упорной энергии «крепкого мужика», который так сваливает церковь, чтобы лежать ей неразобранной грудой и зарастать крапивой (ни на какой кирпич для свинарника, конечно, не удастся разобрать спекшиеся глыбы), — в упорной его энергии живет что-то вроде «я памятник себе воздвиг»: детишки вырастут, рассказывать будут, кто церковь завалил.

Глухой позыв самоутверждения роднит «крепкого мужика» и с дрянью Синельниковым, чья душа тихо нежится в сознании — вот поставлю такую закорючку в трудовой книжке, что всю жизнь, кому захочу, испорчу, и с Анатолием из рассказа «Дебил», где герой, всего-навсего покупая себе шляпу или всего-навсего споря, куда ставить розетку для настольной лампы, ведет с собеседником и миром какую-то бессмысленную, глубинную тяжбу. «Дебил» — рассказ превосходнейший. Мало кому так удавалось написать это постоянное, глухо булькающее закипание серой души, тот самый «кипящий самовар», который нес в себе Епиходов — Москвин. то самое увиденное актером народным и комическим неес-

тественное епиходовское чувство собственного достоинства — подозрительное, из любого положения уязвленное и бесконечно смешное в своей претенциозности...

Тот вызов на некий турнир умов, который Епиходов — Москвин слал приехавшему из столиц Яшке, его вопрос: «Вы читали Бокля?» — вспоминается, когда в рассказе «Срезал» Глеб Капустин, обожающий свои триумфы над городскими гостями с высшим образованием, идет вызывать очередного приезжего на очередной «ученый» разговор, и мужики сопровождают его, как сопровождают местного кулачного бойца на улицу, где завелся чужой силач. Только за кичливой полупричастностью к культуре у агрессивного «простого человека» Глеба, разумеется, не Бокль, а чтение журнала «Наука и жизнь» и запасливая цепкость памяти читателя газетной рубрики «Знаете ли вы?», да еще из тех же газет взятая фраза про небывало выросший культурный уровень народа, которую он усвоил как официальное утверждение лично его, Глеба Капустина, превосходства над всеми...

Если бы по коренной своей природе Василий Шукшин не был так внетенденциозен, не был бы так сердечно и юмористически объективен, можно было бы прочесть его «Характеры» как выступление полемическое, как «свое слово» в диспуте о типологии и судьбе народного характера. Его рассказы антиидилличны, они могут походя раздражить и обидеть тех, кто верует в сохранность золотого фонда психологических генотипов в дальних бревенчатых заповедниках. Но Шукшин не полемизирует. Он просто знает, что никаких заповедников нет, что течет жизнь, которой принадлежат все.

Василий Шукшин имел основание выбрать для этой книжки, где можно прочитать про зятя, как он заколачивал злую тещу в нужнике («Мой зять украл машину дров!»), или про то, как разладилась задуманная одинокими стариком и старухой семейная жизнь («Бессовестные»), — Василий Шукшин имел основание выбрать для этой книжки название по-старинному важное, повторив титул давних томов Лабрюйера — те назывались «Характеры или нравы нынешнего века» и включали опыт портретов-формул, портретов — нравственно-исторических изучений. Вот этот растянутый диапазон от бытовки до Лабрюйера и определил богатство тем и отзвуков.

И. СОЛОВЬЕВА, В. ШИТОВА.

О ДОСТОЕВСКОМ — НОВОЕ

Неизданный Достоевский. «Литературное наследство», том восемьдесят третий. М. «Наука». 1971. 727 стр.

Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. «Литературное наследство», том восемьдесят шестой. М. «Наука». 1973. 790 стр.

Среди многочисленных изданий, осуществленных в нашей стране и за ее рубежами в связи с широко отмечавшимся осенью 1971 года столетием со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, наибольшую важность, несомненно, имеют два капитальных тома — 83 и 86 — «Литературного наследства». О репутации этого советского академического издания, о его авторитете говорить не приходится: за четыре с лишним десятилетия существования на его страницах были обнаружены многие выдающегося научного и общественного значения документы из истории отечественной и мировой литературы, немало первоклассных филологических исследований.

Достоевский, как известно, принадлежит к числу тех писателей прошлого, о творчестве которых опубликованы сотни, если не тысячи работ. Наследие его, казалось бы, изучено до мельчайших деталей. И в биографии Достоевского вроде бы уже не осталось «белых пятен». Тем большую признательность заслуживают составители и редакторы, проявившие незаурядные знания, высокое литературоведческое мастерство при работе над томами. Потребовалось обнаружить, извлечь из «небытия», собрать, прокомментировать и подготовить к печати новые материалы, освещающие жизненный и творческий путь великого писателя, по-новому объясняющие те или иные узловые проблемы его мировоззрения и художественного метода.

Напомним заодно, что «Литературное наследство» не впервые обращается к Достоевскому: ему, в частности, была посвящена обширная часть тома 15 (1934); интерес мировой научной общественности привлек том 77 (1965), содержащий публикацию черновых набросков к роману «Подросток». Все рукописи Достоевского, напечатанные в этом томе, спустя четыре года были изданы на английском языке Чикагским университетом. Однако ни одна предыдущая публикация «Литературного наследства», на наш взгляд, несравнима по весомости с нынешними.

Говорить о безупречной филологической культуре «Литературного наследства» зна-

чит ломиться в открытую дверь. Тем не менее мы беремся утверждать, что последние тома этого издания (в том числе, например, и «бунинские») свидетельствуют о достижении качественно нового уровня. Во всем этом сказывается атмосфера творческих поисков, характерная для академического советского литературоведения сегодня.

В том «Неизданный Достоевский» вошли записные книжки и тетради писателя за два десятилетия (1860—1881). Мало сказать, что они вводят нас в святая святых, или, выражаясь деловой прозой, в творческую лабораторию, романиста. Записные книжки и тетради Достоевского самоценны — в истории литературы мало найдется записей такого рода. Они содержат не только данные, наглядно и достоверно раскрывающие ход творческого процесса великого писателя, «таинство» переработки руды фактов, превращения жизненных наблюдений в чистое золото искусства.

Человек горячего темперамента, предельно искренний во всем, Достоевский доверяет записным тетрадям сокровеннейшие свои мысли, с мучительным упорством ищет слова, чтобы выразить мысли с наивозможной отчетливостью. Обращаясь к этим записям, беглым наброскам, эскизам, мы несказанно обогащаем наши представления и об идейной эволюции писателя, трагических противоречиях его мировоззрения, и об истоках этих противоречий, о направлении поиска верных решений. Записки многое проясняют в характере Достоевского как личности. Это обстоятельство должно быть особо подчеркнуто, так как имя русского гения за последнее столетие обросло тinou всевозможных легенд и мифов, иные из которых далеко не безобидны. Актуальность рецензируемого двухтомника «Литературного наследства», помимо всего прочего, в том, что новые материалы выбивают почву из-под всякого рода фальсификаций и спекуляций, охотники до которых среди буржуазных литературоведов, увы, не переводятся. Мы можем судить о Достоевском как об идеологе, художнике, личности с достаточной степенью достоверности, опираясь на такие безусловно заслуживающие дове-

рия документы, как записные книжки и тетради писателя.

В записных книжках и тетрадях Достоевского нет «пустых мест», мелочей — в них затрагиваются вопросы кардинальные: о прогрессе человечества и социализме, о судьбах родины и теориях славянофилов, о критериях художественности и специфике сатирического мироотражения. Чтобы не быть голословными, приведем для иллюстрации хотя бы две-три записи Достоевского.

На странице 186 дана следующая запись:

«Мы не считаем национальность последним словом и последнюю целью человечества.

Только общечеловечность может жить полною жизнью.

Но общечеловечность не иначе достигается как упором в свою национальность каждого народа» (разрядка Достоевского.— У. Г.).

На странице 608 после рассуждений о Чацком («Остроты Чацкого не остроты, а дерзости. Да так и должно быть: он преследует не сущность дела, а лишь лица, бранится с ними и гсворит им личности»), рядом с глубокими по мысли заметками о Гоголе, Островском мы читаем: «NB А л е к о. Разумеется, это не сатира, а трагедия. Но разве в сатире не должно быть трагизма? Напротив, в подкладке сатиры всегда должна быть трагедия. Трагедия и сатира две сестры и идут рядом, и имя им обеим, вместе взятым: п р а в д а» (разрядка Достоевского.— У. Г.).

Хорошим путеводителем по материалам тома 83 «Литературного наследства», по сложным лабиринтам писательской мысли служит исследование Л. М. Розенблюм, открывающее издание. В нем весьма основательно анализируется целый круг проблем первостепенной важности. Речь идет о месте Достоевского в идейной борьбе своего времени, о его эстетическом кредо, об истоках жанра «Дневника писателя». Здесь немало научных новаций: так, совершенно по-новому оцениваются взаимоотношения Достоевского и Страхова, равно как и ряда других лиц из ближнего ему окружения.

Том 86 хорошо «стыкуется» с «Неизданным Достоевским». В первой части тома мы находим черновой набросок к роману «Униженные и оскорбленные», фрагменты «Дневника писателя» и других художественных и публицистических произведений Достоевского, его письма, извлеченные

из архивов, неизвестные или забытые. В этом же разделе помещены заметки к «Братьям Карамазовым» и черновые наброски «Речи о Пушкине» (подготовлены к печати С. Беловым, И. Волгиным, Г. Померанцем, Г. Коган, Е. Коншиной, И. Иванько). По ним можно проследить рождение и развитие авторской мысли.

Большой разыскательский труд проделан Л. Ланским, составителем, комментатором и автором статьи к неизданной переписке современников Достоевского (1837—1881). Из писем и дневников более ста лиц Л. Ланский сумел извлечь весьма интересные сведения о писателе. Есть здесь свидетельства И. Аксакова, П. Анненкова, К. Бестужева-Рюмина, М. Веневитинова, Г. Данилевского, К. Кавелина, Н. Костомарова, К. Леонтьева, А. Майкова, Я. Полонского, К. Станюковича, А. Суворина и многих других, в том числе близких и дальних родственников Достоевского. Не все эти свидетельства равноценны. Читая иные из них (а все они субъективно окрашены), невольно вспоминаешь есенинское: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии...»

Далеко не всем современникам было дано при жизни писателя понять его подлинное величие в масштабах общенациональных и всемирно-исторических. Часто подмечалось мелкое, второстепенное, преходящее: именно оно, должно быть, бросалось в глаза, попросту было доступнее, понятнее. Тем не менее не стоит игнорировать и свидетельства подобного рода — в конечном счете и они в своей совокупности, критически осмысленные и проверенные, позволяют воссоздать духовный облик Достоевского. Отметим заодно, что работа Л. Ланского не только полезное, поучительное, но и увлекательное чтение: мы получаем возможность посмотреть на Достоевского как бы со стороны, глазами его друзей и врагов, доброжелателей и недругов, духовно близких и безнадежно чуждых ему современников.

В небольшой рецензии, естественно, невозможно даже перечислить все то ценное, что содержится в обоих томах, составляющих без малого 150 печатных листов. Назовем еще дневник жены писателя Анны Григорьевны Достоевской, расшифрованный Ц. Пошеманской (подготовка текста, вступительная статья и примечания — С. Житомирской). Дневник этот, являющийся продолжением подготовленного самой Анной

Григорьевной и изданного впервые в 1923 году дневника, сохранился в не поддававшейся прочтению стенографической записи. Перед нами действительно уникальный по своему значению биографический документ: изо дня в день подробно описывается жизнь Достоевского, его вкусы, интересы, круг чтения, привычки, литературные занятия...

По давней доброй традиции оба тома «Литературного наследства», посвященные Ф. М. Достоевскому, богато и с тонким вкусом оформлены. Десятки фотокопий с прижизненных портретов, официальных документов, рукописных страниц, первоизданий впечатляют, пожалуй, не меньше, чем пе-

чатные тексты. Воспроизведены, например, афиши и программы публичных чтений, в которых участвовал Достоевский наряду с другими известными литераторами и артистами, записи в тетради «Завещательных распоряжений», титульные листы редчайших прижизненных и посмертных изданий — отечественных и зарубежных. Расчет редакторов — И. Зильберштейна и Л. Розенблюм — на плодотворность взаимодействия печатного слова и «визуально» воспринимаемого образа и на этот раз блестяще себя оправдал.

У. ГУРАЛЬНИК,

доктор филологических наук.



ПОД СВОДАМИ МАСТЕРСКОЙ

Поэзия. Альманах. М. «Молодая гвардия». 1968—1973.

Так случилось, что мое знакомство с альманахом «Поэзия», вот уже шестой год выходящим в издательстве «Молодая гвардия», началось с последнего, десятого выпуска, а если еще точнее, то со следующей цитаты: «В стихотворных подборках и сборниках уже названных... (идет длинный список поэтов.— А. М.) кочуют все эти беспредметные (ставшие уже штампами) понятия вроде «светлая грусть», «легкая печаль», «туманная даль», «туманный день», «легкая участь»... и т. п. За этими бутафорскими декорациями нет жизни, нет личности, утверждающей или, наоборот, отрицающей что-либо, нет творчества...»

Цитата «зацепила» — и первой реакцией на нее была радость. Радость от встречи с единомышленником, ибо меня так же, как и автора приведенной выдержки, беспокоит и мода на лирические «туманы», и отсутствие ярко выраженного личностного начала в стихах многих и многих поэтов, и отвлеченность поэтической мысли — об этом мне уже приходилось писать на страницах «Нового мира». Радость, однако, сильно потускнела, когда, пробежав список «беспредметных туманных поэтов», я обнаружила, что первым назван А. Кушнер — поэт, стихи которого уж чем-чем, а беспредметностью не страдают. В роли же борца с отвлеченностью выступает Борис Примеров — поэт, эту самую отвлеченность в своих стихах как раз и культивирующий (впечатление от последнего сборника «Весенний гость» с его поэтическими туманностями, «голубыми

безднами», «несмолкаемым белым огнем», «безмолвными плечами» и «студеными созвездиями рока» было еще очень свежо).

Теперь я начала читать статью Б. Примерова «Служенье муз не терпит суеты...» внимательно. И чтение не только не сняло уже возникших, но и прибавило множество новых недоумений. Ну чем, например, объяснить мрачноватый пафос, с каким Б. Примеров утверждает, что «сегодняшняя поэзия... забыла свое истинное назначение»? Не отдельные поэты, а вся современная русская поэзия? На «морозном безлюдье» Б. Примеров выделяет лишь «вечнозеленое дерево» поэзии Н. Рубцова, стихи А. Пердерева (ибо «энергия его слова дает свет, слепящий твои глаза до слез») да «родниковую речь» Н. Благова, таинственные эпитеты которого ошеломляют Б. Примерова «едва ли не так, как «пышное природы увяданье» Пушкина». Что же касается всех остальных, то здесь «все ощутимее девальвация поэтического слова, все стандартнее дыхание... все робче... шаги».

Как же доказывает Б. Примеров такое свое утверждение? А никак не доказывает... Берет не понравившееся ему стихотворение, скажем того же Кушнера, цитирует, а затем восклицает: «Но при чем тут подлинное искусство, при чем все те уверения, какими сопровождается (имеется в виду редакционная аннотация.— А. М.) книга А. Кушнера «Приметы», в которой так грубо попирается не только «русская классическая традиция», но и критерии поэзии во-

обще?» Здесь же можно встретить и такое: Кушнер-де «из кожи вон лезет, чтобы удивить читателя своей интеллектуальностью»...

Вроде бы мягче относится Б. Примеров к И. Лыцзову, признавая, что автор сборника «Узы» — «все же поэт». Но это не делает его критические приемы более убедительными: сначала Б. Примеров цитирует несколько вырванных из контекста строк, среди которых есть действительно неудачные (Лыцзов — поэт очень неровный), затем убивает его Кольцовым, ничуть не смущаясь тем, что прозрачно-песенной ясностью Кольцова можно «притузить», была бы охота, половину есенинских шедевров. А вот о существовании поэзии Лыцзова (или Кушнера) ни слова, хотя, казалось бы, именно суть, а не только детали, должна интересовать того, кто хочет всерьез проанализировать причины «упадка» современной поэзии. Но Б. Примеров явно предпочитает анализу эмоции и ощущения: позиция Б. Слуцкого его «недобро удивляет», поэзия А. Вознесенского «вызывает разве что раздражение».

Может быть, Б. Примеров просто не умеет удержать свою мысль в логической узде? Отнюдь нет. Он бездоказательно эмоционален, из принципа, в знак протеста против обруганного им интеллектуализма. Важна эмоция, важно «ощущение». За поддержкой Б. Примеров обращается даже к классикам: «Может быть, покажется странным, но для меня в одной цепи русской поэзии стоят Пушкин, Тютчев, Есенин, Павел Васильев, потому что их слово — это в первую очередь ощущение...» Заявление странное, но отнюдь не неожиданное: в своем недоверии к «разуму» Б. Примеров более чем последователен. Возмущаясь коллегами (и в первую очередь Евг. Евтушенко), которые пишут о любви, ориентируясь на своих современников, о любви, может быть, и не великой, но земной, выражающей себя на земном и современном языке, Б. Примеров выдвигает следующее теоретическое положение: «Любовь всегда воспринималась нашим народом как тайна, как нечто прекрасное и неподвластное постороннему взору. И поэзия, естественно, отражала это целомудренное начало». За тезисом следует пример, опять-таки из классики: «Некрасов... говорил о любви: «Только знает ночь глубокая, как поладили они. Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани». Как осторожно, как бережно каждое слово, как будто поэт боится спугнуть чув-

ство грубым и неуместным откровением». Не откровенностью — откровением, хотя, казалось бы, чем оно может грозить чувству, откровение-то? Или тут просто ошибка в словоупотреблении? (Тот, кто знаком с поэзией Б. Примерова, где лирическая «неопределенность» выражения доходит порой до разлада с ладом русской речи, согласится, что для такого предположения оснований больше чем достаточно.)

Увы, все-таки в данном, конкретном случае никакой ошибки нет — есть программа, учение о слове-ощущении, один из ее пунктов, и формулирует ее Примеров совсем уж откровенно: «Истина... тайна, иначе она перестанет быть правдой, нужной человеку».

Над доморощенным этим «агностицизмом» можно было бы, наверное, просто пошутить, выскажи Б. Примеров свои соображения в, так сказать, дискуссионном порядке, в узкопрофессиональной аудитории. Но ведь все это напечатано в молодежном альманахе, восьмидесятитысячным тиражом, под рубрикой «Мастерская»! Одна эта рубрика, казалось бы, гарантирует со стороны автора и уважение к поэзии, и объективность суждений, и умение «наступить на горло» собственному раздражению. Сейчас же не можешь отделаться от вопросов: зачем это напечатано в мастерской, с какой целью? Откуда у молодого поэта этот менторский тон и уверенность, что только ему одному ведомо, в чем истинное назначение поэзии? И чем вызвана столь болезненная раздражительность?

Пытаясь разобраться во всех этих «откуда» и «почему», я прочла все выпуски альманаха «Поэзия» начиная с первого. Мысли, которые возникли в результате чтения, это мысли «по поводу», а не исчерпывающий обзор альманаха — всерьез меня заинтересовала лишь «Мастерская» и материалы, в той или иной степени тяготеющие к ней. По моему глубокому убеждению, раздел этот крайне необходим в молодежном поэтическом альманахе, тем более необходим, что в нашем литературном хозяйстве нет издания типа довоенной «Литучебы», а у толстых журналов заботы другие...

Видно, и составители первой книжки «Поэзии» хорошо понимали: без «Мастерской» альманаху трудно будет найти свое лицо. Под «Мастерскую» в первом выпуске было отведено самое обширное из журнальных помещений, и это как бы подтверждало серьезность тех обещаний, что давала

открывающая издание декларация. «Читатель,— объяснялось в «Разговоре начистогу»,— ты держишь в руках первый выпуск нового издания... Тут все новое... Книга — как человек: если его никто не знает, он должен представиться. Так вот, назначение альманаха «Поэзия» — продолжение и умножение лучших поэтических традиций, эстетическое воспитание молодежи, творческое объединение молодых и известных литераторов».

Как и следовало ожидать, мастерская понравилась читателям, что с явным удовлетворением отметила редакция в первом же обзоре читательских писем, приведя как характерное письмо М. Якубца из города Жданова: «Я очень благодарен за «Мастерскую». Буду учеником альманаха».

Мы вполне разделяем мнение М. Якубца — «Мастерская» первого номера отличалась не только солидным объемом, но и разнообразием жанрового состава, а главное, она определенно стремилась к тому, чтобы представить поэзию «в ее развитии, в многообразии ее школ и течений». Здесь и рецензия на стихи О. Сулейменова, и литературный портрет Вас. Федорова, рассказ М. Исаковского об истории создания двух его песен и анкета, ядро которой — «два мнения» о поэзии Евтушенко и Вознесенского, есть даже специальный подотдел «Литучеба», куда вошла выдержки из «Записных книжек» Д. Кедрина.

Естественно было ожидать, что в этом направлении и будет продолжаться усовершенствование «Мастерской». Однако уже во второй книжке под рубрикой «Мастерская» альманах печатает совершенно случайный материал, в третьей такого раздела нет вообще; что же касается рецензий, то они разбрелись по страницам альманаха, превратившись, по существу, в прозаические проклады, отделяющие одну поэтическую рубрику от другой. Да и качество их заметно снизилось. Это явственно чувствуешь, встречая, например, в заметке о поэзии М. Луконина фразу: «Здесь сварились в один жанровый слав и тонкая лирика, и описание исторической панорамы Заволжья, и людские судьбы». Критическая проза из почетной гостьи превратилась в золушку, на которую и ставки не делают и внимания не обращают.

В четвертом номере «Мастерская» как бы вновь ожила, однако заметно утратился ее «учительный» характер. Публикуемые материалы чем дальше, тем больше начинают

походить на обычные критические статьи, с той лишь разницей, что в них чаще, чем обычно, разговор ведется о творчестве молодых поэтов. При такой перестройке «Мастерскую» стали использовать явно не по назначению.

Так, в «поворотном» четвертом номере в разделе опубликована статья В. Чалмаева «Гражданином быть обязан» с подзаголовком «Полемические заметки». Но меня она заинтересовала не только своим полемическим «запалом»: в «Заметках» я нашла что-то вроде ключа к тем загадкам и недоумениям, какие задал своим выступлением Б. Примеров.

Тема статьи В. Чалмаева точно оговорена в заглавии. Автора интересует судьба «пришельцев из «Страны березового ситца», которые, по определению критика, и хотят, да не знают, каким образом «первоначальные, простодушные... заверения в любви к Родине» «возвысить до цельной и глубокой философии, до «алгебры» советского патриотизма». Этим-то пришельцам, этим-то молодым «пастухам-поэтам», «не знающим зачистую традиций патриотического жизнесприятия», и адресует свои заметки В. Чалмаев, им в первую очередь и напоминает, что наивысших своих достижений русская художественная мысль достигла в творениях тех художников-патриотов, у которых «русское всегда звучало как мировое»; их же со всей страстью своего авторитета убеждает, что нынче одних «голеньких» заявлений о любви к России недостаточно, и, сославшись на автора «Севастопольских рассказов», призывает вспомнить о «скрытой теплоте патриотизма», не приемлющей никакой «театральщины».

Но как только от общих положений критик переходит к конкретным стихам конкретных поэтов, от его деловитой требовательности и следа не остается. «Среди множества современных стихов о деревне,— утверждает В. Чалмаев,— часто ремесленных, какой-то пронзительной и стыдливой сыновней любовью поражает трепетное, символическое и конкретное стихотворение «От земли оттолкнется в небо...». Как будто при свете молний видит поэт — или слышит в себе — голос деревни». Затем следует такой текст:

Выйдет сказочная деревня
В невысокой короне огней,
Выйдет на берег, как царевна,
Из-за тридевяти синих морей.

Ах, царевна, ты правда царевна?
 Может, это лишь только сны?
 Может, это идут сквозь деревья
 Невозвратного мира дни?

Можно по-разному относиться к этому стихотворению Б. Примерова, но при чем же здесь «стыдливая сыновняя любовь» и «скрытая теплота патриотизма»?

Дело не только в неточности примера по существу, но и в неточности эмоциональной реакции, в той немотивированной «экзальтации», которая, не убеждая читателя, безотказно действует на поэта: он теряет ощущение правильного масштаба...

И это в «Мастерской» не единственный случай, а широко действующая система поощрения, когда, кроме соответствующих эмоциональных факторов («ошеломляет», «удивляет до слез», «поражает» и т. д.), употребляются и куда более веские аргументы — они уже знакомы нам по статье «Служене муж не терпит суеты...».

Пообещает, скажем, Б. Примеров в своих стихах «воздвигнуть замок из сирени» — В. Чалмаев немедленно вспоминает Врубеля и Кончаловского и их сирень с «ее пьянящей, роковой красотой». Напишет начинающая поэтесса несколько элегических стихотворений — и пожалуйте: Творогова «следует за А. Ахматовой с ее лаконизмом глубоких настроений». В том же стиле представлен и молодой поэт С. Хохлов: «Когда-то великий живописец Вас. Суриков признавался, что в нем «старые дрожжи поднялись» по прибытии в Москву после Петербурга, в среду, где исторической Русью пахнет... Точно так же и для С. Хохлова...» А попробуйте догадаться, о художнике какого масштаба идет речь, по такой цитате из другой статьи все того же опытного и профессионального критика: «Лирический герой уже не только частица природы или деревни, ее трудов и обычаев, но и часть истории, легенды, культуры. Его деревенские дали, земля, сама народная речь выступают в особой роли — это и реальность, и инобытие душевных тревог поэта, и фрагменты летописи...» Вы думаете, что Чалмаев имеет в виду Есенина или Твардовского? Ошибаетесь, речь идет о В. Семакине. И намерения у критика были, очевидно, благие, и Семакин — поэт достойный... Но ведь и чувство меры должно быть! Особенно тогда, когда имеешь дело с поэтами, еще только начинающими свой творческий путь. Тут безответственность оценок не только неэтична, но и опасна. Молодому поэту может быть

неведомек, что такая щедрость критика рождена не столько увлечением, сколько равнодушием: куда проще «поставить в ряд» и наградить сравнением с великим, чем искать единственно нужные и точные слова, те конкретные характеристики, которые оказались бы впору — не жали, но и не смотрелись обносками с чужого плеча...

Выступление В. Чалмаева не исключение, а скорее правило. Прочтите, например, напечатанный в четвертой книжке «Поэзии» литературный портрет Н. Поливина (автор В. Котов). Его задача — ввести в большую литературу не замеченного «скособоченной» критикой плодотворно работающего поэта. Цель благородная, и пока читаешь текст («от автора», вполне разделяешь его негодование. В самом деле, как можно замалчивать писателя, если в стихах его «за богатой, емкой образностью... встает поэзия высокого человеческого мужества», «поэзия Родины-России», сама «мощь революции», тем более что в них есть еще, как уверяет В. Котов, и «совершенно оригинальная... непринужденность, свободно льющийся поток интонаций и образов в ключе почти разговорной речи». Но разделяем только до тех пор, пока В. Котов не начинает приводить цитаты из «обаятельной поливинской поэзии», где «скрипят сверчки по струнам тишины», а женские глаза расцветают, «как черные фиалки»... О какой «оригинальной.. непринужденности» может быть разговор, если в подтверждение своей правоты В. Котов цитирует такие стихи:

Вы по-женски нежны и лукавы
 в этой майской влюбленной ночи.
 Подъезжают к вам слева и справа
 парходики-ловчачи.
 Воду в звездных огнях баламутят,
 жрут мазут...

Поэтов, расхваливаемых в «Мастерской», альманах нередко печатает в разделе «Всегда в пути». Но это только усиливает «разночтение». Разбирает, допустим, В. Чалмаев (в статье «Утренняя смена», пятая книжка) стихи Вал. Сорокина и характеризует их как, «бесспорно, яркое, во многом знаменательное явление в сей современной поэзии о рабочем классе». Однако читатель, который решит познакомиться с этим явлением по стихам Вал. Сорокина, опубликованным в альманахе, будет разочарован: среди них нет ни одного, написанного на рабочую тему, — подборка в третьем номере выдержана в классическом «пастушеском стиле» с хорошо знакомыми реалиями — от

голубых озер до золотоголовых церквей, а стихи в шестой книжке посвящены памяти Лермонтова (он же «философ светло-русый», он же «черноокий бес Лермонт»). Еще пример из той же статьи. Критик разругал поэта В. Яковченко за то, что, убоявшись «железного гостя», тот оставил своему современнику только одну возможность — уйти, не противясь ничему, «в поля, в глушь... в хаты» с надеждой, что «железная напасть» пощадит кротких овец».

В седьмом номере «Поэзии» В. Яковченко продемонстрировал самую тесную «смычку» с «несговорчивой силой «железа». Здесь и болванки «вздыхают неистово», и паровоз — железная лошадь «улыбается на солнышке фарой», и мускулы «зарываются в металл», а заводы просят, вызывая одобрение и поддержку лирического героя: «Уголь давай! Одевай кирпичом!»

Не знаю, как отнесся В. Чалмаев к такой реакции на его критику, меня же она заставила вспомнить горькие стихи Маяковского: «„Лицом к деревне“ — заданье дано, за гусли, поэты-други! Поймите ж — лицо у меня одно — оно лицо, а не флюгер...»

Но как бы ни было опасно немотивированное захваливание, оно становится еще опаснее в сочетании с бездоказательной хулой, с отсутствием у критика истинной эталонной единицы таланта.

(Конечно, это беда не одной «Поэзии». Вот свежий пример — рецензия Л. Анненского на стихи Вал. Сидорова в десятом номере «Молодой гвардии» и его статья об А. Вознесенском в десятой книжке «Дона». Манипулируя набором различных эталонов, критик уверяет читателя, что, несмотря на «стертую», «исчезающую» и даже банальную форму, «космос» Сидорова успешно противостоит «хаосу» Вознесенского, у которого, оказывается, лишь при самом заинтересованном отношении можно заметить «проблески истинной поэзии».)

По всей вероятности, и В. Чалмаев, выговаривая В. Бокову за «измельчение» патристической темы до уровня «сувенирной безделушки» и одновременно выделяя Б. Примерова за правильное решение патристической темы, пользуется разными сажениями, и пользуется сознательно. Но догадается ли об этом читатель? Во всяком случае, тот неискушенный и простодушный молодой читатель, к которому обращается «Поэзия»? Впрочем, почему только читатель... Писатели ведь тоже бывают разные — одни подо-

зрительные, другие простодушные. Б. Примеров, по-видимому, из простодушных: взял и поверил Чалмаеву, поверил — и голова закружилась: «Я у матушки (имеется в виду матушка Россия.— А. М.) на земле один, коронованный небесами сын». А уж от уверенности в бессмертии каждого своего слова («Я был бессмертен в каждом слове») недалеко и до уверенности в своем праве судить всю современную поэзию.

Что же касается несоблюдения элементарных правил полемики, задевших нас в статье из десятого номера, так ведь и тут Б. Примеров ничего не изобретает — лишь продолжает сложившуюся традицию. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть хотя бы напечатанную в шестом выпуске альманаха статью В. Шошина «Амплитуда поэтических колебаний» (о гражданственности поэзии). По жанру это нечто вроде этюдов по истории русской поэзии 50—60-х годов. Годы эти кажутся В. Шошину настолько смутными, что он вспоминает по аналогии даже шумные сборища футуристов. «Происходили своеобразные «коронации» в традициях недавнего прошлого». «Как-то вскоре после Нового года,— вспоминал Д. Петровский,— в петроградской квартире Бриков Хлебников был провозглашен королем поэтов». «Коронации» 60-х годов так же проходили в обстановке групповых манифестаций. Отнюдь не за всех молодых ратовали иные энтузиасты, выдвигая на первый план определенную группу литераторов. Как впоследствии выяснилось, именно их творчество более других не было свободно от просчетов и ошибок. Произведения, созданные теми, кого критика зачисляла в представители молодого поколения литераторов, не охватывали всего многообразия современной молодой литературы».

И так далее — экивоки, намеки на «скобочечное внимание», на «однбокые представления»... Тут и ветерану этих баталий порой не догадаться, что же имел в виду критик, а каково ученикам альманаха? Имя каким способом прочитать странную эту тайнопись? Разгадать не разгадают, а вот впечатление сложится вполне определенное: жили-были в самом недалеком прошлом какие-то темные личности — гонители истинных дарований, вершили суд неправедный, устраивали манифестации и коронации, проповедовали формализм, увлекались декадансом, утверждали скучную бытовщиной, отрицали духовную собранность и не признавали гражданской ответственности в поэзии. Словом,

анархия и тьма, а во тьме ни лиц не узнать, ни имен не угадать...

Впрочем, когда В. Шошин «переходит на личности», его полемические наскоки не становятся более убедительными. Так, ему не по душе направление, в каком развивается творчество В. Сосноры в целом и цикл «За Изюмским бугром» в частности. Цикл, «не соответствующий эпохе и снижающий эпический и легендарный материал русской истории». Слово не надеясь, что читатель поверит ему на слово, В. Шошин напоминает, что в том же духе о стихах Сосноры писали и В. Портнов в 1963 году и С. Ботвинник в 1966-м... И лишь об одном умалчивает — о том, что к изданной в 1969 году книге Сосноры «Всадники», куда вошел и цикл «За Изюмским бугром», предисловие написал академик Д. Лихачев. А в предисловии об этих «несоответствующих стихах» сказано: «До сих пор в нашем... отношении к Киевской Руси... господствовали штампы и трафареты, созданные в свое время А. К. Толстым. Эти штампы и трафареты не только идеализировали государственные «свободы» Киевской Руси с позиций дворянского либерализма... но и сочетались с различными мелкими красотами: вычурной речью древних русичей, их нарядно-оперной одеждой, степенностью и благоприличием быта. В своем поэтическом представлении о Киевской Руси Виктор Соснора разрушает эти красоты... Он стремится увидеть Русь в живой плоти — страдаю-

щей или по-простому радующейся, борющейся, материально-конкретной, часто грубой, чувственной, но неизменно жизнелюбивой».

Никто не может, конечно, принудить В. Шошина соглашаться с Д. Лихачевым, но в таком случае надо спорить, приводить аргументы, искать мотивировки, а не обходить невежливым умолчанием столь авторитетное свидетельство.

Словом, и предшественников и наставников у Б. Примерова было достаточно. И все-таки я далека от мысли представить его простодушным «пастухом-поэтом», заблудившимся по вине безграмотной критики в каменных джунглях города. Уж слишком Б. Примеров активен и напорист для заблудившегося.

Случай со статьей Б. Примерова помогает обнажить некие типичные недостатки нашей работы с молодыми поэтами и составляет, в частности, остро почувствовать отсутствие журнала, оборудованного под мастерскую, где мастер обязан учить, а ученик — учиться и где все (и мастера, и подмастерья, и ученики) понимают, что воспитание поэта, как и всякое воспитание, требует спокойной, деловой, рабочей обстановки.

Экспериментальной базой такого издания вполне могла бы стать «Мастерская» альманаха «Поэзия». Могла, но не стала...

А. МАРЧЕНКО.



Политика и наука

ЧИТАЯ РОБЕРА МЕРЛЯ

(Рецензия с социологическими реминисценциями)

Робер Мерль. За стеклом. Роман. Перевод с французского Л. Зониной. М. «Прогресс». 1972. 366 стр.

Мятеж не может кончиться удачей,
В противном случае его зовут иначе

Из книги эпиграмм С. Маршака.

Удивительный секрет настоящего художественного произведения — напоминать читателю, что он существо, живущее между Землей и Небом, отрывать его от повседневности, вводить его в иной мир, где герои книг окружают его и он сам становится одним из них. «Гений писателя сто-кратно приумножил мой жизненный опыт,— писал в своей последней статье недавно скончавшийся писатель А. И. Смирнов-Чер-

кезов.— Я был графом и безлошадным крестьянином, был влюбленной девушкой и старой бабушкой, был бродягой, картежным игроком, сумасшедшим, убийцей, был даже лошадью и собакой. Много раз рождался и умирал, жил в Древней Элладе и в гитлеровской Германии, побывал в аду и в раю, сражался с Наполеоном и ветряными мельницами. Я испытал все искушения и страсти, поднимался на вершину челове-

ского духа и низко падал. Каждый день я живу своей и чьей-то еще жизнью и низко кланяюсь писателю, когда эта чужая жизнь становится моей».

Не важно, какой жанр — роман, очерк, рассказ, — но едва почувствует читатель, что ему подан нужный магический знак, и он поддается и пойдет за автором, если тот не сфальшивит, до конца. А если у читателя есть еще что-то близкое за душой — ассоциации, мечты, воспоминания, — то его пребывание в этом художественно реконструированном мире становится таким же острым и захватывающим, как сама жизнь.

В кратком предисловии к своему роману «За стеклом» профессор гуманитарного факультета Парижского университета, размещенного в Нантере, городе-спутнике французской столицы, Робер Мерль довольно сухо рассказал о замысле романа, о том, как студенты, исповедуясь своему профессору, помогли ему войти в свои проблемы, и, наконец, о том, что в качестве объекта повествования автор избрал один день — 22 марта 1968 года, будничным днем для 12 тысяч студентов Нантера, который ознаменовался для 140 из них оккупацией административной башни и зала ученого совета. То, что этот день обретет неожиданное значение в свете дальнейших коллизий, не знают герои романа. Но мы, читатели, берем в руки эту книгу и сразу вспоминаем цепочку последовавших за этим днем драматических событий мая — июня 1968 года: студенческое движение против полицейского произвола, за демократическую реформу высшей школы и одно из них, претендовавшее на то, что оно полнее других воплощает «дух революции», — Движение 22 марта, баррикады в Латинском квартале, забастовку 10 миллионов французов, захват трудящимися заводов и учреждений, отставку генерала де Голля, небывалый взрыв молодежного и студенческого движения во всем капиталистическом мире.

Робер Мерль рассказывает о событиях этого дня подчеркнуто сдержанно. И тем не менее невольно начинаешь с нарастающим интересом глотать страницу за страницей. А на одной из них почувствуешь, что автор уже повел тебя. И вдруг сразу откуда-то из запасника памяти отчетливо возникнут не забытые, а лишь отодвинутые картины.

Париж. Начало 1968 года. Студенческий городок, где истекает двухмесячный срок

моего пребывания «для того, как говорилось в приглашении, чтобы вступить в контакт со своими коллегами и ознакомиться с социологическими центрами Франции».

Уже несколько дней я безуспешно пытаюсь «вступить в контакт» с моим давним знакомым, профессором Нантера. Наконец мы договорились о встрече.

— Что с вами? — удивился я, увидев вместо элегантного и ироничного интеллектуала просто очень уставшего человека.

— Со мной ничего. Наш аквариум (так, как известно, назывался Нантер) превратился в кипящий котел. Вчера до студентов дошел слух, что деканат готовится исключить студента-анархиста Кон-Бендита и составляются списки леваков. Студенты стали протестовать. Тут им подвернулся декан. Они его помяли: «Легавый, фашист!» А он, между прочим, участник Сопротивления! Декан возмутился и сдуру позвонил в полицию. Явились ажаны. Бог мой! Что здесь началось! Скамьи, стулья — все, что попало под руки, в щепки. Вооружились кто чем мог и на полицию. Виданное ли дело пускать полицейских на территорию университета! После такого побоища Нантер уже не университет, а склад динамита.

— А как же профессура?

— Черт с ней, с профессурой! Каждый будет выкручиваться как сумеет. Им не привыкать. Веда в другом: мы, коммунисты, не можем договориться, как быть. Встать на защиту декана? Но это значит сомкнуться с репрессивной властью. Солидаризироваться со студентами? Но это значит одобрять насилие, хулиганство всех этих маоистов, анархистов...

— И что же вы в конце концов решили?

— Пока ничего. Вся беда в этом. Уж очень сложна ситуация. Это будущие историки все разложат по полочкам. А нам? Как нам свести концы с концами, когда они действительно противоречат друг другу?

Автор романа «За стеклом» очень точно передает этот крайне сложный, парадоксальный настрой студенческого движения на одном из первых его этапов. И это как бы приподымает завесу над последующими драматическими событиями мая — июня 1968 года, которые, породив огромную художественную и социологическую литературу, продолжают по-прежнему вызывать споры и волновать воображение.

Несмотря на подчеркнуто сдержанность и социографичность изложения, отсутствие определенной точки зрения на события (это декларируется Мерлем как авторская позиция, но вряд ли должно пониматься буквально), несмотря на иронию, которую, по замечанию Робера Мерля, он ценит за целостность и богатство восприятия действительности, но в то же время опасается как жизненной философии, «За стеклом» —

это настоящий современный социальный роман. Это страстное произведение о жизни и судьбах студенчества в буржуазном обществе, об их мечте о социальном равенстве, свободе и справедливости и о реально растущей дифференциации, подавленности, отчужденности. О самоопределении, поисках смысла своего существования, контактов с иными «земными цивилизациями» и о том беспросветном одиночестве, в котором оказывается молодой человек в кафкианских коридорах Нантера. О стремлении преодолеть эти противоречия вне и внутри себя и о политических теориях и движениях, в которых они воплощаются. О том, насколько необычными выглядят они и как цепко держат их в своих тисках традиции. Об активности, непосредственности, максимализме молодежных движений и о том, как в конце концов все эти фейерверки гаснут и, казалось бы, они не добиваются ничего реального. И все же о том, что студенты покидают башню иными, чем они вошли в нее, не потому, что чего-то добились в борьбе с «реактами», а потому что переступили некий символический порог внутри себя, на мгновение преодолели свое одиночество и ощутили себя в своем мятеже и разрушении свободно, коллективно творящими людьми.

* * *

К нам в Академгородок приехал на стажировку по проблемам выбора профессии молодой французский социолог. Он на редкость соответствует нашему национальному стереотипу о французе: высокий, гибкий, улыбчивый, с тонким интеллигентным лицом, в руках гитара и кудри черные до плеч. Стажер успешно прошел испытания лыжами, спиртом, пельменями, шутками и розыгрышами и, как он выразался, вошел в субкультуру Академгородка.

Как-то за обедом мы в очередной раз обсуждали вечную тему «а у вас, а у нас». Речь зашла о спорте, и получалось вроде, что наши студенты любят спорт больше, чем французы.

— А ты сам-то, Даниель, любишь спорт?

— Нет, не люблю.

— Как не любишь? — шутливо возмущился один из нас. — Ты же говорил, что каждую неделю играешь в регби.

— Правильно, каждую неделю играю.

— Вот видишь...

— Да, играю, но не люблю. Просто терпеть не могу.

— Зачем же играешь? Для здоровья?

— Нет, нет. Я здоров. Совсем не для того. Понимаешь, — вдруг посерьезнел Даниель, — я вышел из богатой семьи. Мой отец — крупный чиновник. И поэтому всю жизнь меня окружают богатые, состоятельные люди. Я

о них знаю все. И они мне неинтересны. Но мне интересны другие — рабочие люди. А я с ними не имею никаких контактов. И не могу иметь. Ведь не подойду же я в кафе к рабочему: «Я буржуа, а ты рабочий. Давай дружить». Он меня пошлет, как вы говорите, подалеже. Вот я и стал играть в регби в рабочей команде. Уже три года.

Он сказал об этом без позы, как о само собой разумеющемся, но никто не отважился пошутить.

Из окна Нантера Давид Шульц — один из главных героев романа «За стеклом» — рассеянно следил за рабочими, настилавшими гудрон на террасе. «Терраса была ниже окна примерно на метр, рабочих отделяло от него только стекло, но здесь, на этаже, было тепло и чисто. Мир, где никто не потеет, ворочая тяжести, если не считать уборщиц — алжирок и испанок, которые приходят после семи вечера. Днем здесь ворочают только материями невесомыми — идеями, а через идеи — людьми: основная функция господствующего класса, благоговейно передаваемая студентам профами. А угнетенные там, внизу, по ту сторону стекла, согнувшись пополам на пронизывающем ветру, в холоде, под дождем, напрягают мышцы, как рабочий скот, и у них столько же шансов попасть когда-нибудь в наш мир, сколько у меня — в их. Да, я знаю, я, конечно, тоже мог бы пойти на завод; Симона Вейль или «Подражание Христу». Но я все равно никогда не стал бы настоящим рабочим... Я вел бы свое псевдосуществование рабочего, как интеллигент, который знает, что в любой момент может с этим покончить именно в силу накопленного капитала идей, дипломов, технологических знаний. Впрочем, даже вот эти рабочие сейчас передо мной, всего в нескольких метрах, — я ведь рассуждаю о них, но по-настоящему их не вижу. Давид почувствовал себя виноватым и несчастным...»

Эта оторванность, отчужденность, чувство вины, страстное желание контакта с представителями рабочего класса характерны для духовной жизни многих героев романа Мерля. И вот долгожданный контакт студента с одним из представителей иного мира — рабочим-алжирцем. Он так труден, словно речь идет о контакте с инопланетянином.

«— Ты что изучаешь? — спросил Абделазиз.

— Социологию.

— Социологию? — с трудом повторил Абделазиз.

— Науку об обществе.

Живые глаза Абделазиза весело сверкнули.

— А потом? — спросил он добродушно. — Ты изучаешь общество, а изучив, переделаешь его?

— Надеюсь.

Абделализ засмеялся.

И наступает момент, когда кажется, что нельзя избежать этого гнетущего ощущения одиночества и бессмысленности существования. Где же выход? Самоубийство — решает Жаклин Кавайон. Она «сжалась в комочек, охватив колени сведенными судорогой руками, ей было худо, страшно. Она была ужасающе одинока в этой темной камере Нантера, окружена глупыми и бессердечными зубрилками, и ей предстояло умереть. Знания — нуль. Ценность личности — нуль. Будущее — нуль».

Рука не поворачивается писать об одиночестве и отчуждении во Франции. С этой страной, с ее народом в нашем обыденном представлении срослись совсем иные стереотипы. Срослись давно и прочно, и нелегко нам перейти от них к иным реалистическим образам и понятиям. Даже если ты и проведешь неделю во Франции в составе туристской группы и пробежишь, восторженный, по «американским тропам» Парижа, это не ослабит, а лишь укрепит тебя в твоих заблуждениях. Между тем «в исповедях студентов, — решительно утверждает в предисловии профессор Робер Мерль, — тема одиночества и некоммуникабельности сразу же встает передо мной как главная тема студенческой жизни в Нантере».

Отчуждение — не просто модное словечко. Это сама жизнь во всех почти ее срезах — экономическом, социальном, психологическом. Отчуждение — самый массовый товар капиталистического производства, оно воспроизводится постоянно и в возрастающих масштабах вместе с социальной структурой буржуазного общества. Последствия НТР прежде всего в социально-психологическом плане связаны с прогрессирующим параличом в отношениях между людьми и одиночеством — уделом нынче не только стариков, но и молодых. За внешней коллективностью и открытостью форм жизни человек вдруг, подобно герою одной из пьес Марселя Марсо, обнаруживает, что он в клетке. Прутья этой клетки — социальное происхождение, богатство, власть, образование, местожительство, даже язык. Все они не объединяют, а дробят человеческую общ-

ность до тех пор, пока ты не оказываешься наедине с самим собой. И вырваться из этой клетки можно лишь ценой титанических усилий. Да и стоит ли прошибать головой стену, думают многие, ради того, чтобы оказаться в соседней камере?

Таков социально-психологический фон, на котором Робер Мерль развивает сложную драму идей, где судьбы молодых в огромной степени определяются резко обострившимися в условиях НТР социальными и классовыми конфликтами, противоречиями между традициями и современностью.

У каждой страны, как и у каждого человека, свое амплуа, своя роль в историческом потоке. И ее нужно постоянно заново переосмысливать, ибо играть свою роль — это значит играть роль, которая адекватна твоему сегодняшнему, а не вчерашнему «я». Не только отдельным молодым людям, но стране в целом в связи с гигантскими изменениями в мире под влиянием бурного развития науки и техники приходится мучительно искать свою новую роль, решать проблемы «самоопределения и выбора профессии».

«Добрая старая Франция. Хорошая кухня, «Фоли-Бержер», веселый Париж, парижские моды и экспорт коньяка, шампанского и даже бордо или бургундского. С этим покончено. Франция начала, и притом в широком масштабе, промышленную революцию. Сегодня она благодаря своему сельскому хозяйству и промышленности во многих областях конкурентоспособна в плане цен и даже часто в области техники. Не всегда, но часто. В довершение всего наши промышленники, вместо того чтобы спать в своих кабинетах под прикрытием границ, теперь садятся в самолет, и их видят в Европе почти повсюду, даже в Америке». Так образно и приподнято описал на одной из пресс-конференций Жорж Помпиду новое лицо Франции — страны, которая на последнее десятилетие по темпам экономического роста (в среднем 5,8 процента в год) среди наиболее развитых стран уступает только Японии.

Но это лишь один из огромного числа образов современной многоликой Франции. В 1967—1968 годах не только французы, но и иностранцы не могли не видеть иной облик Франции, не чувствовать тревогу, напряженность, смятение.

Это шло от сознания, что стране трудно выдерживать конкуренцию с США, что ее экономика становится все более зависимой от американских монополий, что перспекти-

вы в области науки и просвещения не внушают оптимизма. «Да, на авансцене мы выглядим неплохо — и делаем смелые заявления, — говорили мне, — но будущее страны создается не там, а в экономике, науке, просвещении».

А что же происходило «за сценой»? Непрерывное повышение цен. Угрожающий рост безработицы. Лихорадочная скупка золота. «Скажите откровенно, — доверительно спрашивают меня, — вы и ваши коллеги — русские профессора сейчас закупаете золото?»

На прилавках книжных магазинов Парижа в 1967 году — бестселлер «Американский вызов» Жан Жака Сервана Шрайбера. Опираясь в основном на американские источники, он пророчесствует о грядущем Франции, о ее растущей зависимости от США. Он приводит данные американского Бюро цензов, из которых следует, что если экономический рост в начале этого века в Америке достигался в основном за счет дополнительных капиталовложений, то теперь решающими факторами экономического роста стали знания, образование. А именно в этих областях Франция серьезно и в нарастающих пропорциях отстает от США. Число студентов в 1966 году в процентах к населению от двадцати до двадцати четырех лет составляло во Франции 16, а в США — 43 процента, специалистов высшей квалификации в странах «Общего рынка» — 101 тысяча (на 180 миллионов населения), а в США — 450 тысяч (на 190 миллионов населения, то есть почти в 5 раз больше), в 3,5 раза в США больше, чем в странах «Общего рынка», дипломированных ученых.

Как отвечать на американский вызов?

Правящие круги намерены решать эти проблемы с технократических позиций. Технократический ответ: в области экономики — «Общий рынок», в области политики — предложение о будущей политической интеграции Европы, в области финансов — опора на золотой стандарт, в области науки — срочная модернизация и объединение усилий всей Европы, в области общественных наук — отказ от абстрактного теоретизирования, развитие количественных методов, широкое использование компьютеров для целей программирования и управления, в области просвещения — реформа Фуше.

Технократический ответ на проблемы, реально вставшие перед Францией в связи с развитием научно-технической революции,

предполагает такой способ решения вопросов, который максимально устраивает крупную французскую буржуазию. В подтексте этого решения — усиление власти монополистического капитала, наступление на права трудящихся и их организаций. Подобный способ решения лишь усиливал и канонизировал социальное неравенство, отчуждение, селекцию в области образования, от которых остро страдает и против которых стремится бороться студенческая молодежь за стеклянными стенами Нантера.

Можно ли разбить это стекло, преодолеть одиночество, отчуждение, неравенство в стране, народ которой первым в мире написал на своем знамени слова — Свобода, Равенство и Братство? Какую роль в этом может и должна сыграть система образования? Вокруг этих вопросов шла острейшая политическая борьба.

За столом четверо, и спор в полном разгаре.

— Равенство — это тирания, — говорит американский философ французскому коллеге, поливая соусом румяный кусок цесарки. — Люди неравны, и их можно уравнивать лишь насилем. Но и от этого они не станут равными. Поэтому вы их все время должны держать под прессом тирании.

— Вы умышленно смешиваете понятия, — возражает француз. — Речь идет не о том, чтобы ликвидировать биологические различия, а о преодолении внешних, социальных причин неравенства. Вас устраивает общество, где ваш сын от рождения имеет в несколько раз меньше шансов на получение образования, интересной работы лишь потому, что он родился не в семье буржуа? Нет? Так вот меня тоже. И я считаю, что общество, где шансы всех в этом плане равны, то есть не детерминированы богатством родителей, социальным происхождением, местожительством, дает максимальные возможности для выявления индивидуальных особенностей, специфических способностей, талантов. Если хотите, в известном смысле равенство в сфере социальной — условие и предпосылка для выявления неравенства биологического, для наиболее полного выражения своеобразия личности, для наиболее эффективного использования интеллектуального потенциала общества.

— А неравенство биологическое, разумеется, немедленно закрепит себя социально в виде определенных страт, привилегий и символов?

— Да, если общество будет на это взирать сложа руки. Вот здесь функции общества действительно будут специфичны: не позволять индивидуальным природные особенности закреплять в социальной дифференциации.

— Это невозможно! Социальная дифференциация коренится в психологии людей. Они сами создают иерархические структу-

ры, а затем воспроизводят их в реальной жизни.

— Это было сказано до вас и значительно короче: «Разум диктует свои законы природе». Я считаю для себя честью спорить не только с вами, но и с Иммануилом Кантом. Однако это, на мой взгляд, ошибочный тезис. В психологии отражаются и закрепляются существующие социальные структуры. Поэтому тенденция воспроизводить аналогичные иерархические структуры безусловно есть. Но из этого следует, что в социалистическом обществе, по мере того как преодолеваются реальные социальные различия, исчезают и иерархические структуры в психологии людей.

Они горячатся, но тем не менее успевают есть и пить. А хозяйка, которая переводит разговор, даже не притронулась к своей царке.

— Вот так всегда было и есть, — наконец говорит она. — Пока двое спорят о равенстве и свободе, третий умирает с голоду.

Борьба вокруг этих вопросов к началу 1968 года вышла далеко за пределы кулуарных споров философов. Весь арсенал современной науки используется борющимися между собой партиями и группами. Огромный резонанс имела книга одного из наиболее крупных специалистов по социологии образования, профессора Пьера Бурдье «Наследники». На большом статистическом материале Бурдье показал, что главная функция французского университета — воспроизводство властвующей элиты.

— Почему вы делаете такой акцент на роли образования в наследовании власти и привилегий? — спрашиваю я.

— Из всех решений проблемы сохранения власти и привилегий, — поясняет Бурдье, — не существует ни одного более скрытого и потому более приспособленного к обществу, которые склонны отрицать наиболее простые формы наследственного перехода власти и привилегий, чем решения, которое дает система образования. Она обеспечивает воспроизводство структуры классовых отношений и в то же время скрывает за своим нейтральным отношением то, что она выполняет эту функцию. Объективные механизмы обеспечивают правящим классам монополию на наиболее престижные учебные заведения. И опять монополия для всех скрыта под маской демократического отбора, который учитывает якобы лишь достоинства и таланты.

— Как же вы представляете себе механизм этого воспроизводства?

— Культурное богатство, которое было накоплено и передано по наследству предыдущим поколениям, реально принадлежит (хотя теоретически предлагается каждому) тем, кто владеет средствами использования его для своих целей. Поэтому восприятие и владение им доступно только тем, кто знает шифр. То есть обладание культур-

ным богатством как символическим багажом предполагает владение очень тонкими инструментами, позволяющими пользоваться им. А они находятся в монопольном владении высших социальных слоев. Они осуществляют передачу этих инструментов благодаря непрерывной деятельности той невидимой «системы образования», которая существует внутри культурных семей. Поэтому достаточно дать свободу действия законам культурного перехода, чтобы добавить новый капитал к имеющемуся уже культурному богатству, воспроизводя тем самым существующую структуру распределения культурного капитала между классами общества.

«Не говоря уж о материальных трудностях, — размышляет о сегрегации трудящихся в системе образования один из героев романа Мерля, — им всегда будет не хватать культурного багажа и богатства словарного запаса буржуазии, «вкуса» и «нюансов», тающихся в изысканном лицемерии лексикона, всей этой тонкости и лингвистической изощренности, которые, будь они прокляты, всасываются с молоком матери. Когда подумаешь обо всем этом наследии, «духовном» ли, финансовом ли, становится просто тошно».

Директор французского демографического института профессор А. Совн и профессор А. Жирар рассказывают мне о целой серии эмпирических исследований по проблемам образования, которые были начаты в 1944 году национальным обследованием, цель которого установить, как влияет социальное происхождение на интеллектуальный уровень детей школьного возраста. Эти работы убедительно опровергли многочисленные предрассудки о биологическом происхождении социальной дифференциации в системе образования и на огромном статистическом материале показали, как нарастает социальное неравенство с переходом из одного учебного класса в другой. «Несмотря на значительные успехи в области науки и техники, социальное равенство в системе образования еще далеко не обеспечено», — пишут они в работе «Социальные классы и система образования».

Вот резюме их исследования:

«Несоответствие социальной структуры студентов Парижского университета и других высших учебных заведений Франции социальной структуре активного населения объясняется не только селекцией абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения. Это несоответствие — результат всего отборочного механизма, действующего в стране на всех этапах образования, и принимает из года в год все большие размеры...

...Все свое духовное и материальное наследие родители сознательно или бессознательно передают своим детям. Культурное наследие тем более важно, что дети, получив более высокое образование, чем у их

родителей, занимают и более высокооплачиваемые должности. Будущее ученика нередко зависит от мнения учителя, которое почти всегда совпадает с желанием родителей, принадлежащих к высшим слоям общества. Вот почему это мнение отражается в социальной стратификации.

...Социальное равенство достигнуто пока только в обязательных начальных школах. Но к концу пятого года обучения в них начинается процесс дисперсии — отсеивания учащихся в зависимости от их социального положения. По существу же социальное неравенство начинается раньше, до поступления в школу, со дня рождения ребенка, с той семейной атмосферы, в которой растут дети.

...Задержка или отставание в каком-либо классе также ничем не компенсируется впоследствии».

Буржуазное общество для своего существования нуждается не просто в воспроизводстве материальных благ, но и власти. Кто завтра будет стоять у решающих рычагов управления, принимать наиболее крупные решения? Кто обеспечит незыблемость буржуазных отношений, конкурентоспособность промышленных и сельскохозяйственных корпораций? В чьих руках окажутся могущественные средства информации?

Ответ на эти важнейшие вопросы дает система образования. Развитие французской системы образования в период, предшествовавший описываемым в романе «За стеклом» событиям, носило противоречивый характер. Французские правящие круги, учитывая требования НТР, должны были идти на расширение практически всех видов образования.

Однако эти изменения не затрагивали самой структуры образования, что позволяло буржуазии осуществлять социальную сегрегацию, обеспечивать себе монополию на образование.

Селекция в условиях страны с большими традициями либерального капитализма осуществляется при помощи замаскированного, тонкого, эластичного и тем не менее весьма четко работающего механизма. Он включает в себя большое разнообразие каналов подготовки, в том числе тупиковых, формальную и неформальную иерархию, типов школ, специфические критерии оценки успеваемости, которые прежде всего схватывают социально значимые культурно-языковые нюансы, которые закладываются семьей, «судей-педагогов», которые вполне принимают эти правила игры, эту систему и ее критерии.

В итоге: помимо тех, кто отсеялся на предыдущих этапах, даже из «счастливиц» — выпускников лицея — 40 процентов терпят неудачу при экзамене на степень бакалавра, которая дает право на поступление в вуз. И это преимущественно дети трудящихся.

Найти свою подлинную роль — важная задача и для системы образования. Каждый этап в развитии общества объективно требует специфического оптимального распределения населения по уровню образования. Это объективное требование производства. Но образование не просто агент производства. Оно играет исключительно важную роль в воспроизводстве социальной структуры, наследовании культуры, в формировании личности. Поэтому борьба прогрессивных и реакционных сил Франции в области образования — это борьба за технократическую или демократическую модель образования.

— Нельзя ли пояснить, что вы конкретно имеете в виду? — спрашиваю я у своих французских коллег.

— Если ориентироваться лишь на чисто экономические показатели — темпы роста национального дохода и тому подобное, то есть рассматривать систему образования как придаток производства, то мы получим технократическую модель. В этом случае в стране будет готовиться узкая группа специалистов высшей квалификации, которая затем получает доступ к решающим рычагам власти в экономике и политике. Наряду с этим готовится некоторое количество специалистов среднего уровня. Что же касается образования широких масс трудящихся, то оно консервируется на весьма низком уровне и сводится в основном к овладению профессиональными навыками. В качестве придатка к этому трудящиеся получают эрзац-культуру — так называемую массовую культуру. Социальный аспект этой пирамиды нетрудно предугадать. В элите окажутся выходцы из буржуазии, сын же рабочего будет рабочим.

— Добавьте к этому проблему власти. Технократическая, или элитарная, модель образования очень удобна для правящего класса не только в силу экономичности ее, не только потому, что она обеспечивает воспроизводство существующей социальной структуры, но и потому, что она создает самые благоприятные условия для решения политических проблем, для удержания власти. Правящая элита, располагая средствами массовых коммуникаций, имеет в этом случае самые благоприятные условия для того, чтобы использовать культурную брешь в своих политических интересах, манипулируя сознанием трудящихся, адаптируя их к буржуазным ценностям жизни, отвлекая от революционной борьбы. Вот почему реформа Фуше — это технократическая реформа,

смысл которой — ожесточить отбор, обеспечить все условия для обучения элиты и девальвировать образование для большинства. — Наконец, не забудем о необходимости пропорционального развития всех социальных подсистем, в том числе и образования. Я подчеркиваю — всех, ибо у нас есть политики, страдающие эйфорией. Они приходят в восторг, едва заметят, что по какому-нибудь несущественному показателю в системе образования мы выглядим лучше, чем США. Прямо как в анекдоте: «Да, я в два раза меньше ростом, чем Америка, но зато значительно превосхожу ее по размеру костюма».

Большая социально-критическая работа, проделанная прогрессивными французскими социологами перед 1968 годом, оказала огромное влияние на понимание подлинной роли образования в буржуазном обществе. Это, с одной стороны, способствовало сплочению демократических сил, препятствовало проведению реакционных реформ в области образования. С другой стороны, это нередко порождало пережесты, отрицание роли образования вообще со стороны некоторых экстремистских групп и мыслителей.

Именно коммунисты в романе «За стеклом», обсуждая вопрос о том, что многие группы забрасывают учебу, правильно, тонко отмечают нюансы, связанные с ролью образования в буржуазном обществе.

«— Глупее некуда. Все равно что отказываться от жратвы только потому, что пища поступает по капиталистическим каналам.

— Ну, не совсем,— сказала Дениз.— Когда речь идет об образовании, то отравлена сама пища.

Жоме потер правую ноздрю мундштуком.

— Да, но отравлена весьма неравномерно. Когда имеешь дело с конкретными вещами, следует различать оттенки».

И, подумав, Жоме добавляет новый аргумент:

«Большинство известных революционеров блестяще учились в буржуазных университетах. Карл Маркс защитил диссертацию по философии в Берлинском университете, Ленин сдал экзамены на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, Фидель Кастро — доктор права...».

Камера, клетка, аквариум, замкнутые миры. В разных поворотах, под разными углами зрения, но все время в одной системе образов рисует Робер Мерль университет. «Студенты были там, за стеклом, под опекой и охраной, их вскармливали, подобно тепличным растениям, не естественными

продуктами, а гранулированными удобрениями, их ограждали от слишком резкого ветра, они дышали кондиционированным воздухом, оранжевым теплом, они вызревали в соответствии с планом, в предписанные сроки, и в конце их либо принимали, либо отбрасывали. Отбрасывали их в случае провала без всякой пощады, как яблоки, не достигшие стандартного размера». И если даже они еще не утратили всех иллюзий относительно своей роли, своего места под солнцем, уготованного им будущего, все равно они были переполнены комплексами, чувством одиночества, вины и смятения.

Робер Мерль не только дает эту бескомпромиссную характеристику буржуазному университету, но и детально описывает анатомию его как социального института. Вот они порознь и вместе, «в статике и в динамике», наедине со своими мыслями и на трибуне, столпы и жертвы университетской иерархии — декан Граппен и его помощники, ассистенты, студенты, служители. Но главное, что занимает автора романа, это само студенческое движение.

В предисловии к роману «За стеклом» Евгений Амбарцумов показал основные причины студенческого движения. Он справедливо отметил, что в событиях 1968 года проявился острейший социально-политический кризис развитого капитализма эпохи научно-технической революции, что эти события еще раз подтвердили правильность ориентации на революционный путь преобразований. Они опровергли домыслы консервативных и ультралевых идеологов об «обуржуазивании» рабочего класса, об утрате им революционности и в то же время с новой силой подчеркнули огромное общечеловеческое значение упорной многолетней борьбы коммунистического движения против империализма, за мир, демократию и социализм. Именно участие широких трудящихся масс придало майскому движению такой размах и обусловило такие крупные социальные последствия, которых, разумеется, нельзя было ожидать, если бы оно оставалось только студенческим.

Последнее особо следует подчеркнуть, ибо в романе Мерля не представлены основные классы французского общества, и прежде всего пролетариат. Да и набор социальных типов самой молодежи далеко не полон.

Укажем хотя бы на некоторые из них.

Это прежде всего рабочая молодежь,

которая остается за рамками романа Мерля, но играет решающую роль в молодежном движении, в том числе через своих единомышленников — студентов-коммунистов, которых с явной симпатией описывает автор.

Совсем иной социальный тип — молодые пленники потребительского общества. «Вы спрашиваете, что любит молодежь? — говорили мне.— Можем ответить точно: автомобиль и телевизор. Что читает? Ничего. О чем мечтает? Об автомобиле и телевизоре. О чем спрашивают, когда мы вернулись из СССР? О том, сколько в СССР автомашин, телевизоров и каких». Это не клевета на французскую молодежь. Это правдивое описание одного из ее социальных типов в южном приморском городке, отравленном мещанством и массовой культурой, где главный интерес местных жителей ограничен вопросами: почему купил? почему продал? за сколько сдал?

Хиппи. Период, описываемый в романе «За стеклом», это время, когда многие западные ученые связывали с ними большие надежды. «Они могли бы создать действительно новый образ жизни» — под таким заголовком сообщал в начале 1968 года журнал «Лайф» об интервью с крупнейшим английским историком Арнольдом Тойнби. «Конечно,— говорил он,— их напряженно работающие родители из среднего класса имеют право сказать: «Наш образ жизни и наши идеалы, возможно, ошибочны, но что делаете вы с вашей жизнью? Вы, возможно, справедливо проклинаете нас, но какова ваша альтернатива? Каков ваш позитивный образ жизни?» Если хиппи не смогут дать на это ответ, я не думаю, что они придут к чему-то. Вопрос: смогут ли они?» По мнению Тойнби, если они станут производительно трудиться в обществе, заниматься профессиональной деятельностью, но с новыми идеалами и новым духом, где погоня за деньгами не будет самым главным, то они смогут создать новый образ жизни, даже новую религию.

Е. Амбарцумов тонко отмечает, что «бунтари точно определили каналы, по которым современный, внешне демократический капитализм осуществляет, не прибегая к прямому насилию, свою власть над массами. Эти каналы — потребление и организация. Стимулируя в человеке потребителя вещей, культуры, идеологии, капитализм превращает принуждение, внешнее по отношению к индивиду, в ядро внутреннее, им

самим неосознанно возлагаемое на себя каждый день и час. Участвуя во всевозможных институтах и организациях буржуазной системы, индивид из свободной личности превращается в некую совокупность ролей, от которых он не в состоянии отказаться».

Антибюрократическая и антипотребительская заостренность лозунгов, символика, заимствованная из «третьего мира», подчеркнутая революционность, многослойность и противоречивость идеологии студенческого движения 1968 года во Франции довольно подробно проанализированы в ряде работ советских исследователей. Поэтому здесь хотелось бы отметить лишь те аспекты начальных этапов движения и борьбы вокруг него, которых непосредственно касается Робер Мерль.

Наиболее отчетливо эта борьба концепций показана Мерлем в дискуссии профессоров.

«По-моему,— продолжает начатый разговор Фременкур,— произошло следующее. Внезапно обнаружилось, что молодежь представляет гигантский рынок сбыта пластинок, транзисторов, электрофонов, спортивного инвентаря, товаров для туризма, и тогда радио, телевидение, печать стали отдавать ей огромное место, во Франции, да и во всей Европе, возник своего рода культ молодежи на американский манер и по тем же самым коммерческим причинам. Отсюда все и пошло. Молодежь превратили в кумир, псевдокумир, разумеется, поскольку реальная власть осталась в руках стариков. Студенты в силу того, что они хорошо владеют техникой мышления, первыми поняли, какой за всем этим кроется обман. Массовое обучение, жестокая конкуренция, ограниченность спроса, с которой они сталкиваются по окончании, а в самом университете — никакой возможности влиять на систему обучения, на программы и методы. На первый взгляд — кумир, на поверку — дети, которых держат на помочах. Я считаю, что стремление установить студенческую власть родилось из этого противоречия».

«Меня поражает одно,— развивает свою версию профессор Арнольд,— отказ студенческого движения сформулировать свои цели и создать свою организацию. Мне кажется, что такая позиция присуща сейчас не одному студенческому движению, но шире — целому идейному течению. Возьмите структурализм; это рабочая гипотеза,

которая тяготеет к исключению содержания из языка. Возьмите новый роман: это попытка изгнать из повествования персонажи и фабулу. Возьмите, наконец, студенческое движение: это стремление лишить революционный порыв организации, программы и стратегии. Во всех трех случаях вы имеете дело с фетишизацией форм путем выхолащивания сути. В основе этой тенденции — безнадежность, маскируемая терроризмом или, во всяком случае, высокомерным презрением к противнику. Структурализм, новый роман, студенческие движения: три антигуманистические попытки, свидетельствующие, возможно, о том, что человек устал быть человеком».

Прислушивавшийся к этой дискуссии ассистент Дельмон замечает про себя, что у каждого из них была своя теория событий, выработанная и выношенная в бессонные ночи, последовавшие за первыми студенческими беспорядками. И теперь, когда один излагал свою, другой, в свою очередь, думал о своей, «обмену мыслями между профами», — иронизирует он, — не хватает не мыслей, но обмена».

А тем временем реакционер — глава отделения профессор Рансе, слушая эту академическую беседу, думает про себя с яростью: «Кучка бесноватых баламутит весь факультет, срывает лекции, освистывает профессоров, оскорбляет декана, поднимает на него руку, а чем заняты тем временем коллеги? Они, видите ли, связывают «студенческое движение» с определенным «идейным течением» нашей эпохи!» В конце концов Рансе не выдерживает и на вопрос Фременкура: «Итак, какие меры вы нам предлагаете?» — беспепелляционным тоном говорит: «Они очевидны. Примо: исключить из университета кучку хулиганов, которые его пятнают. Секундо: чтобы предупредить всякую возможность беспорядков в дальнейшем, создать в студенческом городке факультета университетскую полицию».

Профессор Рансе выступает в романе как своеобразная персонификация репрессивной власти, как фигура, способная лишь подавлять молодежь, отвергать с порога любые формы протеста. Этот персонаж напоминает читателю, что «реакци» во французском университете не миф, созданный студентами, что они реально существуют и выступления против них — это не война с ветряными мельницами, а важная форма политической борьбы, в которой молодежь имеет все основания рассчитывать на поддержку широ-

ких масс трудящихся. В силу этого и само студенческое движение, при всей противоречивости позиций отдельных групп, получает в романе важную характеристику как движение, отражающее реальные противоречия буржуазного общества в эпоху НТР, как движение, которое для тысяч юношей и девушек явилось серьезной школой политического воспитания и обусловило их дальнейшую эволюцию к позициям рабочего класса и его партии.

Нет, не разумное, доброе, вечное сеет университет. Это школа ненависти и борьбы. Она идет между администрацией и студентами, между профами и ассистентами, между самими профессорами. «Солидарности бонз, мой дорогой, — просвещает Дельмона один из профессоров, — давно не существует. Будем откровенны. Высшая школа всегда напоминала банку с пауками. Это среда, где честолюбивые притязания безмерны, раны самолюбия неизлечимы, взаимная ненависть достигает степеней бреда».

Не удивительно, что этот раздираемый противоречиями французский университет породил одно из самых ярких молодежных движений современности.

Успехи СССР в строительстве коммунизма, победы вьетнамских патриотов, события на Кубе и в Латинской Америке, острая борьба между главными политическими силами внутри страны на фоне развивающейся научно-технической революции — все это обуславливало общий сдвиг влево в настроениях студенчества.

Даже далекий от активизма, занятый поисками приработка студент Менестрель не может не соглашаться с необходимостью борьбы. «Все это, впрочем, правда, — признается он самому себе, — наше общество действительно общество насилия, а наш университет — классовый университет. Нужно быть болваном, чтобы это отрицать. Но если понять это, проясняется и все остальное: 1. Студенты — привилегированная прослойка. 2. Они борются с обществом, которое дает им привилегии. 3. Они отождествляют себя с теми, кого это общество угнетает. Что ж, позиция благородная, ничего не скажешь, тут правы группачки, а я не прав, я просто гнусный индивидуалист, я поступаю как истинный христианин, думая только о собственном спасении. Они стремятся к небу, а я — к диплому... С другой стороны, не могу же я делать все разом — зарабатывать на хлеб, готовить диплом и быть активистом. И по-

том, я хочу учиться, я хочу овладеть определенными навыками, я хочу как можно больше узнать, пока что я полный невежда, я владею лишь начатками культуры, нельзя же браться за переделку мира, когда сам еще недоделан».

Эта же сложность, запутанность ситуации в стране в целом в связи с развитием НТР, усилившейся классовой борьбой, конфликтом традиций и современности обуславливало и противоречивый характер идеологии, сектантство, раздробленность самого студенческого движения.

Даниель Кон-Бендит в шутку спрашивает:

«— Уж не связан ли ты втайне с одной из пяти группок, которые подрывают основы?»

— Их пять? — сказал Дельмон. — Так много?»

— Анархи, троцкисты, прокитайцы.

— Пока всего три.

— Нет, пять, — сказал Даниель с компетентным видом. — Потому что существуют две враждующие между собой троцкистские группы и две прокитайские, готовые сожрать друг друга. Коммунистов я, разумеется, здесь не касаюсь, — продолжал Даниель с иронической улыбкой. — Это люди солидные, положительны, уважающие порядок».

Между тем именно студенты-коммунисты, как показывает Робер Мерль, глубже всех понимали не только вред сектантства, но и особенности возникновения и развития идеологии группак.

«Вообще, любая секта, — говорит коммунист Жоме, — возникает, как правило, в результате серьезных идеологических расхождений. Но как только эта секта возникла, она начинает вырабатывать свою особую фразеологию и смотреть на все со своей колокольни. И тут уж ей важнее отделить себя от соседней секты, чем эффективно бороться против империализма. Вторая фаза: по мере того как секта таким образом отрывается от действительности, ее доктрина превращается в священное писание, а каждый группак — в священнослужителя. Отсюда осуждения, отлучения, обличения. Тут мы имеем дело с такими примерно образчиками стилия: мы обладатели истины, а ты дерьмо, предатель, голлистская сука, ты ни хрена не смыслишь в Марксе, мы тебе рога обломаем, сволочь ты такая...»

По мысли Мерля, студенческая молодежь находится как бы и в объятиях традиций и вне их. «Странно, — размышляет профессор

Фременкур, — что эта война, так много значившая для нас, для них только нудная страница в учебнике истории. Ладно. Не будем возмущаться. Они могут обзывать отряды республиканской безопасности эссовцами, так как им не пришлось видеть эссовцев в деле. Они высмеивают либерализм, так как всегда жили в обществе, где демократические свободы гарантированы законом. Они разоблачают потребительское общество, так как сами никогда не голодали. Нужно помнить, что их опыт и наш лежат в разных плоскостях».

Традиции традициям рознь. И политические традиции во Франции крайне противоречивы. Здесь не только традиции Парижской коммуны, когда К. Маркс с восхищением писал о людях, штурмующих небо. Здесь и традиции беспринципного аморализма, идущие от хитроумного Фуше, продажного Мильерана.

В студенческих движениях Франции 1968 года отчетливо проявлялось стремление вырваться из опутывавшей молодежь системы буржуазных традиций и авторитетов за счет экстравагантности, в том числе и своеобразной политической игры с пересаживанием: «кто левее»? Это связано и с реанимацией, казалось бы, прочно забытых идеологий, прежде всего троцкистской и анархистской. Они воспринимаются со всеми ошибками и извращениями, во всеоружии политиканства и догматизма.

Со сдержанной иронией, как бы отрешенно рассказывает Мерль о том, как демагогия, ложь проникают в само студенческое движение. Чтобы не говорить об этом прямолинейно, в лоб, Робер Мерль вводит фигуру агента министерства внутренних дел студента Нунка.

Сначала, наблюдая за дискуссией при захвате административной башни Нантера, он поражается легкомыслию группак. Но затем, когда при подготовке резолюции они проявляют цинизм и недобросовестность дипломированных политиканов, он начинает относиться к ним как к серьезным политическим противникам. «Когда подобный макиавеллизм проявляют двадцатилетние студенты, об этом стоит задуматься, — делает вывод Нунк. — Во главе этих группок стоят «политики», ум и решительность которых не следует недооценивать».

Личная жизнь группак также не вызывает симпатий. Даже служители, привратники университета, и то не могут отказать

себе в критике группяков. «Да уж, дзыком трепать и драться—это они умеют, никто им не указ. И заметь, всегда непременно в послеобеденные часы,— сказал второй служитель, вскинув правую руку,— утром все спокойно: господа изволят почивать! Станут они устраивать революцию утром! Утро неприкосновенно, утром деточки бай-бай! Они встают в полдень, эти господа, как кокетки».

Не следует удивляться некоторой жесткости в оценках лидеров группяков в романе «За стеклом». Робер Мерль верно указывает на очень важные процессы формирования новой правящей элиты. Реальность такова: быть «правым» во французском университете просто неприлично. Но тогда, естественно, возникает вопрос: откуда же берутся все эти миллионы служащих капиталистической системы—управляющие, идеологи, журналисты, профессора, инженеры? И каково все-таки будущее лидеров студенческих групп?

Левацкое крыло в университетах крайне неустойчиво, и многие бывшие группяки быстро разочаровываются, легко меняют убеждения. Это хорошо знают и представители правящего класса, которые как на неизлечимую болезнь, как на детские забавы смотрят на участие своих сыновей в этих движениях. «„Изучай право, сынок, я куплю тебе нотариальную контору. Изучай медицину, я оборудую тебе кабинет. Изучай фармакологию, я подарю тебе лабораторию. Тебя это не интересует, ты предпочитаешь психологию? Bravo, Давид, очень умно! Человеческие отношения, искусство управлять людьми, искусство продавать идеи широкой публике”.— «Короче говоря, папа, ты хотел бы, чтобы я продавал дрянь дерьму?»—«Молодец, Давид, здорово сказано и, главное, верно. Ты умеешь всегда найти нужное слово, Давид! Весьма полезное качество для администратора — найти нужное слово! Хочешь стать членом административного совета, когда окончишь свой психо?»—«Но подумай, папа, какое будущее ты мне готовишь? Колесико потребительской буржуазной бюрократии? Сторожевой пес системы? Почему бы тогда не мечтать о полицейской карьере, почему не стать префектом?» Но мои выходы папу только смешат. Что я ни скажу, он от меня в восторге. Движение протеста, согласен, он сам рад выблевать всю эту буржуазию. «Ты ее выблевываешь, папа, но ты сам внутри нее». Он воздевает руки к небу: «Но ведь и ты тоже! Что поде-

лаешь, мой мальчик, посоветуй, как из нее выбраться, если ты внутри? Не так-то это просто». И тут он прав. Она въелась в тебя, эта буржуазия, отпустит тебя на волю, а потом хоп! — рванет, как понадобится, узду и втянет обратно. Она все втягивает в себя, даже движение протеста!»

Когда одна из ассистенток говорит профессору Фременкуру: «Как раз насилие, направленное против капиталистического общества,— единственное, чего это общество не может вобрать в себя» — он воздевает руки к небу: «Но это ложно, это архиложно, милый мой попугайчик, даже если это и изрек сам Кон-Бендит! Система вбирает в себя и насилие. Стратегия либерального капитализма в этой области отлично известна. Она состоит как раз в том, чтобы обратить насилие оппозиции в свой капитал и запугивать им средние классы, укрепляя с помощью этого страха свою власть».

В этом немаловажную роль играют лидеры экстремистов. Жажда господства, вырабатывающаяся в стенах университета, вкус к власти, сплошь и рядом будучи выражением некоторых индивидуальных задатков, пройдя искус студенческих движений, становится чертой характера. В известном смысле, участвуя в ультралевых движениях, они вырабатывают в себе страсть к власти, которая сильнее, чем преданность доктрине. А студенческий активизм оказывается неплохим полигоном для того, чтобы проверить свою технику, свои силы, отточить зубы. В итоге те, кто прежде стремился властвовать в студенческих группках, теперь удовлетворяют ту же социальную потребность через бизнес, менеджеризм, политику. Быть может, в их среде родилась поговорка: «Если человек в двадцать лет не был левым, у него нет сердца, но если он в сорок лет не стал правым — значит, у него нет ума».

Да, буржуазную систему недооценивать нельзя. Она не только способна перековывать группяков в буржуа, объединять ультралевых и ультраправых, втягивать в себя движение протеста, обращать насилие оппозиции в свой капитал, но и, усиливая эксплуатацию трудящихся, использовать для сохранения своей власти последние достижения науки, в частности достижения социологии, которые позволяют ей манипулировать людьми, фиксировать пульс нации.

— Я создал институт еще до войны,— рассказывает директор Французского инсти-

туда общественного мнения профессор Жан Стетцель, — но Шарль де Голль сначала относился к моей деятельности скептически.

— А потом?

— Перелом произошел после референдума сорок пятого года. Вы представить себе не можете, какая после войны и оккупации была у нас запутанная политическая ситуация. Предугадать реальную расстановку политических сил, их отношение к различным политическим партиям практически не мог никто. Но я решился — провел опрос общественного мнения и за две недели до референдума положил перед генералом де Голлем результаты.

— Как отнесся к этому де Голль?

— Он пошутил и посоветовал заняться чем-нибудь посерьезней. Но вскоре я получил полное удовлетворение. Он пригласил меня к себе сразу после получения официальных результатов голосования. Генерал ходил огромными шагами по кабинету, держа в руках мой прогноз, полученный до референдума на основе опроса около двух тысяч человек, и официальные результаты выборов, в которых приняли участие десятки миллионов избирателей. По первому вопросу результат опроса был девяносто три процента, а референдума — девяносто четыре процента. По второму — результат опроса шестьдесят семь процентов, а референдума — шестьдесят шесть процентов. «Это фантастика! — повторял де Голль. — Вы даже не представляете себе значение того, что вы делаете. Предвидеть с такой точностью поведение десятков миллионов. Это новое сильнейшее средство в политической борьбе». Де Голль предложил перевести институт на государственное финансирование и создать нам все условия.

— И вы?..

— Мы отказались и сохранили себя в качестве независимого от правительства коммерческого института.

— Это, видимо, не означает, что вы не выполняете заказов для правительства?

— Разумеется, нет. У нас абонированы канцелярия генерала де Голля, министерства, ведомства, не говоря уж о партиях, газетах, посольствах, фирмах, международных организациях.

Жан Стетцель демонстрирует основные работы ФИОМа. На протяжении многих лет регулярно ведутся опросы популярности различных политических партий. Благодаря этому не от выборов к выборам, а постоянно рассчитывается баланс голосов как по стране в целом, так и по отдельным регионам. Прошел, скажем, пленум ЦК ФКП по культуре. В итоге, как это видно из результатов опроса, ФКП приобрела голоса в таких-то департаментах, а в таких потеряла или сохранила старые позиции.

Вот «кардиограмма» генерала де Голля за последние десять лет на основе ежемесячных опросов. Высшая и низшая точки графика отмечают драматические моменты в его политической карьере. И тогда, когда он принимал решения, отвечавшие чаяниям народа, и тогда, когда он шел против них. А вот графики популярности Жоржа Помпи-

ду и десятков других лидеров — практически всех, кто возникал на политической арене Франции за эти годы.

Перечисляются некоторые вопросы, которые изучал ФИОМ путем проведения специальных опросов. Роль Франции на мировой арене. Французы и Европейское оборонительное сообщество. Отношение французов практически ко всем сколько-нибудь существенным событиям международной жизни. Отношение к США. Французская молодежь об армии. Ориентации молодежи: степень бакалавра или военное училище. Проблема выбора профессии. И сотни других.

— Вот приятные для вас свежие результаты, — говорит Стетцель. — Результаты опроса в декабре шестьдесят седьмого года популярности различных политических деятелей. Вопрос формулировался так: «Какое мнение у вас, хорошее или плохое, о Джонсоне — Президенте США, Косыгине — Председателе Совета Министров СССР, Вильсоне — Премьер-министре Великобритании?» Самым популярным по результатам опроса оказался А. Н. Косыгин.

Профессор Стетцель знакомит меня и с деятельностью Института по изучению французского и зарубежного рынка, который работает тоже под его эгидой. Огромное число французских и зарубежных фирм, готовясь к массовому производству и продаже тех или иных товаров — от зубной пасты до автомобиля, — прибегают к услугам института для того, чтобы получить прогноз спроса на свои товары.

— Прошу извинить меня, — завершает профессор Стетцель, — но я должен оставить вас. Приехали представители от монарха одной из ближневосточных стран для переговоров. Они просят, чтобы я с группой своих сотрудников выехал к ним для организации института общественного мнения. Видите, в современную эпоху даже монархи понимают, что совсем не вредно знать настроения своих подданных.

Монополия на средства производства, информации, тонкие механизмы наследования привилегий и манипулирования общественным сознанием «подданных», изоциренность политических лидеров — все это до поры до времени дает возможность правящим классам противостоять массовым движениям. В то же время такая система чревата опасными последствиями. Ощущение неоправданности действительности, сознание бессилия от гибкого, не поддающегося никаким существенным изменениям истеблишмента и порожденных им структур — вот где одна из причин ярости юношей и девушек, одержимых мечтой о равенстве и справедливости и нетерпением чувств.

Хотя это не объясняет, разумеется, всего в поведении учащейся молодежи, но конф-

ликт между мечтой и действительностью, ощущение неизменяемости общественных структур должны быть обязательно в поле зрения тех, кого интересуют не только листья, но и корни движений протеста, кто, говоря словами Маркса, за видимостью явлений хочет видеть скрытую от поверхностного наблюдателя сущность их.

Есть ли реальный противовес этой всепоглощающей, каучуковой системе либерального капитализма? Робер Мерль не любит категорических и прямолинейных суждений, но, по существу, он дает ответ в образах студентов-коммунистов. Они в романе не являются какими-то ходульными героями, они люди и ничто человеческое им не чуждо.

«Сейчас не очень-то весело быть студентом-коммунистом. Нас всего горстка, ряды наши не слишком растут, оскорбления сыплются со всех сторон, а эти придурки-группаки развлекают галерку своими клоунскими выходками и делают полный сбор, — говорит Жоме. — Но видимость обманчива. — Голос его вдруг окреп, наполнился мощью, как звук органа; сжав кулаки, он вытянул перед собой руки. — Что они представляют в стране, эти группки? — Он раскрыл ладони. — Пустое место, ровным счетом ничего. Можно ли сравнить! Пусть здесь нас всего горстка, но за нами большая, очень большая партия с миллионами избирателей, со своими муниципалитетами, своими газетами, своими журналами, своими писателями. Так что мы, понимаешь, Дениз, мы не можем позволить себе держаться в Нантере, как школяры, которые устраивают профам розыгрыши...»

Когда он произнес: «за нами большая, очень большая партия», в его голосе что-то дрогнуло, и в сердце Дениз отозвалась эта дрожь. Да, он прав. В партии люди разумные, ответственные, взрослые. Может, чересчур. Она одернула себя. Нет, когда не сешь ответственность за такую мощную организацию, организацию, которая выковывалась на протяжении полувека, нельзя себе позволить пойти на риск и нельзя допустить, чтобы из-за мальчишеской выходки власти получили возможность прибегнуть к репрессиям».

Не устранять профам розыгрыши, как школяры, а использовать весь арсенал средств для борьбы против империализма — так понимает Жоме роль ФКП. Ее мощь опирается на силу марксистско-ленинских идей, на самоотверженность коммунистов,

на беззаветное служение их рабочему классу, на противопоставление организациям буржуазии пролетарской организации, на широкое использование достижений современной науки.

Главная сила оппозиции — партия, за которой идут миллионы, члены которой самоотверженно годами борются за завоевание на свою сторону большинства французского народа, должна тщательно изучать процессы, происходящие в стране, для разработки наиболее эффективной стратегии и тактики.

— Мы должны постоянно представлять себе, как видят нас различные группы и классы французского общества, — говорил член ЦК ФКП профессор Мишель Симон. — Именно для этого мы провели исследование «Образ компартии во мнении французского народа».

Чтобы представить себе эту работу, надо вообразить, как сотни штрихов-вопросов очерчивают образ ФКП. Вернее, не один образ, поскольку друзья и враги видят ее совсем по-разному. Нужно найти целую серию образов: как видят ФКП избиратели, голосующие за коммунистов, за голлистов, за центристов, за социалистов. И реализовать все это на основе репрезентативного опроса по всей Франции.

Практическая сторона такой работы — получить реальное представление об отношении к компартии и ее политике со стороны основных групп населения и на этой базе уточнить свою тактику, завоевать новых сторонников, расширить свое влияние в стране.

Для компартии один из главных вопросов — вопрос о национализации средств производства. «Какие из перечисленных ниже отраслей промышленности могут быть национализированы?» — с таким вопросом обращались ученые-коммунисты к французам. Статистическая разработка ответов дает наглядное представление о том, в какой мере разные группы избирателей подготовлены к решению коренных социальных проблем. Эффективная политическая борьба требует знания проблем, на которые следует делать акцент в предвыборных документах ФКП. Защита демократических свобод или уровень жизни? Стабилизация правительства? Развитие экономики? Все они связаны между собой и тем не менее как-то ранжируются по степени важности в сознании избирателей. «Какую из перечисленных проблем вы считаете наиболее важной во время выборов?» — такой вопрос поставили перед французами коммунисты-социологи и в порядке «обратной связи» получили недвусмысленный ответ — уровень жизни.

Десятилетие, предшествовавшее этому исследованию, было очень сложным для ФКП. И она с честью отстояла свои принципы, укрепила свои ряды, расширила свое влияние благодаря творческой разработке коренных вопросов стратегии и тактики. Но

как воспринимают этот процесс разные группы избирателей? «Изменилась ли партия коммунистов за последние десять лет?» — спрашивали ученые. «Да», — ответили 56 процентов. «Нет» — 21 процент. Из ответов становится очевидным, что избиратели считают, что ФКП становится более открытой для дискуссий (61 процент против 4 процентов), более заботящейся о французах (51 процент против 5 процентов). При этом более половины считают, что в национальном плане действия компартии были полезны. Из более детальной разработки видно, что это признают даже большинство избирателей, голосующих за голлистов. Такая информация крайне важна: она свидетельствует, что многолетняя кампания буржуазной прессы по дискредитации ФКП как национальной силы закончилась полным провалом.

Известно, что французские коммунисты после окончания второй мировой войны входили в правительство. «Как вы отнеслись бы (положительно, отрицательно, безразлично), если бы в будущем правительстве были представлены коммунисты?» — этот зондажный вопрос также весьма важен хотя бы потому, что он показал — сегодня большинство избирателей, голосующих за голлистов и центристов, против этого.

Для анализа классовых сил и дифференцированного подхода к различным слоям и группам общества важно знать, чьи интересы, по мнению избирателей, выражает ФКП. Целая серия вопросов: «Какая партия уделяет наибольшее внимание защите интересов рабочих?», «Какая партия уделяет наибольшее внимание сельским проблемам?», «Какая партия уделяет наибольшее внимание мелким коммерсантам?» Результаты небезынтересны: избиратели, голосующие за голлистов, центристов, социалистов, не говоря уж об избирателях, голосующих за коммунистов, — все они не могут не признать, что наибольшее внимание защите интересов рабочих уделяет ФКП.

И десятки других вопросов, с разных сторон характеризующих деятельность коммунистов, рисующих многогранный образ ФКП.

— Политическая борьба — это и наука и искусство одновременно. Она не терпит дилетанства, — в заключение беседы говорят мне социологи-коммунисты. — Конечно, у нас самая передовая теория, но если мы не будем развивать ее, если мы не поставим на службу рабочему классу достижения современной науки, мы не решим главных задач нашего движения.

— В этом тоже, видимо, определенный водраздел между ФКП и ультралевыми?

— Безусловно. Большинство из них при внешней модерности весьма старомодны в своей любви к импровизациям, карнавалу, позе. Они быстро загораются и так же быстро потухают. В результате они находятся значительно больше в рамках буржуазной системы ценностей, чем предполагают. Вот почему о них говорят: «Любит пролетарскую идеологию и буржуазный образ жизни».

Такая авторитетная организация, как ФКП,

и в социально-психологическом плане очень много значит для ее членов. «Не будь КСС¹, — размышляет студентка-коммунистка Фаржо, — мне здесь было бы одиноко. Любопытно, что человеку, чтобы существовать, необходимо существовать для других; в малой группе. Ну, только этого не хватало! Я, кажется, занимаюсь оправданием группок! Но ведь и КСС — группка. Сколько студентов-коммунистов здесь, в Нантере? Сотня, не больше. Но разница в том, что у нас за спиной — КП. В первый раз я ощутила силу партии на празднике «Юма» в 65-м. Там толпа не была суммой одиночеств, как здесь, это был единый, братский, радостный порыв. Его пульс был ошутим. У всех одна цель, все сплочены. Нет, я этого дня никогда не забуду, люди любили друг друга, заговаривали с незнакомыми, я вступила в КСС на следующий же день».

Необходимость постоянной сдержанности, ответственности за партию нелегко дается студентам-коммунистам. Они ведь тоже совсем еще молодые люди, и им совсем не просто избежать ловушек активизма, сдерживать нетерпение. «Я заранее знаю все, что он мне скажет, думает Дениз, прислушиваясь к рассуждениям Жоме, я все это назизуть помню: «Объективных условий для восстания пока не создано». Я нахожу эту формулу восхитительной! Она кажется такой научной и компетентной, и она заранее оправдывает любую пассивность. Прежде всего, каковы они, эти пресловутые «объективные условия»? И как узнать, «создались» они или нет? Существовали они во Франции в 1789-м? В России в 1917-м? В Китае в 1934-м, во время Великого похода? В 1957-м — в Сьерре, откуда начинал Кастро? Вопрос: а если попытаться их создать, эти условия? Вместо того чтобы ждать, пока они сами каким-то чудом создадутся».

В предисловии к роману Е. Амбарцумов рассказывает о том, что «леваки» не могли простить компартии отказа снять предохранительный клапан с революционного котла. Но «пойти на восстание, — справедливо отмечает он, — когда большинство народа было против этого, означало бы изолировать авангард рабочего класса, означало бы кинуться в опасную авантюру, последствия которой могли бы быть пагубными. Так объяснил позицию своей партии Рене Андриэ, главный редактор «Юманите». Ж.-Р.

¹ Коммунистический союз студентов.

Турну, который в своей книге подробно рассказывает, насколько серьезно готовилась буржуазия применить все средства для подавления возможной революции, делает вывод: компартия могла бы взять власть, но не смогла бы удержать ее». И это как бы ответ на сомнения Дениз Фаржо.

Ничто не проходит даром. И студенческое половодье весной 1968 года не прошло бесследно. Когда останавливаются заводы и фабрики и на улицы выходят миллионы рабочих, правящий класс понимает, что шутки плохи. Буржуазия, отстреливаясь, отступает, система амортизирует. «Вы хотите учиться—пожалуйста,—как бы говорят буржуа молодежи.— Вы надеетесь, что ученье свет, но и ученье может быть могучим оружием приспособления вас к нашей системе». После 1968 года в огромной степени выросла численность студентов, прежде всего там, где было наиболее сильное молодежное движение. Студенты снова за партами и в лабораториях. Казалось бы, конфликт снят. На самом деле он просто отсрочен, загнан внутрь. Правящая элита может шире приоткрыть двери вузов. Это в ее власти. Но она неспособна увеличить по своему желанию число вакансий, где могли бы работать выпускники университетов. По окончании университета те, кто доберется до финиша, вновь встанут перед проблемой трудоустройства, вновь должны будут вступить в борьбу за свои права.

Не этим ли верным пониманием глубинных тенденций и перспектив развития обусловлены значительный рост влияния Коммунистического союза студентов среди учащейся молодежи и падение влияния группировок? Не этим ли вызвано то, что роман «За стеклом», как свидетельствует известный писатель-коммунист Андре Вюрмсер в «Юманите», без энтузиазма был встречен критиками из левацких группировок, несмотря на то, что автор изобразил студенческую молодежь с симпатией и объективностью, но именно эта позиция принесла ему одобрение критиков-коммунистов? Не этим ли вызвана победа ФКП на выборах 1973 года и то, что где воздержался Жан-Поль Сартр, там автор романа «За стеклом» отдал свой голос коммунистам?

* * *

Итак: в чем же секрет успеха романа «За стеклом»? Почему, раскрыв эту книгу, читатель уже не отложит ее? Какими приемами достигает автор этого удивительного

эффекта сопричастности и сопереживания?

Было бы натяжкой объяснять это особыми художественными особенностями романа — остротой сюжета, современностью форм. Нет. В этом плане есть немало писателей не только не уступающих, но превосходящих профессора Робера Мерля.

Я нарочно попытался рассказать об этом романе через призму своих собственных воспоминаний, по возможности сопоставляя выдержки из романа с материалами исследований и дискуссиями специалистов в тот период. Мне хотелось засвидетельствовать, что господствующим ощущением при чтении романа у меня было чувство острой подлинности. Поэтому главный секрет романа Мерля, как представляется мне, достоверность. Она умело и эффективно используется им прежде всего для того, чтобы превратить читателя в соавтора и героя.

Какими же способами достигает этого автор? Максимальной ясностью и простотой. И в этом смысле методы Мерля подчинены его целям.

Роман «За стеклом» — это роман-исследование. Он занимает какое-то срединное положение между социологическим трудом и художественным произведением, максимально используя при этом преимущества науки и литературы.

Четкая, как в научной монографии, формулировка целей, определение ограничений источников информации — все это не только не сушит текста, но, напротив, помогает автору увлечь за собой современное, казалось бы все слышавшего, все видевшего и отвыкшего удивляться читателя эпохи НТР.

Многие ли авторы могут так нараспашку, как Мерль, в начале романа раскрыть все свои секреты производства, в частности сообщать о том, как еще в 1967 году он, рассказав о замысле романа, попросил своих студентов помочь ему. «Речь шла о том, чтобы каждый рассказал о себе, ничего не приукрашивая и ничего не утаивая. Поначалу они соглашались неохотно, но по мере того, как распространялся слух, что эти беседы «занятны», увлекались все больше... Я ждал от студентов откровенности, она превзошла все, что я мог вообразить. Осмелюсь даже сказать, что временами я просто не знал, куда деваться». Благодаря этому немолодой профессор Мерль, как выразился бы социолог, вполне вошел в молодежную субкультуру. Достаточно глубокое проникновение в студенческую среду не только освободило автора от ханжества — неиз-

бежного спутника социальных предрассудков представителя одной группы по отношению к другой, но и позволило ему широко использовать «запретные темы» для углубления характеристики героев. Так, сексуальная тема, отсутствие которой при описании жизни в студенческом городке было бы, видимо, вряд ли правомерным, используется профессором Мерлем отнюдь не для натуралистических смакований. Она дает ему возможность глубже и драматичнее раскрыть тотальный характер конфликта студентов с обществом, подчеркнуть основные социальные идеи романа — отчуждение, одиночество, сегрегацию.

Автор романа «За стеклом» проявил смелость, введя в повествование как реальных (декан Граппен, ассессор Боже, студенты Кон-Бендит, Ксавье Лангад и другие), так и вымышленных героев и обеспечив им вполне синхронное органическое сосуществование. Поскольку первые представляли собой не просто живых людей, но и в известном смысле фигуры исторические, осве-

щенные и описанные в сотнях томов литературы о студенческих движениях во Франции, их присутствие в романе лишь усиливает ощущение достоверности.

Наконец, вся эта социо-художественная специфика романа «За стеклом» так естественно, органично воспринимается нашим читателем благодаря прекрасному переводу, который Л. Зонина сделала современно, творчески и в то же время с чувством меры.

Видимо, профессионалам-литературоведам было целесообразно глубже и подробнее проанализировать литературные особенности социального романа подобного типа. Представляется, что это важная задача. Популярность произведений такого рода, находящихся на грани литературы и науки, в настоящее время велика почти во всех странах мира. И не надо быть уж очень изощренным футурологом, чтобы предвидеть, что с развитием научно-технической революции она будет возрастать.

Владимир ШУБКИН,
доктор философских наук.



В ДОМЕ АКТЕРА

А. М. Эскин. В нашем доме. М. Всероссийское театральное общество. 1973. 288 стр.

— Дом работников искусств — это прекрасно, но он уже есть, и слава богу! Теперь будем создавать Дом актера. Понимаете — актера! Пусть к нам в гости приходят люди других искусств, но этот Дом должен быть Домом актера — центром общественности московского, да и, конечно, не только московского актерства. Давайте думать, как это сделать...

Слова, некогда брошенные как бы мимоходом Иваном Михайловичем Москвиным, сейчас, спустя тридцать пять лет, обрели в летописи Дома актера ценность «перводействия». С них начинается свой рассказ автор недавно вышедшей книги «В нашем доме» А. Эскин — бессменный руководитель актерского клуба.

Впрочем, старое слово «клуб» вряд ли может охватить деятельность Дома, двери которого вот уже несколько десятилетий распахнуты в мир, и сюда к актерам приходят по вечерам сотни людей, связанных с ними не общностью профессии, а общностью интересов.

Одной из глав автор предпосылает слова Юлиуса Фучика: «Если хотите узнать, чем живет страна, посмотрите, в кого играют ее дети...» Не только дети — хотелось бы

мне добавить. Жизнь советского актера и на сцене и в часы клубного отдыха — развлечений, встреч со зрителями, озорных капустников — тоже поведает вам зримо и наглядно, чем дышит, чем живет страна. Не случайно, оглядываясь на тридцатипятилетний путь Дома актера, автор приходит к выводу: «Я не могу вспомнить ни одного значительного общественного события, которое не нашло бы отражения в нашей работе».

Страница за страницей, различные эпизоды, многочисленные фотографии подтверждают эти слова.

...Памятная героическая встреча Москвою папанинцев. Участников ледового дрейфа буквально «рвут на части» — их хотят видеть на заводах, в университетах, воинских частях. Но при всем немислимо напряженном «графике» папанинцы не могут миновать Дом актера. Встреча с ними выливается в веселый, дружеский экспромт-спектакль, в действие которого втягиваются ничего не подозревающие папанинцы. Участники той незабываемой встречи и поныне заразительно смеются, вспоминая, сколько тепла, озорства, сердечности, шуток связано с ней.

Дорогими гостями Дома были и космонавты — Юрий Гагарин и Герман Титов. Взволнованно восстанавливает автор все события того вечера вплоть до описания не только атмосферы самого Дома, но и улиц Москвы, запруженных сплошным людским потоком. Будто раздвинулись в тот день стены столичного клуба — столько людей незримо присутствовало на встрече космонавтов с актерами.

...Вечера, вечера, вечера... Встречи с героями пятилеток, с воинами Советской Армии и Флота, с писателями, художниками.

В нашем Доме ничто не делается для галочки. Все — с увлечением, любовью, страстью. Вспоминая вечера, объединенные общим названием «Рыцари революции», «Мы их хорошо знали», «Ленинская гвардия» и другие. Актеры, готовящие их, проводят буквально исследовательскую работу, чтобы найти в жизни и деятельности прославленных революционеров нечто новое, неизвестное и облечить это в яркую сценическую форму. Поэтому-то испытывает такое волнение аудитория на вечерах, посвященных памяти Я. М. Свердлова, М. И. Калинина, Ф. Э. Дзержинского, С. М. Кирова, В. В. Куйбышева и других героев революции.

Многие из вечеров памятли умными беседами, непринужденностью обстановки, позволяющей лучше узнать друг друга, разительным весельем, блестящими турнирами острословов. Но как рассказать обо всем этом? Одно дело быть участником, зрителем веселого капустника, другое дело написать о нем. Потери тут неизбежны, особенно если взяться описывать все — как оно было. Автор избрал верный путь. «Ни в малой мере не претендую я на то, чтобы дать в этой книге,— говорит он,— законченную историю жизни столичного актерского клуба. Убежден и в том, что любая такая история все равно будет неполной. Ибо клуб — это атмосфера, клуб — это интонация, одним словом: клуб — это нечто «между строк», возможно, это нечто и есть самое существенное — душа клуба».

Мне кажется, А. Эскину, которого мы все очень любим и ценим, удалось воссоздать атмосферу Дома, раскрыть его душу. Он хорошо знает то, о чем пишет. Все рассказанное пережито им, выстрадано, приносило ему удовольствие и глубокое удовлетворение.

Но «В нашем доме» — не только воспоминания. Книга заражает желанием поучиться у актеров организации вечеров, как бы открывает «тайны» веселья, восстает против скуки. Словом, это хорошее, без претензий пособие — как проводить клубные вечера, чтобы они не превращались в никому не нужное «мероприятие».

В отступлениях, названных автором «Люди и годы», рассказывается о структуре клуба, его отделах и секциях, о людях, без которых ни один вечер, ни один праздник не мог бы состояться, — о людях, имена которых не стоят ни на афишах, ни в списке подготовивших вечер, но самоотверженный, влюбленный труд которых помог собрать всех в один день и час. И об этих своих помощниках автор говорит с уважением и любовью.

Лаконичны и выразительны портреты актеров, встающие со страниц воспоминаний.

С хорошим вкусом оформлена книга. Она похожа на альбом не только количеством фотографий, но и шрифтами заголовков, самим расположением материала, его «подачей».

О фотографиях надо сказать особо. Каждую хочется рассматривать не торопясь — столько тут знакомых лиц, людей известных не только в театральном мире, но и в науке, литературе, космонавтике, зарубежных гостей нашей страны.

То, что книга обращена не только к актерам, сказалось на ее судьбе: едва появившись на прилавках книжных магазинов, она тут же исчезла. Оправдался «прогноз» Р. Плятта, высказавшего в послесловии к воспоминаниям убеждение, что книге «обеспечен читательский интерес людей самых разных профессий хотя бы потому, что, пожалуй, не найдется такой профессии, которая в чьем-либо лице не была представлена в Доме актера».

Один из его организаторов, Иван Михайлович Москвин, словами которого открывается книга, особенно резко предостерегал актеров против кастовости театрального клуба. Ныне можно с удовлетворением сказать: наш Дом благополучно миновал эти опасные рифы.

Ю. ЗАВАДСКИЙ,
народный артист СССР,
Герой Социалистического Труда.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОЖИВШИЕ ГОЛОСА

За последние годы Древняя Русь как бы приблизилась к нам благодаря научным исследованиям, множеству популярных и художественных изданий, реставрацией не только отдельных памятников архитектуры и архитектурных комплексов, но и целых городов, как, например, Суздаля. Археологические раскопки, разнообразные тематические выставки и музейные экспозиции показали в деталях — в красках и формах — различные стороны быта наших не таких уж далеких предков, сохраненных в памяти и жизнью и делами своими. Между тем одна немаловажная сторона древнерусской культуры оказалась почти полностью забытой.

Задумывались ли вы, что облик культуры, облик эпохи складывается не только из форм и красок, но еще и звуков?

Звуки эпохи заключены и в шорохе шелка, в дыхании тяжелой портьеры, в интонационной гамме беседы, перезвоне хрусталя или в тусклом звуке оловянной чарки, коротком лягзе оружия и в скрипе кожаной портупей. Но звуки голоса, звуки музыкальных инструментов, иначе говоря, музыку и пение — представить нельзя. Их надо слышать.

Красочный облик русского средневековья в нашем сознании связан с напевами былин, перекликается с ритмикой древнерусской прозы, с тоническим строем дружинной песни, сохраненным в древнейших частях «Слова о полку Игореве».

От европейского средневековья сохранились не только имена, но и творения Палестрины, Дебре, Витториа и Орландо ди Лассо. Музыкальная же культура Руси развивалась в специфических формах певческого искусства, и теперь о ее богатом наследии, равно как и о существовании наших древних композиторов, «распевщиков», знают только редкие специалисты.

Одна из причин — эпоха петровских реформ. В то время менялось все: язык, письменность, быт, живопись, архитекту-

ра... Вместе с жизнью изменился не только музыкальный строй — изменилась система музыкальной записи.

Другая причина сказалась гораздо раньше. Киевская Русь являла собой одновременно борьбу и слияние двух культур, в том числе и музыкальных. Одна из них — народная, «языческая», связанная с духовными, ударными, струнными инструментами, с плясками, пением, театрализованными представлениями, со всем тем многообразным исполнительским искусством, которое это язычество порождало. И была вторая культура, находившаяся в постоянном противоборстве с первой, освященная церковными постановлениями, преданиями, книгами, уставом, которая утвердилась в Киеве вместе с крещением Руси.

Трубы, дудки, флейты, литавры, скрипки, арфы, даже орган, нет-нет да и попадавший на Русь, — все было исключено из музыкального обихода. Суровое мужское пение греческой церкви, подобно иконописному «подлиннику», на несколько веков ограничило возможности музыкального искусства, изгнав из него собственно музыку. В то время, когда в Европе каждое воскресенье в соборах звучали органы, а духовенство спорило в роскоши и изысканности со светскими владыками, позволив звукам утешать и лепить души паствы, израненная, измученная, униженная рабством и раздробленная Русь плачивалась в строгом, суровом хоре. В картине этой при желании можно увидеть своеобразную символику эпохи: хоровое пение русского средневековья создавало и в то же время само являлось выражением народного единства — единства чувств, всего того, что так удивляло потом европейцев и определило путь народа в дальнейшем.

Обо всем этом я пишу, чтобы показать причины, определившие специфику древнерусской музыкальной культуры и то место, которое она занимала в нашей истории и в жизни народа. Подобно древнерусскому

визобразительному искусству, до XVII века вынужденному развиваться исключительно в формах иконописных (хотя в их недрах очень рано начинает разрабатываться интерьер, жанр и пейзаж — все то, что в конце XVII века поможет совершить переход к живописи светской), древнерусская музыкальная культура на долгое время оказалась замкнутой в специфические рамки церковного песнопения.

Не в этом ли таится формальная причина пренебрежения древнерусской певческой культурой в наши дни и почти полное забвение трудов таких ее исследователей, как Д. В. Разумовский, Н. М. Потуглов, князь В. Ф. Одоевский, И. И. Вознесенский, В. М. Ундольский, А. В. Преображенский и многие другие? Тогда приходится сожалеть, что значительно меньше, чем они того заслуживали, привлекли внимание две книги Н. Д. Успенского, специально посвященные истории отечественной музыкальной культуры, — «Древнерусское певческое искусство» и «Образцы древнерусского певческого искусства».

Рекомендуя их вниманию читателей вашего журнала, должен оговорить сразу: к сожалению, они написаны не только специалистом, но и для специалистов, хотя порой можно видеть стремление автора облегчить изложение, сделав его доступным широкому кругу читателей. И все же ценность этих работ исключительно велика: в них современный читатель впервые знакомится с определенным взглядом на историю русской музыкальной культуры, знакомится с разнообразием ее памятников, с различными системами музыкального строя и музыкальной записи, с опытом музыкальной «билингвы», позволяющей дешифровать часть крюковых «знамен», скрывающих за собой мелодии прошедших веков. Так, «восьмигласие» являло собой своеобразный восьминедельный служебный круг церковных песнопений со своей определенной тональностью для каждой недели. Привычное ухо древнерусского человека улавливало в церковной службе как бы звучащий календарь, где смена времен года, циклы хозяйственной деятельности, начало и конец сезонных работ отмечались определенной тональностью и подчеркивались многозвучием и пышностью праздников.

Особое внимание в работе Н. Успенского — и в этом огромная заслуга автора — привлекают страницы, где он знакомит нас

с деятелями русской музыкальной культуры. Если для раннего периода русской истории мы с достоверностью можем назвать два имени — первый русский музыкальный переводчик XI века Путята и регент Лука, чей хор поет в 1174 году на похоронах Андрея Боголюбского, — то для второй половины XVI века путеводителем служит отрывок первых «музыкальных мемуаров», написанных в начале XVII века. Мне кажется, он настолько интересен, что привожу его целиком.

«...И мы грешнии от некоих слышахом про старых мастеров, глаголю же про Федора попа, прозвище Християнин, что был зде в царствующем граде Москве славен и пети горазд знаменному пению, и мнози от него научишася и знамя его и доднесь славно. И от его ученик слыхали котории с нами знахуся, что-де он Християнин сказывал своим учеником, что в Велицем Нове-граде были старые мастера: Сава Рогов, да брат ево Василей; во иноцех Варлаам, родом Кореляне, — и после-де тово тот Варлаам, митрополитом во граде Ростове был, муж благоговейн и мудр, зело пети был горазд знаменному и трестрочному и демественному пению был роспевщик и творец. И у того брата его у Савы были ученики, вышереченный поп Християнин, да Иван Нос, да Стефан — слыл Гольш. И тот Иван Нос, да Християнин были во царство благочестивого царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии. И были у него с ним в любимом его селе, в слободе Александрове; а Стефан Гольш тут не был, ходил по градом и учил Уольскую страну и у Строгановых учил Ивана по прозвищу Лукошка, а во иноцех был Исаия, и мастер его Стефан Гольш много знаменнаго пения распел. А после его ученик его Исаия, тот вельми знаменнаго пения распространил и наполнил. И от теж же Християниновых учеников слышахом, что-де он им сказывал про стихеры евангельския, некто-де во Твери диякон зело был мудр и благоговейн, тот-де распел стихеры евангелоския; а псалтырь распета в Великом Нове-граде, некто был инок Маркел, слыл Безбородой, он-де ея распел. Да он же сложил канон Никите архиепископу Новгородскому, вельми изящен. А триоди распел и изьяснил Иван Нос, будучи в слободе у царя Ивана Васильевича, и святым многим стихеры и славники распел он же. Да тот же Иван распел крестобогородичны и богородичны минейныя».

Этот бесхитростный рассказ, составленный, возможно, «головщиком» хора Троице-Сергиева монастыря Логгином Шушелевым по прозвищу Коровя, умершим в 1635 году, вводит непосредственно в музыкальный мир средневековой Руси. Здесь можно видеть преемственность мастеров и учеников (школы), методы распространения певческого искусства, имена композиторов и их произведения. Мы видим высокую образованность в их среде хотя бы потому, что Маркел Безбородый — игумен Спасо-Хутынского монастыря в Новгороде (в 1557 году он переехал в Москву), а Василий Рогов в конце жизни — ростовский митрополит. Насколько развито было профессиональное мастерство и виртуозность «роспевщиков», можно судить по тому же Логгину Корове, который славился умением сочинять на один напев до семнадцати вариаций.

Однако наряду с бесспорными достоинствами в работе Н. Успенского можно увидеть некоторые просчеты. Так, по-видимому, отсутствие специальной критики позволило автору прийти, на мой взгляд, к несколько неожиданным оценкам молодого Ивана IV.

Царь Иван Грозный неоднократно появляется на страницах исследования Н. Ус-

пенского и постепенно вырастает в одну из крупнейших творческих фигур прошлого. Именно ему автор приписывает реорганизацию церковного пения, созыв Собора 1551 года, основание «народных школ, где дети обучались пению»...

Но разве это так? А где же Макарий, Сильверст, Адашев, не говоря уж о других непосредственных реформаторах культуры?

Я начал свое письмо с разговора об интересной и, как мне кажется, незаслуженно забытой части древнерусской культуры, но от рассказа вынужден был перейти к некоторым критическим замечаниям. Вероятно, это еще один аргумент в пользу более пристального внимания к древнерусской музыке и певческому искусству, которым уже давно следовало бы освободиться от своего церковного «плена». Чтобы ожить в голосах современных исполнителей. Я думаю, вы согласитесь со мною, что для этого существуют все условия: расшифрованные записи напевов, современная техника звукозаписи и — главное! — живой интерес наших современников к русской истории и национальной культуре, в которой певческое искусство занимало (и теперь занимает) далеко не последнее место.

Андрей НИКИТИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



ТОВАРИЩ МОСКВА. Литературные портреты современников. М. «Советская Россия». 1973. 398 стр.

Алексей Максимович Горький был великим энтузиастом коллективной писательской работы. Прежде всего он связывал эту идею с историей фабрик и заводов, с публицистическим исследованием нашей действительности, с рассказом о людях труда, их небывалых судьбах в небывалый век. Мне кажется, что сборник очерков писателей столицы, названный ими «Товарищ Москва», несет на себе отсвет негаснущих горьковских забот и устремлений. Сборник, как живой костер, собрал вокруг своего публицистического огня таких разных писателей, как Юрий Нагибин и Матильда Юфит, Наталья Тарасенкова и Анатолий Медников, Людмила Уварова и Владимир Амлинский... Собрал, объединил в их любви к столице, в нераздельности писательских судеб с судьбами своих героев. Сдержанность, пристальность, характерные для лучших вещей сборника, еще более подчеркивают величие дел наших земляков. Какая здесь яркая гамма профессий, темпераментов, устремлений, как отразилось в них само Время!

...Двадцать тысяч километров полета над морями, океанами. От Гаваны до Сантьяго по незнакомой трассе, над Кордильерами, сквозь грозу. Каждый метр мог стать последним. Но пострадавшие от наводнения в 1970 году чилийцы ждали груз медикаментов. И экипаж самолета «ИЛ-62», вылетевшего с московского аэродрома, преодолел препятствия, казалось бы, непреодолимые. Имена всех членов экипажа запоминаются надолго, потому что Ал. Буртынскому, автору очерка «Полет», удалось показать чувства и мысли своих героев, их горячее желание помочь чилийцам. Лев Андреевич Ястржембский — герой другого очерка («Нашел себя» Павла Подляшук). Это повествование о людях, работающих в Музее истории и реконструкции Москвы. Многовековое прошлое столицы, ее влияние на судьбу России, ее революционный дух — все это по-особому причастно их замечательной профессии... В очерке Л. Кокина «Семинар Петровского» перед нами

возникает образ большого ученого. Чуткий и вдумчивый педагог, ректор университета, человек, поистине лепящий характеры своих питомцев. Юрий Николаевич Дьяков с Московского электролампового завода — герой очерка Тамары Илатовской «Неугасающий свет». Очеркистка рисует рабочую семью так, чтобы дать читателю почувствовать и живые человеческие характеры и мощь коллектива, которая зримо лучится в миллионах миллионов лампочек по всей стране. Жизнь и труд человека, влюбленного в свое дело и увлекающего за собой коллектив, — эта благородная тема возникает из очерков Сергея Болдырева, Исидора Штока, Тамары Жирмунской. Дорого то, что в этих произведениях ощущаешь взаимопроникающие связи людей Москвы со всей страной, с большим миром.

Москвичи — высокое это понятие раскрывается в судьбах таких замечательных героев наших дней, как строитель В. А. Завторницкий, токарь В. С. Филиппов, медицинская сестра Людмила Васильевна, подполковник Чванов. Хочется сказать: и впрямь судьба растущей и расцветающей Москвы в их верных руках! О герое очерка «Человек из ресторана» Юрий Нагибин справедливо пишет: «Жизнь Якова Федоровича Ускова — это состоявшаяся жизнь». Еще более значительна мысль, высказанная в этом очерке: «Но пока в человеке бьется сердце, никакое существование нельзя считать исчерпанным...» И коммунистам — героям труда и героям очерков — мало, что жизнь состоялась. Поднимаясь на новые нравственные высоты, они превращают и Москву в образцовый коммунистический город.

Человечность и патриотизм, высокий гражданский пафос, живущий в свершениях наших современников. — все это естественно возникает в судьбах и характерах, активно утверждается авторами сборника «Товарищ Москва». Утверждается как священная традиция. С волнением читаешь строки «Письма в XXI век», написанные вальцовщиком с «Серпа и молота» Виктором Ивановичем Дюжевым. Оно, это письмо, полно веры в будущее, выношено сердцем труженика, московского рабочего, о котором хорошо рассказал в своем очерке «Лицом к огню» Виктор Стариков.

Поистине планетарное ощущение Москвы возникает из вступительного слова к коллективному сборнику, написанного Сергеем Наровчатовым. Это и наша современность в своеобразном писательском исследовании, это и сыновняя дань столице русской, столице советской. Столице Грядущего.

Борис Дубровин.



МАТИ УНТ. О возможности жизни в космосе. Роман и повести. Перевод с эстонского Т. Тепле. Таллин. «Ээсти раамат». 1973. 270 стр.

В 1962 году в литературном альманахе одной из тартуских средних школ вышел в свет двухтысячным тиражом «наивный роман» (такое было определение жанра) одиннадцатиклассника Мати Унта («Прощай, рыжий кот»). Произведение это сразу привлекло внимание свежестью миропонимания, искренностью и откровенностью в постановке проблем, важных и сложных для ровесников автора... Шли годы, Мати Унт стал профессиональным, известным в республике писателем.

В рецензируемый сборник включены три произведения: роман «Прощай, рыжий кот», повести «Долг» и «О возможности жизни в космосе».

Различные судьбы и профессии героев Мати Унта, по-разному они живут и думают о мире. И все же в чем-то главном они как бы связаны друг с другом. И вопросы, стоящие перед ними,— это вопросы, стоящие перед нынешним молодым поколением.

Входя в жизнь, герои Мати Унта по праву юности безоговорочно и бескомпромиссно хотят бороться против всего ложного, обывательского, лицемерного. Но они еще не подготовлены к этому. Их опыт, пока чисто умозрительный, часто не может помочь им разобраться в сложном многообразии жизненных явлений.

— Ты хочешь... бороться? Но с кем? Где фронт? — спрашивает Аарне его друг.

— Фронт в этих низеньких домах.

— Дома не виноваты. И в них живут хорошие люди. Не спеши. («Прощай, рыжий кот»)

И лишь в поиске, противоречивом и сложном, порою горьком и трагичном (Велло, героя повести «О возможности жизни в космосе» — рационалистичного человека, отвергавшего любовь, дружбу, красоту словно малозначительные мещанские мелочи, это привело к самоубийству), открывают герои Мати Унта заново, для себя, законы добра и человечности. И уже не как прописные истины, но как выстраданное, выверенное собственным опытом.

...Ночью в колхозе после уборки картофеля школьники, друзья Аарне, разговаривают о мифических, будто созданных пришельцами с иных планет аэродромах Африки. Собирается стать физиком-первооткрывателем шофер Лаури, а студент-астро-

физик Энн утверждает в мысли, что не одна жажда конкретных знаний, но в большей степени нечто иное, высокое, еще в школьные годы влекло его к тайнам вселенной. Мечта о дальних мирах «позволяет верить, что как-то ты все-таки помогаешь жить другому человеку», задумчиво произносит Эстер из повести «О возможности жизни в космосе». Надо стремиться, «чтобы мир стал лучше», говорит Аарне, и его слова почти буквально повторяет Лаури.

Конечно, ни в коей мере не прямолинейна связь между мечтой героев о космосе, об иных мирах и желанием сделать людей лучше на родной земле, между чувством долга перед человечеством и конкретными поступками, взаимоотношениями с товарищами. Но связь эта есть и рождалась она сложно и трудно.

Мне думается, именно в этой сложности рассказа о поисках и открытиях нравственных ценностей молодым современником, о стремлении его ответить на вопрос всех вопросов: что сделать для близких, окружающих тебя? — заключается то существенное, что принес Мати Унт в эстонскую литературу. Три произведения М. Унта говорят об эволюции автора от наивного романа к исповедальности и сложной ассоциативности внутреннего монолога «Долга», к полифоничности повести «О возможности жизни в космосе».

Судьба молодого современника продолжает волновать М. Унта и ныне. В еще не переведенных на русский язык пьесах «Фазтон, сын солнца» и «Этот мир или иной» и в сборнике рассказов «Месяц, словно гаснущее солнце» (знакомых уже эстонским зрителям и читателям) герои стоят перед необходимостью решать все более сложные философские вопросы человеческого бытия. Писатель не дает, да, пожалуй, и не стремится дать на них готовые ответы. Но, может быть, как сказал А. Вознесенский: «В вопросе и истина».

Елена Скульская.



МАРК ШЕХТЕР. Лирика. Сатира. Избранные стихи. М. «Художественная литература». 1972. 272 стр.

Эпиграфом к «Избранному» Марка Шехтера, вышедшему после смерти поэта, могут послужить его собственные строки:

И снова прожит день обыкновенный,
Нет, люди,— необыкновенный день!

О чем бы ни писал он (в разные годы и на разные темы), его стихи всегда об одном — о неброской выразительности обыкновенного.

Марк Шехтер принадлежит к тем поэтам, чья биография легко прослеживается по их стихам. Это биография, общая для сотен и тысяч его современников, разорванная надвое четырьмя фронтовыми годами, узнается по разделам книги.

«Дневниковость» — в природе таланта Шехтера, жанр дневника обнажен и подчеркнут, и стих подчинен его законам. Поэту чужда яркая метафоричность, его интонации — интонации спокойного и задумчивого разговора. Отсутствие резкой границы между «поэтическим» и каждодневным бытием поэта — характерная черта его творчества. Многие вещи Шехтера — это как бы заметки на полях действительности, зарисовки сегодняшнего дня, где дата под стихотворением воспринимается как заключительная строка, ибо их сила — в узнаваемости привычного, в частных, но знаменательных приметах времени.

«И каждый день, что прожит честно, — праздник!» — сказал однажды Марк Шехтер («У нас — на Ленинградском проспекте»), и все его стихи — об этой «небудничности» будней. Множество людей, встреченных Шехтером на жизненном пути, описаны им с лаконизмом, не исключающим проникновенной сердечности. В его поэтическом мире равноправны случайный прохожий и великие поэты. «Даже дня я прожить без людей не могу», — говорил он, и стихи об Олеше, Уткине, Маяковском или попутчике в электричке — не столько разговор о них, сколько с ними.

О чем бы ни писал поэт, его стих всегда беседа с равным, будь то люди, цветы, деревья («Деревьев зеленеющее братство я зачисляю в тесный круг родни»). Особая пристальность к «зеленеющему братству» природы, любовь, включающая ее в число собеседников поэта, позволили Марку Шехтеру создать такие выразительные миниатюры, как «После грозы», «Гюльпан», «Гладиолус»...

Теме «ненаглядного Подмосковья» Шехтер был верен на протяжении всей своей жизни. И здесь также ему близки «тихие» краски и неброские пейзажи. Страницы, посвященные Подмосковию, наиболее удачны в лирическом дневнике поэта.

Марк Шехтер прожил долгую жизнь, полную «необыкновенных дней», полную поэзии. И вехи этой жизни, ставшие стихами, сохранятся в благодарной памяти читателя.

Н. Стрижевская.



Б. БРАЙНИНА. Память и время. М. «Советский писатель». 1973. 608 стр.

Б. Брайнина принадлежит к числу тех литераторов, которые умеют в своих произведениях органически сочетать глубокий научно-критический анализ с беллетристичностью изложения, личные воспоминания с философскими размышлениями и обобщениями. Книга «Память и время» — тому подтверждение.

Книга эта разнообразна по материалу — здесь литературные портреты тех, кто положил начало русской советской художественной литературе; статья о новаторстве в детской литературе; обзор прозы, выпущен-

ной издательствами к сорокалетию Октября; размышления по поводу жанра автобиографической повести.

Значительное место в книге занимает полемика о судьбе «бога жанров» — современного романа. Опираясь на многочисленные произведения не только отечественной, но и зарубежной литературы, критик приходит к выводу, что спор о судьбе современного романа — это проблема не только литературоведческая, но прежде всего мировоззренческая, решение которой определяется взглядами художника на мир, историю, человеческие отношения.

Создавая литературные портреты писателей, с большинством из которых Брайнина связана многолетней творческой и человеческой дружбой, критик не только глубоко и всесторонне анализирует творчество своего «героя», но широко и умело использует переписку, записи бесед с ним, личные воспоминания, помогающие дополнить создаваемый образ. Может быть, именно поэтому с таким интересом читаешь очерки о Лидии Сейфуллиной, Вере Смирновой, Деренике Демирчяне.

Теоретическое исследование проблем историко-революционной темы, жанра автобиографической повести опирается на примеры не только русской, но и украинской (Ю. Смолич, М. Стельмах), армянской (С. Зорьян, А. Исаакян), казахской (М. Ауэзов), киргизской (Ч. Айтматов) литературы.

И вместе с тем книга Б. Брайниной, несомненно, представляет собой единое целое, пронизанное сквозной темой: верность художника своему призванию.

Анализируя книгу Константина Федина «Горький среди нас», Б. Брайнина возвращает читателя к тем сложным противоречиям, в которых приходилось молодым писателям прокладывать путь новой, социалистической литературе. На примерах литературной судьбы Ремизова, Вольнского и Соллогуба критик со всей очевидностью доказывает, что уход писателя от жизни, от времени всегда оборачивается изменой призванию, утерей внутренней свободы.

В статье «Странный маскарад» критик разбирает повесть Радия Погодина «Треньбрень». Любое новаторство, утверждает Б. Брайнина, в том числе и новаторство в «вечной» теме свободного, всестороннего развития личности, превращается в лженоваторство, «если оно дерзает расти на отчужденном, пустом пространстве». Критик подчеркивает, что подобное «новаторство» повторяет много раз повторенное, уводит в сторону от жизни, подменяет «живую красоту красивостью мертвых декораций, воинствующее сострадание к людям сентиментальной жалостью прежде всего к самому себе — склонностью по любому поводу зачислять себя в обиженные и непонятые, подменять свободу, достоинство личности болезненным своеволием». Так замыкается круг: ложные эстетические посылки обнаруживают ошибки мировоззренческого характера.

Проследивая горьковские традиции в книгах советских писателей, посвященных детству, критик подмечает отличительную черту — желание авторов изобразить не столько свою судьбу, сколько историю народа, показать новому поколению, как трудна и благородна была борьба за революцию и как под воздействием революционных идей пробуждалось в душе народной все светлое и сильное.

Книга «Память и время» обладает и еще одним достоинством: любовью автора к многонациональной советской литературе, ко всему лучшему, что в ней есть, к людям, ее создающим.

Все это придает книге подлинно общественное звучание.

В. Бавина.



ЕВГЕНИЯ ТАРАТУТА. С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель. М. «Художественная литература». 1973. 544 стр.

Революционер С. Кравчинский, ставший писателем Сергеем Степняком, — выдающаяся фигура в истории революционного народничества. Один из пионеров «хождения в народ», дерзкий террорист (убийство шефа жандармов Мезенцева в 1878 году), он впоследствии, уже на новом жизненном этапе, став нелицеприятным историком народничества, сумел с большой силой показать и безнадежность «хождения» и бесплодность народолюбческого террора...

Несмотря на несколько интересных работ, посвященных Кравчинскому, жизнь и деятельность революционера-писателя до недавнего времени не имела своего подлинно научного биографа, а количество «белых пятен» в его жизнеописании было поистине огромно.

Книга Таратуты — плод работы не одного десятилетия. Скрупулезно, шаг за шагом исследователь устранил эти «белые пятна», привлекая огромное количество документов (книги, журналы, газеты на многих европейских языках, фонды самых разнообразных архивов и т. д.). Существенный материал для изучения Кравчинского и его творчества дали письма-воспоминания о писателе-революционере, о воздействии на современников и потомков его книг. Такая работа позволила Таратуте не только воссоздать образ самого Степняка-Кравчинского, но и раскрыть многое в биографиях тех выдающихся деятелей, которые окружали героя книги. — В. Засулич, Г. Плеханова, Н. Морозова и многих других.

Итак, «неизвестное» в биографии Кравчинского теперь известно: мы узнали об участии бывшего офицера Кравчинского в Герцеговинской эпопее, в Бенеventском восстании, увидели, как глубока и серьезна была его дружба с Энгельсом, немало повлиявшая на эволюцию взглядов Кравчинского в сторону социал-демократии, и многое другое. Знакомится читатель и с новой, документально обоснованной верси-

ей трагедии бывшего соратника Кравчинского — Льва Тихомирова. Версия эта удачно подкреплена ссылками на материалы заграничной агентуры царской охранки.

Словом, в книге произошло наконец то прочное сцепление фактов, которое, будучи освещено с точки зрения ленинской концепции народничества, одно и может дать поистине научную биографию Кравчинского, революционера и писателя. Ту биографию, которая сама становится составной частью всей истории революционного народничества.

Неизменной чертой биографических книг Евг. Таратуты (о Э. Л. Войнич, теперь — о Кравчинском) является особая, личная заинтересованность писателя своим героем, высокая влюбленность в него. Причем заинтересованность и влюбленность не приводят к своеобразному «амнистированию» изучаемого писателя, к сглаживанию противоречий его жизни и деятельности. Добросовестность и талант исследователя здесь идут об руку с четкостью его нравственных требований. Вот строки, в которых воплощен ведущий пафос книги: «Жизнь не имеет никакой ценности, если у тебя на глазах подвергается мучениям горячо любимый тобой народ...» Всей жизнью своей, всем творчеством Степняк-Кравчинский доказал, что слова эти точно сказаны им о русских народниках, и о себе самом в первую очередь. А о себе, писателе, Степняк сказал так: «Для меня литература — то же поле битвы».

До сих пор изучение народничества революционного и народничества литературного шло как-то параллельно, без сколько-нибудь заметных пересечений. Первое изучали главным образом историки, иногда философы и экономисты, второе, как правило, литературоведы. Два потока изучения, будучи, казалось бы, рядом, шли раздельно. Да вроде бы и события и личности, находившиеся в поле зрения ученых, предрасполагали к такой раздельности, ибо революционное народничество не в пример народничеству литературному требовало скрупулезных архивных разысканий. Изучение же фигуры Степняка-Кравчинского с неизбежностью «сближает берега»...

Книга Евгении Таратуты — заметное явление в изучении народнического периода русского освободительного движения.

Борис Ярянец.



СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ. Автобиография. М. «Советский композитор». 1973. 704 стр.

В прошлом году исполнилось двадцать лет со дня смерти Сергея Прокофьева — выдающегося композитора, классика советской музыки. К этой дате издательство «Советский композитор» впервые выпустило полный текст его «Автобиографии». Уже по ранним фрагментарным публикациям ее, появившимся в нашей периодической печати

и в сборнике «С. С. Прокофьев», было ясно, что это чрезвычайно интересный документ. Теперь же, имея «Автобиографию» полностью, можно утверждать это со всей определенностью.

События, о которых повествуется в «Детстве» — первой части «Автобиографии», относятся в основном к 80—90-м годам прошлого века (хотя композитор родился в 1891 году, свой рассказ он начинает с сохранившихся у него сведений об отце и матери, переселившихся после своей свадьбы на Украину, в Сонцовку). Описание села Красное (теперешнее название Сонцовки) — поэтичнее страницы мемуаров, обнаруживающие в авторе незаурядного рассказчика.

Надо сказать, построена «Автобиография» необычно. Мало того что, как заверяет сам Прокофьев, «фразы и разговоры, цитируемые в этой автобиографии, совершенно точны или почти точны. Некоторые из них были записаны в тот же день, другие отчетливо запомнились». Композитор включил в нее массу подлинных документов, например письма Н. Я. Мясковского к нему, никогда ранее не публиковавшиеся, свои письма к отцу и целый ряд других материалов. К стати, и пояснения к многочисленным фотографиям, подобранным автором (их в книге больше ста двадцати), и нотные примеры в большинстве случаев являются автографами Прокофьева и воспроизводятся факсимильно. И при всем «жанровом» разнообразии материала «Автобиография» производит очень цельное впечатление — никакой обрывочности, клочковатости. Не зря Д. Кабалевский, написавший теплое предисловие к книге, поставил ее «в один ряд с такими шедеврами мемуарной литературы, как знаменитые «Мемуары» Гектора Берлиоза или не менее знаменитая «Летопись моей музыкальной жизни» Н. А. Римского-Корсакова». И это при том, что мемуары Прокофьева охватывают лишь самый ранний период его жизни (они кончаются летом 1909 года).

Конечно, самое главное и интересное в книге — личность самого Прокофьева. Мы переносимся в его детство, следим за становлением его интересов, а они всегда разнообразны и глубоки — верный признак будущего мастера. Мы видим его сражающимся со своими сверстниками на ходулях, а затем пишущим «трактат» на эту тему, занимающимся музыкой сначала с матерью, а позже в Петербургской консерватории, где он, тогда еще тринадцатилетний мальчик, посещал класс композиции (!— не какой-нибудь школьной гармонии) со своими значительно более старшими, но, увы, гораздо менее одаренными соучениками. Он увлекает нас своими поставленными на научную основу изысканиями в области военного мореходства (в связи с русско-японской войной), позже — «статистикой задач и ошибок при занятиях контрапунктом у А. К. Лядова», а еще позднее — темой шахмат (однажды ему удалось сыграть вничью с самим чемпионом мира Ласкером, о чем Прокофьев

сообщает с нескрываемой гордостью). И конечно же, каждую страницу наполняют рассуждения о музыке: своей — чужой, фортепианной — симфонической, новой — новейшей... Перед нами проходят консерваторские наставники Прокофьева — строгий Римский-Корсаков, заботливый Глазунов, талантливый, но ленивый Лядов, соученики композитора — Мясковский, Асафьев, ставший выдающимся музыковедом, академиком, еще многие-многие другие.

Говоря об этой книге, нельзя не отметить большую работу, проделанную М. Козловой, по сведению воедино и редактированию текста, подготовке комментариев и указателей. О трудностях, которые перед ней стояли, читатель узнает из общей части комментариев.

Хотелось бы, чтобы этой замечательной книгой заинтересовались не только музыканты-профессионалы. Есть уверенность, что любитель русской словесности оценит литературные достоинства этих мемуаров, а тот, кто к тому же знаком и с самой русской музыкой и любит ее, еще живее представит себе картину музыкальной жизни России конца прошлого — начала нашего века.

А. Майкапар.



ЮРИЙ ДМИТРИЕВ. Человек и животные. М. «Детская литература». 1973. 366 стр.

В библиотечных каталогах новая книга Юрия Дмитриева, вероятно, будет помещена в раздел экологии — науки о взаимоотношении животных с окружающей средой. Экология приобрела за последнее время необыкновенную популярность. Ей посвящено множество работ, имеющих большой успех у массового читателя. Но, думается, книга Юрия Дмитриева среди них не затеряется.

Автор тщательно исследует историю одомашнивания диких зверей. Его интересует, почему обожествление многих животных сменялось их преследованием. Он размышляет об истоках пристрастия человека к одним зверям и его отвращения к другим. Перед нами не просто подбор интересных фактов, извлеченных из бесчисленного количества книг и журналов. Это именно размышления писателя, накопившего немалый «багаж» собственных наблюдений.

Вопрос о том, как и откуда произошли животные, в чем состоят причины развития и исчезновения видов, всегда имел мировоззренческое значение и служил ареной отнюдь не академических споров. Юрий Дмитриев прослеживает, как обогащалось знание человека о животных, начиная с описательной зоологии и кончая последними достижениями бионики, рассказывает, как много значит изучение всех особенностей живого организма, его привычек, сильных и слабых сторон популяции вида.

В книге Юрия Дмитриева нет надоевших

примет унылой популяризации общезвестных истин. Она постоянно напоминает о множестве загадок, среди которых живет человек; в ней главенствующее место занимает научный поиск, дерзкие гипотезы, пытающиеся раскрыть тайны природы. Это придает книге увлекательнейший характер, хотя нигде автор не опускается до использования нераскрытых тайн природы для создания некоего «научного детектива»...

И все же — книга написана не ради того, чтобы обрушить на читателя поток информации. Цель автора — убедить читателей, как важно изучать, любить и беречь животных.

...Беречь и любить... В этих словах — подлинная идея книги. Она проходит через все главы, через все горы научного материала. И нас не должно удивлять, когда автор ставит рядом с фигурами Уоллеса, Дарвина и Гексли — Альфреда Брема. Брем не совершил никаких открытий, но приобрел широкую известность благодаря своей любви к животным, старанию внушать эту любовь миллионам людей. Страницы книги, где описана жизнь отца и сына Гржимеков, отдавших все силы и самую жизнь для спасения животного мира Африки, читаются с волнением, как повесть о большом человеческом подвиге.

Нравственный аспект отношения человека к животному — главная тема Юрия Дмитриева — придает книге характер драматичный и напряженный. Нельзя спокойно читать главу «Человек убивает и уничтожает». Публицистический накал и нравственное негодование писателя доходят в ней до самого высокого предела. Это достигается отнюдь не риторикой, не обилием восклицательных знаков. Цифры, статистика, факты... За один лишь 1875 год из Африки в Европу было вывезено 14 с половиной тонн страусовых перьев. Не вообще перьев, а только хвостовых — идущих на модные дамские боа и шляпки... В Венесуэле за один год было убито полтора миллиона белых цапель. Убито из-за нескольких перьев, идущих на украшения дамских туалетов... Для модной шубки из тигрового меха убивают десять тигров, ставших редчайшими животными... Писатель — а вместе с ним и читатель — останавливается в горестном недоумении перед нравственной глухотой людей, получивших в руки оружие массового истребления животных. Дикая племена, находящиеся на уровне каменного века, убивая медведя, просят у него прощения за то, что они были вынуждены его убить ради пропитания... Во второй половине XIX века в Северной Америке было истреблено 75 миллионов бизонов. Убивали тысячи огромных зверей, чтобы вырезать вкусный язык, а то и просто так — для времяпрепровождения...

Даже в наше время, когда охрана животных в ряде стран стала государственным делом, под колеса автомобилей попадают сотни тысяч живых существ. Юрий Дмитриев пишет, что в ФРГ только за один год на автомобильных дорогах погибло 300 тысяч

зайцев и 720 тысяч ежей. Речь идет не о том, что уменьшается общая численность того или иного вида, сейчас под угрозой уничтожения — целые виды. За всю историческую эпоху человек полностью истребил 345 видов животных — из них 212 только за последние двести лет. За последние сто лет исчезло сто видов птиц. Каждый год по виду! Юрий Дмитриев раскрывает весь леденящий смысл исчезновения не только вида, но и отдельных его популяций. Нарушение того, что в науке именуется «экологическим равновесием», чревато огромными опасностями для человека. Опасностями для хозяйства, быта, нравственного развития людей.

В последнее время за рубежом, а частично и у нас, получила весьма широкое распространение «пугающая литература». Авторы как бы стремятся перецеловать друг друга в описаниях всевозможных непоправимых бедствий, которые грозят человечеству в результате развития машинной цивилизации. Юрий Дмитриев не принадлежит к числу «пугающих». Он верит в разум и нравственное чувство людей. В его книге вслед за главой «Человек убивает и уничтожает» идет глава «Человек охраняет и спасает»...

Приятно отметить, что книга любовно издана. Художник Борис Кыштымов мастерски оформил эту умную, добрую и очень человечную книгу.

Лев Разгов.



ЭДУАРА БАГРИЦКИЙ. Воспоминания современников. М. «Советский писатель». 1973. 432 стр.

Сборник, о котором идет речь, как и другие подобного типа, не только выполняет задачу, стоящую перед книгой монографического плана — показывает неповторимость, непохожесть данной творческой личности, но и создает портрет времени, широкую литературную панораму, включающую в себя и богатство талантов эпохи, и ее своеобразие. Сборник составлен Л. Багрицкой с желанием представить нам поэта во всей полноте его творческих и жизненных интересов. Почти все вошедшие в него материалы публиковались ранее, но, собранные в одну книгу, они приобрели особую весомость и убедительность.

Из воспоминаний встает образ человека необыкновенной цельности, поэта, «обреченного быть самим собой», мужавшего вместе со своим временем. Сборник, построенный по хронологическому принципу, дает нам картину творческой эволюции поэта от птицелова Диделя, бродившего «по Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузиновой, по Баварии хмельной», до лирического героя поэмы «Последняя ночь», где отражена история целого поко-

ления, «поколения,— как пишет П. Антокольский,— юношей, которые смотрели в глаза гибели, склонялись над телами павших друзей и завоевали для себя нелегкое право зрелости и мужества».

Когда читаешь воспоминания о поэте В. Инбер, З. Шишовой, В. Катаева, К. Паустовского, И. Бабеля, Ю. Олеши, Л. Славина и других, чья юность, как и юность Багрицкого, прошла в Одессе, возникает ощущение того сложного соединения простых и дорогих сердцу явлений с историей, с эстетическими пристрастиями и антипатиями, из которого неведомыми путями рождается поэзия.

Одна черта Багрицкого особенно влекла к нему людские сердца — человек большой культуры, он был глубоко демократичен. Круг друзей его необычайно широк, и сборник отражает это. Для целого поколения советских поэтов Багрицкий не только признанный мастер поэтического цеха, но и первый внимательный, строгий редактор. Евг. Долматовский, М. Лисянский, А. Сурков, П. Железнов и другие рассказывают о том, сколько душевных сил отдавал Багрицкий творчеству молодых своих коллег, прививая им тонкий эстетический вкус, терпеливо воспитывая в них зыскательность и чувство ответственности перед читателем.

Приемы иконописной живописи, как справедливо заметил Л. Славин, не годятся для изображения этого страстного, противоречивого человека, обладавшего каким-то особенно острым ощущением жизни. Известно, что в 30-х годах Багрицкий вступил в РАПП, побывав перед тем в «Перевале» и в сообществе конструктивистов. «И вскоре до рапповских заправил,— вспоминает Георгий Мунблит,— стали доходить странные вести. Передавали, что новообращенный, сидя по-турецки на своем топчане и неинтеллигентно хохоча, высмеивает самые святые и основополагающие рапповские заветы, не щадя в своих глумлениях даже главы и теоретика РАПП — Леопольда Авербаха». Багрицкому, человеку широких воззрений, были глубоко чужды свойственные рапповцам нетерпимость и сектантская узость взглядов. Слишком далеко все это было от его жизни, смысл которой, как нам кажется, точно выражен в словах Ю. Олеши: «Это была жизнь артиста в самом чистом, волнующем и величавом смысле этого слова». Перед читателями сборника воспоминаний поэт-гражданин предстает глубочайшим лириком своего времени. Через лирическую призму преломлялось все, что он видел вокруг себя. Возможно, именно это делает Багрицкого любимым поэтом молодости, находящей в его поэзии большую глубину и искренность чувств, мыслей, поступков.

С. Николаева.



Ю. АЛЯНСКИЙ. Театральные легенды. М. Всероссийское театральное общество. 1973. 303 стр.

«Театральные легенды» — это легенды о людях сцены. Но в том-то и дело, что в книгу под этим названием включены рассказы о подлинных событиях, хотя иногда они и кажутся неправдоподобными. Автор книги — Юрий Алянский, человек, немало времени отдавший изучению русского искусства в целом, театрального в частности. Нарисованные им эпизоды из жизни людей советского театра, а подчас и биографические этюды, посвященные этим людям, имеют определенное сюжетное зерно.

Е. Тиме и Н. Левицкий, С. Сорокин и Л. Жевержеев, Н. Пельцер и М. Лозинский, В. Полицеймако и Н. Акимов и многие другие — герои его очерков и эссе. Ненавязчиво и умно показана автором та сила, которая поднимала наше искусство, — недаром среди портретов деятелей театра закономерно появляется портрет С. М. Кирова (в очерке об истории спектакля «Страх» в постановке Н. Петрова). О Кирове и искусстве написано немало — есть и статьи, и очерки, и целые исследования, раскрывающие роль Сергея Мироновича в процессе развития советского искусства. Очерк Ю. Алянского — это, по существу, не только новая страница темы, это еще и новый ее аспект.

Обаятелен образ актрисы Е. Тиме. Ее жизнь от дебюта до последней роли (в кинофильме режиссера В. Соколова «День солнца и дождя») подана с таким искренним восхищением, что оно невольно передается читателю. То же можно сказать об очерках, посвященных Е. Грановской, Н. Акимову, С. Сорокину и другим.

«Легенды» Ю. Алянского разнообразны. В одних случаях автор выступает как публицист, как умелый репортер, собирающий материал о ветеранах сцены («На Петровском острове» и др.). В других случаях он исследователь. Во всегда он пишет умно и остро, донося до нас образ своего героя. Одна реплика Н. Акимова: «Почему гибнут актеры, в которых происходят скачки, дрязги? — спрашивал он своих студентов по театральному институту и тут же отвечал с глубиной понимания жизни, достойной философа: — Потому что на глазах у врага нельзя творить. Можно пилить дрова, можно рыть яму (ему, скажем), но творить на вражеских глазах нельзя. Только сочувственный глаз делает атмосферу, в которой можно творить, в которой вызревают те плоды, которые можно будет показывать любому зрительному залу, пусть сами враги придут — ваше произведение само за себя постоит. Но пока оно рождается — важна атмосфера доброжелательства». И мы сразу видим Н. Акимова, режиссера, художника, автора острых статей и книг по искусству.

Мне довелось быть зрителем многих спектаклей, о которых пишет автор. И меня ра-

дует то, что мои впечатления, оставшиеся где-то на «запасном пути» памяти, и рассказ автора порой совпадают до деталей. Это, конечно, субъективно. Но и в тех случаях, когда я не видел той или иной работы и могу судить о ней лишь по литературе, по чужим воспоминаниям, я вдруг получаю ее новую зарисовку, причем выполненную со всей научной тщательностью и одновременно поданную с публицистическим блеском. Таков рассказ «Объединяй и властвуй!» об А. Закушняке и др.

Есть ли претензии к автору? Есть. Конечно, маленький очерк или эссе не по-

зволяют дать исчерпывающую характеристику героя. Но есть люди, немало сделавшие для искусства, и люди, свершившие подлинные открытия. Как правило, Ю. Алянский умеет осторожно провести эту грань, однако не всегда... Обидно, что в этой книжке нет ссылок на архивы, на хранилища, на источники. Боюсь, что автор сам не понял научного значения своей работы, счел ее лишь популярным очерком. Это не так. Перед нами подлинно научная работа, только выполненная популярно.

Дм. Молдавский.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. 483 стр. Цена 1 р.

В. И. Ленин. Доклад о революции 1905 года. 23 стр. Цена 3 к.

Визит Леонида Ильича Брежнева в Индию. 26—30 ноября 1973 г. Речи и документы. 127 стр. Цена 16 к.

Декреты Советской власти. Т. 6. 1 августа—9 декабря 1919 г. 584 стр. Цена 1 р. 54 к.

Л. Бляхнин и О. Шкаратан. НТР, рабочий класс, интеллигенция. 320 стр. Цена 74 к.

А. Василевский. Дело всей жизни. 542 стр. Цена 1 р. 64 к.

Из опыта идеологической работы. Сборник статей. 478 стр. Цена 97 к.

Ф. Кастро. Будущее принадлежит интернационализму. Материалы поездки в страны Африки и социалистические страны Европы 3 мая — 5 июля 1972 г. Перевод с испанского О. Дарусенкова и других. 494 стр. Цена 78 к.

В. Кешелава. Гуманизм действительный и мнимый. («Социальный прогресс и буржуазная философия») 208 стр. Цена 31 к.

А. Соболев. Троцкизм — враг революции. 55 стр. Цена 9 к.

Современное революционное движение и национализм. 320 стр. Цена 1 р. 24 к.

В. Толстых. О социальной сущности и функции искусства. («Над чем работают, о чем спорят философы») 440 стр. Цена 46 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Абашидзе. Приближение. Стихи. Перевод с грузинского. 223 стр. Цена 90 к.

В. Гура. Роман и революция. Пути советского романа. 1917—1929. 400 стр. Цена 1 р. 17 к.

М. Комиссарова. Ожидание встречи. Стихи. 111 стр. Цена 33 к.

Г. Севан. Пылающие оливы. Повести и рассказы. Перевод с армянского А. и Е. Шатирян. 326 стр. Цена 69 к.

С. Чиковани. Лирика. Перевод с грузинского. 355 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Базанов. От фольклора к народной книге. 351 стр. Цена 1 р. 11 к.

А. Куприн. Собрание сочинений. В 9-ти тт. Т. 9. Воспоминания, статьи, рецензии, заметки. 336 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Рыленов. Избранные произведения. В 2-х тт. Стихи и поэмы. Т. 2. Книга признаний. Книга песен. Книга раздумий. Книга судеб. 510 стр. Цена 1 р. 62 к.

М. Сервантес. Галатея. Роман. Перевод с испанского Е. Любимовой и Н. Любимова. 390 стр. Цена 97 к.

Ю. Словацкий. Беневский. Поэма. Перевод с польского С. Свяцкого. 267 стр. Цена 2 р. 1 к.

Нацумэ Сосеки. Сансиро. Затем. Врата. Романы. Перевод с японского А. Рябкина. 479 стр. Цена 1 р. 12 к.

Ю. Тынянов. Кюхля. Рассказы. 557 стр. Цена 1 р. 23 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Бубнис. Жаждающая земля. Роман и рассказы. Перевод с литовского В. Чепайтиса. 320 стр. Цена 47 к.

С. Валах. Партизанские ночи. Документальная повесть. Перевод с польского М. Брухнова. 208 стр. Цена 50 к.

И. Ефремов. Таис Афинская. Исторический роман. 512 стр. Цена 1 р. 12 к.

Полюсы. Сборник. Объединяет в себе 15 книг молодых советских поэтов. 384 стр. Цена 1 р. 64 к.

«СОВРЕМЕННОК»

М. Гаджиев. Раскаianie. Повесть. Перевод с лакского А. Орлова. 93 стр. Цена 22 к.

С. Крутилин. Старая скворечня. Повести. 304 стр. Цена 78 к.

С. Куняев. Вечная спутница. Книга стихов. 127 стр. Цена 41 к.

В. Машковцев. Лицом к огню. Стихи. 103 стр. Цена 39 к.

А. Расих. Мой друг Мансур. Роман. Перевод с татарского А. Чехова. 230 стр. Цена 61 к.

Б. Слуцкий. Доброта дня. Новая книга стихов. 167 стр. Цена 54 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Баранова и Е. Велтистов. Излучать свет. Хроника героев и строек от взятия Зимнего до штурма Вселенной. 287 стр. Цена 1 р. 9 к.

А. Бринский. Девочка из Марьиной рощи. Документальная повесть. 48 стр. Цена 12 к.

Я. Гордин. День 14 декабря. Рассказы. 159 стр. Цена 16 к.

К. Идрисов. Школьный двор и вся страна. Стихотворения и поэмы. 79 стр. Цена 25 к.

Е. Кобец-Филимонова. Жаворонки над Хатынью. Повесть. Вступительная статья В. Выгова. 144 стр. Цена 38 к.

Э. Ласнер. Как Виктор стал шахматным мастером. Повесть. Перевод с немецкого и послесловие И. Майзелиса. Предисловие Д. Вронштейна. 144 стр. Цена 33 к.

Б. Панкин. Время и слово. Семь публицистических очерков из жизни и литературы. Предисловие В. Полевого. 286 стр. Цена 92 к.

Ш. Ракипов. Прекрасны ли зори?.. Повесть. Перевод с татарского Э. Амита. 255 стр. Цена 55 к.

А. Твардовский. Стихи. Предисловие А. Туркова. 94 стр. Цена 31 к.

Ю. Яковлев. Серезины сны. Повести. 207 стр. Цена 63 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Д. Бедный. Стихи, басни. Вступительная статья и составление Н. Осмакова. 270 стр. Цена 45 к.

Б. Бондаренко. Потерянное мной. Повести. 272 стр. Цена 47 к.

М. Щеглов. Студенческие тетради. 112 стр. Цена 15 к.

Л. Щипахина. Монолог. Стихи. 95 стр. Цена 25 к.

ВОЕНИЗДАТ

С. Андрощенко. На берегах Дуная. («Расказывают фронтовики. 1941—1945») 110 стр. Цена 16 к.

М. Гурьев. До стен рейхстага. Записки военного корреспондента. 160 стр. Цена 35 к.

И. Жигалов. Тревожные тропы. 213 стр. Цена 50 к.

История второй мировой войны 1939—1945. В 12-ти тт. Председатель главной редакционной комиссии А. А. Гречко. Т. I. Зарождение войны. Борьба прогрессивных сил за сохранение мира. 367 стр. Цена 2 р. 80 к.

Г. Можаровский. Пока бьется сердце («Военные мемуары») 133 стр. Цена 40 к.

А. Немчинский. Осторожно, мины! («Военные мемуары»). 255 стр. Цена 58 к.

Такусио Хаттори. Япония в войне 1941—1945. Сокращенный перевод с японского В. Гужавина и других. 629 стр. Цена 3 р. 13 к.

Че Гевара Э. Эпизоды революционной борьбы. Воспоминания. Перевод с испанского О. Дарусенкова. 248 стр. Цена 1 р. 3 к.

«ИСКУССТВО»

Г. Зубнов. Пестрое зернало. Очерки о зарубежном телевидении. 126 стр. Цена 43 к.

Ю. Лукин. Ленин и теория социалистического искусства. 327 стр. Цена 1 р. 58 к.

«ПРОГРЕСС»

Р. Кастильянос. Молитва по тьме. Роман. Перевод с испанского М. Абезгауз. Предисловие Я. Света. 345 стр. Цена 1 р. 21 к.

«НАУКА»

Вэнь И-до. Думы о хризантеме. Стихи. Перевод с китайского Г. Ярославцева. Вступительная статья В. Сухорукова. 184 стр. Цена 55 к.

В. Мотылев. Мировое капиталистическое хозяйство: тенденции развития и противоречия. 166 стр. Цена 55 к.

Я. Мочос. Современная греческая литература. 323 стр. Цена 1 р. 18 к.

Партия и государство в странах социалистической ориентации. Сборник статей. 255 стр. Цена 88 к.

Русское искусство XVIII века. Материалы и исследования. Под редакцией Т. Алексеевой. 196 стр. Цена 2 р. 45 к.

С. Юткевич. Шекспир и кино. 271 стр. Цена 3 р.

«МЫСЛЬ»

Л. Абалкин. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. 263 стр. Цена 1 р. 7 к.

Г. Булацкий. Пантелеймон Николаевич Лепешинский («Партийные публицисты») 119 стр. Цена 20 к.

К. Варламов. Ленинская концепция социалистического управления. 398 стр. Цена 1 р. 51 к.

Я. Жуковский. Наука как производительная сила общества. («Экономические проблемы развитого социализма») 69 стр. Цена 11 к.

Г. Козлов. Основные черты экономики развитого социализма («Экономические проблемы развитого социализма») 104 стр. Цена 16 к.

Научно-техническая революция и общество. 480 стр. Цена 1 р. 79 к.

Н. Эйдельман. Герцен против самодержавия. 367 стр. Цена 1 р. 63 к.

Э. Хонеккер. Роль рабочего класса и его партии в социалистическом обществе. Перевод с немецкого. («Библиотека рабочего движения») 400 стр. Цена 1 р.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Рабочий класс и его партия в современном социалистическом обществе. Сборник статей. Под общей редакцией К. И. Зародова. Прага, «Мир и социализм».—Москва, «Международные отношения». («Трибуна марксистской мысли») 272 стр. Цена 1 р. 32 к.

Ш. Самсонов и Н. Капченко. Теория и практика внешней политики социализма. 160 стр. Цена 26 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ю. Грибов. Капель. Документальные повести и новеллы. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 159 стр. Цена 18 к.

З. Катнова. Где ты, счастье мое? Роман. Перевод с марийского. Йошкар-Ола. Маркнигоиздат. 432 стр. Цена 88 к.

П. Комаров. Избранное. Хабаровск. Книжное издательство. 336 стр. Цена 1 р. 39 к.

Я. Кросс. На глазах у Клио. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 239 стр. Цена 50 к.

Г. Маргвелашвили. Галактион Табидзе. Очерк жизни и творчества. Тбилиси. «Мерани». 149 стр. Цена 72 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахния, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103006, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 26/ХІІ 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 1/ІІІ 1974 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 02233.. Тираж 175000 экз. Заказ 4342.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5 в комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 01219.

Цена 70 коп.

70636